

13

Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 13 ФЕВРАЛЬ 2006 • ИЕРУСАЛИМ

- ФЕЛИКС КАНДЕЛЬ. Против неба на земле
- ВЛАДИМИР ФРОМЕР. Фрау Геббельс
- ЗЕЭВ САНДЛЕР. Вызов истории
- ИГОРЬ БИРМАН. Уровень русской жизни
- ГРЕТА ИОНКИС. Голгофа Генриха Гейне
- ИГОРЬ ВЕСЛЕР. Марциал или Гораций?



Nota Bene • 2006 •

13

העמותה לקליטת עלייה
רח' י. ל. ברוך 2 חיפה 341
ספריה

8478

מס'





Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№13

ФЕВРАЛЬ 2006
ИЕРУСАЛИМ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- 3** Феликс Кандель. Против неба на земле
70 Борис Хазанов. Немецкий эпилог: неотправленное письмо
87 Михаил Гиголашвили. Бар-Авва, царь воровской
102 Владимир Фромер. Фрау Геббельс

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

- 125** Зезв Сандлер. Вызов истории
131 Симпозиум: Очищая землю Аллаха
143 Игорь Бирман. Уровень русской жизни

PRESS-REVIEW:

- 153** Групповой портрет с Ахмадинежадом

НАД ТЕКСТОМ...

- 164** Игорь Веслер. Марциал или Гораций?

К ЮБИЛЕЮ ГЕЙНЕ

- 177** Грета Ионкис. Голгофа Генриха Гейне
216 Александр Гордон. Встречи с Генрихом Гейне

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

- 221** Семен Букчин. Еврейская тема в творчестве Власа Дорошевича
241 Борис Никитенко. Как мы боролись с «контрпропагандой»...
254 Юрий Лурья. О СМЕРШе и особистах

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА... (дайджест)

- 258** Иветта Шаньгина. Царская милость
261 Ирина Налиухина. Письма в редакцию
264 Аркадий Белинков. Страна рабов, страна господ...
293 Леонид Гишович. К парижской премьере оперы Шостаковича «Нос»
296 Владимир Тольц. Репатриация гробов и архивов
304 Сергей Юрский. Тень
318 Леонид Китаев-Смык. «Чёрные девы»: психология чеченских террористок-смертниц
324 Всеволод Сахаров. Архивы заговорили
330 Виктор Гущин. Из переписки И. Сталина с будущим
335 Андрей Солдатов. Роберт Бэр: «ЦРУ пало духом»
339 Павел Евдокимов. Интеллигенты из группы «Альфа»
344 Леонид Китаев-Смык. Матерная речь и ругань в современной России

ISSN 1565-5318

העמותה לקידום עליית בתיאור

8478

ספריה

מס'



писатель, радиожурналист, драматург, киносценарист, автор 14 книг, многие из которых переведены на иврит, французский и немецкий языки. Лауреат четырех престижных литературных премий (Фонд Л. и А. Рафаэли, Литературная премия Дж. Гильбоа, Литературная премия Международного сионистского конгресса, Литературная премия Фонда Розы Этингер). Член израильского ПЕН-клуба. Живет в Израиле.

СЛЕД И ТЕНЬ*

Всё случайное – не случайно. Всё необязательное – обязательно.

Шел чумацкий обоз по степи, вез соль из низовых земель, чтобы опспеть на ярмарку и продать с барышом. Волы тянули поклажу, хвостами отбиваясь от слепней-кровососов. Чумаки выпевали с ленцой тягучие гласные – эхом вислоусых, преждевыбывших дедов, истоптавших эту тропу. На вечерних привалах мазали дегтем колеса, варили в казане кулеш, пили теплую горилку, заедали оплывшим прогорклым салом, валились навзничь на иссохший за лето ковыль, выглядывая твердь над головой, течение небесных светил, путеводную Чигирь-звезду, по которой сверяли направления. Пролетал сыч к сычатам на бесшумных крыльях. Гукала неясить от несытости своей. Падающие огни рассекали черноту ночи. Это блазнители сходили на землю к наведению порчи, выворотни изнаночного мира шершавили небосвод для посещения одиноких женщин, чьи мужья отправлялись на промысел, – чумаки задумывались, каждый о своем, и шумно вздыхали.

Разговоры огорожены словами. Молчания – беспредельны, на все стороны, по всем ветрам и соцветиям, как степи вокруг, обширны и поместительны, где места каждому – хоть руки раскидывай, но простора в их краю не было, простора в молчании не было нигде от вселенского окаянства, а потому костры в ночи не сохраняли, чтоб не привадить лихорожего инородца – зуб крив изо рта, выбегающего из приморского поганства на отгон людей и скота. Взглядывал из потайных убежищ несысканный люд, бедст-

* Главы из романа «Против неба на земле».



виями прибитый, вымаливал без надежды: «Не подступило ли замирение? Хоть где, хоть кому?» «Нет, – отвечали чумаки, – не подступило». «Не отошли ли полуночные страхи?» – «Нет. Не отошли». «В другой раз ужо взглянем, – и вновь уползали в затенья с подлазами, в ненадежные свои укрытия. – Зимой-то оно способнее: вкопался в снег и затих...»

Писк сулика. Шевеление ящери. Переклик ястреба и скрип колеса. Ехал в обозе престарелый рабби, изнуренный дорогой, возвращался в дальнее поселение, чтобы высвободить тайны из укрытий – каждому по его разумению. Рот, руки-ноги в подчинении у человека, глаза-уши-нос не в подчинении, и лишь рабби управлял всеми своими чувствами. Шептались о нем, будто сны виделись ему кошерные, а некошерным не было доступа. Будто побывал в хранилище душ, видел многие чудеса, о которых нельзя рассказывать, отпущен с поручением назад – уводить избранных в глубины сокровенного. «Рабби, – вопрошали молодые в горении души. – Что делать, рабби? С чего начинать?» «Развязывать, – отвечал. – Узелки неприязни. Добром оборачивается зло, отложенное на потом...» Ехал с рабби преданный служка, угождая в пути и на привалах, как мать угождает ребенку, не помышляя о вознаграждении. Слепни не тревожили их, блохи не заедали на ночлеге. Ели в сторонке, молились в сторонке, а чумаки взглядывали с почтением на святого человека, который прозревал невидимое, силой своей молитвы отводил беду в разбойных краях.

Небесная доброта переменчива. Объявилась на границе тень убиенного царевича, одолела перелазы на реках и двинулась на столицу добывать Московское государство. Следовали за тенью паны, шли сбродные команды, разноплеменные охочие люди, нападатели с разорителями – отобрать престол у похитителя; походя ограбили обоз, забрали у рабби овчинный тулуп, которым укрывался во сне, ознобили испугом. Человек мал, а события велики, не всякому по размеру: к ночи, в грозу, промок рабби на яром ветру, подхватил простудную горячку – много ли старику надо? – и отошел к полудню в мир иной. Служка упрашивал чумаков, деньгами соблазнял, в ногах ползал, чтобы довели тело до ближнего еврейского кладбища, но те спешили на ярмарку, а потому просьбам не вняли: схоронили рабби в ложбинке при дороге, возле одинокой корчмы, и отправились своим путем.

Надорвал служка одежды, побежал по шляху без дыхания в груди, взмывая на кособоры и опадая в низины, застучал в окна-двери:

– Которые похоронят своего! Посреди чужих!.. Горе, кричите, горе!

Громко возопили сыны Израиля. Голос скорби вознесли к небу. Бежали. Стенали. Спотыкались на пути плача. Рвали на себе волосы, будто пришел последний их час. Роняли туфли с босых ног и не останавливались, чтобы подобрать. Бороды раздваивались на ветру и утекали за плечи, крыльями взмывая за спиной. Руки тянулись вперед ладонями кверху, чтобы излилась в них небесная милость. Пальцы дрожали. Пейсы трепетали. Губы шевелились беззвучно: «Владыка мира! Опора в изгнании! Насылающий смерть по справедливости...»

Горе пожрало силы, как огонь сухую траву. Содрогнуло души в сокровенных глубинах и подломило колени: «Рабби! Наш рабби!..» Пали на могилу. Плакали. Изготовились перенести к себе, в намоленный дом покоя, но сказал один из них, самый прозорливый, не потерявший рассудка в столь горестных обстоятельствах:

– Не станем беспокоить праведного человека. Который родился с кипой на голове. Осядем, пожалуй, здесь.

– Хэйбт зих ун, – отозвались на это. – Начните – и начнется... Кладбище есть. Дом учения выстроим. До корчмы недалеко. Что еще надо?

Сговорились с паном за сходные поборы и перебрались на новое место, поближе к наставнику.

Чего только на свете не бывает! Не успели оплакать рабби, как пополудни, на день седьмой, ровно на седьмой поплыл камень по многоводным разливам, грузно и неспешно, посреди лугового разнотравья, из рек в притоки, из притоков в протоки и встал накрепко на его могиле. На камне указано – каждому на обозрение: «Пал венец главы нашей!..»

Кладбище заселялось. Угущалось почвой. Прорастало буйными травами, от которых порча скоту. Вредоносные духи, насылающие безумие, красногубые вампиры, всякая сотворенная мерзость обходили стороной их поселение, чураясь праведного человека. Ели хлеб, пока был у них хлеб. Пили воду, пока была вода. Рано старели и поздно взрослели. Летом, посреди светлого дня, тучился край неба, обвисал над головами, и они высматривали из окошек, откуда напоздает мрак. Если со стороны кладбища, от могилы наставника – как пришло, так и пройдет, щедро одождит посевы, изнывающие от безводья, радугой увеселит на отходе; если с иной стороны – оглушит громом, облистает молниями, градом обобьет колосья. В топкий проливной год забурлили мутные потоки, которые не перейти, вымыли промоины на кладбище, завалили камни, с верхом затопили могилы, обеспокоив мертвых, и те перебрались на бугор, на прогретое покойное место.

Чтобы там быть.

Годы отщелкивать – век за веком...

Тихо, ша! Не дыша!
Не спать, не зевать,
Музыкантам играть.
Трах, музыканты, трах!..

Открывается дверь, входит протак с бубном:

– Добрый вечер хозяину дома! Добрый вечер хозяйке и малым детушкам – не раз, не два, не восемь! Вот я стою перед вами, хохотун и насмешник в козлиной шкуре, шпиль-менч с бубенцами, чтобы представить истинное происшествие, «Ахашверош-шпиль» – с трубами, литаврами, хитрыми кунштуками. Присаживайтесь и получайте удовольствие: пе-

чальные майселе с радостным концом, тридл дидл, дидл дудл, о-ля-ля...
Расставить караулы, отворить двери – трон для царя-дурака!

Входит царь-дурак:

– Хотите знать, кто перед вами? Тру ра-ра, тра ра-ра, ра ри ра... Я – царь Ахашверош, грозный тиран, владыка Персидского царства от Индии до земли Куш: горе тому, кто с этим не согласен! На мне мундир с золотыми эполетами, на груди медали до середины спины, на голове корона из картона, в руке тросточка – та ри, ра ри ра...

Садится на трон.

Простак с бубном:

– Кто же у нас на очереди? Войди поскорее, ну войди! Сладкая, как цимес, аппетитная, как фаршированная щука с перцем, зажигательная, как добрая рюмка горилки... Стул для царицы!

Входит Вашти-проказница:

– Я – гордая царица Вашти, хожу где хочется, говорю что вздумается. На мне платье с золотинками, шляпа с вуалью, перчатки до локтей, над головой зонтик. Кто меня не видел, тот не встречал завлекающей женщины. Кто меня не увидит, тот зря проживет на свете, – тиди риа, риа риа, тум там трам...

Садится на стул.

Простак с бубном:

– Тихо, ша! Не дыша! Что за шум, что за гвалт? Куда спешит этот шейгец? Встань уже здесь, огласи царский приказ.

Входит гонец с трубой:

– Бом би-би бом, би-би бом, бам-бам... Перед вами человек низкого происхождения, дурного воспитания – на носу очки, на ногах лапти. Послал меня Ахашверош-дурак, велел передать: владыка мироздания с войны приезжает, а она, стервина дочь, его не встречает. Марш во дворец, эйн, цвей, драй! Выспаться царю не на ком...

Трубит общий сбор.

Вашти-проказница:

– Передай царю-дураку. Не он ли у моего деда впереди кареты бежал и коням хвосты заплетал? Безумства мои не проявлены, томления не насыщены, желания истощаются попусту. Храпеть можно и на перине, риа тиа тум...

Царь-дурак:

– Передай царице. Чтобы не морочила мне голову, а готовилась лучше к смерти. Зовите палача, ча-ча-ча! Хватит ей жить.

Входит палач-весельчак:

– Перед вами вешатель, мучитель-потрошитель, каких не сыскать на свете, – это ни о чем, конечно, не говорит, кроме того, о чем это говорит. Три дня не рубил головы, неделю не вешал, с зимы не топил в проруби – теряю сноровку-умение. Подайте кого-нибудь, ну подайте! – ри та-та, ра та-та, тум бум бжик...

Точит топор со скрежетом.

Вашти-проказница:

– Ах, он меня прекратил... Нельзя и в ум взять!

Рыдает.

Простак с бубном:

– Ох, Вашти, Вашти, ох, малке Вашти, ох!.. Мы продолжаем, идн, мы продолжаем: там же, о том же, те же, тогда же. Дритер акт – с ясным умом и глубокими чувствами. Говори уже, царь-дурак, мешок на возу, бельмо на глазу, – чего ж ты молчишь? Наполни поступки смыслом.

Царь-дурак:

– Приведите ко мне Вашти. Без излишних одежд-церемоний. Тру ра-ра и тра ра-ра, ра ри ра...

Простак с бубном:

– Вашти, ха-ха, Вашти... Так ее же казнили! Ох, мелех типеш, мелех типеш! Отрубленное однажды не отрастает, тридл дидл дудл...

Царь-дурак:

– Казнили?.. Подберите тогда другую жену. Учините поиск. И немед-ля-ля!

Простак с бубном:

– Это пожалуйста. Это мигом. Приводим мы, приводим мы, приводим мы Эстер...

Входит Эстер:

– Я Эстер – нет меня краше. Ростом с медвежий хвостик, нос впрозелень, уши-тряпочки, сама, как старый башмак. Возьмите оглоблю от телеги, кочерыжку от капусты, скрип от несмазанных ворот – перемешайте, процедите через ситечко, дайте мне выпить, и я похорошею. Ой ли вэй ли, ой ли вэй ли, лю ля-ля...

Прикрывает лицо платочком.

Простак с бубном:

– Что она говорит? Что она такое говорит?.. Красавица! Скромница! Стыдливица! Нежная и трепетная! Всё-то она знает, всё-то понимает...

Царь-дурак:

– Скромница? Трепетная стыдливица? Тогда ладно... Отличим ее к лучшему, возлюбим более других жен, сделаем царицей без промедления. Тру ри, ру ри ра...

Простак с бубном:

– Ой вай-вой, зовите скорее Мордехай! Алтер Мордехай, мудрый и благородный – он один способен распутать этот клубок... Морде-хай-ай-йя-йя!.. Приди уже, поменяй направление беды!

Входит Мордехай:

– Один иудей был в Шушане, городе престольном, который никому не кланялся и не падал ниц перед человеком, ибо запрещено воздавать смертному Божеские почести. На мне долгополый кафтан, на голове картуз, борода моя из пеньки. Наши слабости да обратятся в силу – ра-и, ра-и, ра-и ру-и, тай ри рам...

Раскрывает книгу, закапанную воском, носом утыкается в страницу.

Простак с бубном:

– Что за стук в нашу дверь? Вус, фарвус?.. Неужто принц-шпринц, бравый кавалер Аман? Заходи уже, злодей, горе нашему смеху, скажи и ты слово, причины евреям беды-страдания!

Входит бравый кавалер Аман:

– Я Аман, за гадостью не лезу в карман: что замышляю, то исполняю, что насылаю – не просквозит мимо. На мне генеральский мундир с погонями, если вы знаете, что это такое, на сапогах шпоры, если вы когда-нибудь их видели, на боку кинжал, на лице сажа, чтобы пугались, – тирли дирли, дирли дурли, тру-ра-ра...

Простак с бубном:

– Газлан, рамай, волчи твои глаза, чтоб тебе расти луковкой – головой в землю! Чтоб шнурки твои пережили твои ботинки! Чтоб карманы твои вывернуло наружу, а рукава внутрь! Чтоб шерстистое на тебе стало гладким, а гладкое шерстистым! Чтоб тебя закопали-выкопали! И чтобы покрутился ты половинками, червяком на лопате, – тридл дидл дудл...

Бравый кавалер Аман:

– Хе-хе-хе и хо-хо-хо! Ругайте меня, ругайте: это придает силы и укрепляет намерения. Завтра я повешу Мордехая и искореню ваш народ – тирли дирли, дирли дурли, опа-ля...

Сворачивает из веревки петлю.

Простак с бубном:

– Ой, Амалек, дер гройсе Амалек!.. Кровь стынет в жилах, слова застревают в горле, бубенцы опадают; перерыв, идн, перерыв: не устанешь – не отдохнешь! Отворяйте погреб, хозяйка, наливайте пива, наполняйте тарелки доверху, уговаривайте поменьше: еврею поесть не запрещается, шпиль-менч с бубенцами должен подкрепить свои силы. Рахмонес, идн, рахмонес! Чтобы мой Аврум этого уже не знал...

...Аврум Шпильман сидел в корчме у кривого Шайке, пил на радостях горькую, закусывал гусиной печенкой – во рту таяло, и все вокруг знали, что у него под утро родился сын. И какой сын! А на соседней лавке сидел Мотке-портной из неблизкого местечка, тоже пил и тоже закусывал печенкой, ибо у него в то утро родилась дочка.

Глубокие снега. Великие грязи. Жирные перегнои. Реки без дна и неба без отклика. Корчма стояла на пересечении пушного пути с янтарным, на битой тропе из варяг в греки, из германцев в монголы, от европейских кладезей науки, риториков и грамматиков, схоластов и геометров – через тундряные нехоженые мерзлоты – к полуночным, безбуквенным пока народам, ленивым и сонливым, которые ели и плодились звериным образом. Стояла корчма и на незримой черте, не проявленной на карте, без учета незыблемых имперских границ; по одну сторону той черты добавляли в гефилте-фиш побольше сахара, а по другую – побольше соли и перца; по одну сторону фаршировали и варили шуку целиком, разделявая затем на

куски, а по другую сначала резали и начинали, а уж потом варили, дабы почтить субботу рыбным блюдом, – и горе той хозяйке, что вторгалась со своей рыбой в зарубежную географию.

Сходился к корчме разнovidный люд с равнин и горных высот: степной с лесным, городской с сельским, дикий и одомашненный. Натеснились, надышали, накурили сверх меры. Пили – шумели – веселели, а кто не веселел, тот тратил без пользы пропойную денежку. Выиграло сердце у Аврума, и вскричал он во все уши:

– Сын мой – что-то особенное! Нет и не будет на свете умнее!..

Вскричал в ответ Мотке-портной:

– Дочь моя – нет и не будет краше!..

Людно в корчме. Гулко от голосов. И сказал корчмарь Шайке, как встал на цыпочки и заглянул в будущее:

– Прибавил муки – прибавь воды... У тебя сын, у него дочь – вот вам и пара.

– А что? – согласились охмелевшие отцы. – Таки породнимся!

И обнялись. И поклялись при свидетелях...

Прошли годы. И прошли месяцы. Человек склонен к скорому забвению, а потому Аврум Шпильман не помышлял о последствиях, прибавляясь кшечным промыслом для изготовления гефилте-кишkes, чтобы заботливые хозяйки наталкивали туда тертый картофель, гусиный жир, лук с чесноком, черный перец, муку и яйца. Голосом тих, натурой упрям, Аврум говорил мало, чтобы не сказать лишнего, что знал, сохранял при себе, чего не знал, честно говорил: «Не знаю». Кавун с тыквой в огороде, подсолнух с мальвой в палисаде, махотки чередой на плетне. В один из дней подкатила телега со стороны восхода – не разглядеть седоков, слез возле дома Мотке-портной из неблизкого местечка:

– Где наш жених? О котором уговаривались.

И девицу показал – косая, хромая, короткопалая, губы обкусаны, пряди посечены, на щеке родинка с целковый, на родинке приметная волосинка. Словно хлеб подсохлый, не sprыснутый колодезной водой, и глаза к полу – как отталкиваемая, которую некому приблизить.

– Нет! – вскричала жена Шпильмана. – Несовместительно!.. – И завалилась в пыль посреди улицы: – Умру – не отдам ребенка! Златокудрого! Чистотелого! Без единой изъянки! А эта – косая, кривая, беспалая, похужеть некуда, а что у нее под платьем – еще посмотреть!..

Крики. Слезы. Толки на всю округу. Шепоток по домам к радости пересмешиков: «Отчего невеста охромела?» – «Споткнулась о соломинку». «Отчего оглохла?» – «Муха чихнула в ухо». «С чего окосела?» – «Комар сел на глаз...» Жена Шпильмана ослабла с горя, так ослабла, что встать не могла, не могла сесть, но всё видела при этом, всё слышала, всеми командовала: «Рахмонес, идн, рахмонес!..»

Пошли к ребе. Уговор был? Был. Клятва была? Была. Повод к несогласию есть? Повода к несогласию нет. Надо женить, сказал ребе. Через год на

второй. Может, к тому времени невеста выправится, похорошеет – не в красоте счастье...

Прошел год, подступил второй – Аврум Шпильман сидел в баньке над речкой, курил спирт из заквашенного хлеба, накручивал на палец золотистую пейсу. А вокруг обитали лица злокозненной нации, по прежним узаконениям нетерпимые, благоденствующие отныне «под благословенною Ея державою» после раздела шляхетской вольницы. А по дорогам уже катил тайный советник Плющевский-Плющик с прочими сопутствующими чинами для досмотра новоприобретенных земель, дабы прививать добро принуждением, чинить за своеволие суд и расправу. А по местечку уже гулял канцелярист Шпендорчук в мундире акцизного для искоренения запретных торгов и промыслов; доблестный инвалид на деревянной ноге – исподнее из бумазейной ткани – лупил палками по барабанной коже к уведомлению обывателей; пожарный обоз застыл наготове – охлаждать из брандспойтов недозволенные страсти; урядник с шашкой встал столбом на рыночной площади – кулаком озадачивать без жалости, чтобы народ трепетал в строгости-повиновении. Но Шпильман ничего этого не знал, у Шпильмана приближалась свадьба – не напасешься, а потому он сидел в баньке и курил спирт, который горел синим пламенем, если его, конечно, поджигали.

Ехал мимо казак на коне, душу ублажал пением к одолению пути: «Как на каждой волосиночке по горячей по слезиночке...» Унюхал влекущие запахи из баньки, скомандовал: «Стой стоймя!», спросил в голос:

– Не поблазнилось ли?.. Однако не поблазнилось. Жид, а жид, отлей на пробу! Горилочки-водочки по самые глоточки.

Хлебнул из ковшика, ухнул, ахнул, подбоченился:

– Ну, с кем на перепивание?..

Хлебнул еще, утерся рукавом и поскакал на любовную баталию – чуб на ветру:

Не вари кашу крутую – вари жиденскую,
Не люби девку сухую – люби сытенькую...

Шли роты с примкнутыми штыками на прорыв обороны. Катил малый чин в крытой фуре – сапоги под смазью, держал надзор за денежным ящиком, припоминая субреточку на привале: «Уложи меня, неуложенного. Обласкай меня, необласканного...» Сунул голову из фуры, склонил нюх к пахучим соблазнам:

– Воскурения – они зачем? Не секта ли шалопутов, оргии творящая?..

Вскричал в скорой догадливости:

– Жид сей! Умыслив деяние... Которое непопустительно... Плесни от широты сердца, чтоб жизнь пошла ахальная!

Высосал ковшик до дна: «Одномоментно, други, одномоментно!», высосал другой: «Паче чаяния!», выдул изо рта огневой факел и покатил да-

лее на сатисфакцию, дабы истрепать врага до излишней крайности. Сидел ровно, глядел зорко, вопрошал по читанному встречные пространства:

– Оборону от клопов держали?..

Канцелярист Шпендорчук, притомившись, восседал у старосты за столом, отстегнув у мундира верхнюю пуговку, перехватывал до обеда глазную из дюжины яиц, не оставлял без внимания сливовицу, употевал от чая с черешневым вареньем при заполнении начальственной паузы, – жена прибежала в баньку, сообщила шепотом: «Ой вэй, Аврум, на подходе кутузка – каторга – кандалы – Сибирь!..» Но Шпильмана нелегко испугать. Шпильман не всегда знал, что ему надо, нутром угадывая, чего не надо, а этого было достаточно для уклонения от невзгод. Он не желал в Сибирь, ни в коем случае, а потому подкрутил пейсу, вышиб затычку у бочки и спустил спирт в реку по скрытому протоку, избежав кутузки-каторги-кандалов.

Удача от неудачи – не всякому доступно.

А в реке на отмели стояли коровы. У коров – полуденный водопой. Пастух дудел в сопелку из бузины, стадо хлебало пьяную воду, не могло хлебаться – и закружились тугодумные головы, пробудились из дремы женские потребности, побежали гурьбой к быку, чтобы покрыв немедля. А бык был, что за бык! – страшнее страшного: в силе, славе и могучей дикости. Бык поглядел – бегут на него дойные коровы, словно бзык напал, мычат томно от взывавших вождлений: хвост задран, глаз в дурной пелене, сосцы торчком, как надерганые, вымя налитое, неподъемное, шлепает наотмашь по крутым бокам. Бык перепугался: одному не управиться – затопчут, и поскакал прочь, вскидывая ноги, словно теленок на дугу. Углядел урядник в своем остолбенении, что скачет на него свирепый бугай, набычив рога, и припустил дробным поскаком, топя казенными сапогами, шашкой выписывая каракули по пыльному тракту. Бык за урядником, коровы за быком, пастух с дудочкой за коровами...

Шел к рынку увертливый Шмуль, не брезговавший недозволенными гешефтами, видит – бежит на него урядник с шашкой на боку, и помчался от него во всю прыть, чтобы не попасть в блошиную каталажку, ибо случилось подобное, и не однажды. Урядник за Шмулем, бык за урядником, коровы за быком, пастух за коровами...

Шагал по улице Янкеле-бедолага, задолжавший всем и каждому, смотрит – бежит на него Шмуль, которому не вернул две полушки с прошлого лета и не вернет, наверное, никогда. Шмуль за Янкеле, урядник за Шмулем, бык за урядником, коровы за быком, пастух за коровами...

Стояла у ворот теща Янкеле, въедливая старуха, которую он грозился истолочь, видит – бежит на нее зять, чтобы исполнить намерение, и запрыгала по улице – откуда что взялось. Янкеле за тещей, Шмуль за Янкеле, урядник за Шмулем, бык за урядником, коровы за быком, пастух за коровами...

Вышел из дома канцелярист Шпендорчук на акцизную службу-старание, дабы продлить оную с похвалой, видит – толпа, пыль до небес: все бегут, и все на него. Измена. Злодейства. Бунт на скопищах. Еврейский бунт,

бессмысленный и беспощадный – переняли, пархатые! Шпендорчук вприпрыжку от тещи, что оскорбительно и позорно. Теща вприпрыжку от Янке-ле, что натужно и огорчительно. Янке-ле вприпрыжку от Шмуля. Шмуль-рысцей от урядника. Урядник скоком от быка. Бык галопом от коров. Коро-вы иноходью от пастуха. И убежали за горизонт, что удивительно и неправ-доподобно...

Вот картина, достойная изумления, укоризны и порицания!

А Шпильман сидел в банке над речкой, накручивал пейсу на палец и курил новые запасы спирта, который пылал жарким пламенем в человече-ской утробе, от чего возгорались сердца, пробуждался аппетит, в припляс-шли ноги.

Чем же оно закончилось? Тем оно и закончилось. Хупу поставили в пят-надцатый день месяца Ав: нет лучшего дня для соединения сердец. На свадьбу явились мастеровые – жестянщик Блехер, литейщик Гиссер, сто-ляр Тышлер, Фарфурник с Гуральником, Ткач с Пекарем. Веселил гостей Бенья Пукер, завиральных дел мастер, – как без него? «Нынче бульба, зав-тра бульба. В хлебе бульба, в рыбе – бульба...» Душу надрывал горбатый печальник Фиделе – стоном на скрипичной струне, так надрывал, что все изошли плачем, будто на похоронах. Пришлые клезмеры ублажали сердца: кларнет с трубой, флейта с цимбалами, барабан с тарелками: «Бам-бада-дам, бада-тири-дам...» – даже старая Цирля прошлась с рукоплесканием в свои завосемьдесят, стяхнув с плеч несчитанные зимы. Подали на стол кугель. Форшмак. Фаршированную шуку. Ели ее со жгучим хреном, проливая ра-достные слезы, напевали от избытка чувств, не опасаясь подавиться рыб-ной косточкой, кричали молодым: «Здоровье на вашу голову!», а во главе стола сидел Фишель, жених-загляденье, рядом невеста-уродина – не на что посмотреть. Выпили, отплясали свое, и наутро молодоженов отослали в город, с глаз долой, чтобы над ними не потешались. А то, не дай Господь, нарожают страшилищ...

Он любил ее до самой смерти, не мог наглядеться – желанную к ночи и желанную под утро, хорошевшую безмерно в минуты прикосновений. От радости голубели ее глаза, опушались посеченные пряди, привядшие губы расцветали в неутоленном зове, спелые, влажные, наливные, в несмелом раскрытии женских сокровенностей, а она – в благодарность за подарен-ные ликования – выносила мужу семь сыновей, Шпильмана за Шпильма-ном, красавца за красавцем, зачатых в полноте ощущений. Семь сыновей – семь свечей: Фишель привез их к отцу с матерью, и всё местечко сбежа-лось взглянуть на Божий подарок. К чужой радости не прилепишься, в чу-жое счастье не протиснешься – такие сыновья, таких не бывает на свете! Их даже хотели украсть, одного хотя бы, самого крохотного, самого при-глядного, с золотистыми локонами, в бархатной ермолке, звали его Герше-ле, Гершеле-мизинчик, – к этому приставили охрану.

– Береги ноги, Гершеле, – благословил Аврум Шпильман, и слеза про-лилась в бороду. – Тебе далеко идти...

...Гершеле, ай, Гершеле! Ростом высок, телом силен, духом покоен – всё, что ни делал Гершеле, он делал замечательно. Резал сосновые донца, гнул дубовые клепки-боковины, стягивал обручами, забивал затычки в сливные отверстия, выставлял на загляденье бочонки под брагу, ушаты под воду, кадушки под муку, крупу, моченую ягоду, бочки для засолки грибов, огурцов и капусты. Вставал на пороге крохотный Шимеле, руки заложив за спину, высвеченный золотоволосым дождем до плеч, говорил с надеждой:

– Мешаю работать...

Гершеле откладывал инструмент, отодвигал в сторону донца с обручами; они усаживались на смолистые стружки, и отец спрашивал сына:

– Про кого теперь?

– Про гуся, – просил Шимеле.

– Лук репчатый, гусь лапчатый, червь кольчатый, а человек крапчатый... – начал бы Гершеле таким манером, если бы знал русский язык, но начинал он иначе и на идише: – Жил на свете гусь, у которого была голова самого большого гусяного размера.

– У тебя тоже большая, – говорил Шимеле и приваливался к отцу под бочок, опавшая молочным запахом.

– У меня тоже, – соглашался Гершеле. – Гусь очень гордился своей головой и носил фуражку с козырьком и красным околышем, как у господина урядника.

– И у тебя, как у урядника, – снова говорил Шимеле и вздыхал от избытка чувств.

– Ну уж нет! У меня фуражка, как у скрипача на крыше, – мог бы возразить Гершеле, но время к тому не подошло, а потому он продолжал рассказ и продолжал его так: – Надо сказать тебе, Шимеле, что это была еврейская улица, и дома на ней были еврейские, еврейские запахи, еврейский мусор, еврейское небо над головой, а по еврейскому двору ходили еврейские куры с утками, цыплята с гусятами, клевали еврейский корм. Жил гусь и жил, хвастался своей фуражкой самого большого размера, а индюки надувались от зависти и буркали с небрежением: «Где украл – где украл?..» Это были заморские индюки, которые не считали себя евреями, а оттого важничали сверх меры: «Мы по-вашему не едим. По-вашему не ходим. Так себя не ведем, а ведем себя не так. У нас и носы другие, и лапы, и хвосты нездешние. Подкормимся – полетим дальше». «Куда-куда?..» – волновались куры, замирая от восторга. «Их вейс! – отвечали индюки. – Мы знаем?..» Так они жили на том дворе, так проходили дни с неделями, и вдруг гусь стал замечать: фуражка напозавет на лоб, затем на глаза, и не разглядеть из-под козырька, где миска с кормом, чем занимаются куры с утками, как обогнуть яму, которая на пути. Понял гусь – голова стала мельчать, и ежели не принять срочные меры, она обратится в сливу, орех, а там и в усохшую горошину, что отвратительно и содержит противоречия, несовместимые с житейским опытом.

– Что же теперь делать?.. – в волнении замирал Шимеле.

– Можно надеть крохотную шапочку самого малого гусиного размера, но это обидно и нестерпимо. Есть, конечно, и другой вариант.

Гершеле замолкал и молчал долго.

– Говори, – просил Шимеле. – А то засну.

– Чтобы наполнить живот, надо побольше есть. Чтобы наполнить голову, надо почаще думать.

– Я думаю, – сообщал Шимеле. – Сейчас, например, я думаю о том, что делать гусю. И голова моя растет.

– Твоя голова растет – это так. А гусь не знал, о чем подумать, потому что кормили его досыта и думать было незачем. Но это был гусь с еврейского двора, склонный к размышлениям, а потому он стал ходить взад-вперед, крылья заложив за спину: «Задумаюсь-ка я вот о чем: отчего у гуся нет копыт? И рогов тоже нет...» Не думается никак во дворе – гусыни отвлекают, гусыни-глупыни, которые без конца гогочут: «Что на ужин, что на ужин?...» Залез в сарай, темно, никого нет: не думается в сарае о бескопытных и о копытных тоже не думается – спать хочется. Пошел за ворота в густые травяные заросли: думается с трудом и не о том, потому что страшно. А головы совсем уж не видно: гуляет по двору туловище на бескопытных ногах, никто не знает, что делается у него под фуражкой, и даже презренные лягушки оквакивают его из-под бочки с водой: «Квак смешно, квак смешно...»

– Дальше что? – спрашивал Шимеле.

– Дальше что? – спрашивал гусь со двора, заглядывая в мастерскую.

– Еще не придумал, – сокрушался Гершеле, в котором иссякал ручеек вымысла.

– Хочешь обидеть? – шипел гусь и тянул шею, чтобы ущипнуть.

– Да ты что!

– Тогда придумай. Найди выход из положения, которое прискорбно и непочтительно.

– Почему я?

– Ты рассказываешь – тебе и находить.

И вытаптывал с угрозой «бройгез танц» – лапчатый танец обиды.

– Гершеле, – кричала через плетень свадебная кухарка. – Гусака не уступишь? Откормить – и на стол!

– На стол – это зачем?..

– Печенка от него хороша. Жаркое. Шмальц со шкварками...

Шимеле с ужасом глядел на отца. Гершеле с ужасом глядел на кухарку. Гусь прятал голову под крыло – каково это услышать? – и поджимал ногу, словно морозом ожгло пятку на снегу.

– Нет, – говорил Гершеле. – Гусака не уступим.

А тот вытаптывал на радостях «шолем танц» – танец примирения...

Путь от зачатия известен всякому. Когда минуют назначенные сроки, роженица выпускает девяносто девять вздохов, девяносто девять криков, и лишь сотый из них – крик новой жизни. Жила в местечке Хая-повитуха, которая заплетала ногу за ногу, всё роняла, про всё забывала, путала дорогу

к роженице, отчего вечно запаздывала и приходила после родов, а то и завтра. Это оберегало ее от многих неприятностей, и это ее кормило: появившись растеряха вовремя, кто знает, что бы случилось с младенцем, но женщины, пообвыкнув, не ждали, пока она появится, завяжет пупок, и с молчаливого согласия исправно платили за вызов. Да и то уж...

...проще всего обвинять Хаю-повитуху, но не мешало бы выслушать и другую сторону. У Хаи был муж, Пици Узенький, Пици-трубочист, который ходил в город на промысел, ибо пролезал в любой дымоход на крыше, если конечно, не было в нем заслонки. Побывав однажды на свадьбе и исправно поработав за столом, Пици округлил животик и под утро застрял надолго в трубе. Печь не топили. Трубочиста не кормили. Выгналкивали его всем народом, заодно с полицией и пожарной частью, но тело шло туго: голова торчала наружу, озирая окрестности, живот опадал от голода, Пици бормотал горестно в ожидании вызволения: «Кому покой, а кому скитание... Кому унижение, а кому возвышение...» Накостыляли по шее, надавали тумачков на дорогу, не велели появляться в их краях, и домой он вернулся отощавшим, без единой копейки, услышав с порога плач очередного младенца, который разевал рот для принятия пищи...

Дети умножают радость и порождают заботы: Хая-повитуха рожала не реже других в местечке и тоже обходилась без посторонней помощи.

– Чтобы было кого кормить.

И всех это устраивало.

Известно не понаслышке: рабби Ханина и рабби Ошайя в канун субботы изучали книгу Брешит; посредством ее сотворили трехлетнего теленка, им же затем и поужинали. В последующие времена этого уже не умели; с неба не опадало пропитание, достаемое без забот, возрастали повинности к оснащению войска, пешего и конного, против безбожного корсиканца, и когда Бася отвздыхала положенные вздохи, Гершеле призадумался: где бы ему подработать, дабы отринуть беспокойство о прокормлении? Ремесло Гершеле не кормило, ремесло никого не кормило: народ по округе обеднел, истратился, каждый платил другому водицей из колодца, и то не доверху. Бочки усыхали, обручи опадали, донца выпукивались сами собой, жизнь размазывалась просяной кашей по тарелке – лизнуть да понюхать. Кому нужны бочонки с кадушками, ежели нечем их наполнить?..

– Бася, – повторил Гершеле заученное с детства: – «Как снится голодному, будто он ест... Как снится жаждущему, будто он пьет...»

Бася понимала мужа с полуслова:

– Гершеле, сердце мое! Сходи к старой Цириле. Она подскажет.

Жена сказала – Гершеле не послушался. Цириля сидела у раскрытого окна, пекла пупырчатые оладьи и угощала каждого, кто проходил мимо. Старая Цириля похоронила всех одногодок в местечке и жила дальше, отяжелевшая телом. Думала она недолго:

– Главное не то, что из кармана, а то, что в карман. Утаенное умирает. Неразгаданное не рождается. Людям надо подсказать их желания.

– Желания?
– Желания.
– Они и без нас их знают.
– Они не знают, а потому томятся в сомнениях. Подсказавший желание – преуспеет.

И накормила его оладьями.

Назавтра на рыночной площади появилась вывеска «Мы знаем, чего ты желаешь. Зайди и убедись».

Ходили вокруг евреи, истомленные заботами, малым остатком давнего рассеяния, комковатые и клочковатые, сучковатые и дуплистые: видно было с расстояния, что с питанием у них плохо, видно было по иным, что с питанием у тех хорошо. Взглядывали на небо в смутных жалобах: «Дал жизнь – дай парносе!» Взглядывали на заманчивую вывеску, приговаривали уважительно:

– Этот Гершеле! Что-то особенное...

Но дверь открыть опасались, ибо были не при деньгах.

Элькин муж – хромой бедолага, не знающий родства, – промышлял по соседству редким промыслом. Элькин муж обучал мычанию окрестных коров с телятами, каждого иным мыком, коротко или протяжно, голосисто или задавленно, чтобы хозяева отличали на расстоянии. Дело шло ходко. Уже объявился клиент, который копил деньги на козу, и Элькин муж подумывал о том, как бы расширить коммерцию.

– Это прибыльно? – интересовались многие.

– Они еще спрашивают... – отвечал он, драный, латаный, в лоскутной рубахе, и мычал с отчаяния, как некормленная корова.

Ему нечего было терять, а потому Элькин муж решился на отчаянный поступок. Первым вошел к Гершеле, затворил за собой дверь, вышел через немалое время – сияет:

– А гройсе менч!.. Он сказал, что желание мое – оставить след памяти. Для тех, которые придут за нами.

– Это так?.. – усомнились маловеры. – Такое у тебя желание?

– Именно! – просветился изнутри продавец мычаний. – Но я об этом не догадывался.

– Сколько же это стоило?

– Первое желание бесплатно.

– Бесплатно? Можно попробовать.

И установилась очередь. И каждому Гершеле сообщал единственное, выстраданное, запрятанное в глубинах:

– Желание твое – не ведать утраты...

– Не испробовать вкуса зла...

– Не преступить за пределы дозволенного...

– Гершеле... – восклицали они на выходе и причмокивали от восторга. – Этот Гершеле! То, что мне надо...

Вечером Гершеле пришел домой, сказал уныло:

– Сапог подметки не стоит... Каждый заходил по первому разу и каждому бесплатно. Даже на завтра есть желающие.

– Гершеле, душа моя! – отозвалась Бася. – Сделай так: первое желание за деньги, второе без оплаты.

Назавтра собрались евреи перед заманчивой вывеской, но входить остерегались, дабы не платить за первый визит. Зашел только Элькин муж, ибо сообразил, что для него это второе посещение, которое снова бесплатно. Пробыл у Гершеле немалое время, вышел – гордо оглядел народ:

– Дополнительное мое желание – воспарить духом и вознестись в понимании.

– А-ах!.. – вздохнули обделенные. – Такое оно у тебя?

– Такое, конечно, такое! Заходите. Каждому за грош.

– Откуда у нас грош?

– Он дает в долг.

– В долг? Стоит попробовать...

И снова установилась очередь. Чтобы Гершеле сообщал каждому его заветную мечту, ставшую наконец-то явной:

– Осилить горы премудрости...

– Возвыситься по степеням совершенств...

– Познать скрытые откровения...

– Покоя в непокое от врагов – такое твоё желание...

Ночью Гершеле вернулся домой, сказал в удручении:

– Народу столько – некогда было поест. А в кассе ни гроша.

– Гершеле, радость моя, – предложила Бася. – Подожди до утра. Уж за третье желание им придется заплатить.

Удача глаза дерет. Всякому охота войти в прибыльное дело, и наутро объявились товарищества на паях, голоштанник на голоштаннике, два мертвеца пустились в пляс – «Шлифер и Шляйфер», «Пельцер и Мельцер», «Махер и Шерешевский», «Гурништ и К^о». Рынок расцвел под утро призывными вывесками: «Мы тоже знаем, чего ты желаешь!», «Чтобы другие так знали, как мы это знаем!», «Вот, наполнилось желание твоё: зайди и убедись!» И опечаленный Гершеле побрел к старой Цирле:

– Для чего зубы, когда нечего откусить? Для чего горло, когда нечего проглотить?..

Она выслушала его рассказ, пожевала бесцветными губами, сказала печально:

– Я обещала преуспевание, и ты этого добился. По домам только и разговор о Гершеле, которому стоит подражать. Но доходов я тебе не обещала – да и откуда тут доходы?

– Другого занятия нет?

– Есть и другое. Скупать позабытые истины, которые не в цене. Дождаться, когда появится спрос, и выставить на прилавок, с коробом пройти по дорогам. Позабытые истины в завлекающей упаковке...

Ночью Бася жарко зашептала на ухо, не голос – шелк с бархатом:

– Не грусти, Гершеле, свет мой в окошке, переживем и это! Вот я раздаю твои желания, самые сокровенные: досадно не будет.

– Ты это умеешь?

– Ну конечно! Первое желание – без оплаты. Второе – в долг. Третье – до ранних петухов.

Мальчика назвали Шолем...

...душа человека, что малый колокольчик. У одного глухая, надтреснутая, попользованная без смысла – стук-бряк, у другого звонкая, распевная, взлетающая на верха – дзынь-дзынь. Шолему досталась легкая, заливиная душа – бубенчиком прозвенеть по жизни, но сквозь неодолимое его стеснение, сумрачную несговорчивость прорывалось наружу унылое бряк-бряк.

Это был нескладный подросток с блондинистыми пейсами, утонувший в зыбких ощущениях, пугливо взерошенный зверек с обкусанными ногтями, который с детства тянул калечную ногу, что тоже не добавляло уверенности. Шолем не любил заглядывать в зеркало, в водную стоячую гладь, ибо выпало ему на долю смывое, непроработанное в подробностях лицо, как недодержанное в небесном проявителе, без намека на складку возле носа, морщинку на лбу, без надежды на решительный характер, словно уготовано от рождения строить и разрушать, разрушать и строить без видимых результатов. Шолем опасался не боли – насмешки, разоблачения, и оттого вечно ссорился с приятелями, а бабушка Зельда держала его сторону, даже если он был неправ, бабушка не укоряла внука, хотя и было за что.

Обстоятельства копили обиды. Обиды растравляли раны и подсасывали укоризнами. Светлые сожаления, оказавшись без применения – не выручил того, не утешил этого, – обращались в сожаления затемненные: не отомстил тому, не напакостил этому. Шолем забивался в угол сарая, раздражительный, неуживчивый, догрызающий остатки ногтей, бормотал жалобы с уговорами, упрашивал неведомо кого, чтобы расселась земля, пожрала насмешников, и если бабушка отыскивала его, то отпаивала теплым молоком, укладывала в постель, подтыкала одеяло под бочок:

– Закрой глаза, Шолем. Заспи обиду.

Садилась возле него на скамеечку, открывала молитвенник, читала по складам, а мальчик ее слушал. На ветхих страницах было помечено карандашом: «Здесь вздыхают», «Здесь огорчаются», «Здесь проливают слезы».

– А где же радуются? – спрашивал Шолем, но у нее не было ответа.

Бабушка Зельда говорила плохо, зато молчала она замечательно, молчанием утешая внука, утишая гнев-удручение. Шолем терзался благодарностью, не способный отплатить за ласку, а бабушка угадывала его томления, руку укладывала на плечо:

– Ничего, милый, не надо. Сохрани для детей своих. Отдашь то, что получил от меня, и мы в расчете.

Когда бабушка слегла в постель, изгрызенная болезнями, Шолем затос-

ковал. Так тосковал, что не мог есть, не мог пить и исхудал без меры. Сидел возле ее кровати, твердил упрямо:

– Не уходи... Не пушу... Тебе еще рано...

Огонек задыхался в глубинах воскового стакана, опускаясь на дно не по своей воле, метался горячечно, припадал, угасая: «Воздуху! – молил. – Воздуху!...» Шолем подрезал верхние истончившиеся стенки, и огонь снова возгорался покойным недвижимым лепестком – словно больной, у которого спал жар, погружался в долгий освежающий сон. Но бабушке Зельде нечем было помочь, бабушка завершала пребывание на земле и делала это так: глаза глядели, губы шевелились, а тело по частям становилось неживым. Первыми умерли ноги и остались лежать под одеялом, как иссохшие плети на огородной гряде. Затем умерли руки, и лишь в слабом шевелении пальцев еще проглядывало желание двигаться. Веко опало, чтобы не подняться. Шея потеряла подвижность. Свет отемнел за окном. Голова не поворачивалась на подушке, чувствуя на языке вкус смерти, и был он прегорчайшим. Бабушка Зельда отмирала по частям, и Шолем оплакал каждую из них.

Ручьями утекли снега. Пронзительно заголубело небо. Облака поплыли в торжественном шествии, промытые, пушистые, взбитые заботливой рукой. Прогретая земля исходила паром, жаждая скорого осеменения. Мыши полезли из распчатанных с зимы нор – тощие, оголодавшие, настырные и увертливые. Бабушка шепнула перед уходом:

– Шолем, я тебя не оставлю...

Ее укутали в саван, белизна которого указывала на отсутствие желаний, и понесли хоронить. По весне. При рождении молодого месяца, манившего обещаниями. Ребе сказал так:

– Пока свеча горит...

А больше ничего не сказал.

Пришли соседи – проводить бабушку Зельду, исцеленную от недугов, набежали любопытные, и Шолем затосковал посреди равнодушных от неравенства в страданиях. Когда бабушку укладывали на ложе и покрывали землей, он ощутил остро, болезненно, надрезом по плоти, как одним человеком на свете – из тех, кто любил его – стало меньше.

– Могла бы еще пожить... – укорил без звука и поплыл по могучей, полноводной реке печали, что обтекала вокруг кладбища, оттоками петляла посреди надгробий, чтобы прибить к невидному камню, словно бабушкина любовь к нему, неприсыпанная землей, сохранилась на этом месте. «И умерла, и погребена здесь...»

Враждующих не хоронили рядом, грешника не погребали возле праведника – у бабушки Зельды врагов не было, она не грешила чрезмерно, а потому пребывала посреди достойных, неподалеку от наставника, который родился с кипой на голове. Шолем часто навещался к могиле, жаловался на сверстников, а бабушка жалела его и утешала из иного места пребывания, где темным-темно для тела и светлым-светло для души, если в это, конечно, поверить. Теперь бабушка не говорила ни слова, но молчала по-

прежнему замечательно. Стоило только прислушаться – она отзывалась Шолему дуновением ветра, стрекотом кузнечика, духовитостью трав, проросших на могиле, как отпаивала теплым молоком, подтыкала под бочок одеяло, говорила неслышно: «Если с горем проведешь ночь, оно станет привычнее, Шолем...»

Сказано – не доказано: раз в сотню лет является на небе мечтательная звезда, сошедшая с путей согласия, вводит в сомнение кормчих, путает карты с исчислениями: корабли сбиваются с курса, бьются о рифы, уходят под воду на вечное погребение. Раз в десять лет проходит стороной блуждающий странник, путает мысли и понятия, надежды перемешивает с огорчениями.

Ничто не появляется из ничего. Было лето. Полуденный его припек под тугое гудение шмеля. К прогретому камню прикасалась спина. Слеза остывала, опадая. Суматошились муравьи, вспархивали стрекозы, прорастала на усыхание трава. Молчанием утешала бабушка Зельда в паутинной его тоске, и в полудреме уединения – за прикрытыми веками, высвеченное переливчатым мерцанием, – явлено было Шолему видение...

Из ниоткуда, из режущего глаз света, в сквозистой тени куста соткался некрупный старик в одеждах диковинного покроя, с посохом в руке, угольной, жаром обожженной головешкой, опахнул запахами немойтой кожи и застарелой дорожной пыли. Лицо забурело жженым кирпичом. Борода сплелась с усами, опадая до пояса. Заросли лохматых бровей перекрыли глаза. Ноги его были коротки, до того коротки, словно стоптались за долгую дорогу. Тяжеленная плита из темного гранита перекрывала спину, нависала над головой и придавливала к земле, пригнув натруженную шею, будто разгребся человек из могилы, приподнял камень и отправился в путешествие по известной ему причине. Плиту прожгло солнцем, буквы запеклись на надписи – не углядеть, лишь «пей» и «нун» поддавались внимательному рассмотрению: «Здесь погребен...» Старик поворачивал голову вбок и вверх, желая увидеть небо, пальцем указывал на пригорок рядом с бабушкой Зельдой, делал плечом движение, чтобы скинуть ношу, – голос раздался, как громыхнуло грозovým облаком на подходе: «Не время... Еще не время!» Вздохнул, переступил с ноги на ногу и покорно побрел дальше, опустив голову, стаптывая ноги, растворяясь в полуденном мареве на краю кладбища. Был – не был. Пришел и прошел. След и тень...

– Кто это?

Мертвым доподлинно известно, что происходит на земле, – чтобы живые так знали! Бабушка отозвалась перешептыванием листвы над головой – улови и прими:

– Странствующий печальник...

– Пойти следом?

– Иди, Шолем...

Плоды отрываются от ветвей для обретения самих себя. Звезды снимаются с позиций. Человек – с обжитого пристанища. Заблуждения – един-

ственное, что следует припомнить и увязать в дорогу, чтобы не споткнуться о прежний пенек.

– Если потеряю, разыщи меня.

– Разыщу, Шодем...

Шли без дорожных припасов. Кормились по случаю. Воду пили, хлеб ели, варево из капустного листа, и затерялись посреди беспечных пространств, беззащитные перед страхами. Бабушка Зельда вела внука – без пути путь; на всякой развилке Шодем вставал, прислушивался и непременно получал ответ.

– Направо, Шодем... – отзывалась бабушка каплями рассветной росы, и они отправлялись по правой тропке. – Теперь, Шодем, налево...

Прошли край горьких дождей. Зноем опаленные посева. Пересекли леса, природой насажденные, илистые реки и гиблые болота. Обошли стороной земли с немирными кавказцами, где жизнь пахла смертью, колодцы были засыпаны, хлеба выжжены на корню. К ночи подступал дарованный покой, отдых натруженным ногам, чистая звезда над головой, но с рассветом они снова шагали дальше от мезузы к мезузе, от миньяна к миньяну, от погребения к погребению. Повсюду теснились верующие и сыны верующих, разрозненные меж народов, былинки на волне водоворотов, приткнутые к очередной заводи; повсюду покоились во прахе, присыпанные случайной землей. Старик находил место посреди могил, чтобы скинуть ношу со спины, вздохнуть с облегчением, но голос погромыхивал поверху: «Еще не время...»

Сбегались отовсюду падушие болваны, притворно бесноватые, слюнявые и гунявые, босые и с колтунами, хихикали, плевали вослед, грозили костлявым кулаком, плиту на спине принимая за вериги, старика – за юродивого, сгоняя чужаков с места своего кормления. Немногие увязывались за ними из окрестных местечек, немногие из немногих, и отставали у крайних домов. Что хотели, того не могли, что могли, о том не догадывались.

– Откуда идут евреи?

– Оттуда, – отвечал Шодем.

– Куда направляются евреи?

– Туда.

Слепому от рождения что известно? Луна для него темна, небо черно, звезды – гвоздиками на неведомом куполе. Старик с плитой помнил, как небо лучилось синевой, луна серебрила озерные воды, звезды перемигивались в ночи, чтобы померкнуть к утру, но видеть не желал из-под нависших бровей – слепой глазами и зрячий душой. Жизнь установилась для него с разделением на звуки: тьма с пением птиц – она же день, тьма без пения – ночь. На привале, под переливы пернатых над головой, беседовал с сыновьями из прошлой жизни, наставляя на путь истины; без переливов, в ночи, выслушивал жену, которая нашептывала ему потайные слова.

Рассветы опадали цветными лепестками, стык к стыку, обозначая иные пространства. Дни обращались в ночи, а ночи в дни. Шодем сбивал ноги в

кровь, прикладывая к ранам траву-подорожник; складка проглядывала на лбу, проявляя характер, которого не доставало. Через годы, в полумрачном мире, в мандариновых его краях, бабушка пробилась к внуку – шуршанием полевой мыши в сникшей листве:

- Куда ты забрался? Так далеко мне не дошептаться...
- Мы скитаемся, – объяснил Шолем. – Ищем пристанища.
- Воротись, Шолем. Кто же будет следить за могилами?..

К вечеру вышли на кладбище, проплутали меж рядов в поисках свободного места, углядели нескладного подростка возле свежего погребения – сумрачным, взъерошенным зверьком с обкусанными ногтями.

– Кто это? – спросил подросток, глядя на них, и ему отозвалось шелестением травы.

- Пойти следом? – спросил.

Ответа они не разобрали – не для них был ответ.

- Если потеряюсь, разыщи меня...

Ночью старик заговорил на прощание, облекая печаль в слова; они запутывались в переплетении усов с бородой, но Шолем разгадывал их смысл:

– ...затворились врата милосердия... Волны страданий накрыли с головой... Три дня и три ночи лежали мы на родных могилах, а перед уходом снимали плиты и уносили в изгнание. Стража сопровождала нас до границы и заметала следы наших ног. Монахи шли рядом, уговаривали переменить веру, чтобы остаться на той земле, где некогда нашли утешение, но мы шагали с песнопениями, подбадривая друг друга; музыканты играли радостные мелодии на флейтах, скрипках, барабанах, дабы все вокруг знало: мы не оплакиваем ни одно изгнание, кроме изгнания из Иерусалима...

Замолчал надолго, собираясь с силами. Вынул из кармана увесистый ключ от дома, сработанный мастером из Кордовы, покачал на ладони. Затем продолжил:

– Ходу оттуда – полтора века. Еще полтора. И еще. Посреди народов вчерашнего дня. Когда откуда-то изгоняют, надо, чтобы куда-нибудь впустили... У тебя свой путь, Шолем.

- А почудилось: «У тебя своя жуть...»

Наутро старик отправился в дорогу с очередным поводырем – живая память, блуждающая тайна под грузом изгнания, которую не терпится истребить, а бабушка Зельда повела внука домой:

- Направо, Шолем. Теперь налево...

Пришел – не обнаружил себя прежнего, многих не обнаружил в местечке, лишь старая Цириля тащила на плечах, плитой на погребение, сто двадцать неподъемных лет.

Спросила:

- Ты кто?

Ответил:

- Странствующий печальник.
- Зачем пришел?

– Отыскать пристанище.

Прикинула:

– Тогда так. Имеется в запасе промысел, который не всякому под силу. Осилишь?

– Осилю, – сказал Шолем.

– Старого Янкеле схоронили. Который ходил по домам. Передавал дурные известия.

– Не осилю, – сказал Шолем.

– Платят за это поштучно. Из общинной кружки. И платят неплохо: работа тягостная, при слезах. Янкеле тем и кормился, сыновей женил, дочерей выдал замуж – дурных вестей и на тебя хватит.

– Нет, – повторил Шолем. – Это не по мне.

Сутул. Суховат. Волос золотист. Прошелся по кладбищу из конца в конец, не упустив никого, ознакомился с новыми могилами, посидел в раздумье у невидного камня: «И умерла и погребена здесь...» Написал пару слов, положил лист на холмик, придавил камнем – от ночной сырости намочка бумага, размылись чернила, буквы протекли к земле, вглубь просочившись для прочтения: «Я вернулся». Река печали иссякла, обратившись в пересохшее русло, но бабушкина любовь теплилась еще на том же месте.

Поселился в кладбищенской сторожке поближе к ней. Выполоч сорняки. Вычистил дорожки. Укрепил завалившиеся камни. Возвел ограду вокруг усопших, чтобы не стали добычей забвения и при нужде заступались за живых.

Женился.

Передал семя свое.

Родил Ушера.

Любовь сына уберег до старости...

...Ушер вошел в жизнь при солнечном касании, когда неспешно розовело за лесом, – верный знак, что вырастет щедр, влюбчив, незлобив, легок на поступь, заливист и голосист: дзынь-зынь. Ушер – зеркальных дел мастер – выполнял работу со старанием, ко всеобщему одобрению: отбирал стекло без изъяна, резал до нужного размера под пение алмаза, раскатывал олово до неприметной тонщины, натирал ртутью, – зеркала перенимали светлый взгляд мастера, ясный его облик, а потому приукрашивали всякого, кто к ним приближался, врачевали совесть, настраивали сердца, а к вожделению не склоняли. Каждый находил утешение в его зеркалах, в озерной их чистоте, даже замшелые запечные старики; каждого манило шагнуть в их глубины, обосноваться в голубоватом покое, чтобы оттуда, из зеркального бытия, взглядывать на мир в благодушии и довольстве. А они стояли на полу, висели на стенах в ожидании покупателя, отражались одно в другом, как сон во сне, ручей в ручье, кружили голову своему создателю, дробили его – кудряв, крепок, волосом рыжеват, будто немало Ушеров работало в мастерской зеркальщика. Птица залетала ненароком, металась во

многих обликах, не находя выхода; к вечеру он и сам запутывался, не в силах отличить явное от мнимого, себя от изображения – это значило, что пора заканчивать день и возвращаться домой.

– Не дышите на зеркала, – умолял заказчиков. – Не захватывайте руками! Они от этого слепнут...

В один из дней прискакали гайдуки, заломили руки, отвезли к панночке. Вышла к нему в постельных одеждах, коварна и обольстительна:

– Видишь мои зеркала?

В углу лежали осколки – великой грудой. Может, она их била, недовольная видом своим, а может, лопались от гневного ее взора.

– Правда ли, что твои зеркала приукрашивают женщин, отчего хорошеют безмерно к приходу мужей?

Ушер не глядел на панночку, дабы не согрешить в помыслах, а потому потупился и кивнул головой.

– Правда ли, что это способствует деторождению?

– Правда, – ответил.

– Изготовь для меня зеркало вожделения, – повелела панночка, потакая желаниям. – Чтобы подвигало к шалостям Амура. Сделаешь – озолочу. Не сделаешь – стогню всех со своей земли. И кладбище ваше разорю.

Ушер побежал к равнину:

– Беда, ребе!..

Старый раввин молился всю ночь, а наутро сказал:

– Сделай ей зеркало.

Далее – противоречиво. Далее – многие сказания, из которых выберем самые достоверные. Рассказывают: панночке полюбилося ее отражение в зеркале, чередой пошли воздыхатели с их шалостями, и она оставила местечко в покое. Уверяют: панночка осердилась и приказала распахать кладбище, но когда гайдуки приблизились к могиле наставника, родившегося с кипой на голове, пали их волы, пали лошади, пали бездыханными они сами. Утверждают со слов очевидцев: зеркало отразило нутро панночки, скрытое ото всех, ненасытную ее похотливость, отчего обернулась в козлоподобного демона, не отбрасывающего тени, и ускакала в пустыню...

Облако напоззло без спешки со стороны кладбища, провисло до спелых подсолнухов, sprыснуло обильную морось на истомившиеся на припеке посева. Подсолнухи опустили отяжелевшие головы и увидели человека на тропе, тощего, иссохшего, который лежал ничком, без движения. На нем был драный балахон из мешка, голову укрывала соломенная шляпа с объеденными полями, словно их сжевала коза, ноги в опорках запеклись кровавыми отметинами. Подсолнухи покачивали головами на ветру, как осуждали или печалились, но помочь несчастному не могли, и он пролежал до заката без надежды на снисхождение.

На него наткнулись по случаю, засуматошились, растормошили, омочили водой иссохшие губы. Поднял с усилием голову, задал непростой вопрос:

– Попраны ли надежды?

– Попраны, – ответили. – Но частично.

– Это мы отладим...

Его принесли в крайний дом, и Блюма, жена Ушера, выставила на стол миску крупяного супа, густо заправленного картофелем для основательно-го насыщения, – бедность диктует вкусы.

Зачерпывал понемногу. Пережевывал не спеша. Насытился, зарозовел щеками, вновь задал вопрос:

– Чудеса случаются?

– Какие у нас чудеса...

– И это поправим.

Поднял глаза к потолку, прикрыл ладонью и запел. Нежданно переливчатым голосом, пробиваясь в высоты высот, жалуясь, тоскуя и восторгаясь. Сбегались женщины с ребятишками. Сходились мужчины. Толпились в дверях, протискивались внутрь, заслоняли свет в окошках. Пришла даже старая Циря, одолев с натугой переулоч. Даже ребе приоткрыл окно в доме, а младенцы выпустили изо рта материнскую грудь, зачарованные дивными звуками.

Голос устремлялся ввысь, как путь прокладывал, каждого тянул за собой во врата трепета, словно наступила суббота в неурочный день. Дом песней полнился. Радость восходила к небесам. Родник пробивался через завалы под сладкозвучное пение, ликование – через запруды, затапливая печаль, орошая засушливые души, восторгом наполняя сердца, страстным желанием прильнуть к источнику, вознося на такие вершины, которых не помышляли достичь прежде. Пол отдалялся. Крыша раздвигалась. Солнце скакало шаловливым барашком, звезды опадали росной капелью, изумрудами украшая травы. А они переглядывались в изумлении, удостоившись минутного озарения: где горечь вчерашнего дня? – за горечь принимали жизненные необходимости, оказавшиеся незначительными.

Лица сияли. Чувства обновлялись. Дыхание становилось неслышным. Были ли слова у той песни? Каждому достались свои.

Замолчал, сказал тихо:

– Кому дано – отработай...

И все нехотя опустили на землю. Покрутили головами. Спросили не-смело:

– Это чего было?

– Чудо, – ответил. – Обещанное. Плохо – это теперь плохо, а хорошему конца нет.

Усомнились. Переглянулись:

– Проясни.

И он прояснил:

– Жил скрытником. Жил затворником. Наказывал себя за желания. Бил по щекам за недостойные помыслы. Сокращал порции еды в уморении плоти. Пол не подметал, стены не белил. Спал на малом сундуке, свесив во сне ноги. Не слушал пение птиц и журчание ручейков, ибо радость ведет к

легкомыслию. Пошел к ребе, спросил: «Что еще сделать, чтобы приблизить приход Освободителя?» Ребе ответил: «Купи кровать и пообедай...» Вы меня поняли?

Они не поняли.

– Прискучили Ему ваши стенания. Призвучили жалобы с воздыханиями. Предстаньте с веселием – это так просто!

– С утра и начнем...

И снова усомнились.

Подкормили его, подлечили раны на ногах; наутро собрался в путь, сказал Ушеру:

– Передай сыну своему... Жил на свете человек, который отправился на борьбу с силами нечистоты. Пением очищать вселенную.

– У меня нет сына. Одни дочери.

– Это мы поправим...

Первая в жизни удача – она самая главная: где, когда, у каких родителей появиться на свет. Иоселе родился у Ушера-зеркальщика, к Иоселе пристыла его душа, и Ушер сына баловал, не оставляя просьбы без исполнения. Иоселе сидел по вечерам на кровати, не укладывал голову на подушку до прихода отца, а Ушер спешил домой, бросая дела с заботами. Сын расстегивал пуговицу на его рубаше, запускал внутрь ладошку, и идеше тате промурлыкивал в наслаждении: «Тридл дидл, дидл дудл, о-ля-ля...» А затем принимался за очередную историю – выдуманную, не совсем выдуманную, совсем невыдуманную, ощущая по шевелению ладошки интерес ребенка, испуг его или восторг. Блюма, жена Ушера, с умилением поглядывала на них, приткнувшихся друг к другу, проговаривала шепотом известное всякому: «Еще больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет его кормить». Потом Иоселе засыпал, и виделись ему сны легче тени, как по податливым облакам лез на небо, по облакам-перинам, где дожидались его пестрые радости.

Было в один из вечеров. Взялся Ушер за сочинение истории, которая в переложении с киндер-майсе на вундер-майсе, с детского языка на волшебный звучала примерно так:

– Вот рассказ реб Ушера, сына реб Шолема, о непредвиденном и маловероятном, будто ручей в ручье, зеркало в зеркалах... Встал с постели грозный император, выкушал яйцо всмятку, гренок с маслом, запил сладким чаем, сказал министру двора:

– Снился мне нынче некий Шпильман. При пронырливых оборотах. Найти и обезвредить.

А камердинеры затащили его в мундир – не вздохнуть.

– Ваше императорское величество, не соблаговолите сообщить адрес дерзостного нарушителя?

– Адрес во сне не указан. Обезвредить без адреса.

И приступил к утверждению высочайших рескриптов, дабы привести в любовь и послушание столь пространное государство.

Выпустили секретный указ «Об отвращении вредных для империи поступков...» Разослали по губерниям титулярных советников, перебрали народы по городам и весям, обнаружили 23 тысячи 376 Шпильманов мужского пола старше тринадцати лет, которые отвечали за свои поступки перед земным и небесным правителем.

– Он мне опять снился, – сказал император поутру. – Злокозненный иудей в ермолке, ношение которой не дозволено.

Встал у окна, нахмурил брови – даже живность в лесах охватил трепет, рыб в реках, птиц в поднебесье, а о министре двора и говорить нечего.

– Ваше императорское величество, не соблаговолите раскрыть имя строптивого Шпильмана, дабы прибегнуть к решительным мерам понуждения?

– Имя во сне не упомянуто. Обезвредить без имени.

Разослали по уездам расторопных фельдъегерей, замордовали ямщиков на трактах, чтобы скакали без промедления, доставили в столицу 23 тысячи 376 Шпильманов, каждого допросили с пристрастием, но злоумышленника не обнаружили.

– Он снова мне снился! – в гневе вскричал император. – Премерзейший тип с пейсиками, которые безусловно запрещены!

И топнул ногой в высочайшем гневе, отчего задрожала Австрия, затряслась Франция, а малые страны изукрасились на всякий случай флагами безоговорочного согласия.

– Ваше императорское величество, не соблаговолите отметить особые приметы злодея, вышедшего из границ повиновения?

– Приметы не выказаны. Наказать без примет, и немедля! Не то я тебя, министр двора, погоню с моего двора.

Рахмонес, идн, рахмонес!.. Собрали на плацу 23 тысячи 376 Шпильманов, выстроили в шеренги, вышел к ним министр двора, пуганый от полномочий, попросил по-хорошему:

– Шпильманы, не губите! Сознавайтесь ради малых моих детушек! Кто из вас, канальи, своевольничает в императорских снах? Говорите без утайки, уклонившиеся в крамолу, не то упеку до единого в вечные мерзлоты, безропотно и безотходно!

Спросили с почтением из шеренги:

– В вечные мерзлоты – к вечным работам?

– Именно! Для отыскания в недрах земли неисчерпаемых богатств.

– Отчего же всех до единого?

– Дабы наверное избавиться от нарушителя. Дерзнувшего коснуться Высочайшего сновидения!

В дальних рядах произошло шевеление. Вышел вперед не крупный еврей, покрутил золотистую пейсу, сказал с приличествующим поклоном:

– Вот он я, Ушер Шпильман. Имею обыкновение входить в посторонние сны.

Вскричал министр двора:

– Как же оно так?!

– Вот так. Снился полицейскому приставу, будто вытирал об него ноги, как о коврик, а сапоги во сне были нечищенные. Снился соседу-помещику, будто гнался за ним по полям и кричал: «Догоню – ущипну!..» Объявился во сне у господина губернатора, дым от сигарки пускал в сиятельный нос...

Эти слова задели министра за чувствительное место его ранимой души:

– Узрев... Возлюбленного монарха... В величайшем удручении... За содеянные вероломства полагается тебя смерти предать!

– За чужие сны не отвечаем, – ответил Ушер. – Мало ли кому что снится.

– Враг, враг! Варвар и кошмар!.. Да я тебя разорву, я тебя в клочья!

– Рвите, – согласился. – Хоть в клочья. Хоть как. Всё равно буду сниться. А может, и привидением обернусь.

Перепугался министр, лицом побелел, осанкой сник, ростом опал, а Ушер ему сказал:

– Знаете, что я вам посоветую? Не впускайте меня в ваши сны.

– Как же тебя не впускать? Во сне мы беспомощны. Даже само императорское величество.

– Так ведь и я беспомощен. Пусть его императорское величество не спит – не дремлет. Тогда не приснюсь...

Стемнело в комнате. Свеча погасла.

– История закончена. Спать, Иоселе.

Душа младенца недоступна пониманию. Маленький Иоселе лег на бочок, ладошку подложил под щеку, и с этой ночи начались злключения. Забиралась во сны к ребенку всякая противность – солдаты с ружьями, казаки с саблями, бомбардиры при мортирах. Рослые и безбородые, дикие и могучие, набегали пауками на голенастых ногах, лопатки рычагами ходили по спинам – не укрыться в тайниках одеяла. Солдат поблескивал штыком, казак целился пикой, бомбардир прикладывал фитиль к пушке, чтобы пальнула, – Иоселе подсказывал на матрасе и вскрикивал от страха:

– Тателе, мамеле!..

– Не плачь, сынок, – успокаивал Ушер и для пушей убедительности брал в руки кочергу: – Вот я приснюсь тебе и наведу порядок.

Иоселе задремывал у отца на руках, видел во сне штыковой бой, кричал в ужасе:

– Тателе! Приснись поскорей, ты же можешь!..

Ушер старался изо всех сил, отчего снился Блюме, любимой жене своей, снился соседям по ближним и дальним улицам; даже полковые дамы из расквартированной поблизости инфантерии разглядывали, будто наяву, рыжекудрого красавца, а их мужа бессильно сжимали кулаки во снах, усматривая его безразличие при всеобщем дамском поползновении, – на дуэль не вызовешь, в рядовые не разжалуешь, на Кавказ не сошлешь. Все в округе видели по ночам Ушера, но в сны к Иоселе он пробиться не мог, чтобы уберечь и защитить.

Спрашивал с надеждой по утрам:

– Я тебе не снился?

– Нет, – плакал Иоселе. – Приснись мне, ну приснись!..

Не спал допоздна от страха ночей. Тарашил в темноту глаза. Худел. Иссыхал. Трепетал – бабочкой на стекле. Не надеялся уже на отца, и Ушер иссыхал тоже.

В одну из ночей Иоселе сказал обреченно:

– Видел во сне турка. Бежал на меня и штык наставлял. А спасать было некому...

– Холеру ему в пупок! – всполошилась Блюма, жена Ушера. – Этого нам не хватало...

Пошли к старой Цирле, которая разменяла полтора века и пережила всех стариков в губернии, выставили на стол угощение, сообщили про удивительные сновидения. Цирля не могла вдеть нитку в иголку, но завтрашний день видела как вчерашний.

– Турок со штыком?.. – переспросила. – Кому как, а еврею не к добру. Невыплаканные слезы отцов отольются у их детей.

И родители стали беспокоиться за Иоселе...

...шла война.

Залегли на пути горы.

Гремливые потоки пенились на перекатах, холодя ноги.

Солдаты в окопах промерзали до костей, и Иоселе Шпильман промерзал тоже. От ледяной стужи и ледящей тоски.

– Вбый турка! – кричал унтер, но Иоселе не мог, не получалось: боязлив и робок сердцем.

Туча напознала на тучу – полыхнуть огнем. Земля сотрясалась от топота сапог на марше, а на привале наваливалось отчаяние и рушило наземь. Полынь в горле. Удручение в сердце. Сухари в ранце. Тени за ночь пристывали к телам, не желая отпадать с рассветом, нехотя оттаивали к полудню, и лишь тень Иоселе пугливо жалась к хозяйским ногам. На привалах под ее прикрытием гомозились непуганые голуби; Иоселе сыпал им сухарные крошки, а они их подбирали, будто расклеивали на земле его подобие.

– Вбый турка, вбый, вбый! – требовал унтер и утешал Иоселе, понуждал коленом под зад, когда не замечало начальство, а колено у него было каменное.

Вся рота называла его «Иоселе, вбый турка», вся рота потешалась над слабосильным новобранцем, изнуренным холодами и скорбью, а он был младенцу подобен, младенцу, подброшенному к чужому крыльцу, у порога недоброго жилища. Иоселе лежал на спине долгими ночами, взглядом, мыслью, тоской пробивался в небеса, а оттуда в небеса небес в ожидании отклика, совета, поручения – вот человек, прикованный к ружью. Слеза запекалась в глазу, мешая смаргивать. Желчь разливалась по округе в горечи

прегорчайшей. Отчаяние сотрясало миры, стоном отзываясь в горах. Истайвали вокруг сожаления, ненависть оголяла сердца, не было разницы между мертвыми и живыми, а он шептал истово сказанное во дни позабытые: «Опротивела душе моей такая жизнь...»

Ядром оглаживало. Картечью шекотало. Пулей дырявило. Подсаживался на привале справный солдат Ваня Ключик, ростом низок, норовом петушист, говорил с пониманием:

– Спрашивай бывалого, Ося, а тебе ответят.

– Где правда, Ваня? Правда где?..

– Правду ему... Всё правда. И то, и это. Уходишь на войну – не оборачивайся, Ося. Обернешься – побежишь назад, к мамке своей.

– Для чего умирать не в свой срок? Для чего, Ваня?..

Этого солдат не знал, но знал он иное:

– Не пугайся своего страха, Ося. Подойди и дотронься до него. Первого убить всегда боязно – потом полегчает.

Турок подступал, бил без милости, свиреп и неуступчив в рассыпном строю, а унтер подкручивал ус, натирал штык салом, чтобы легче входил, кричал зычно:

– Вбый турка, ну вбый, хороба тоби у пузо!

И тыкал кулаком в бок, а кулак у него был железный.

– Ты пой, Ося, ежели страшно, – поучал Ваня Ключик, сметлив и проворен. – Громко пой, когда в атаку пойдем. Только глаза не жмурь.

Мутные дни. Скорбные ночи. Замордованные пространства. Туманы клубились по утрам, саваном обвивая, нехотя стекали в ущелья, истаявая без остатка, а взамен напозлали мгlistые пороховые дымы. Тут жуть и там жуть. С вершины пальба, а по бокам провал. Громадный турок в красной феске набегал с верхнего ложемент, наставив ружье; злоба слюной пузырилась у него на губах, медали сверкали на груди, отражая последний солнечный восход в жизни Шпильмана. Иоселе не жмурил глаза. «Шма, Исроэл...» – громко запел Иоселе и упал навзничь от мощного толчка, а на него обрушилась многопудовая тяжесть, будто навалилась могильная плита, перекрыла свет, воздух, прежнюю жизнь, в которой Иоселе не был еще убийцей. Турок придавил сверху, по дуло насаженный на штык; из турка неспешно вытекала кровь, изо рта выходило последнее дыхание, которое пахло кашей с бараниной, а вместе с дыханием исходила из него душа, неподвластная плену.

– Ого! – с почтением сказал унтер и высвободил Иоселе, откатив в сторону огромное тело. – Вбыв-такты турка...

Вся рота пришла взглянуть на поверженного врага со многими регалиями на груди. Вся рота называла теперь солдата «Иоселе – вбыв-такты турка», а он лежал без сна на спине, повергнутый в печаль, глядел в темное небо, словно высматривал миры, наделенные разумом, тайны Его путей, чтобы снизошло понимание, намек с подсказкой, возвышал шепот в ночи: «Ты, который всё знает, – где Ты? Спустишь и посмотри!..»



Служивый кавалер Ваня Ключик, девичий угодник, заливался голосистой пташкой, подпуская куража в строю:

Пресвятая Богородица!
Где злодей мой хороводится?..

Сапог теснил ногу. Песня теснила дыхание. Пыль душила на марше, и горчела вода в колодцах, непригодная для питья. На скалистых отрогах сидели орлы и смотрели без интереса на гигантскую серую гусеницу, что вползала в ущелье, поблескивая штыками.

– Не задремывай в строю, Ося, – уговаривал Ваня Ключик. – Руку за руку закидывай, ногу за ногу волочи, а там и катком катись.

Они проходили через село, где жили болгары, и Иоселе углядел торговку на базаре, которая – будто к его приходу – выставила на продажу семена в холщовых мешочках.

Как в грудь ударило, молнией просверкало в голове:

– Мне! – закричал он, всполошив всю роту. – Всякого и побольше!..

Земля была цвета крови. Трава цвета крови. Бурая роса на бурых камнях. Одуванчики высевали порозовевшее семя на мундиры солдат: палые жизни – палой листвой – сдутые к случайной обочине. Отстонали, отхрипели, отпугнулись кровавой слюной; тени за ненужностью отступились от поверженных, которые привыкли быть живыми, дерзостно напористыми, и следовало теперь немало потрудиться, чтобы освободиться от этой привычки. Они лежали в беспокойной позе, не согласные с неладной долей: напряжены шеи, скованы мышцы, обожжены нервы, набухшие сосуды еще надеялись проталкивать кровь – понадобится время, чтобы смириться, прильнуть к земле в муках обывания, обнажить себя до потаенных глубин для предъявления истинных заслуг, а это, должно быть, непросто. (Одни пребывают в естестве своем от рождения, подобно птицам, мотылькам с кузнечиками. Другим нужны годы, чтобы пробиться к себе. Есть и такие, которым для этого надо умереть.)

Ангел смерти уже покинул поле боя, поспешая к иным баталиям, а Иоселе ходил от одного тела к другому, закладывал семена в карман, в закованную руку, в разодранный криком рот. Закладывал своим с чужими, шептал с надеждой:

– Ты станешь яблоней. Ты – грушей. Из тебя вырастет слива, а из тебя, друг Ваня, вишенное дерево...

Ваня Ключик, удача-парень, затерялся малым ребенком посреди поверженных – не пробудить песней. Ваня глядел вприщур из-под оплывшего века потерявшим цвет глазом, как соглашался:

– Вишенье – это по мне, Ося. Алое, с наливной ягодой: хоть в рот, хоть на базар...

– Чего делаешь? – спросил унтер и дал тычка для острастки.

– Ты распорол, ты и сшей, – разъяснил Иоселе выстраданное, подсказанное свыше, и ошарашенный унтер побежал к ротному, ротный к пол-



ковнику, полковник – в штабную канцелярию. Вызвали Шпильмана к молодцу-генералу, спросили грозно:

– Это ты «Иоселе – вбыв турка»?

– Я, ваше высокое благородие.

– Говори, чего умыслил?

Сказал Иоселе генералу:

– Состоявшееся однажды не исчезает. И пусть каждый солдат, отправляясь на войну, положит в карман своего мундира шишку, желудь, малое семечко. Мертвому не улыбнуться, не залечить раны на убитом...

...но там, где найдет смерть свою, там, где засыплет его земля, вырастет со временем лесное дерево, садовое с палисадным. Сгинет плоть в непригожем месте, сгниют глаза во впадинах и языки во рту, но проявятся – убережением от забвения, эхом отшумевших народов – дубовый лес, яблоневый сад, сосновая роща, в которой прорастут грибы, поселятся птицы, потекут липкие смолы. Ландыши проклюнутся по весне. Колокольчики к лету. Липовый цвет. Поляны вскипят ароматами от предрассветной росы. Земля обновится, небо возрадуется – вот вам и польза от сражений...

– Мертвому не улыбнуться... – повторил озадаченный генерал, прошелся по кабинету из угла в угол, притворил дверь поплотнее от любопытствующих адъютантов: – Сам придумал?

– Мне подсказали, – сообщил Иоселе, а кто подсказал – не сообщил.

Генерал похмыкал-пофыркал, будто умыл лицо из пригоршни, почесал в недоумении бровь – мутновато для разумения, высказался таким образом:

– Во-первых, мы не собираемся воевать на своей территории, а озеленять чужие – не наше дело. А во-вторых...

Затосковал. Распушил красавицу-бакенбарду, которой повергал на уступчивость небалованных уездных дам. Спросил тихо:

– Чистое от нечистого – возможно ли?..

Спросил – сам на себя подивился.

– Возможно, – ответил Иоселе.

– Взойдет ли саженец?

– Взойдет, – снова ответил Иоселе.

Распушил вторую бакенбарду, руку положил на плечо солдата:

– Убитые, конечно, промолчат, но им бы это понравилось... Как, говоришь, твое имя?

– Иоселе.

– Нет ли у тебя, Иоселе, черешенной косточки?

Спросил – сконфузился.

– Есть.

– Нет ли семечка от райского яблочка?

– Найдется и семечко. Лучших сортов.

– Оба давай. Для надежности.

И упрятал в карман генеральского мундира.

– В лазарет его. На излечение.

Иоселе-печальника отправили в лазарет, уложили на койку, подержали месяц, промывая пользительными клистирами, по этапу переслали домой, истомленного-изможденного.

Там его не узнали:

– Ты кто?

Ответил:

– Иоселе – убил турка.

– Какого турка?

– Большого. В красной феске. Который ел кашу с бараниной.

Жил потом тихо, в немоте пребывания, как внутри отзвучавшего колокола, эхо которого не замолкало. Люди не мешали ему, люди его отвлекали, взглядывая на Иоселе чаще, чем ему хотелось, ибо никто в местечке никого прежде не убивал. Закрывал ставни во внешний мир, застегивал пуговицы, запахивал полы пальто, наглухо подпоясывался кушаком: себе в тягость и не в тягость другим. Плечами сутул. Глазами печален. Борода в проседи. Запаливал коптилку к рассвету, свивал нить из конопляного волокна, скручивал пеньковые веревки на продажу, о женитьбе не помышляя, и род человеческий умножался без его участия. Годы проваливались неприметно, монетой из дырявого кармана, а Иоселе-веревочник накручивал на палец золотистую пейсу, с надеждой поглядывая на небо, но оттуда ему не отвечали, ибо цель жизни уже выполнил. Призвал его ребе, скручиватель судеб, сказал:

– Нет, Иоселе, еще не выполнил. Живому беспокоиться о живых: Песя ди Гройсе – чем не невеста?

Песе было за тридцать, и Песя ди Гройсе, Большая Песя возвышалась в базарном ряду головой над всеми. Стулья ее не выдерживали, кровать прогибалась, половицы проминались под тяжелой поступью: всё у Песи поражаало воображение, хоть и не казалось излишним. Счастье – оно не в размерах: Песя ди Гройсе была покинута мужем, ибо не знала зачатия и родовых мук, не удостоилась прикосновения к груди требовательных младенческих губ, не изливала с избытком сладкое, насыщающее, обращающее в блаженный сон. Бесплодная Песя не высматривала себе нового мужа, торговала на базаре квашеными бураками, печально глядела на мир, но ребе сказал – и она согласилась.

Цирюльник Бадер постриг жениха к свадьбе и не взял за это денег. Портной Кравчик перекроил за спасибо старый лапсердак. Сапожник Шустер накинул подметки на прохудившиеся сапоги и не заикнулся об оплате. Булочник Бекер испек хлеба. Кондитер Цукерник выставил на стол струдель и цукерлеках. Кабанчик с Баранчиком, от рождения несытые, явились со своим аппетитом. Танцман, веселый еврей, пошел в пляс, чтобы порадовать невесту:

– Стоит дид над водою, колыхае бородою... Эй, пан, пан, пан, на что ты нам дан?..

В доме было тесным-тесно, а потому каждый танцевал на месте своем. Кому не досталось места, танцевал в душе, и даже старая Цирля, пережившая всех в Российской империи, помахивала слегка платочком.

– Желанная мужу, – говорила, – желанная Господу. Миру не заселиться без нашего участия...

Печаль полнится теплотой. Радость ее растрчивает. К ночи Иоселе уложил жену на кровать, лег рядом и для начала пропел песню, как передал без остатка накопленное тепло:

– Бог создал для Песи землю. Земля родила для Песи дерево. На дереве выросла для Песи ветка. На ветке птица, на птице перышки, из перышек – подушка, на подушке – Песя ди Гройсе, которая родит мне сына.

А Песя ворковала в ответ:

– Ой ли вэй ли, ой ли вэй ли, лю-ля-ля...

Пламя не отделить от фитиля.

Ребенка у них не было, несмотря на старания и горячие просьбы. Призвала Песю жена ребе, сказала:

– Вус? Фарвус?..

– Ребцен! – заплакала Большая Песя. – В прежние времена евреи молились за бесплодное дерево, чтобы Всевышний дал ему изобилие. Помолитесь и за меня.

Жена ребе ответила:

– Что ты с собой делаешь? Как одеваешься? Как дом содержишь? Если Иоселе тебя терпит, это еще не значит, что вытерпит Тот, Который... Думаешь, Ему приятно смотреть на Песю ди Гройсе, заходить в ее дверь, выслушивать ее молитвы? Сказано – и для нас тоже: «Проклята будет женщина, которая имеет мужа и не наряжается».

И так оно стало. Посвежело лицо, омытое кислым молоком. Побелели руки. Одежды стали опрятнее, избавившись от запаха квашеных бураков. Дом пропах корицей, основательно и насовсем, словно счастье обладало этим ароматом и не обладало иными. Соль, просыпанная по углам, уберегала семью от сглаза. Стол, оттертый до блеска, призывал к трапезе, а подушки ко сну. Семь копеек на хлеб, три на селедку, три на крупу и картофель, полторы копейки на лук, соль, перец – Песя не заставляла Иоселе ждать еду, не будила, когда он спал, обращалась с мужем как с царем, а он относился к ней как к царице.

Чудо следует заслужить, и Иоселе – царь в доме своем – этого, должно быть, сподобился. Через положенные сроки проклюнулся живот у бесплодной Песи, и появился у них заморыш, выпрошенный молитвами, который укладывался в Песину ладонь, как в люльку. Сквозь прозрачные пальцы проглядывали косточки, словно у малька в пруду, и косточки эти были стиснуты в кулачок. Разжали с остережением и обнаружили семечко в ладонке, крохотное, от незнакомого растения, а что вырастет из него – неизвестно. Мальчика назвали Мотл...

...Мотеле проплакал без перерыва первые два года, и его не могли утешить. Ребе пояснил:

– Этот ребенок – гвоздик, на который вешают страдания. Ему больно

оттого, что больно другому – хоть тут, хоть в Бердичеве. Такое уже бывало. Но такое пройдет.

Папа Йоселе рассказывал перед сном:

– Жил на свете великан по кличке Дрыхало, ленивый и невстанливый, который очень любил поспать – до еды, во время еды и после нее. Чтобы достать продукты на завтрак или обед, он садился под деревом и засыпал, вытянув поперек поляны длинные свои ноги. Пробежали мимо обитатели леса, спотыкались о его конечности: просыпайся и ешь...

Мотеле плакал от жалости к обреченным на неминуемое пожрание, и мама Песя спешила исправить папину ошибку:

– Жила на свете кошка, которая была очень доброй. Она жалела всех, даже мышей, и полагала, что лучше умереть с голоду, чем позавтракать как-нибудь мышонком...

И Мотеле снова плакал – теперь уже от жалости к кошке, которая могла погибнуть от истощения.

Мир проявлялся постепенно, завоевывая позиции, соблазняя крикливыми новшествами: «Учитель танцованья», «Лимонад Газес», «Трактир "Фриштик" для знатных персон», «Бюро погребальных и свадебных процессий с участием генерала, пожарного обоза и бенгальских огней». А Мотеле рос пока что, сквозь слезы поглядывая на заветное семечко, хранившееся в маминной шкатулке, Мотеле – фарфоровый мальчик, за которого всегда боязно. Его бы переложить сеном, чтобы не раскололся на колдобинах жизни, на него поместить бы наклейку «Осторожно. Стекло», но до этого тогда не додумались.

Папа Йоселе не накопил сыну наследства. Лишь опечалился напоследок:

– Мне горестно, что оставляю тебя в таком мире. И стыдно.

Мама Песя добавила:

– Не разбрасывайся теми, кто тебя любит, Мотеле. Таких будет немного.

А Мотеле уже отплакал свой срок и жил затем тихо – каплей дождя на траве. Хрупок, тонок в кости, Мотеле говорил негромко, с запинкой, запутывался в долгих фразах без надежды на вызволение, как в чужих, не по росту, одеждах, улыбался стеснительно на всякое обращение, словно существовал не по праву, занимая соседское место. Обступали его клейкие привычки, которым не стоило поддаваться; любил уединение и предавался мечтам, участвуя в путешествиях души, отставал в развитии, лишенный злых побуждений, ежился от нестерпимых грубостей, а это удивляло.

– Его скоро заберут, – шептались за спиной соседи. – Уж больно чист...

Мотеле возвысился в селении до уровня дурачка, и о нем заботились. В каждом местечке был свой дурачок, который позволял себе многое, недоступное прочим, отчего не трудно загордиться, возжелать невозможного, – без разума дураку не прожить.

«Фигли-мигли, любовные утех!» «Волшебные фонари и картины к ним». «Книга доктора Лоренца "Грехи молодости" – поучительное слово к каждому, кто расстроил нервную систему онанизмом и распутством». Обь-

явился в местечке бродячий коновал, рудометчик и зубодер, распряг лошадь на базарной площади, выставил на продажу заморские снадобья, незамедлительно к излечению склоняющие, разложил на телеге мазь для изведения мозолей – «безвредно и доступно каждому», крем «Метаморфоз» от веснушек, помаду-фиксатуар «Букет Плевны», мыло «Мятное», мыло «Огуречное», а также ядовитое средство от нашествия тараканов с пугающей этикеткой: «Мор! Отрав! Погибель! Перед употреблением взбалтывать».

– Кого взбалтывать? – спросили насмешники. – Неужто тараканов?..

Коновал не снизошел до ответа и вынул напоследок новинку, слезную водицу в скляницах для промывания глаза и утишения в нем жжения. Стопил народ, разглядывая невиданную диковину, недоумевал по поводу:

– Как же оно в приготовлении?..

Зубодер разъяснил по-простому:

– Сидят в ряд плакальщики с плакальщицами; им рассказывают грустные истории с печальным концом, они горюют полный рабочий день, и набирается слезная водица в скляницы.

– За это платят? – спросили.

– А то нет!

Народ дружно вздохнул:

– Нам бы такую работу... И печаль не надо.

Бадхан Галушкес – вислоухий, полоротый и пучеглазый – глотал огонь на свадьбах, танцевал на руках, чревоещал на всякие голоса, чудил и проказил, потешая гостей до желудочных колик. При такой несерьезности профессии был Галушкес умозрителен не в меру, искал ключ к пониманию, докапываясь до основ, поучал всех и каждого:

– Увеселить – это понизить, заставить человека пасть наземь от смеха. Возвеселить – значит возвысить, вознести в утешении. Тихо, ша! Не дыша!..

Никто не улавливал разницы, и тогда Галушкес разевал от усердия рот, пучил сверх меры глаз:

– Для жизни требуется хорошее настроение. Радуйтесь. Благодарите за радости. Адрес у благодарности – один...

Мир беднел, свадьбы откладывались, увеселителям не было заработка, однако Галушкес взял Мотеле в дело, чтобы пригреть сироту. Вдумчив, не в меру серьезен, Мотеле высматривал оттенки человеческой души и их несообразности, а оттого в потешатели не годился, в собрании веселящихся чувствовал себя не на месте.

– За вас кто-нибудь беспокоится? – спрашивал свадебного гостя. – За вас пора побеспокоиться. И за вас тоже. Возьму это на себя.

– Он шутит, – с почтением шептались вокруг. – А киндер! Ум его не созрел, но голова летает...

И смеяться уже не хотелось – хотелось окунуться в печаль.

Абеле-горшечник взял Мотеле в подмастерья – таскать воду, мять глину, вынимать из печи звонкие, жаром налитые кринки, махотки с корчагами, которые раскупали на базаре. Мотеле уходил по вечерам в поле, слушал жур-

чание воды в ручейке, посвист грызунов, шуршание колосьев на ветру, теплотой рук разогревал глину в ладонях. Наплывали беспричинные радости, как дуновения лета. Цветы клонили головы, сомлевшие от собственного благоухания. Глина противилась поначалу, грузная и неподатливая, а затем размягчалась в ладонях у фарфорового Мотеле, ощущая, быть может, свое с ним родство. Глаза закрывались. Душа высвобождалась из теснин тела. Ветер навевал предзакатные звуки, которые сливались в единую мелодию и перетекали от плеч к ладоням. Пальцы лепили нечто, одним им известное, и выходили на свет диковинные долгоносые птицы с хохолком поверху.

Что делает шрайбер, земной писец? Перевивает буквы строкой в черноте чернил. Что делает шрайбер, писец небесный? Перевивает судьбы, затайливо и прихотливо. К шестнадцати его годам Мотеле женили. Сироту звали Шайнеле, и сваха Шпринца сказала:

– Как проверяется невеста? По глазам. По глазам – каким образом? Если они нехороши, следует искать телесный изъян. Если хороши, искать не надо.

Глаза у Шайнеле – лесным озером в полдень, утонуть без возврата, теплотой души опахивала на подходе. Сваха Шпринца прошлась по домам, собрала цимес, фаршированную шейку, жаркое с черносливом – мало не показалось, ели и насытились. Бадхан Галушкес изображал в лицах, как глухой Берчик и слепой Исролик не поделили в бане мыло с мочалкой, как обжора Бухер с разиней Шлепером кушали компот из одной миски, – гости плакали от восторга, души вознося в веселии. Попили, поели, пожелали молодым: «Живите. Нас радуйте» – и разошлись по домам со спокойным сердцем.

Мотеле во многом не разбирался, даже в денежных знаках, но одно знал наверняка.

– Шайнеле, – сказал прежде всего. – Ты молодая, я молодой. Давай останемся в детстве. На всю жизнь.

– А как же дети, Мотеле, которые у нас появятся?

– Вместе с детьми.

Когда муж приходит к жене, радуются даже Небеса. Изъянов у Шайнеле не оказалось, и дети не заставили себя долго ждать. Первым появился Мойше, дерзок, своенравен, и сразу отбилась от рук. Бегал быстрее других, рос быстрее других, вытягивались по отдельности части его тела, тоже своенравные, не сговорившиеся друг с другом, а оттого Мойшеле был нескладен, не в ладах с собой, вечно всё задевал, ломал, опрокидывал. Его ноги жили путаной жизнью и уводили в ту сторону, куда не собирался. Его руки двигались сами по себе и творили такое, отчего ахали соседи: гонял козу по крышам, запрягал кур в тележку, водил гуся на поводке, словно свирепого пса. Ухватил во дворе петушка, затащил в комнату – тот заметался с печи на лавку, со стола на кровать, опрокинул шкатулку на полке, склевал походя заветное семечко, с которым Мотеле явился на свет.

Кому хочется верить, пусть поверит. Вскоре у петушка надулся на голове желвачок, проклюнулся росток над гребешком, пустил зеленую стрелку, на конце которой распустился цветок из невиданных земель, нацелен-

ный клюв, хохолок из лепестков – восторженно оранжевых и глубинно лиловых. Куры копались в навозе, чванился петушок с хохолком, и когда он наклонялся, чтобы подобрать червяка или зернышко, цветок наклонялся тоже и склевывал невидимое глазу.

– Ребе, – спросили, – что это?

– Ташлиль, – сказал ребе. – Цветок ташлиль, капризный и своенравный, отрицающий законы естества. Созревая, высевает семена надежды, ожидания с разочарованием, сводит с ума знатоков.

– Для евреев это хорошо, ребе?..

Глядел с телеги проезжий мужик. Лошадь не двигалась, завороженная чудным зрелищем, косила громадным глазом, в котором помешался клюв с хохолком. Теснились за забором случайные прохожие, взирая с остолбенением на невозможную красоту: «К чему оно и отчего оно?!..»

– Ах! – восхитилась барышня из проезжего тарантаса, преподаватель естественных наук Оталия-Луиза фон Фик, выписанная из заморских краев. – Это же редчайший цветок, Птица райских садов, – уступите вашего петушка за хорошие деньги. Дабы, обратив оный в чучело, пробуждать в пансионерках неизбывный интерес к учению для образования ума, сердца и характера...

Петушок тщеславился долго, изумляя своих с пришлыми, а по местечку уже собирались по двое, пели с оглядкой: «Отречемся! Таки отречемся!..», отчего вперебой бились сердца и потели ладони. Надвигались перемены в судорогах бытия. Намечался переворот в умах и обычаях. Старое истлевало. Новое не нарождалось. Тешились нанизыватели словесных бус: что прежде возвышали, то принялись умалять. Боевики рыли подкопы под самодержцев, закладывая заряды к потрясению основ. Прятался по чердакам картавый студент в пенсне, заросший курчавой стерней, который желал всё улучшить и знал, как этого добиться «на лоне социальных идей».

– Всё? – спрашивали его в пугливом восхищении.

– Всё, – отвечал. – Всё-всё. Чтобы стало затем как следует.

Упрямы возражали весьма unsuccessfully, по единому предрассудку:

– Мы не хотим как следует. Хотим так, как мы хотим.

Студент возгорался до такого градуса, что запотевало пенсне:

– Консерваторы. Ретрограды. Враги неумолимого прогресса... Вы хотите неверно!

А это становилось опасным.

Взгляды пугали. Слухи страшили. Неурочные колокольные звоны настораживали. Возрастали тревоги на земле тревог, прорастали зерна дерзости и неповиновения, по беспечности не замечаемые. Пьяные дрожжи охмеляли головы, заквашивали злобу с вожделием – опарой из корчаги, народ по округе неуклонно обращался в слякотный люд, готовый стечь по любому уклону. А по улицам бегал мальчонка-шустрец, которого жиды – по достоверным сведениям – давно уже извели на мацу.

Палкой тьму не разгонишь.

Пошли за советом к старой Цирле, у которой не было возраста, и она сказала им, позабывшим о смехе:

– В дни покоя не заботились о днях печали... Ой человеку, который видит и не знает, что он видит.

– Где покой, Цирля? Откуда у нас покой?..

Цирля дожила до невозможных лет и смотрела уже не наружу, а внутрь себя. Мир для нее не существовал; в ней самой располагался весь мир, и Цирля отослала их к равнине, который помнил еще, когда он родился.

– Ребе, – вздохнули в сокрушении. – «До основанья, а затем...» – куда уж затем, ребе? Извратилась земля. Изверились люди. Меж теснин, ребе: дни в суете – ночи в ужасе. Сидим, ждем и трепещем.

Старый ребе – бледный, тшедушный, с юных лет изможденный учением – вступил наконец в такие годы, когда его внешность стала соответствовать его возрасту. Ребе разъяснил по явленным обстоятельствам:

– Не с теми боремся, идн, не тех опасаемся. Истинные несчастья рождаются из опасения мнимых.

Не уловили они, ох, не уловили...

Был манифест. И было буйство. С кольями, дубьем, жердинами из плетня. «Я не участвую в этом», – сказал Господь, но Его не услышали. Окуляркин сын вышиб двери у Тагера. Паранькин кум порушил мебель у Цузмера. Пелагейкин зять вспорол подушки у Блюмберга. Афанасий-насий-насий – заика с колуном – заломал камень на могиле наставника, который родился с кипой на голове. Соседи. Сто лет вместе. Хаты иссохшие, стены погнившие, на крышах мох с соломой – не отличить. «А взять-то у них есть чего? А взять-то у них нет ничего...» Прибежала хворая вдова Федосьица, припоздав к разбору, погналась за живностью на дворе, загребая увечной плотью, прихватила петушка цепкой рукой. Не спрятался, потому что глупый, не убежал, потому что гордый, – прокричал напоследок тоскливым воплем, как насылал беду на округу, но вдова Федосьица не обеспокоилась: свернула петушку шею, сварила в казане курячий суп с бураком, с Птицей райских садов, отобедала с чувством. Ежели петух бегаёт без головы, значит, не теряет еще надежды; ежели кричит перед кончиной, и громко кричит, надсаживая глотку, мясо его слаще, навар с петуха гуще и сытнее.

– А биселе погуляли... – сказали напоследок мужики и пошли допивать.

С того дня фарфоровый Мотеле тронулся, должно быть, умом. Слышал за спиной хриплое, запаленное дыхание, приправленное луком, а потому отпахивал всякую дверь на пути, как искал выхода, отмыкал всякие ворота, сарай с погребями, шкафы с сундуками, крышки у кадушек и заслонки у печей. Отмкнешь – а там праздник, восторг, светлая звезда над головой «Покинь грусть».

– Доброе утро, – говорил в любое время дня, даже к вечеру, а ему резонно отвечали:

– Утро позади, Мотеле.

И глядели с жалостью на женатого человека, приотставшего в развитии. Пошел к равнине, сказал:

– Вот я просыпаюсь пораньше, гляжу на небо: ну и подарок! А потом, что потом? День в заботах, вечер в огорчениях, ночь в опасениях. Уж лучше желать доброго утра.

Ребе вздохнул:

– Научись с этим жить, Мотеле.

Но у Мотеле был свой резон:

– Дверей к небу – их много, ребе. Дверей к человеку – не меньше. Создатель сотворил несчетное число дверей, а мы завалили их житейской необходимостью – не приметить. Здесь не удержаться в детстве, ребе.

И отыскал ворота на выход.

– Там турки! – взволновались соседи. – Там Махмуды! Спать негде и есть нечего! В той земле требуются железные люди, а не фарфоровые – ты пропадешь там, Мотеле, умрешь и не будешь жить!..

Уходили – головы повернуты назад. Плыли на корабле, высматривая из-под ладоней землю по курсу. Мотеле разяснял Шайнеле, а она слушала:

– Там розы в меду – лакомкам. Высушенные лепестки – к благоуханию в домах. Фиалки в сезамовом масле – для притирания кожи...

Кто-то спросил с палубы, углядев дальний берег:

– Что здесь?

Матрос ответил:

– Здесь плачут.

– Кто здесь?

Матрос ответил:

– Дети смерти.

– Что делают?

– Строят на песке.

Мотеле поправил:

– Сыновья сыновей. Строят на камне.

Розой в меду не лакомились. Не натирали кожу, зудевшую от кровососов, сезамовым маслом. Сушеные лепестки в домах не благоухали. То место называлось «Покой и удел», однако скалы не источали вино, холмы не истекали молоком, покоя в их уделе не было. «Моя кровь прольется, но прольется и твоя...» Мотыжили землю, отваливали валуны, рыли канавы, измозолив руки, прокладывали дороги, соревнуясь с Махмудами. Жалил скорпион в поле – пили водку до беспамьяства, чтобы перетерпеть жгучую боль. В войну, в голодные зимы, отыскивали на чердаке сухарные обломки и сахара огрызок – мыши натаскали про запас. Мыши обойдутся.

По вечерам танцевали на лужайке. По ночам пели песни: «Мы шадем... Мы засеваем... Мы не с неба упали – проросли из земли...» Время было такое, когда держались друг за друга, чтобы выстоять, и говорили «мы», только «мы»; потом появилось «я». Погуживал поезд, сближая расстояния. Промелькивал диковинный биплан – ребятишки бежали за небыстрой его тенью, чтобы наступить на голову пилота. Дым возносился из первых труб. Молоко тренькало в первых подойниках. Несушка скудахтывала первое яйцо. Сколачивали пер-

вые люльки из порожних ящиков. Запрягали верблюда к изумлению соседей – впервые в этих краях. Забрел нищий, руку тянул за первым подающим. Первую дверь запирали от первых воров. Почтальон приносил первое письмо. «Мотеле, – уведомлял ребе. – Уясни и запомни: когда нечто существует не ради самого себя, его существование зависит от того, ради чего оно вызвано к жизни. Борьба не кончается, Мотеле. Борьба на выживание. В разные времена – разные ее виды. Кто не участвует – уходит в другие народы...»

Неугомонный Мойше спрашивал отца:

– Папа, а другого семечка нет? Папа, хочу петуха с хохолком...

– Петушок от тебя не уйдет, – отвечал Мотеле, который не был уже фарфоровым. – Держи удар, Мойшеле. Не падай. Тебе далеко идти...

...Мойше Шпильман жил в кибуце под Иерусалимом, на земле, украшенной розами, и жил он великолепно, с веселым сердцем, с благодарностью за каждую дождевую каплю. Взял в жены девушку Райку, которую ублажал по ночам. Купил по случаю пузатую мандолину, которая ублажала его. Отрастил ноготь на мизинце и щекотал брюшко мандолины, щекотал Райку, а они отзывались на ласку. Горела керосиновая лампа по вечерам, глядел со стены лихой рубака с огромными усами, а дядька Шпильман сидел под его портретом, выращивал золотистое великолепие под носом, пел между делом под мандолинный перебор: «Буденный, наш братишка, с нами весь народ...»

Приходили друзья, прикладывали линейку к усам рубаки, мерили затем у Шпильмана:

– Догоняешь, Мойшеле.

– Догоним, – отвечал Мойше-швицер.

Надевал по утрам короткие штаны с синей рубахой, нахлобучивал на голову соломенную шляпу, и, когда выезжал из ворот, трактор проходил свободно, а усы задевали за столбы, – так уверяли свидетели. Тень от усов дядьки Шпильмана торжественно плыла по полям; товарки заглядывались на немислимое великолепие и выпрашивали у Райки, не щекотно ли.

– Нет, – отвечала Райка. – В самый раз.

Подрастали мальвы на высоченных стеблях – приметой отлетевшего прошлого. Сквозистый тamarиск осыпал землю бело-розовыми лепестками. Кустился пахучий бальзамин в щедром произрастании. Под окном у Мойше распускался по весне своенравный цветок ташлиль, словно диковинные петухи вылезали из земли, чтобы вспорхнуть на забор и закукарекать. Никто их не сажал – сами проклевывались; буйствовала под окном радость, ветром занесенная, но держались петухи недолго – от холода ночей в горах опадала невозможная красота, никли к земле привядшие хохолки Птицы райских садов, восторженно оранжевые и глубинно лиловые.

Жизнь складывалась нормально, даже лучше того – в окружении крохотных приятностей, только дети не завязывались в Райкиной утробе, и это печалило. Они старались, очень старались, преуспевая в истощении мужского семени, но нужных результатов практически не было, а если точ-

нее, результатов не было совсем. Дядька Шпильман отпрашивался порой на работе; они исчезали на пару дней, даже в столовую не ходили, а потом появлялись, изнуренные и голодные.

– Ну как? – интересовались товарки.

– Когда мужчина приходит к женщине... – отвечала Райка. – На этот раз, кажется, получилось.

Затем оказывалось, что на самом деле получилось, и хорошо получилось, но только не у них. Не шло это дело, не проклевывалось в утробе неподобие цветка ташлиль – в ожидании, должно быть, особого знака, но злые языки утверждали, что у Мойше-швицера вся сила ушла в усы, а на прочее не осталось.

Вновь приходили друзья с линейкой, сравнивали его великолепие с усами на портрете:

– Догнал, Мойшеле.

– Перегоним, – отвечал он.

Была зима в Иудейских горах, зима лютая. Дядька Шпильман заночевал в поле возле трактора, а к утру кончик его знаменитого уса примерз к железу.

– Отрежем, – сказали друзья.

– Отрежьте лучше голову.

– Оборвем пару волосков, – сказала Райка.

– Я тебе оборву...

Холода не отпускали пару дней, и Мойше лежал, не шевелясь, терпеливо ожидал наступления тепла. Райка брала лопоту хлеба, поливала оливковым маслом, сверху посыпала солью, добавляла тертый чеснок – Мойше откусывал понемногу лакомую пищу, запивал чаем с ложечки.

– Лежи спокойно, – говорила Райка. – Хоть до весны. Пока не оттаешь.

К ночи подкрались вороватые соседи – угнать трактор, и Райка, лютая львица, плетью прошлась по спинам на поругание с посрамлением: «Ой вам, воры, разбойники!..», с честью отбила мужа и общественное имущество. Мойше с места не сдвинулся, чтобы не повредить ус, лишь покрикивал одобрительно:

– Райка, не спускай! Секи их, Райка!..

Потом потеплело. Ус оттаял. Мойше вернулся домой, сел под портретом знаменитого рубаки, приказал:

– Меряйте.

– Перегнал! – восхитились друзья и спели на радостях: – Шпильман, наш братишка, с нами весь народ...

А ночью ему явился рубака на коне, проговорил с угрозой:

– Мишка, окороти усы.

– Не окорочу.

– Мишка, тебе сказано!

– Кому Мишка, а кому Моше бен Мотл бен Йосеф бен Ушер бен Шолем бен Герш бен Фишель бен Аврум.

– Да я на тебя Первую Конную напушу!..

И шашку потянул из ножен.

– Грозить?! Мне? Мойше Шпильману?.. Райка, давай!

Шпильман разозлился, Райка разозлилась тоже: разверзлась наконец женская утроба, заглотала без остатка мужское семя, и выродили они сына – хоть сейчас на врага! Бен-Шахар, Сын Зари – никакая Конная не устоит, ни Первая, ни Вторая, ни Пятая. С тех пор и пошло, откликом на мировые события: возвысился бесноватый с усиками, Чемберлен продал чехов, британцы затворили ворота в страну, а они возмущались до глубины души и выводили на свет Шпильмана за Шпильманом, молодца к молодцу – только отворай.

– Места не осталось в доме! – вскрикивала Райка в счастливом ужасе. – Даже на полу! Неуместительно, Мойшеле, неуместительно...

– Поместимся, подруга, поместимся.

Птицы райских садов на газоне, словно великолепные заморские петухи, не опадали теперь ко всеобщему восторгу. Усы не опадали – пиками на врага. И дядька Шпильман не опадал тоже...

...открывается дверь, входит простак с бубном:

– Мы завершаем, идн, мы завершаем! Прошлое надежнее будущего, его не отнять... Злодея Амана повесили, Мордехая возвеличили, спасительницу Эстер благословляли и благодарили. Трах, музыканты, трах!.. Войдите все, оставшиеся за порогом.

Входит царь-дурак:

– Хоть я и владыка мироздания, но ничто человеческое мне не чуждо. Народов на земле немало, есть кого утеснять...

Входит Эстер:

– Хоть я и живу во дворце, но знаю наверняка: лучше слеза от лука, чем слеза от горя...

Входит Вашти-проказница:

– Хоть мне и отрубили голову, но скажу тоже: не оплакивайте умерших, оплакивайте тех, кто остался...

Входит Мордехай:

– Хоть я и помучился, но извел-таки Амана. У кого нет настоящих врагов, у того нет и настоящих друзей...

Входит Аман:

– Хоть я и кидал жребий, но вышло по-ихнему. Сюртук повешу на гвоздь. Шляпу на ветку. Штаны на перекладину. А шпоры, куда дену шпоры?..

Простак с бубном:

– Оставь их на ногах и пришпорь себя по дороге в ад.

Стягивает с плеч козлиную шкуру:

– Кто-то не поверит в наши рассказы, кто-то усомнится в правдоподобности событий, мы же ответим на это смехом и пением...

Вздыхает на уходе:

– Господи, как я устал от ихней ненависти, – отчего же они не устают? Циг-цигеле-цигл, циг-цигеле-цагл...

ТРЕВОГИ НА ЗЕМЛЕ ТРЕВОГ

1

Год начался в сентябре: сентябрь – месяц знойный.

Протрубили в шофары, прочищая окрестности от скопившихся нечистот. Пробудились для очередного раскаяния, оробелые сердцем. Разломили спелый гранат. Обмакнули яблоки в мед. Продрожали в грозные дни, поминная содеянные вероломства. Попросили прощения у обиженных, простонали в День Суда, испрашивая исцеления с пропитанием, снова протрубили в шофары – докричаться до трона Милосердия, и встали на путь прерванных беспокойств.

Осенью приезжают садовники городской службы, обрезают без жалости деревья над обрывом, оставляя стволы с парой укороченных веток, и встают обрубки вдоль дороги, по которой катят машины и нечастые автобусы. Торчат обрубки, запрокинув безголовые шеи, вскинув заломленные руки в забытья фламенко, продираясь через жестокую застенчивость, в страстной неуклюжести калечного тела: раздутые ноздри проглядывают в бугристой коре, выпученный от усилия глаз, криком разорванный рот – в мучительных потугах оторваться от корней.

Дорога проложена над обрывом, чей крутой склон пророс донизу жесткой колючей порослью, не сминаемой под ногой. Деревня раскинулась привольно на дальнем возвышении, кладбище за оградой, узловатые масляные деревья, вокруг которых вскопана рыжеватая земля; минарет расцвечивается к ночи изумрудным – поверху – браслетом, пробуждая под утро неутолимим призывом. Густеет в черноту небо, покой нисходит на долину, дарованное согласие. Подкрались однажды с той стороны, подстерегли мальчишек, которые играли на склоне, – камень с двумя именами встал над обрывом, в аллее бессильного немого танца. Дождями омываются имена, ветры сгоняют к подножию облетевшую желтизну, чтобы проклянулся ненадолго, разбередил чувства прощальный запах прелой листвы, которая в здешних краях не гниет – усыхает. По весне опускаются обрубки новыми побегами, зеленью приглушают страдания, прикрывая искалеченные тела, которые вновь искромсают по осени старательные садовники; лишь одному обрубку не дано опуститься – да он и не танцевал.

А по соседству выравнивают площадку для здания, заливают бетон в уготованные ему отсеки. Склон взрезан, каменный покров сорван и обезображен, оголено потаенное, сокровенное, упрятанное от нескромного глаза; осыпью по склону битые камни, серые ошметки цемента, клочья дражных мешков, ломаные доски от опалубки, ржавая арматура – лишаем, струпьями, невозможной проказой посреди накопленной с трудом зелени. Вздохнет терпеливо потревоженная земля, станет наращивать травы по

осыпи, кусты с колючками, чтобы заслонить непотребство и уберечься от будущих надругательств, – на это уйдут годы.

2

Сказано:

– Жить тебе – в прибрежной стране. На земле, иссыхающей к полудню. Где почвы благодатные и вид чарующий.

– Богата ли та земля?

– Богата.

– Золотом? Сандаловым деревом? Слоновой костью – павлинами?..

Шпильман сидит на балконе, с высоты оглядывая окрестности, совместно с растительным и животным миром готовится к очередному закату, поражающему воображение. Мужчина в поздние шестьдесят (или в ранние семьдесят), который решает непосильную для ума задачу: как разложить прожитые годы – семь раз по десять или десять раз по семь?

Но при чем тут ум? Чувства бы подсказали, чувства!..

По возрасту пенсионер, по ощущениям юноша, строением тела – мальчик. Сух, крепок, невысок, на глаз зорок, на кожу чист – лицом и под одеждой, но к этому допущены лишь посвященные. Тело слушается его без прецедентов, ловкое, послушное, без единой жиринки на мускулах; тело остается неутомимым на долгом затяжном подъеме или в разгуле чувств – имеются тому подтверждения. Баловником прошел по жизни, без привязчивой хвори, а оттого вечное в душе беспокойство – достойно ли перетерпит болезни, притаившиеся за поворотом?.. Старики вокруг гнутся от недугов и мучений, утягиваются в болевую точку, отрешившись от всего, а ему присылают из-за океана журналы мод, хоть Шпильман и не заказывал, ему, лично ему, с именем и адресом на конверте, с обольстительными красотками в одеждах и без: «strapless... french nude... sexy... very sexy...», словно пробуждают Шпильмана напоследок, не дают затухнуть желаниям, чтобы продержался подольше на финишной прямой. А уж потом спад, спад, спа... Борода ухожена, и он за этим следит. Лоб с залысинами, и это его не радует. Волос густ, без приметных проплешин, однако золотистость кудрей удержалась лишь в воспоминаниях очевидцев. В хрониках прошлого о нем бы поместили: «Сметлив. Щедр. Горд и высокоумен. Памятлив на лица, чувства и прикосновения, а на события – не очень. Любитель книг, правды и крепкого питья. Жены и вино им не обладают».

Реки впадают в моря в несбыточном желании излиться без остатка. Еноты впадают в спячку – передремать свой срок. Люди впадают в грех, тоску, в меланхолию, а счастливые впадают в детство. Вернее так: сначала впадают, а уж там становятся счастливыми. В окружении крохотных откровений.

– Впадчивый какой! – шурятся доброхоты с укороченными сердечными помыслами. – Твоя фамилия Шпильман? Семь раз по десять? В твоём возрасте не к лицу подобное.

– Характер мой неустойчив. Настроения спазматические. Желаю, чтобы теперь.

Так захотелось – даже цыпки на руках проступили, заедки на губах, веснушки по щекам и прыщики возмужания. Туда, туда, в обогретую заветную пазушку! Где одежды на вырост, заботы на выброс, где ластятся нестрашные звери, к ночи нашептываются сказки, где босиком по траве – не уколешься, с разгона на бугор – не запыхаешься, с разбега в глубины – не наплаваешься. Дети разглядывают мир через незамутненный кристалл. У взрослых натекает темная вода «катаракт».

– Остепенись, Шпильман! – кричат привядшие, спекшиеся, наспех латанные. – Дай мы тебя состарим, ну дай! Не дашь состарить – дай усредним! Дай же себя усреднить, неблагодарный...

Есть люди, которые любят проигрывать. Им это идет. Их это бодрит и сближает с другими неудачниками, которых не счесть. Износилась, обветшала радость, облохматилась по краям наивность, посекались души на сгибах, побывавшие в перелицовке, где их вечно обуживают, укорачивают, оглаживают, чтобы не топорщились в морщинках беспокойств. Реки перегородивают плотинами, дабы не своевольничали. Енотов выволакивают из убежищ для хозяйственных надобностей. Меланхоликов выманивают из тоски-депрессии, а счастливых вытряхивают из детства – обдирать бока в муках привыкания. Жизнь коротка – некогда опомниться, но Шпильману повезло, у Шпильмана нет страха перед утекающим временем, никогда не было, будто обещаны ему семью семь столетий: вот человек, у которого впереди нескончаемость чувств и поступков.

– Отдохни от этой мысли, – говорят завистники, которые отпали от стола желаний, а полагают, что их оттерли. – Подойдет срок – выпадешь, Шпильман, в осадок.

– Моя фамилия – Галушкес. Он же Танцман, веселый еврей. Песя Тазик и Бенья Пукер, которые потешают и утешают. Включите ощущения – они вам понадобятся. Отключите привычки. Трах, музыканты, трах!..

Удачлив в делах. Голос не возвышает. Слышит свои слова – не в пример иным. На посторонних не обидчив, того не стоит, а на близких тем более – жалко терять время. «Не надо со мной соглашаться. Не надо!.. Это настораживает: быть может, вы льстите. Это пугает: быть может, вы принимаете меня всерьез...» Собою владеющий, другим потакающий, Шпильман наскакивает в разговоре неожиданно и врасплох, не дослушивая до конца, после долгой беседы завершает тему наедине: какой же он умный тогда, какой сообразительный! К нему липнут нищие, спрашивая подаяние, – Шпильман их притягивает; его безошибочно выбирают проходимцы, у которых в запасе тысяча способов выжимания жалости, но вот, но вдруг, на остановке перед светофором взглянул мельком истощенный мужчина, страждущий еды или наркотиков, обошел стороной Шпильмана за рулем, протянул ладонь к водителю по соседству. Что-то неладно с тобой, друг Шпильман: чем ты его оттолкнул, какие приметы

проступили на лице, отчего не зывают к тебе обделенные?.. Это его обеспокоило.

Реки поворачивают вспять, и они никуда уже не впадают. Енотов отлавливают на мех, и им более не до сна. На меланхоликов запасены лекарства, психологи с психиатрами. Шпильмана выковыривают из детства, но он не поддается. «Обманываем любые ожидания. Всегда. Во всем. Обманем и ваши, дайте только повод...»

Банковский работник предложил по случаю:

– Закройте деньги на десять лет, не менее. Выгодно и надежно.

– Где я и где мои десять лет? – сказал на это. – Имейте в виду, Шпильман, по-видимому, не вечен.

Но условия оказались заманчивы, проценты велики, и он согласился:

– Теперь у меня нет выхода. Только прожить этот срок.

– Хорошая мысль! – восхитился банковский работник. – Этим я буду соблазнять клиентов.

Так был подобран ключ к бессмертию.

3

Крохотный Шпиц, учитель математики в выпускных классах, сказал однажды:

– Дорога появится для того, кто на нее шагнет. Не дорога – тропка, по которой идти, непроезжая, непрохожая, и куда она заведет – неизвестно. Что же определит правильность выбранного пути? Кто знает?

Никто не знал.

– Всё, что повстречается на тропе, станет необходимым, всё случайное окажется неслучайным, всё необязательное – обязательным и поплывет в руки без видимого твоего участия. Не будет более пустой породы – верный признак того, что нашел жилу, которую тебе разрабатывать. Но берегись! Жила может закончиться так же внезапно, как началась; ты выбрал ее до конца и скребешь по камню. Распознай это вовремя, шагни на другую тропу, вновь непроезжую, вновь непрохожую, не уподобляйся тем, которые скребут и скребут, выдавая на-гора пустую породу, – люди внешней мудрости.

Оглядел класс и добавил совсем уж невозможное, как выругался или наколдовал на будущее:

– Дважды себя не перелицуешь...

Мудрый Шпиц, муж умозрений, томился алгеброй с геометрией, жаждая погрузиться в глубины познаний, а оттого был въедлив и настырен. Ходил по классу – руки за спину, изводил каверзными вопросами, к математике не относящимися, выводил учеников из темницы глупости: к чему тело, когда головы нет?

– Мелко! – кричал на их ответы и топал ботинком мальчикового размера. – Где изощренность умов? Восторг познания? Выявление ранее невозможного? От дураков нет прохода!..

Назавтра приходил собранный, напружиненный перед броском, говорил, как вбивал в головы:

– В последние дни перед потопом. Явлены были. Прелести. Будущего мира. Зачем? С какой целью?

– Чтобы одумались, – отвечал лучший ученик. – Раскаялись во избежание наказания.

– Мелко! – ликовал Шпиц. – Не утонуть!.. Чего стоит раскаяние, оплаченное будущими прелестями?

– Чтобы сожалели о потерянном, – отвечал другой ученик. – За минуту до гибели.

– Мелко! Еще мельче!.. Всевышний не злорадствует, Ему незачем!

– Чтобы... – говорил шалопай Шпильман, и все готовились к очередной потехе. – Прелести явлены не им, а Ною, поощрением за старание. Другое объяснение: прелести явлены нам – предостеречь от будущих бедствий. Объяснение третье, опровергающее первые два: был ли вообще потоп?

– Возможно, он прав, – задумывался Шпиц. – Но мудрецы бы его не хвалили...

Крохотного Шпица раз в году призывали в армию, в охранную роту, и он выстаивал на посту с ружьем на вырост: солдат-гном, каска на уши. Служил старательно, с охотой, в свободные часы лежал на матраце – голые ступни просыхали на ветерке от тесноты башмаков, сосед по палатке изводил вопросами: «Способен ли ты понять, что на свете является наказанием, а что наградой?» Сосед бурчал во дреме: «Дед, затихни...» Шпиц не затихал: «Иначе гостем пройдешь по жизни, заходим гостем», и невыспавшийся его сосед, замученный нескончаемой работой чужого ума, вопил ненавистно: «Дед, сбегал бы ты в атаку! Чтоб на раз кончили...»

Редкая, в колечках, борода. Редкие локоны вокруг лысого, в веснушках, темени. На прощальном вечере Шпиц сказал:

– Этому всё равно. Пусть делает, что захочет.

И Шпильмана выпустили в мир, не нацелив заранее на удачу.

Карась – рыбка малая, но сладость в уху добавляет. Неукротимый Шпиц, крохотный заеда-истязатель, был чародеем, не иначе. Гном-математик из потайной пещеры раскидал по свету алмазы с волшебными гранями, что растопили снег искристыми брызгами и проложили множество путей-ответов, по которым блуждать до старости...

Шпильман говорит за едой:

– Открываю на кухне кран, и вместе с водой в кастрюлю выпадает рыба. Небольшая, – показывает. – С палец.

Глаза округляются. Кусок не проглатывается. Девочка Михаль, которая любит поесть, откладывает вилку:

– Так не бывает...

– Почему?

Категорически:

– Потому.

Ну что ж, решает Шпильман, обратимся к здравому смыслу:

– Откуда приходит вода?

– Из Кинерета.

– Правильно. Труба засасывает воду из озера, а вместе с водой утянуло и рыбу.

– Мама, это правда?

Мама молчит.

– Рыба, – уточняет Галушкес, – выпала из крана хвостом вперед.

– Почему?

– Потому что стремилась назад, в озеро. Но поток очень уж силен – не одолеть.

Девочка Михаль печалится...

Через день Шпильман добавляет:

– Иду к машине, вижу розового кота на перекрестке. «Это какой свет?» – спрашивает. «Красный». – «Коты не переходят на красный свет. Теперь какой?» – «Зеленый». Идем – он говорит: «Куда едешь?» – «Домой». – «Где твой дом?» – «В Рамоте». – «У тебя машина большая?» – «Большая». – «А то не помещусь...» Едем – беседуем.

– О чем? – спрашивает девочка Сарра, локти от удивления уже в тарелке.

– О всяком. Почему котов не учат бальным танцам. Отчего не изготавливают кошачьи зонтики, чтобы не мокнуть под дождем во время прогулок. Где продают бинокли для котов – углядеть мелкую мышь. Как раздобыть теплые кошачьи тапочки – согреть озябшие лапы, когда возвращаешься с охоты. В Рамоте кот вылез из машины и говорит: «Завтра поедешь в город?» – «С утра». – «Меня возьми».

Сарра:

– Папа, это правда?

Папа улыбается.

Наутро выходят из дома – сидит у порога пушистый кот, как огромный розовый одуванчик. Сидит – ждет.

– О, – говорит Танцман, веселый еврей. – Вот и он...

Полный восторг!

Родители недовольны:

– Что же ты делаешь? Они только что выстроили мир. Заселили его. Утвердили незыблемые порядки. А ты всё рушишь.

– Вовсе нет. Я населяю их детство. Наполняю откровениями. Делаю его притягательным. Чтобы хотелось туда вернуться. Чтобы было куда возвращаться.

– Так-то оно так...

И Шпильман понял: начинать надо с родителей. Как можно скорее. Трах, музыканты, трах!..

– Иду по улице, вижу котов на заборе. Один под зонтиком, другой в тапочках, третий с биноклем. Читают вывеску на магазине. «Давно читаете?» – спрашиваю. «Чем издеваться, – отвечает кот под зонтиком, – лучше

бы помог». «Давайте, – говорю, – вместе». «Вместе мы не можем, – отвечает кот в тапочках. – У нас буквы не складываются в слова». «А если бы и складывались... – добавляет тот, который с биноклем. – Я различаю букву "шин", этот угадывает букву "куф", и то не всегда, а тому кажется, будто ему знакома буква "алеф". Но на вывеске их нет». И принялись разучивать на заборе салонный танец «эживок»...

4

Две тоски подстерегают на свете, всего две: ближняя – рукой потрогать и отдаленная – не дотянуться. По земле оставленной, любви отлетевшей, по родителям, которых не вернуть, по самому себе, невесть куда сгинувшему, по неприглядной скамейке в парке, где ожидал ту, единственную, чье имя и облик давно позабыты, – это тоска ближняя, приручаемая: ее излечивает время, приглушают расстояния, затушевывают иные образы. Отдаленная – она запрятана глубоко, не всегда, не всякому доступная: по утерянному раю, в который не попасть, по звездным мирам, до которых не долететь, по отлетевшим дыханиям юности и чистоте запачканных намерений – отдаленная тоска не в нашей власти, а оттого неисцелима.

Она звонит по утрам, теща-прелестница – со сна не раздышаться, в глосе хрипотца от неисчислимых сигарет:

- Сoberись. Навести старуху.
- Я простужен, Белла. У меня насморк.
- Ну и что? От своих заразиться – на радость. От родных бактерий.
- А если...
- Какие могут быть «если»? Твой вирус – мой вирус.

Бульон чист и прозрачен. Сухарики невесомы и золотисты. На котлету уложены горкой прожаренные луковые скорлупки, проглядываемые на просвет. К чаю выставляется варенье из инжира, начиненного орехом. «Я хороша в изготовлении еды. В распускании старых свитеров тоже неплоха». Высшая степень презрения тещи Беллы: «У них сосиски в морозильнике и макароны в кастрюле».

– Что нового? – спрашивает Шпильман.

– Нового?... – отвечает. – Я покончила с этим. Со старым бы разобраться.

Для одних главное в еде – скорое насыщение, для других – смакование блюда, неспешное наслаждение удачно приготовленной пищей. Шпильман ест без торопливости, растягивая удовольствие, а Белла рассказывает с паузами, чтобы одолеть одышку:

– Это было то время. Когда фильмы пускали от конца к началу. Для привлечения зрителей. «Урод в шкафу». «Скелет на рассвете». «Привидение за дверью». Такие пустяки тогда еще пугали. От ужаса у мамы начались схватки, и родилась я. Хилой и недоношенной. Меня баловали. «Женщина должна есть конфеты, – говорила мама. – И нюхать фиалки. Тогда это женщина». Меня учили играть на скрипке: мы, евреи, любим это занятие. Со

скрипкой можно уйти из страны, когда прогонят, а рояль не унесешь с собой. Меня оберегали от забот: «Успеешь, – говорили. – Нароботаешься». Успела. Нароботалась...

У нее отекающие ноги, у тещи Беллы, наплывом на разношенные туфли, но она топчется возле плиты, готовит гостю угощение. Хозяйка в доме своем, королева среди подданных, мудрая владычица в ладу с вещами, мебелью, посудой, повелевающая ими в комнатах и на кухне. «Белла, – удивляется доктор. – Ты замечательная больная, потому что выздоравливаешь. Одно удовольствие тебя лечить». «Эти лекарства... – отвечает Белла. – Дешевле быть здоровой». По утрам она выходит к остановке, с усилиями взбирается в автобус: главное – одолеть первую ступеньку, самую коварную, что подрастает из месяца в месяц. «Белла, – говорит водитель, которому тоже пора на покой. – Что бы тебе не объявиться лет сорок назад?» «Что бы тебе не поискать?» – откликается Белла и едет от одной конечной остановки до другой, оглядывая окрестности. По этой улице ходила. В тот магазин заглядывала. Этим воздухом дышала. С тем человеком разговаривала. «И это всё? Ради этого выпустили в мир?» Водитель отвечает: «Разве этого мало?..»

– Из Варшавы мы побежали на Украину, с Украины в Сибирь. Нас бомбили. От ужаса начались схватки. И родилась доченька, твоя жена, слабой и недоношенной. Ехали в товарном вагоне. Не было пеленок. Распашонки. Молока у меня тоже не было. Из соседней теплушки принесли куклу. Большую, с закрывающимися глазами. Куклу раздели, ее платье отдали доченьке. Она и была как кукла...

Старомодных надо беречь. Старомодные – охранители прошлого. У нее десятки крохотных зеркал, у тещи Беллы, которые она держит под запором, в мягкой рухляди, чтобы не захватили руками. «В этом отражался отец. В этом – мама. В том – непутевый мой муж...» На полке под стеклом стоят книги. К книгам прислонены фотографии, с них поглядывают родные с друзьями: слева живые, справа оплаканные. Получив очередное сообщение, Белла переставляет фотографию с одной стороны на другую, не надеясь на память, которая может подвести. В один из дней Шпильман обнаружил, что справа разместились улыбающиеся лица, слева – пасмурно озабоченные, словно переход в иной мир освобождает от хлопот-огорчений.

– На Голанах погибла вся рота. Нам сказали – ты тоже. Кто-то даже видел: в танке или около. У нее начались схватки, и родился семимесячный – еле выходили. Тебе сын, мне внук. Что же это за век такой? Отчего все недоношенные?..

У Шпильмана нет ответа. У нее – тоже.

– Съездить бы тебе в Варшаву, – советует. – Навестить свое детство.

– Нет моего детства. Одно вокруг кладбище. Убили евреев. Изгнали евреев. Играют теперь на сцене, смакуют идиш, бывших своих соседей поменяв на выдуманных, которые под гримом. Этих они любят.

Берет со сковородки котлету, сочную, румяную, истекающую ароматами, подкладывает ему на тарелку:



– Ад уже был на земле. Мы прошли через ад. Есть надежда, что мы его отработали и попадем теперь в рай.

– Будем надеяться на лучшее, теща моя.

– Лучшее для меня – чтобы не стало хуже, зять мой.

Смотрит, как он подбирает еду, бурно вздыхает:

– Тебе плохо, Шпильман.

– Мне хорошо. Меня усыновили в супермаркете. Прихожу к открытию, спрашиваю: что купить? Собирается совет – продавщицы с кассиршами. Все меня знают, все жалеют. «Возьми курицу». – «Надоело». – «Шницели». – «Видеть не могу». – «Гамбургер с картошкой». – «Уйду в другой магазин!..» Это на них действует, и они предлагают: «Фаршированные перцы». – «Перцы?» – «Перцы. Легко приготовить». – «Что для этого надо?» Берут за руку, ведут по магазину, набирают нужные продукты – сам себе завидую.

– Ты бы женился, Шпильман. Тяжко одному.

– Я не один. У меня ежик.

5

День из дней. Вечер из вечеров. Она является теперь незваной, женщиной, которой Шпильман недодал в лучшие ее годы, – так она считает. Оглядывает комнату с камином, ввысь вознесенный потолок, чистоту с покоем, буйство домашних произрастаний – не может отдышаться.

– Ты торопилась? – спрашивает Шпильман.

– Я поднималась по лестнице.

Излишества портят фигуру и притупляют ощущения, но обида держится до конца, передаваемая по наследству.

– Что ты от меня бегаешь, Шпильман?

Цвет опал. Лето миновало. Ночи удлиннились и похолодали. Она кокетничает еще по привычке, эта женщина, но кокетство шло ей дюжину морщин тому назад. Она надеется, возможно, на продолжение, но смотрит на нее не тот Шпильман, другой Шпильман, совсем, быть может, не Шпильман. Ноги идут за сердцем – туда, где некогда ожидало желание, а прошлое стерто, смыто, прошлое осталось лишь в памяти прикосновений, не более; с этой женщиной не о чем помолчать, ибо молчание – явление обоюдное, настоящее в глубинах ощущений.

– Шпильман, – просит женщина. – Увесели надеждой.

Он не понимает порой, что она спрашивает. Она не понимает, что он отвечает. Так они беседуют.

– Вам повезло, – сказал агент по продаже недвижимости. – В ваш дом въезжает интеллигентная семья, которую не увидишь, не услышишь их криков.

Это оказалась тихая семья, которая производила много шума. У них постоянно сверлили, прибивали, вколачивали, перестилали полы, меняли ванны с унитазами, ломали и возводили перегородки, чтобы затихнуть не-

надолго, набраться сил и средств, вновь поломать, высверлить и перестроить, расходуя деньги и соседские нервы. В этом непрерывном обновлении находило выход несогласие с жизнью, стихийное желание перемен, но когда хозяйка квартиры обратила внимание на Шпильмана, у них всё затихло. Отключились дрели. Отпали за ненадобностью молотки с зубилами. Осталась непрокрашенной половина стены. Шпильман копошился под обломками порушенной жизни, ослепший от страданий, тыкался кутенком в поисках тепла и наткнулся на тело, которое приняло его, обогрело, обволокло заботой. Она жила в соседнем подъезде, и это было удобно. Она прибегала в любое время, лишь только представлялся случай, неумолимая во всех отношениях, и когда он приоткрыл наконец глаза, она уже приняла решение. «Мой Шпильман», – сказала подругам, как застолбила участок, а он уходил, он выбирался из-под развалин, прозревший и сконфуженный. Повиниться бы теперь: «Виноват, милая» – вызвать бурные укоризны с пролитием слез. Покаяться: «Я тебе благодарен» – пробудить необоснованные надежды. Она звонит из уличных автоматов для заполнения порожних секретов – так оно завлекательнее, взывает с упреком: «Куда ты опять пропал?..» А он не «опять», он давно и навсегда, но этим «опять» поддерживается ниточка отношений: годы совместной тайны, как годы совместной жизни – не перечеркнуть. В сущности, можно ее пожалеть, но почему рядом с несчастной женщиной должен оказаться еще один несчастный мужчина?..

– Шпильман, тебе не надоело быть Шпильманом?

– Пока нет.

– А мне не вмоготу с собой.

– Что-нибудь подберем...

...назовем ее Ципи, а лучше Шош. Она брюнетка – нет, брюнеток и так много, – пусть будет шатенка, но крашенная в рыжину, в проблескивающий на солнце густой медный окрас. Шош – секретарша, секретарша у высокого начальства, которая не сделает того, чего не пожелает, не пойдет туда, куда не захочет, которую не уволить – только терпеть и ублажать. Черты лица грубо прорезаны. На пальцах крупные кольца с камнями, в ушах тяжелые серьги, на шее тройной ряд ожерелий, в руке сигарета, на столе вечная чашка кофе устрашающей крепости, на стене карточка счастливой семьи – Шош в пятнистых трико в обтяжку могучих форм, муж-добытчик возле фургона «Ремонт-покраска», дети-погодки в широченных штанах ниже колен, еще мелкие, но уже наглаватые, наследующие папину хватку. У Шош высокая талия, тяжелые бедра с уверенной походкой, распахнутые одежды и желание во взоре – не уклониться от жребия. За ней увязываются и от нее бегают, получив свое, мужчины всех возрастов, отмываясь под душем от пахучих объятий; за ней хвостом тянется легенда, но это не доступность, нет, это превосходство сытой женщины, от которой многое зависит...

– Не балуешь ты меня, Шпильман...

...назовем деву Матильдой, неотразимой Цецилией, привезем из Канады, нет, лучше из Рио, умыкнув с очередного карнавала, долгоногую, самбой

распаленную, без видимых на теле покровов. Отец у нее еврей, мама – мулатка: приодеть в пристойное платье до пола, подобрать парик, провести через гиюр, поменять имя на Фейгу, выдать замуж за строгого хасида в черных одеяниях, поселить в Бней-Браке, наделить многоплодием... – но глаза выдадут, глаза не упрячешь, пусть лучше протанцует самбу от Хайфы до Эйлата, продлив до старости тот карнавал, мимоходом выходя замуж, рожая детей, выкармливая пищей и макаронами, облачая в подаренные наряды, меняя между делом вздыхателей, словно хранятся они в шкафу, обвисли рядком на плечиках, чтобы примерить перед выходом из дома, опануть дерзкими ароматами, – но вздыхателям, и ей тоже, не сбежать от буйного темперамента...

– Это уже получше.

Досада – ее укрытие...

– Я всё о тебе знаю, неблагодарный. Всё!

– Ну уж... Всё о себе и мне неизвестно.

Они сидят на балконе и смотрят друг на друга: вот женщина, из-за которой задерживаются закаты. Мир утихает в ожидании, готовясь к вечернему сеансу, даже неумолчный рокот с далекого шоссе. Багрянец по кромке небес – не насытиться взором, и самолет проскальзывает в синевеющей чистоте над здешней сутолокой, поблескивая подсвеченными крыльями, подмаргивая Шпильману сигналами опознавания.

– Господи! Одним ничего, а другим самолет в небе... Конечно, в такой квартире можно любить эту жизнь.

Шпильман привык к ее наскокам, обижаемый и необидчивый: лишь болезненная гордость чувствительна на уколы.

– Самолет входит в стоимость квартиры, – говорит он. – Это оговорено в договоре при покупке. Каждым вечером, для завершения дня.

Самолет входит в стоимость квартиры. И окрестности, которые не при-своить глазом. Прозрачность глубин в горах, чувствами обогретая растительность на склонах, поверху накинута взвесь печали – горечью неминуемого расставания. Кому оно перейдет по наследству? Кто уберезит-озаботится? Для кого жизнь делается пригожей, без непременных бедствий, и войдет наконец в стоимость квартиры?..

Блекнет багряное великолепие. Балкон открыт всем ветрам. Двери ветрам открыты. Окна.

– Вот человек, которого всё устраивает, – говорит женщина, на что-то еще надеясь. – Дни проводящий в затыкании ушей. Обожравшийся оптимист, которого ничем не проймешь.

Но это не так.

6

Ежик старел. Силы заметно убывали. Иголки на спине седели и выпадали от прикосновений, ломкие и неколкие для врага. Ныли лапки, ныло его нутро, не желая сворачиваться в клубок, задремывали желания, затухал

аппетит, замирали жизненные потребности, пробуждаясь вразнобой, без необходимого на то согласия. Ежик зарывался в палую листву и размышлял в оцепенении, кто же им позавтракает напоследок. Лисы. Шакалы. Бездомные собаки. Или расклюют поганые вороны. Шпильман подобрал его на тротуаре, забредшего невзвесть откуда, сослепу затерявшегося в толчее обуви, и принес домой, чтобы принял смерть от старости. Достойную смерть в достойных условиях.

– Вместе, – сказал, – продержимся...

Синь густеет понизу. Глохнет – тускнеет – черепица на крышах. Голоса слышнее издали, лай собак к ночи. Солнце укатывается в горные долины, чтобы окунуться в море в вечернем купании и явить себя поутру в чистоте намерений. Глазу раскрываются невозможные дали: пустоты пустот или глубины глубин? Роса опускается неслышно, смачивая перила на балконе, стол со стульями, серебрит кудри на голове у Шпильмана. Розоватая кисея разметывается предзакатными ветрами – сквозь нее проглядывает звезда, пыхает напоследок угольно багровым жаром в отчаянной попытке удержать свет, цвет, восторг.

Чем занимаются люди, какими привычками, о том можно не спрашивать. Но чем занят Всевышний в извечных Своих хлопотах? Творит чудесные опыты. Переводит стрелки на путях заблуждений. Наполняет время содержанием, выстраивает и заселяет пространства, умудряя обитателей и подсчитывая потери. А чем Он занимается в редкие минуты покоя? Наводит сумерки небесные, творит закаты, которые не повторяются, на радость Себе и Своим созданиям.

Укатить солнце в укрытие и тушью, волосяной кисточкой, прочертить по окоему контуры приметных возвышений. Перебрать полотнища в закатных окрасах, выбрать приглянувшееся, непопользованное, павлиньим хвостом на полнеба. Укрепить месяц – вызолоченным ноготком на взлете. Разместить поодаль переливчатое создание – пусть это будет Венера. Горстью, из лукошка – сеятелем по яшме небес – раскидать маловидные созвездия, которым продержаться до рассвета. Щедро, единым мазком нанести облако – синь поверху, розоватость прощального отсвета в подбрюшии. Пробудить к ночи духовитость цветений, подкурить дымчатую взвесь волшебства, подписаться росчерком пера – падучей звездой наискосок, залюбоваться, запрокинув голову, – творение завершено, декорация выстроена для вечернего спектакля, и он начинается.

Зрителей немного. Всего двое. Впитывающие и насыщающиеся для душевной пользы. Шпильман на стуле в поздние свои шестьдесят и сникший усталый ежик в ранние его семьдесят. «Господи! – зывают в молчании. – Опустись хоть однажды на этот балкон! Взгляни отсюда на дело рук Своих...» Днем балкон обращается в стол для птиц, которые приносят еду, суетливо насыщаются, не убирая за собой, и Шпильман находит потом шелуху от зерен, остатки ислеканных ягод, иссохшие корки, которые не пробить клювом. Наведывались на балкон и бродячие кошки, считая его своей

территорией, жили на нем, спали на нем, рожали шелудивое потомство, а когда появился ежик, кошки от обиды и ревности стали мочиться у входных дверей, запахами выказывая Шпильману едкий протест. Новый квартирант поговорил с ними по душам, и они ушли на другие, незанятые еще балконы. Ежик спит теперь на подстилке возле дивана, лакает молоко, уплетает с аппетитом куриные котлеты, в жаркие дни лежит перед крохотным вентилятором, а тот его обдувает. Вентилятор дрожит от старания, неприметно ползет по скользкому плиточному полу, путешествуя на поводке по комнате, и ежик передвигается вместе с ним, овеваемый прохладными струями. Ему, неболтливому, Шпильман раскрывает тайники чувств:

– Была у меня жена, а кому-то дочь, кому-то мать, бабушка кому-то. Но мне-то жена, плоть моя, владычица души моей...

Она работала в музее, в глубоких его подвалах, и Шпильман приходил туда, садился рядом, молчал, наблюдая за плавными движениями женщины, без которой не было ему жизни. Из ближних и отдаленных раскопок привозили во множестве черепки, собранные в одном месте, укладывали на стол, а она их подбирала и склеивала, один к одному, чтобы из битых останков выстроить вазу для цветов, кувшин для вина, сосудец под благоволия. Черепок прикладывался к черепку, осколок к осколку, прошлое прояслялось на глазах, выказывая свои формы, оставляя прогалы от несысканных частей, а Шпильман наполнялся покоем, утихали волнения его души, заново собранной из лоскутков, возникла потребность оценить себя по справедливости и проложить путь до завтра.

– Висмотрено в поколениях, – говорит ежу. – Праведникам даны полные годы – родиться и умереть в тот же день. У нее была разница в неделю...

Она ушла в те времена, когда машины еще покрывали чехлами, чтобы защитить от солнца, – кто это делает теперь? Ушла и унесла с собой чистоту, открытость, окна души настезь, а следом за ней – вслед за теплотой – верная тому примета – ушли мелковатые, светлого окраса ящерки, которые прежде не переводились по комнатам, прошмыгивали деловито под ногами, забирались под одеяла-подушки. Прошли месяцы. И прошли годы. Ящерки снова вернулись в дом, и Шпильман утешился: признали, значит, и его. Одна из них – самая, должно быть, шаловливая – упала в чашку с водой и захлебнулась. Выложил на подоконник, промокнул салфеткой, пошевелил лапками, как при искусственном дыхании: хвостик дернулся, дрогнула ее спинка, она обсохла на легком сквозняке и убежала по своим делам. Ящерки не боятся ежика. Ежик не боится Шпильмана, сумерничает с ним, разглядывая закаты, трется о ногу в минуты доверия, разве что не мурлыкает – Шпильману на радость.

У каждого свои ежи.

– Я скажу, а ты сразу забудь. Обещаешь?

Ежик отвечает молчанием: «Обещаю».

– Я ей не изменял. Редко. Почти никогда. Зачем? Нам было так хорошо! Ночи не могли дождаться...

Квартира неприметно превращается в нору, гнездо, логово. Воркота по комнатам, булькотня, квохтанье; даже стиральная машина снисходительно курлыкает, словно делает одолжение, когда ее включают. В кладовке за- таился пылесос, который урчит не хуже кота, если им пользуются. Журчит вентилятор, охлаждая ежа. В туалете воркует, неспешно заполняясь, странное приспособление из белого фаянса, которым ежи пренебрегают. В ванной комнате поселились Ворчала с Бурчалой, клокочат в трубах слив- ной водой. Молоко взбулькивает горлом селезня, когда переливают из бутылки в кастрюлю, а простокваша издает глубокий чувственный гульк спаривающихся сизарей, с наслаждением высвобождаясь из тесного пласт- массового хранилища. Под плитками пола – если вслушаться – похрусты- вают, обустроиваясь, невидные ерзуны-пролазы, бегучие, при нужде кусу- чие, выкидывая наружу излишние им песчинки. Мурлыкает холодильник на кухне, железное бездушное существо: когда ты полон вкусными, полез- ными для здоровья продуктами, поневоле замурлыкаешь в сытости и по- кое. Сметана, к примеру. Со сметаны и собака замурлыкает, а с горчицы и кошка загавкает. Жизнь совершается в накоплении желаний, а потому вор- кота, гулькотня, квохтанье – это выражения довольства, которые скапли- ваются в душе, переполняют ее, звуками выплескиваются наружу.

Здесь, на балконе, Шпильман приходит в гости к самому себе. Молитвы его – бдения на закате. Молитвы – город в отдалении, раскрывающийся на- встречу, светлый, воздушный, щедро подсвеченный в ночи. Молитвы – пробуждением от дремоты, словно расплескивается по лицу прозрачная, зу- бы леденящая, с вершин устремленная вода – пригоршнями горных впадин.

Завершается биография горизонтальная, разумно и неспешно. На под- ходе биография вертикальная.

– Что ты всё выдумываешь, Шпильман!

– Я не Шпильман. Я теперь Балабус, хохотун и насмешник, шпиль-менч с бубенцами, который домысливает за других. Тридл дидл, дидл дудл, о-ля-ля!

– Но ежели ты таков, чем же тогда недоволен?..

7

Однажды Шпильман умер во сне. Не совсем, правда, но шло к этому. Был долгий перебой, остановка сердца, как вдох без выдоха, словно оно задумалось, стоит ли продолжать надоедливое занятие. Начиналось со- скальзывание души, стремительное утягивание по извечному пути – Шпильман ожидал с интересом, будто со стороны: «Вот он и мой че- ред...», – подумать успел, как взмолиться: «Я не прошу отсрочки, нет-нет, этого я не прошу. Пора так пора... Но я же могу еще что-то сделать. Выслу- шать. Облегчить. Вознести в надеждах. Имейте и это в виду». Тромб про- шел по малым сосудам – пусть это будет тромб, как проходит нечто тугое, колючее, после тяжких потуг, раздирая мягкие ткани, – и вышел в арте- рию. Гулко ударило через долгие мгновения. Еще и еще раз. Ноющая за-

тем, на полдня, пустота в груди, эхом отзвучавшего предупреждения: «Вернули! Меня вернули!..»

Звонит телефон. Теща-прелестница укоряет:

– Забыл старуху?

– Белла, не обижайся.

– Это у нас семейное, Шпильман. Никто не умел обижаться. Глубоко и надолго. Это мое несчастье.

– Счастье это твое...

Слышно, как она щелкает зажигалкой, закуривает сигарету, устраивается поудобнее в скрипучем, разношенном кресле:

– Голубчик, поговори со мной.

– О чем, Белла?

– Да хоть о чем. Поговори со мной за повышенную кислотность, за гипертонию с остеопорозисом со мной наговорись. А то поздно будет.

– Только не прибедряйся, теща моя! Ты молодо выглядишь.

– Кому это помогало, зять мой?.. Знаешь, сколько набежало на счетчике? Столько, что порой ахаю: в какие времена занесло? Какими ветрами?..

– Я тоже ахаю, – отвечает с балкона Шпильман.

– Ты молчи. Ты еще молодой, а у меня кто-то крадет дни. Вчера был вторник, сегодня суббота.

И начинаются рассказы: прошлое – гранитной плитой на спине.

– Мы жили скудно в Сибири. Все вокруг жили скудно – на то и война. Работала в госпитале, разрисовывала глаза для раненых – не отличить от настоящих. Шли бои, и на глаза был спрос. Я и здесь этим занималась, когда приехали, узнавала свои глаза на лицах. Это была редкая профессия, которая не кормила: сколько нужно глаз в такой маленькой стране, да еще разрисованных?..

Молчит, как перебирает старые снимки. Память выдает скупое, по капельке, чтобы сердце не разорвалось от боли. Память у нее отменная.

– На кладбище было холодно. Мороз пробирал так, что не думалось уже ни о чем. Даже о потере. Мы укладывали папу в мерзлую землю. Которую пробивали ломом. Пришли сослуживцы из госпиталя, сибиряки и приезжие. Топтались в снегу. Оттирали щеки. Старый еврей в галошах, одевший, остекленевший – Боже, как ему было холодно! – шел от одного к другому и отбирал десять мужчин. Они отворачивались перед неизбежным разоблачением. Опускали глаза. Терли рукавицами щеки, прикрывая лица. Но старик выделял безошибочно: «Ты... Ты... И ты...» «Я не еврей, – сказал главный хирург. – Что во мне от еврея?» «Мальчик, не спорь со мной. Ты – да еврей». Десять мужчин стояли у могилы. Ежились под взглядами сослуживцев. Старик в галошах читал кадиш. И читал не спеша: «Да возвеличится Имя Его...» «Так я стал евреем», – сказал назавтра главный хирург.

Сшитое расшивается. Связанное распускается. У тещи Беллы недоконченный чулок на спицах, который вывязывает не первый год – на ребенка, на взрослого, теперь, должно быть, на жирафу. Он бесконечен, ее чулок;

как закрепит узелок напоследок, перекусит нитку, так и жизнь закончится. Пятку она не начинала вывязывать и не начнет, наверное, никогда.

– Не переносу некрасивых, Шпильман. Стареющих лицом и дряхлеющим телом. Пусть двигаются своими путями, а я останусь на этом месте, посижу в сторонке. Вы старейте, а я не буду. Зачем мне это? Одни огорчения...

Ее поведение не поддается прогнозам. Перескакивания с темы на тему непостижимы.

– Век прожила в скудости. Ела что придется. Носила что попало. Кровать со шкафом не меняла ни разу. Умру – так и не узнаю, какая еда более всего по вкусу, какой матрац мягче, какие наряды к лицу... Шпильман, ты мне сочувствуешь?

– А как же.

– Умру – где сохранятся мои ощущения, накопленные за жизнь? И сохранятся ли?.. Мы отсмеялись своим смехом, отплакали своими слезами – какая бессмысленная трата! Каких чувств! Это тебе понятно?

Шпильману это понятно: его поколение тоже накопило достаточно. Вы слушали, к примеру, фортепьянный концерт под охраной автоматчиков, которые оберегают от самоубийц с взрывчаткой? Сходите, послушайте, насладитесь музыкой, а потом мы поговорим о полноте ощущений. Вы танцевали на свадьбе с противоголозом на боку? Сидели за суботней трапезой, когда на вашей улице убивали без жалости? Играли в наших и немцев – в ту войну и после нее? Кто не играл, тому не оценить прошедшего. А внуки Шпильмана – после стольких кровопролитий – не играют в наших и арабов. Что это значит?..

– Мама говорила: «Люби нас поменьше, Белла. Потеряешь – не залатать пробоину...» Хочу написать об ушедших, Шпильман. О папе, маме. О твоей жене. Поминальную книгу. Книгу-кадиш. Чтобы прочитали десять человек – десять, только десять! – и сказали «Амен».

– Амен, – говорит Шпильман.

В его трубке требовательные гудки. Кому-то некогда. Шпильман переключается на иной разговор, напористый голос без стеснения лезет в ухо:

– Мы проводим опрос общественного мнения. На интимные темы. Женщины в доме есть?

– Нет, – говорит Шпильман.

– Мужчины?

– Тоже нет.

– А кто есть?

– Есть тот, который себя больше не раздаривает. Нигде и никому. Хватит. Могу продать лишь остатки. По сходной цене. – И возвращается к теме: – Я с тобой.

– Вот я подумала: нельзя уходить торопливо, наспех, тело и душу не приведя в порядок. К уходу надо готовиться так, как готовятся к Песам: вычистить себя, выбелить, вытряхнуть крошки, завалившиеся по щелям,



стряхнуть шелуху, налипшую за жизнь, встретить свой час с веселием, на легком дыхании, чтобы сказали: «Не зря ее отправляли на землю».

– Хорошо говоришь, Белла.

– Я уйду от вас на закате. В облаке, подсвеченном понизу. В розоватой дымке, наброшенной на небеса. В радости и благодарности за отпущенную жизнь – так я уйду от вас в последний, лучший свой день... Похорони меня в полночь, Шпильман. При лунном свете. На склоне горы. Где небо в чистоте. Звездный перелив. Огни на холмах. Скорбящие в праздничных своих нарядах. Чтобы постояли в тишине и расслышали, как возносится моя душа.

– Красиво говоришь, Белла.

– Эстет – чтоб ты знал, – он и в смерти – эстет. Скажешь напоследок для всех: «Век заканчивается не по календарю. Тот век закончился сегодня. С уходом этой женщины». Обещаешь?

– Постараюсь.

– И чтобы не отходили потом от могилы. Теснились друг к другу. Переговаривались неспешно: «Она жила замечательно, наша Белла. И ушла замечательно». Чтобы сказали назавтра: «Спасибо, что посетила нас».

Шпильман подхватывает:

– А ангелы уже бегут, толкаются, отпихивают друг друга: «Белла при- была! Белла! Та самая!...»

– Дурак ты, Шпильман. Дураков любят.

– Не сердись, Белла. Это я спасаюсь от наплыва чувств.

8

На асфальте расстелено полотно, разложена на нем всякая случайность. Маникюрный набор. Пара матрешек. Кипятильник. Электрическая бритва «Эхо». Бюстгальтер, побывавший в употреблении. Стопка тубетеек. Медаль «Ветерану труда» с серпом и молотом. Стаканчик из жести с зазубринками по краям для выделывания пельменей, вырубленные из теста образцы, потемневшие от пыли. На складном стуле сидит владелец этого богатства, ожидает покупателей у входа на рынок – Шпильману он неинтересен, для Шпильмана он дилетант. Нищий, притомившийся на работе, звякает монетами в стаканчике к привлечению сердобольных. Вечером вернется домой, смочит под душем зной долгого дня, наденет белую отглаженную рубашку, костюм с галстуком, отправится с сыновьями в синагогу, опустит монету в ладонь убогого калеки, после вечерней трапезы, во главе стола, поблагодарит Того, «Который дает средства к существованию...» Шпильман его уважает, для Шпильмана он профессионал.

Женщина разместилась в будочке, заполнив ее размерами, торгует лотерейными билетами, на которые всегда спрос; топчется у окошка потрепанный мужчина – лицо испитое, вихорки на стороны, глазки за толстенными стеклами. Женщина сурово отворачивается, и для мужчины это нестерпимо:

- Ну что я, что я?.. Что тебе опять не так?..
- Выпил небось?
- Не, не пил.
- Я тебе шекель давала. Больше не дам.
- Вот он, твой шекель. На него выпьешь, как же...
- Смотри! Деньги целы. Заболел, что ли?..

Древний, стручком иссохший торговец пряностями затаился в лавочке, будто в глубинах пещеры, отрытой в стене дома. В окружении мешков и мешочков, банок и баночек с притертыми крышками, сберегающих диковинные специи, свежие и засушенные, молотые и в зернах, с этикетками на разных языках: тмин, ципорен, кинамон с кардамоном, имбирь, кусбара – она же кориандр, майоран и мускатный орех, черный перец, карри из Мадраса. К мясу, рыбе и птице, в супы и салаты, к сырам, паштетам, соусам, овощам и хлебу, к чаю горячему и к чаю холодному. Светит под потолком лампа на шнуре. Смотрят со стены Баба Барух в восточных одеяниях и польский еврей Менахем Бегин. Запахи обволакивают помещение, как утяжеляют воздух. Старик, не вставая, дотягивается до каждой полки, отвешивает пряные коренья, нану, шалфей, паприку и базилик, шафран и анис, розмарин, асфодель, петрозилию и шамир, а в промежутках считывает псалмы с затертых страниц, который уж год подряд. Шпильман приходит на рынок, усаживается рядом с ним на скамеечку для ног, коленками упирается в подбородок. Сидит. Молчит. Слушает певчую непоседу в клетке, подвешенной под сводом. Напитывается дыханием неведомых земель, изобилующих чудесными приключениями, которые тревожат, вызывают смутную тоску по иным краям, где прорастает в изобилии ядовитая цикута, скачет по полянам мускусная кабарга, клейкая камедь сочится по древесной коре, натекают горькие смолы – обещанием будущих янтарей и где не разучились еще удивлять и удивляться. Птица в клетке напитывается ароматами заодно со Шпильманом, псалмы напитываются тоже, гортанные на звук и терпкие на чувства: «Очисти меня лавандой – и чист буду, омой меня – и стану белее снега...»

Мир пряностей – прожить и не распознать? Когда Шпильман выходит с рынка, обступает его тротуарная сутолока, наделенная иными выделениями, словно враз отобрали заманчивые пространства и некуда теперь податься. Ежик вынюхивает густые запахи, спрятавшиеся в его одеждах, чихает в раздражении; растения в доме вынюхивают тоже и тоже, должно быть, чихают. Они прислушиваются к голосу Шпильмана, к его шагам, неспешному шевелению, улавливают, быть может, теплоту души и тела, а он ощущает жажду стеблей с корнями, не забывает поливать в нужные сроки, и если в горшках пересыхает земля, у него пересыхает горло. Убывая из дома на долгие недели, он оглаживает листья, подпитывает их взглядом, нашептывает в чашечки цветов, упрашивая продержаться до его возвращения. Приходит соседка, подкармливает растения полезными составами, но они хандрят, блекнут, сохнут без Шпильмана, а амарилис – чувствитель-

ное создание – не зацветает в положенное время. Даже герань на балконе – безотказная страдалница, пропеченная солнцем, цветущая исправно на кривом утолщении, способна затосковать, притомиться, обронить пожелтевшие враз листья. Когда Шпильман возвращается из путешествия, кактус в малом горшочке, истомившийся в одиночестве, стеснительно раскрывает навстречу трепетные, желтоватые лепестки – кто бы рассчитывал на подобные нежности при виде грубой, колючей, местами облысевшей громадины, фаллосу подобной?.. Ждет своего часа кадка с землей, которую Шпильман исправно подпитывает удобрениями, чтобы проклюнулся своенравный цветок ташлиль, занесенный ветром, принес надежду с утешением, но он отчего-то запаздывает. Ему, только ему, Шпильман ставит для приманивания скрипичные концерты, его, только его, привлекает чтением любимых строк: «Когда горный фазан тоскует по подруге, говорят, он утешится, обманутый, если увидит свое отражение в зеркале. Как это грустно! И еще мне жаль, что фазана и его подругу ночью разделяет долина...», «Трава "безмятежность" – хорошо, что тревоги ее уже позади. Как жаль мне траву "смятение сердца"!..»

Женщина, состарившаяся преждевременно, выходит из подъезда с мисками и пакетами; кошки сбегаются от помоек, много кошек – она их кормит с малых своих доходов, они ей признательны. Пролетает мимо красавица-сойка, выказывая голубизну оперений, косит на них глазом. Плюхается на крышу наглая ворона, бочком, вперевалку продвигается к краю, постукивая лапками по черепице, с интересом поглядывает вниз: люди ей любопытны. Шпильману любопытны тоже.

– К старости становимся более терпеливыми. Легче переносим зубную боль, или так кажется? Думаю, вытерпел бы и родовые муки, если бы довелось.

Ежик молчит, и принадлежность его к мужскому или к женскому роду определению не поддается.

К зиме опадает листва на деревьях, проглядывает в сквозистых ветвях дом по соседству, этажи с подъездами, квартира под крышей, солнцем высвеченное помещение – спелой виноградиной – из видимых и невидимых Шпильману окон. И внутри той виноградины – тихо, покойно, в плавной красоте движения – переплывает от стены к стене, готовит себе еду, горбится за одинокой тарелкой суховатый мужчина его возраста и размера, словно забытый, о котором некому вспомнить. Иногда Шпильману кажется, что человек напротив копирует его движения, иногда кажется, что это он сам – Живущий поодаль. Повышенный к нему интерес, как к неопознанному объекту, но нет под рукой подозрительной трубы, чтобы разглядеть в подробностях, да и появившись она, неловко вторгаться без разрешения в чужую жизнь, даже если та жизнь неотличима от твоей.

Порой Живущий поодаль опускает шторы на невидимом Шпильману окне, комната затухает, не просвечивая, и можно только гадать, чем он там занимается. Порой он появляется на балконе, с интересом разглядывает за-

каты, но ежика возле него нет, возле него сидит кот. Масти розовой. Пушистости чрезвычайной. Которому сказано, должно быть, при знакомстве: «Ты не подарок, я не подарок – на том и сойдемся...» Когда предлагают на завтрак творог нулевой жирности, кот взглядывает укоризненно, словно над ним насмеяются, и удаляется обиженно под вопли пристыженного хозяина: «А я, между прочим, ем!..» Когда его расчесывают, шерсть потрескивает от избытка электричества, озонируя пространства, страницы срываются со стола, липнут к коту, а он важно ходит по комнате, облепленный рукописью, косит пепельным глазом. Так ему нравится. Хозяину нравится тоже.

Шпильман разъясняет ежу:

– У этого кота сумеречное состояние его бродячей души...

...вечерами он обращается в собаку и с наслаждением гоняет других котов; к утру становится мышью, забивается от страха в крохотную норку, но это получается у него частично. Налицо раздвоение личности, и мама Томера, наблюдатель человеческих душ, приступает к работе: «Подумай хорошенько и спроси сам себя: "Чем тебя не устраивает быть котом?"» Отвечает вопросом на вопрос: «Чем вас не устраивает быть людьми?..»

«Шпильман, – мог бы сказать ежик, – прекрати свои глупости! Коты тоже бывают счастливы. Выпишут ему рецепт, накапают валериановых капель, вылижет досуха и утешится».

У ежей иные психозы в окружении коварных растерзателей, и валериана им не поможет. Они смотрят в землю, глазами в землю в заботах о пропитании, а чтобы взглянуть в поднебесье на улетающий детский шарик, ежу надо лечь на спину, обнажить незащитное брюшко и заплакать, быть может, жизнью за тоску по полету. У ежика на балконе проклевывается желвачок над носом, и Шпильмана это настораживает.

9

Гигантское растение с крупными листьями вылезает из кадки с землей, раскидывает плети по стенам, достигая потолка, заползает на второй этаж, по-хозяйски укладывается в кресле. Новые побеги лезут отовсюду, скрученные поначалу в спирали, и разворачиваются затем в светло-зеленые ажурные ладони, обращенные к свету. Запустить бы на них птичек, пару крохотных обезьянок, чтобы перелетали с плети на плеть, – запрятаны в листве бабочки на пружинках, к утехе постояльца, запрятана пара стрекоз. К зиме растение замирает, и лишь малый листик рождается напоследок – недоразвитым, в ознобе, младенцем, которому уже не вырасти.

По вечерам он выходит на прогулку, Живущий поодаль, в фуражке скрипача на крыше, с зонтом-тростью, словно с задымленной, угарной магистральной удаляется в тихие, в садах, прогулки пригородной слободы с настурциями на клумбе, геранью на подоконнике, подсолнухом в палисаде. Никого нет вокруг, лишь луна перекатывается по крышам в щедроте полнолуния, взглядывая украдкой на странного человека. У него молодое лицо



с приметными морщинами – слишком молодое для его возраста, буйная шевелюра в проседи, печальные глаза страдальца, словно ему невесело, и он с удовольствием любит поиграть созвучием слова и слога: «...сходя в могилу беспотомственно, при неплодной царице...»

Вот он шагает по тротуару, по некрупным его плитам, не наступая на стыки, – такая у него игра; шагает мягко, пружинисто, по-звериному, чем и подпугивает пешеходов, объявившись беззвучно за спиной. «Этот человек – это я. Я – этот человек, но никто о том не знает, никто не догадывается...» Идет старый еврей по новой жизни, идет себе и идет, крутит по сторонам головой, глазастый и неспешный, с благодарностью за прожитый день, с надеждой на подступающий вечер. Он бы и абажур приметил за окном, розовый, с кистями, низко подвешенный на шелковых шнурах, средоточие семейного покоя у стола; приметил бы и неспешное чаепитие, заварочный чайник, сахарницу со щипчиками, сливочник, сахарницу, унюхал бы прелести клубничного варенья, но нет на его пути абажуров, сахарниц с сахарницами, нет надменных швейцаров у дверей и натужливых карриатид прошлого, что надежно подпирали балконы.

На вершине холма он останавливается, разглядывает знакомые до мелочей подробности. Желтизну самоцветов, ненароком просыпанных по окрестностям. Густоту синевы, чернотой утекающей за оком. Автомобильные фары на дальнем шоссе: светлым обещанием на подъеме – рубиновым расставанием на спуске. Опадает донизу белесая взвесь, как укладывается на ночлег в долине, тушит огни на дороге, заглатывает очертания холмов. Прицелился тростью в невидимую цель, выстрелил – пу! и степенно пошел дальше; уткнул зонт в асфальт, обтанцевал вокруг него под неслышную мелодию, посмаковал вслух: «...яко червь во свище ореховом...» – Шпильман и это углядел, не уловив смысла. Когда они пересекаются встречными маршрутами, не здороваются, не улыбаются друг другу, не взглядывают приветливо, но ощущение родства, душевной близости, единой печали возникает, должно быть, у каждого. Сколько прошло мимо тебя, друг Шпильман, кого упустил по жизни, не сделал шага навстречу, не обогрел вниманием – эх, ты-ы! эх, я-а!..

К ночи Живущий поодаль уходит с балкона в дом, укладывается под одеялом, подворачивает его, чтобы не дуло – как это Шпильману знакомо! – обследует ногой прохладу непрогретых пазушек, рассматривает без цели притушенную белизну потолка, неприметно отплывает от пристани... и сразу вступает голос:

- Ты не закрыл дверь.
- Закрыл.
- Нет, не закрыл.
- Уйди. Я хочу спать.
- Я тоже. Но ты не закрыл дверь.

Откидывает одеяло, шагает босиком с зажмуренными глазами, лунатиком тынет руки, жалобно хнычет в темноте:

– Я закрыл. Закрыл...

– Не закрыл... Ну, убедился, идиот?!..

Молчит. Возвращается в комнату. Укладывается в кровать. В душные ночи, когда жарко под простыней, он ложится на спину, раскидывает руки на стороны, ладонями ощущает прохладу небогретых пространств, вновь отчаливает в плавание...

– Ты не отключил газ.

– Отключил.

Поскуливает:

– Не отключил, не отключил... Я лучше знаю...

Берег отдаляется. Смываются очертания. Подступают девочки из журнала в одеждах и без – «parma violet... camellia pink... very flirty... very sexy...»

– Поздно, милые, поздно.

– Плохо ты себя знаешь, старик.

И снятся встревоженные беспокойные сны...

10

У Шпильмана есть свои, привычные ему шумы, которые не мешают спать. Будит его незнакомый перестук за стеной, покашливание под окном, а то и глухая тишина – слышнее грохота. Ночами, в снах, звонят в его дверь. Встает с постели, смотрит в глазок – никого. И опять никого. И опять. Сны оповещают о своем появлении неожиданным звонком; ночами, в снах, навещают Шпильмана детские страхи, которые приходят непрошеными, туманят голову, а под утро возвращаются в свои хранилища, чтобы вновь появиться и потревожить.

Кухня – огромная, закопченная от множества примусов и керосинок. Помойное ведро с тараканами, плоскими и верткими. Дверь на черный ход, во сне вечно незапертая, затаившаяся за ней опасность – знобким кошмаром. Крюк обвисает понизу, его следует поскорее воткнуть в пробой, но всё происходит замедленно, и, пока накидываешь этот неподатливый крюк, могут рвануть с той стороны, распахнуть дверь, ворваться, гикнуть и завалить... Коридор в том же сне, безмерный по высоте, сумрачно темный, с глубокими пазухами по углам, откуда потянутся цепкие руки. Туалет в конце коридора, тесный, нечистый, с подтеками на полу и заплаканным бачком на стене; унитаз шевелится, грозя завалиться, дверь не запирается, крюк не накидывается, тараканы не переводятся... Шпильман просыпается в испарине. Глокает воду из бутылки. Та дверь не в его прошлом, та кухня, тот туалет, да и тараканы выглядели иначе – сны наползают к Шпильману из чужого детства, кто-то навязывает ему свои сны...

Прохладные вечера. Выцветшие в голубизну дали. Редкие машины, ненужные перемигивания светофоров, пустота пространств, которые не заполнить. По радио сообщают: натекает туман. Река мглистого тумана сползает в низинные долины, петляет по извилинам дорог, топит под собой

мосты и придорожные знаки, глушит голоса и звуки. Пробки на подъезде к городу, а здесь пусто, возле музея пусто и возле Шпильмана. «Когда человек ищет счастье, он готов подниматься на вершины, спускаться в пропасти, кружить по равнинам. Но к чему столько беготни? Стой он на месте, счастье, быть может, отыщет его само. "Здравствуй, – скажет, – а вот и я..."» Она вышла на него впервые из этой двери – в платье до полу, которое делало выше ростом, притихшая, с отсутствующей улыбкой, утонувшая в своих ощущениях, зашагала неторопливо, сводя с ума приближением, которое дороже многого, и Шпильмана лунатиком потянуло навстречу. «Имейте в виду, – заговорил на подходе. – Ваша красота – дар редкостный. Дана на поддержание и бережение, чтобы нас радовать. Сохраните до старости, иначе с вас спросится». «Я постараюсь», – ответила без улыбки.

Музыка в машине, привычное ожидание, затянувшееся на годы. Чтобы заново – тень на подходе. След узкой ступни. Прохлада ладони... Она лежала с закрытыми глазами, нехотя опадая с вершин раскрытости, поворачивала затем голову, близко, на подушке, взором во взор, улыбалась несмелым заговорщиком, хорошея безмерно, – этот момент он любил более всего. «Не спи». – «Я не сплю». Жалели время. Мгновения они жалели...

Трогает с места, нехотя пересекает стоянку и выезжает на дорогу. Машина перед ним у светофора, на просвет фар – обнаженные женские руки над головой, поправляющие прическу, жест знакомый, невозможно притягательный. Обогнул, встал рядом – оттуда осмотрели его быстро и цепко, как проверили на скорую надобность, за ненадобностью отвернулись. Набрал номер, позвонил самому себе, наговорил записывающему аппарату, чтобы по возвращении услышать:

– Здравствуй, ну как ты там? Заеду – поговорим. Поглядим друг на друга. Порадуемся...

Поздние назойливые дожди. Вкрадчивое перешептывание листвы за окном. Бежит сон из глаз, покой из души. Дом без адреса. Жилец без имени. Муж без жены, допущенный в тайны страданий. «Сделайте из моей квартиры музей опустевшего жилища. Водите в нее туристов. Рассказывайте и показывайте...» Когда Шпильмана навещают нечастые гости, дом пропитывается дымком их сигарет, одежды надолго удерживают запах табака – ежик этого не одобряет, Шпильман не одобряет тоже, ибо испытал кое-кого в поисках прежних ощущений, но найти не нашел. Радость – продукт скоропортящийся. У печали – долгие сроки хранения. Грусть переливается через край и добавляется к чужой грусти, тоска к тоске; река вздохов стекает с гор на равнину, впадает в Средиземное море, смешиваясь и переполняя океаны, лишая права на выстраданное тобой отчаяние, – не отвести арык в сторону, не захлебнуться глотком снеговой печали. «Заберите всё – отчаяние оставьте при мне...»

Ветры – грудью в стекло. Хлесткие струи. Взывания, как на корабле в штормовую погоду, а наутро – облетевшая листва у подъезда, кучно сбившаяся возле ступеней. На скамейке притих сокрушенный адон Кнафо, при-

нимающий соседа со многими оговорками. Шпильман не соблюдает заповеди, ездит по субботам, и, хотя он ставит машину за два квартала от дома, Кнафо всё видит и огорчается, сникший адон Кнафо, отработавший на охране, в пугливых бдениях, половину отпущенных ему ночей. До утра слушал новости по радио, обмирал от окрестных шорохов, скрипов, шевеления теней, которые добавлялись к тревогам последних известий. Постарел, новости узнает теперь при свете дня – не так вроде страшно, не так увлекательно.

– Событий прибавилось на свете, а значительного всё меньше и меньше. Как просеивается куда-то.

Никто не рождается с кипой на голове. Не опускается небесный огонь на жертвенник, пожирая сухое и влажное. Не расступаются морские воды для отвращения опасности. Недостает праведников, наделенных возвышенной душой. Когда подойдет наша очередь отводить беду, что же мы станем делать?..

11

Где-то там, в хранилище ветров, в подлунных морских отдалениях, где никто никому ничем не обязан, зарождается некое дуновение, вялое поначалу, изменчивое, без особых желаний-устремлений. Свежеет. Крепчает. Зыбит морщинами воды. Наполняется решимостью расколыхать бездны, подстегнуть медлительные волны, погнать валы к берегу – ветер беспощаден, зол, неистов: кому попутный, а кому лобовой. Вот он уже на подходе, дикий, разбойный, лишенный сострадания, – предвестником продувных перемен, и флюгеры на крышах загадя указывают его путь. Завершив перелет над волнами, ветер полуночником вторгается на сушу, тученосный, высвистывающий в два пальца. Грузно провисшие облака – комолые коровы, подстегнутые шквалистым кнутом – неуклюже волокут вымя над крышами домов, белобрюхие, подсвеченные уличными фонарями. Им бы медлительно подплыть к городу, излиться бурно, обильно, со стоном облегчения, опроставшись, налегке унести прочь, суматошно теснясь боками, стягиваясь в отдалении в единый загон, но напрасно земля раскрывает навстречу иссохшие поры – они бесплодны, те облака, бестолковы и бесполезны.

Ветер гнет кедры. Заламывает кипарисы. Набрасывается на пинии на скалах, испытывая их крепость, но пинии стоят намертво – стражей в ночи, переплетаясь корнями друг с другом, высеивая маслянистые семена-пиниолы, в которых запрятано обновление с упорством. Ветер взывает от обиды, и травы пригибаются покорно, согласные на всё, скрежещут многопалые ветви у пальм, лепестки оголенных соцветий вспархивают к небесам крылышками загубленных стрекоз.

Ветер врывается в город, который устал от смертей. Обитатели которого притомились от хождения по кладбищам. Слезные железы иссохли. Тяжкая рука улеглась на сердце. Мрак. Темные одежды. Долгие сидения на полу. Чтение псалмов, чтобы отвести беду. Неслышные причитания: «Обо-

рвали цветков наш...» Влажный и полновесный, налитанный ароматами смолистых лесов, ветер ворошит белье на балконах, просыхающее на веревках белье, которое вберет его свежесть и донесет до своих хозяев. Ветер шевелит одежды, увлажняет глаза – не сдержат рыданий, и кажется, будто небо льет слезы не по сезону.

Обессиленный, пристыженный, растерявший былую мощь с наглостью, ветер с трудом переваливает через скалистые возвышения, рушится по склонам вниз, растрепывая себя по выступам-ущельям, немощными языками смиренно наползает на берег и умирает на гальке, притронувшись напоследок, лизнув, испробовав на вкус горькие воды мертвого Соленого моря.

Но город уже продут и головы проветрены от застоявшихся сомнений, опасений, хаоса чуждых наслоений. Мысль добавляется к мысли, осмысление к осмыслению, желание обращается в намерение в минуту озарений: «Доколе будешь ты сидеть и плакать?..»

– Я придумал, – говорит Шпильман, пробуждаясь от суетливого сна. – Нечто, невозможное к исполнению. Но я постараюсь.

– Расскажи, – просят настырные. – Поделись, – умоляют занудливые.

– Нет-нет! Слова огрубят и погубят. И так сказано больше, чем нужно.

Звенит неурочно будильник – приглашением в дорогу. Вышли все сроки. Поторопись, Шпильман, не упusti момент, ибо надвигается песчаная буря из Аравии, что прольется пылевым дождем, загрязнит влажные одежды после стирки, углубит сомнения, высушит слезы и намерения. Шпильман собирает вещи, садится в машину, вырлиывает на трассу; в голове у него свой кнессет, который решает большинством голосов:

– Как лучше? Семь раз по десять лет или десять раз по семь? Последнее предпочтительнее.

Сказал – и понравилось.

– От природы не убежишь, Шпильман! – цепляют напоследок обделенные, которым не терпится его состарить.

– Убежишь, убежишь. Если найдешь куда.

Неисчислимость – его утеха. Обладание бесконечным.

На исходе исчислимого подстерегает скука...

12

Купил баран аэроплан...

...и говорит девочке Шани:

– Садись. Покатаемся.

– Нет, – отвечает Шани.

Нет – не надо.

Купил баран аэроплан, сел и полетел... А Шани глядит на него снизу вверх, Шани тоже хочется в полет. Так хочется, что ноги тянутся на носочках и чуточку подпрыгивают, руки подлетают кверху, хвостиком подскакивает косичка, но она уже сказала: «Нет».

А баран взлетел повыше, разогнался подальше, сделал мертвую петлю, покачал крыльями – дразнится-завлекает. И пропеллер взбивает облака, как мама взбивает яичные белки для пирога с яблоками.

– Нет, – снова говорит Шани, а хочется сказать: «Может быть».

Нет – не надо.

Купил баран аэроплан, сел и полетел. А овечки на крыльечке... А Шани на лавочке... А Шпильман в окошке... «Пропеллер, громче песню пой...» – все завидуют.

Взлетел баран высоко-высоко, проткнул кучевые облака, проткнул перистые, обогнул солнце и пропал. «Прощай, подруга дорогая, я не забуду твои ласки...» Час ждут, другой – не сгорел ли безрассудный баран на жарком припеке? А овечки на крыльечке: «Бе-еее...» А Шани на лавочке: «Ой-ой-ой!..» А Шпильман из окошка: «Ох-ах!..» Вернулся наконец баран, присоседился – с подпаленной шерстью, облупившимся носом, весь из себя счастливый.

– Садись. Покатаемся.

– Не больно и хотелось, – говорит Шани, а намеревалась сказать: «Да». Желания не отбрасывают тени.

Упал баран. Разбился аэроплан. Плачут овечки на крыльечке. Плачет Шани на лавочке. Грустит Шпильман в окошке, слглатывая слезу. «И, может быть, в последний раз гляжу я в голубые глазки...» Но папа девочки Шани – лев рыкающий, мастер на все руки-ноги – оглядел-осмотрел, подкрутил-подвинтил, просверлил-заклепал барана, и стал тот как новенький.

Купил баран другой аэроплан, сел и полетел. А овечки на крыльечке – шерстка завитая, глазки лаковые, носик пуговкой, а овечки на крыльечке: «Бе-еее...» и больше ничего. Чего еще? Им и того достаточно. А Шпильман сидит в кабине рядом с пилотом, зубы стынут от восторга. А Шани сидит рядом со Шпильманом и попискивает от удовольствия. А по траве бежит девочка Михаль, перепрыгивая через цикламены с маками, бегут наперегонки Сарра с Томером, Ами и Даниэла в погоне за ускользящей тенью, с распахнутыми руками-крыльями, и жилкой дрожит в каждом – полететь, полететь!..

Спросят любопытствующие у светофора:

– Куда собрался еврей?

– В Африку. Напротив Мадагаскара.

Ладонью огладить руль, на скорости вписаться в поворот – путь не в тягость, отдаться на волю затертого асфальта, который заморозит и утянет в кружения, прокладывая дорогу в пустыне воображений, – где ж ты вынырнешь, Шпильман, в каких далях, отрешившись от щедрого восторга прошлого и горьких сожалений настоящего?

– Прощайте – вы остаетесь!..



(литературный псевдоним Г. М. Файбусовича) прозаик, эссеист, автор десятков книг. Живет в Германии.

НЕМЕЦКИЙ ЭПИЛОГ: НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

Из старых записей

Сон, который не истолкован, подобен письму, которое не прочли.

Талмуд

Перед рассветом я вижу одно и то же: большой серый город. Улицы блестят от дождя, потом начинает валить снег, народ толпится на остановке, автобус подходит, расплёскивая лужи, люди висят на подножках, и я среди них. Всё как прежде. Я дома. Нужно куда-то поехать, срочно кого-то повидать, позвонить по телефону, сообщить, что я вернулся. Нужно привести в порядок бумаги, которые остались в комнате. Я мечусь по городу. Дела идут всё хуже. За мной следят, ходят за мной по пятам. Ради этого мне и разрешили приехать: чтобы собрать недостающие материалы по моему делу. Я чувствую, что подвожу людей, а люди думают, что подводят меня.

В эту минуту я начинаю просыпаться и вспоминаю, что я неуязвим. Как я мог об этом забыть? Сон продолжается, но я уже ни о чём не беспокоюсь. Никто об этом не подозревает, но я-то знаю, что в кармане у меня иностранный паспорт. Это такое же чувство, как будто в вагон вошли с двух сторон контролёры – а у меня в кармане билет! И никто со мной ничего не сделает. Можно даже поиграть, притвориться, что потерял билет, увидеть жадный блеск в глазах у хищника. И медленно, не спеша, растягивая удовольствие, вынуть книжечку с геральдическим орлом. Счастливно оставаться

ся. Я больше не гражданин этой страны. Хотя я приехал домой, в Москву, никакого дома у меня, слава Богу, нет.

Если правда, что сны представляют собой некие послания, то это письмо прислали мне вы, оно приходит уже не первый раз, и каждый раз я возвращаю его нераспечатанным. Я отклоняю все приглашения в будущее. Сны ничего не пророчат. Нет, такой сон, если уж пытаться его разгадать, скорее предупреждает о том, что притаившаяся на дне сознания мысль абсурдна, что надежда бессмысленна. Надежда? Но ведь, как говорится, ты этого хотел, Жорж Данден.

Да ещё с каких пор. Должно быть, я всегда был плохим патриотом. С юности меня томил тоскливый зов: уехать. Точно мой костный мозг стонал по какому-то другому, экзотическому солнцу. Блудливая музыка юга, гитары и мандолины будили во мне злую тоску, *taedium patriae** – так можно было её назвать. Не то чтобы я стремился в какую-то определённую страну, нет, я совсем не хотел сменить родину. Я хотел избавиться от всякой родины. Я мечтал жить без уз национальности, без паспорта, без отечества. Вместо этого я жил в стране, где патриотизм был бессрочной пожизненной повинностью, в государстве, к которому я был привязан десятками нитей, верёвок, цепей и цепеш. Много лет, всю жизнь меня не оставляло сознание несчастья, которое случилось со мной, со всеми нами, и последствия которого уже невозможно исправить; несчастье это заключалось в том, что мы родились в этой стране. Где надо было родиться? Ответ выглядел нелепо, но это был единственный ответ: *нигде*. То есть всё равно где, но только не тут.

И вот удивительным образом эта грёза стала сбываться. С опозданием на целую жизнь и примерно так, как сбылось желание получить сто фунтов стерлингов, заказанное волшебной обезьяньей лапе в известном рассказе Уильяма Джексона. Как-то незаметно одно обстоятельство стало цепляться за другое, внутренние причины приняли вид внешних и «объективных», и вскоре оказалось, что все мы стоим, держась друг за друга, над обрывом; когда стало ясно, что отъезд нависает, уезжать расхотелось, но уже земля начала осыпаться, покатались камни... Наконец, обезьянья лапа, высунувшись из мундира, подала знак – и это произошло. И дивное, ласкающее слух слово: «апатрид», *бесподданный*, стоит в моих бумагах. Ибо вовсе без паспорта обойтись не удалось; но это уже не тот паспорт, который глупый поэт вытаскивал из широких штанин. Хорошо стать чужим. Восхитительно – быть ничьим.

Неизвестно, конечно, защитил бы меня такой документ в нашей бывшей стране, но в конце концов дело не в этом. В неотвязном сне, который долго преследовал меня, была только одна абсолютно фантастическая деталь: возвращение. И в этом вся суть. В конце концов мало ли здесь, рядом с нами, людей, покинувших родину? В Тюбингене какой-то старик

* Отвращение к отечеству (*лат.*).

в автобусе спросил меня: откуда я? И, получив ответ, сочувственно вздохнул: «Мой сын тоже эмигрировал». – «Куда?» – «В Мюнхен, – сказал он, – туда же, куда и вы».

Быть может, субъективно разница была не так уж велика. В детстве, уехав из Москвы в Сокольники, я был несчастнее всех эмигрантов на свете. И всё же – надо ли говорить об этом? – разница между нами не сводилась к тому, что беженец из Вюртемберга, покинув родные пенаты, провёл в вагоне два часа, а вашему слуге предстояло покрыть расстояние в две тысячи километров. Разница была даже не в том, что ему не надо было переучиваться, привыкать к чужому языку, денежной системе, бюрократии, к другому климату, к новому образу жизни, тогда как я был похож на человека, который продал имение, с кулём денег приехал в другую страну – а там они стоят не больше, чем бумага для сортира, и это же относится ко всей поклаже; весь опыт жизни бесполезен, всё, что накоплено за пятьдесят лет, чем гордились и утешались, всё это, словно вышедшее из моды тряпье, надо сложить в сундук и обзаводиться, неизвестно на какие средства, новым гардеробом. Нет, главная разница всё-таки состояла не в этом – а в том, что, в отличие от швабского изгнанника, я ни при каких обстоятельствах не мог вернуться.



Сегодня последнее воскресенье лета, тихий сияющий день. Должно быть, такая же погода стоит теперь и у вас. Даже число на календаре то же самое. Странно звучат эти слова: «у вас». «В ваших краях...» Смена местимений – вот к чему свёлся опыт этих лет, итог смены мест и «имений». В здешних краях Россию могут напомнить лишь пожелтевшие поляны, с которых местные труженики полей уже успели – без помпы, без «битвы за урожай» – убрать злаки. Вот, думал я, если бы ничего не было, никакого бегства, а просто ночью во сне джинн перенёс бы меня сюда, – догадался бы я, что кругом другая страна? По каким признакам? Опушка леса ничем не отличается от тамошних. Та же трава, такая же крапива у края дороги. Подорожник, кукушкины слёзки. Это напоминало игру в отгадывание языка, на котором написан текст. Многие буквы совпадают. Из букв складываются слова, вернее, то, что должно быть словами. Ибо смысла не получается. Это другая письменность. И как только начинаешь это понимать, как только спохватываешься, всё меняется, и даже знакомые буквы становятся чужими. Ибо они принадлежат к другому алфавиту. Даже небо, если всмотреться, выглядит чуть-чуть иначе, словно количественный состав газов, входящих в воздух, здесь иной. Словно у старика, который бредёт навстречу, разговаривая с собакой, иначе устроено горло. Всё то же, и всё другое. И слава Богу.

Мы не уехали, как уезжают нормальные люди – пожав руку друзьям, обещая приезжать в гости, приглашая к себе. Нас выгнали. Или, что в данном случае одно и то же, выпустили. Выпустили! Вот слово, вошедшее в

обиходный язык, обозначив нечто само собой разумеющееся, слово, которое не требует пояснений. Выпускают из клетки, из тюрьмы. В отличие от беглецов 1920 года, мы были счастливыми эмигрантами. В Европу, в Израиль, в Америку, в Австралию – какая разница? Мы уезжали не на чужбину, а на свободу. Heimweh is beter dan Holland, как сказал какой-то соотечественник Мультигули, лучше уж ностальгия, чем Голландия. Лучше поддохнуть от тоски по родине, чем поддохнуть на родине.

Родина и свобода – две вещи несовместные. Прогнать в лодку, оттолкнуться... и будьте здоровы. Однако эта метафора, как все метафоры, коварна. Она соблазняет возможностью обойтись без размышлений, а на самом деле узурпирует мысль, она навязывает говорящему собственную логику и договаривает до конца то, чего он вроде бы и не имел в виду. Метафора моря подразумевает берег, оставленный берег: отеческую сушу. «Ага, – скажете вы, – тут-то он и выдал себя». Что же, если угодно, считайте, что мы получили ещё одно письмо от Улисса, снедаемого тоской. В прошлом году он прислал открытку с видом на дворец царя Алкиноя. Потом со Сциллой и Харибдой. Только, в отличие от настоящего Улисса, он плывёт не домой, а в обратном направлении.

Ибо мы, политические эмигранты из страны победившего нас социализма, – мы не просто уехали. Уехав, мы перестали существовать. Нет никакой русской словесности за рубежом, мы – фантом. Нас сконструировали «спецслужбы». Нас выдумала буржуазная пропаганда. С нами случилось то же, что когда-то происходило с арестованными, увезёнными ночью в чёрных автомобилях, расстрелянными в подвалах, бесследно сгинувшими в лагерях: нас не только нет, но и *никогда не было*. Был такой случай: году в пятьдесят втором до нас дошёл номер московского партийно-просветительского журнала «Новое время». В разделе «Против дезинформации и клеветы» была напечатана статья, разоблачавшая очередную вылазку буржуазной пропаганды: какой-то журналист на Западе, выполняя волю своих хозяев, тиснул сенсационное сообщение о том, что в районе станции Сухобезводное будто бы расположен крупный концентрационный лагерь с населением в 70 тысяч человек.

Читая эту статью, мы, сидевшие в этом лагере, испытывали род патриотической гордости, напоминающей гордость провинциалов, узнавших о том, что их заплесневелый городишко помянула столичная печать; опровержение нас несколько не удивило: ведь мы отлично знали, что все мы вместе с начальством и охраной попросту выдуманы, изобретены врагами мира и социализма. Мы знали, что наше существование, существование миллионов заключённых во всех концах огромной страны, и отнюдь не только на её глухих окраинах, – утка, пущенная продажными борзописцами из западных газет, что мы – призраки, что нас нет, не было и не может быть.

Теперь это повторилось. Кто такой Икс? Не было никакого икса, такой буквы в алфавите не существует. А значит, и все слова, все вывески, все фразы, где затесалась эта буква, подлежат исправлению. Меня не сущест-

вовало, поэтому всё, что я, допустим, написал, изъято из библиотек, всё, что я сделал, никогда не делалось, больные, которых я лечил, вылечены не мною, люди, которых поселили в моей квартире, в той самой квартире, где мы с вами когда-то сидели и философствовали о жизни и смерти, – люди эти понятия не имеют о том, кто тут жил до них. Это даже не политика, это логика. Всякое упоминание о нас недопустимо по той простой причине, что нас не было. Мы, так сказать, ликвидированы дважды. Выбрав свободу, мы изменили родине – это логично, выбирай что-нибудь одно. Но наказать нас за измену невозможно, так как нас не было. Невозможно и бессмысленно обсуждать вслух проблемы эмиграции: какие проблемы, если не было никакой эмиграции.



Но я-то знаю, что вы меня помните. Для вас я тот самый путешественник в страну, откуда не возвращаются, о котором говорит принц Гамлет. Тот, о котором ещё не забыли, но никогда уже не думают в настоящем времени. Пока что я обретаюсь в имперфекте, завтра отодвинусь ещё дальше – в плюсквамперфект. Но если в самом деле существует потусторонний мир, его обитатели, надо думать, считают потусторонней нашу земную жизнь. И я ловлю себя на том, что думаю о вас как о мёртвых. Нет, я не хочу сказать, что там, в России, всё кончено. Солдат, раненный в бою, думает, что проиграно всё сражение, эту фразу Толстого не мешало бы помнить оказавшимся по ту сторону холма, всем, кто успокаивает себя мыслью, что всё честное и талантливое в стране так или иначе элиминировано, задавлено, упрятано за решётку или – уже не в стране. Однако что верно, то верно: *отсюда* отечество представляется загробным царством, в котором остановилось время. Или по крайней мере страной, где вязкость времени, величина, которую когда-нибудь научатся измерять с помощью приборов, во много раз выше, чем в Европе.словно на какой-нибудь бесконечно далёкой, обледенелой планете, там тянется один бесконечный год, пока здесь, на тёплом и влажном Западе, несутся времена, сменяются годы и десятилетия. Это простое сравнение, может быть, и заключает в себе разгадку того, почему гигантское допотопное государство, казалось бы, исчерпавшее возможности дальнейшего развития, государство с ампутированным будущим, – почему оно всё ещё существует, продолжает существовать, не желая меняться, почему его тупоумные властители изо всех сил делают вид, что ничего не случилось, уверенные, что впереди у них – тысячелетнее царство. Почему? Да потому что самые незначительные перемены для этого государства гибельны. Огромная туша может позволить себе лишь медленные, тщательно рассчитанные движения. Упав, она не поднимется. Надо ли желать, чтобы она переставляла ноги быстрее? Никто, кажется, не даёт права на это надеяться. Ничто не заставляет этого опасаться.

Что же делать? Бесспорно, отъезд – это капитуляция. Толпа вольноотпу-

шенников, разбежавшихся по свету, которую объединяют лишь чувство потери да великий неповоротливый язык, привезённый с собою, как куль, с которым некуда деться, да ещё кошмар возвращения, – вот что представляет собой наше «мы», вот те, кто якобы не в изгнании, а в «послании». Представлять можно только самого себя, быть самим собой. Тогда и вы не умерли, и мы не побеждены. Обнимаю вас...



Если когда-нибудь голос свыше спросит меня, как он спрашивает каждого: «Где ты был, Адам?» – я отвечу: собирал малину. Вёл за рога по лесным тропинкам двухколёсного друга. Медленно крутил педали вдоль тихих опрятных городков, мимо церквей, похожих издали на остро заточенные карандаши, мимо бензоколонок с развевающимися флагами, мимо кукольной богородицы в золотой короне на крошечной головке, с ребёнком на руках, – и думал о странной судьбе, которая привела меня в эту страну.

«Как вам удалось?..» Вопрос, который предполагает как нечто само собой разумеющееся, что у каждого нормального человека найдётся достаточно причин мечтать о бегстве из Советского Союза; загвоздка лишь в том, как это осуществить. И в конце концов уже не имеет значения, что же всё-таки заставило человека уехать оттуда, где не только деревья, но и люди говорят на родном языке, неважно, какая метла вымела его прочь из города, чьи улицы, переулки, сумрачные двory, тёмные лестницы суть не что иное, как густо исписанные страницы толстой растрёпанной книги, которая называется его жизнью.

Давным-давно, во времена моего детства, в нашем старом кинотеатре на Чистых прудах шёл фильм «Граница на замке». Крылатое слово тех лет. Публика радостно хлопала доблестным пограничникам – тогда было принято аплодировать в кино, – и никому из сидящих в зале под дымным лучом не приходило в голову, что собственно означает название картины. Никто не смел себе признаться, что это они, весь народ до последнего человека, сидят в своей стране взаперти. Вряд ли кто мог помыслить о том, что ключ когда-нибудь повернётся и врата приоткроются, пусть на самую малость, но так, чтобы в эту щёлочку сумела проскользнуть горстка людей. Пылающая река, ограждавшая наш потусторонний мир, была частью государственной мифологии, слово «граница» приобрело для людей нашего поколения мистический смысл.

И вот настал день, когда мне предстояло переправиться через эту реку, пересечь границу так же просто, как перешагивают через ручей. Или как шествуют через Красное море, с ужасом и восторгом взирая на расступившиеся воды. Внезапная катастрофа отъезда, несколько дней, оставшихся на сборы, выполнение почти невыполнимых формальностей, садизм чиновников фараона, делавших всё возможное, чтобы убить у изменника родины последние сожаления о том, что расстается с ней, – всё вдруг отсеклось и

отплыло, всё потеряло значение. Нас впустили за перегородку, на другой стороне провожающие, кучка друзей, плача, махали нам руками; началась проверка нашего скарба, перетряхивание рубашек, перелистывание книг, затем в каморке, где были только стол и два стула, произведён был обыск с раздеванием догола. Мой семнадцатилетний сын поднял руки, как я почти в этом же возрасте на Лубянке тридцать три года назад. «Ты что думаешь, – усмехнулся таможенник, – здесь гестапо?» В соседней комнате ту же процедуру проходила моя жена. Это было, конечно, не гестапо. Это был Советский Союз. Лишённые гражданства, имущества, документов и прав, мы всё ещё находились во власти рогатого Минотавра, всемогущего государства, и оно могло поступать с нами как ему вздумается. И самолёт был всё ещё «наш», радио говорило по-русски, и на лацканах у служащих красовалась эмблема Аэрофлота; граница летела вместе с нами; и лишь приземлившись, пройдя по узкому проходу мимо бортпроводниц, последних свидетелей нашего бегства, лишь когда сошли по лесенке и вступили на разогретый солнцем асфальт венского аэродрома, – заметили вдруг, что пылающая река, Флегетон греков, оказалась позади.



Наше пребывание в австрийской столице было головокружительно-коротким, и речь не о ней. Речь идёт о Германии, которая уже втягивала в своё магнитное поле. Мы были беженцы. Мы были свободны. Выездная виза, клочок бумаги размером с почтовую карточку, сложенную вдвое, – единственное, что мы могли предъявить, – оставляла нам необозримо широкий выбор или, что в данном случае то же самое, одинаково закрывала путь на все четыре стороны, как надпись на перекрёстке: направо пойдёшь, потеряешь коня, налево – голову сложишь; все страны были для нас чужбиной, все дали звали к себе. Мы были свободны, как никогда в жизни, родина ограбила нас дочиста, политическая свобода оказалась помноженной на свободу от всех привязанностей, от всех грехов и заслуг. Но на самом деле жребий был уже брошен. Говорили, что в Федеративной Республике легче найти работу, что там есть закон, опекающий иностранцев. Всё это были доводы, придуманные, чтобы придать видимость разумного решения тому, что предшествовало всем доводам, и на самом деле я чувствовал себя так, как должна себя чувствовать металлическая пылинка вблизи магнитного полюса.

Parbleu, почему же Германия?

Ах, лучше всего было бы двинуть в Древнюю Грецию, в Афины V века. Но туда невозможно купить билет. Франция? Приют всех русских эмиграций, страна, о которой не зря было сказано: *chacun de nous a deux patries, la nôtre et la France* (у каждого из нас две родины: наша – и Франция). Времена, когда это государство без разговоров оказывало гостеприимство всем политическим изгнанникам, прошли. Значит, в Израиль? В этой стране ме-

ня ждали. Несомненно, это была единственная на всём свете страна, где нас не встретили бы как эмигрантов. Мы ещё не успели покинуть аэропорт, как в воздух поднялась и ушла на юго-восток белая птица с голубым щитом Давида. Улетела без нас. Почему? Я могу этому, как ни странно, дать лишь одно объяснение: потому что рядом находилась Германия. Потому что конь, на котором сидел чуть ли не в нижнем белье витязь, уже тянул голову в ту сторону, где, теоретически говоря, ему надлежало пропасть.

Никто не знал, как нас там встретят. После всего, к чему приучает жизнь в России, баварская пограничная полиция может показаться благотворительным обществом, и всё же никто не мог предсказать, как мы там будем жить. Язык должен был облегчить первые шаги – Гёте и Шиллер, старые добрые руки, поддерживали меня, я озирался вокруг, мне чудилось, что на каждом шагу я узнаю вечную Германию духа, в которой я вырос. Кто бы подумал, что это узнавание обернётся другой стороной, что этот язык, покуда он будет восприниматься лишь как код великой культуры, здесь, именно здесь станет помехой, что понадобятся особые усилия, чтобы отучиться глядеть на страну и людей сквозь магический кристалл литературы. Впрочем, мне нетрудно представить себе какого-нибудь восторженного идиота, прикатившего издалека, который ходит по Москве, восклицая: «О, наконец-то! Святая Русь! Страна Толстого и Достоевского! Наконец-то я увидел тебя».

Страны подобны художественным или мифологическим образам: в них всегда остаётся нечто недоговорённое, к ним никогда нельзя относиться как к отражениям действительности; каждая страна присутствует в сознании в виде некоторого фантома, который возникает Бог знает из чего, из преданий и предрассудков, из школьного мусора, из каких-то ключев тумана, плывущих из незапамятного детства, даже из звуков самого имени: ведь русское слово «Германия» воспринимается совсем по-другому, чем немецкое Deutschland. Иначе и волшебнее звучат названия земель и городов, в них слышится нечто неведомое немецкому уху, за ними скрывается то, чего, возможно, не видят и никогда не видели немецкие глаза. Тайна переживания чужой страны не менее интимна, чем тайна национализма. «Нам внятно всё – и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений». «Он из Германии туманной...» За этими эпитетами, не правда ли, стоит целый комплекс представлений.

Но было бы неправдой, если бы я сказал, что лунно-серебристая, призрачная, лесная, вся звенящая птичьими голосами родина европейского и русского романтизма, лунный лик и локоны Новалиса – были единственным мифом, который однажды и навсегда впечатался в сознание. Рядом с ним и почти из него вырос и заслонил его другой миф, другой образ Германии, наделённый такой же гипнотической силой. Бесплезно было бы швырять в него чернильницей. Прогнать его не так просто.



«Wirklich, ich lebe in finsternen Zeiten...»

«Право, я живу в мрачные времена! Беззаботное слово глупо. Гладкий лоб говорит о бесчувственности. Тот, кто смеётся, ещё не услышал страшную весть».

«Что это за времена, когда разговор о деревьях становится почти преступлением, ибо он заключает в себе молчание о погибших...»

«Правда, я всё ещё зарабатываю на хлеб. Но верьте мне: это случайность. Ничто из того, что делаю, не даёт мне права есть досыта. Я уцелел случайно. Если мою удачу заметят, я пропал».

Когда-то в России казалось, что стихи Брехта написаны обо мне, о таких, как я, – их было много, – для которых недоверие к более или менее благополучной действительности было нормальным чувством, кто знал: если он жив и всё ещё ходит на воле, то лишь по чьему-то недосмотру. Теперь и эти стихи стали частью воспоминаний.

Здесь вообще многое напоминало Россию, например музыка. «Книга Ле Гран» Гейне, которую я читал в метро, поздно вечером зимой сорок четвёртого года, катаясь из конца в конец по линии Сокольники – Парк культуры, потому что дома не горел свет. Возле Тюбингена на зелёном холме стоит Бюрмлингская часовня, которая украшала толстый том сочинений Людвиг Уланда, подаренный мне ко дню рождения, сто лет назад. «Наверху стоит часовня...» Внизу – долина. Я был уверен, что всё это поэтический вымысел. Этот вымысел оказался действительностью, чтобы в конце концов тоже напоминать о России.

Однако стихотворение Брехта приобрело другой смысл.

Всё, что мы можем сказать о волшебстве немецкой музыки и поэзии, о мощи немецкой мысли, о красоте ландшафтов, всё это будет ложью, если оно заключает в себе молчание о погибших.

Как же можно прикатить было сюда, получить политическое убежище, кров и хлеб из рук этой гостеприимной страны после того, что происходило с ней и в ней ещё на нашей памяти... Мы видели на экране ликующие толпы, руки, простёртые навстречу Вождю, мы видели фотографии, сделанные в концлагерях. Германию называют Протеем. Редко какой народ так круто поворачивал, до неузнаваемости менял свой облик, как немцы на протяжении последних полутора столетий. Германия в год смерти Гегеля – и Германия в 1871 году, через каких-нибудь сорок лет. Усы Вильгельма Второго и усики Шикльгубера. За всеми переменами, однако, осталось нечто неколебимое: чинная жизнь небольших опрятных городков, пёстрые черепичные крыши церквей, музыка из окон, часовня на холме. Трудолюбие, добросовестность, серьёзность. Ах, об этом говорено уже тысячу раз... Вечный вопрос: оттого ли этот народ стал добычей тоталитаризма, что он был *таким*, или он стал таким оттого, что стал жертвой тоталитаризма?

Похожий вопрос мы задавали себе в России. Но в России значительное большинство народа лишено исторического сознания; людям не приходит в голову, что целое государство может стать преступным; а просвещённые

немцы должны были это понять. Они поняли; но было уже поздно. Они поняли это, иначе демократия, хоть и насильственно внедрённая победителем на Западе, не пустила бы глубокие корни, какие она всё-таки здесь сумела пустить.

А всё же удивительно, как две страны, которых история века дважды столкнула лбами, повторяют одна другую, связаны тайной близостью, притом что трудно найти два других столь разных народа. Существует параллелизм политического, в обеих странах запоздалого, и параллелизм духовного развития. Эволюцию немецкого романтического национализма, сначала голубого, затем багрового, повторяет эволюция «русской идеи», сходство наркотически-чарующего почвенничества в обеих странах бросается в глаза – общая тяга назад, в лес и деревню, к Средним векам, эротическое влечение к народу, в женственно-тёмную глубину. Существует общее для обеих традиций отрешение от эгалитарного прогресса, от соблазнов технической цивилизации, от торгашеской демократии, отталкивание от французского рационализма и англосаксонского прагматизма – тоска по утопии – и там, и здесь. И, как некий убийственный итог, обрыв истории с её естественным завершением: общий опыт каннибализма. Да, конечно, Германия разделалась со своим прошлым, более или менее разделалась – чего нельзя сказать о её тоталитарном двойнике. Сонм историков и публицистов, радио, телевидение, печать не устает бередить старые раны; всё упреки, какие нация могла бросить самой себе, брошены в Германии. Повторил бы теперь Томас Манн то, о чём он писал Вальтеру фон Моло, – что ему страшно возвращаться на родину? Как на безумца посмотрели бы на того, кто сказал бы тогда, на развалинах войны, что во второй половине века эта страна станет самой мощной демократией Европы.



Демократия и культура состоят в сложных отношениях. В культуре есть нечто сопротивляющееся демократии, почти презирующее её. Культура – если подразумевать под ней то, что традиционно обозначалось в Германии словом «дух», *der Geist*, – и демократия говорят на разных языках. Но, расставаясь с демократией, культура изменяет гуманизму. Этот немецкий комплекс, комплекс высокомерия, есть одновременно и великий урок немецкой культуры, преподанный в нашем веке с убийственной наглядностью.

Где-то между 16 и 17 годами я поднёс к губам запретную чашу с наркотическим отваром и отхлебнул от неё со смешанным чувством дурноты, отваги и наслаждения. Я говорю о философии Артура Шопенгауэра. Может быть, следовало назвать какое-нибудь другое имя, этот возраст – возраст чтения философов, – но, в конце концов, почему бы не это имя? Мне приятно вспомнить о нём. Во втором томе его трактата, в знаменитой главе о любви, есть место, где говорится, что взаимное влечение влюблённых есть не что иное, как воля к жизни ещё не зачатого существа. Какая странная,

хоть и воспринятая от греков, но вместе с тем и чисто немецкая идея. Есть нечто стремящееся стать действительностью, ещё не существующее, но уже сущее. Существует текст, который ждёт, чтобы его написали на бумаге. И я помню, как очаровал и озадачил меня этот спиритуалистический романтизм философа, некогда популярного в России, но в советское время исчезнувшего с горизонта; осуждённый самим «Лукичом», он возглавил индекс особо зловредных авторов, куда входили, само собой, и Ницше, и Шпенглер, и множество других: самый интерес к этим авторам приравнивался к политическому преступлению. Запрет всегда повышает акции писателя. Напротив, очарование крамольной книги исчезает, лишь только она перестаёт быть крамольной.

Однако криминальный философ заключал в себе самом некоторое противоречие. Насколько гипнотизирующей, дурманящей была его проза, насколько поработал и затягивал волшебным ритмом старинный слог и манил мистической красотой благородный готический шрифт – загадочное родство шрифта и текста есть факт, не подлежащий сомнению, – настолько непривлекательней выглядел сам автор. Прочсть его характер на дагерротипе не составляло труда. Два-три эпизода аттестовали его достаточно ярко. Могу представить себе, что было бы, если бы я постучался к нему в дверь, во Франкфурте, в доме на улочке под названием Чудный вид (Schöne Aussicht). Я так и слышу шаги на лестнице, лай пуделя и скрипучий голос: «Гоните его вон!». Капризный старец, мстительный и самовлюблённый; семидесятилетний Нарцисс, заглядевшийся в своё отражение в чернильнице. (Эта острота, по другому адресу, принадлежит Тютчеву.) Разительное противоречие между человеком и его творчеством, контраст гениальности и мещанства постепенно перерастал в какой-то зловещий символ. Быть может, он был предчувствием великого антигуманистического искусства, который таила в себе немецкая мысль.

В Вене – я снова возвращаюсь к первым дням – мы брели по Рингу под пышными каштанами, это было на другой день после приземления, и здесь, как потом в Германии, казалось, что улица выметена домашней щёткой, а не метлой. Сорок лет назад на этой улице кучка седебородых евреев, кто на корточках, кто на коленях, чистила мостовую зубными щётками. Между ними прохаживались полицейские, а на тротуаре стояла гогочущая толпа.

Нашему поколению не нужно было объяснять, что значит слово «немецкий». Все формы ненависти сошлись в одной: биологической, эндокринной. «Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз ты увидишь его, столько раз его и убей!» – «В Германии, в Германии, в проклятой стороне...»

День начала войны 22 июня 1941 года, самый длинный день в году, был счастливым днём моей жизни. С утра радио передавало бодрые марши, музыка гремела на улицах, солнце играло в стёклах домов, вся старая и скучная жизнь была разом отменена. Мне было 13 лет. В полдень передавалась речь Молотова. Меньше двух лет назад он подписал пакт о дружбе с Гер-

манской империей, он говорил тогда о справедливой борьбе германского народа против англо-американского империализма. Башмаков не успели стоптать. Теперь он сказал, что ответственность за развязанную войну несут германские фашистские правители, и я помню, как резануло слух это слово «фашистский», вот уже два года вычеркнутое из лексикона. Ожидали, что выступит Сам, но он куда-то делся, целых две недели о нём ничего не было слышно. В те дни трубный глас близкой победы с утра до вечера раздавался из репродукторов, разнёсся слух о том, что наши войска взяли Варшаву, Будапешт и Бухарест; потом вдруг поняли из невнятных и противоречивых военных сводок, из глухих и зловещих намёков, что немцы окружили Ленинград, подошли к Смоленску и, может быть, через неделю-другую будут в Москве.

Нужно было жить в те времена, много лет изо дня в день слышать песни и оды о непобедимости Красной армии, видеть фильмы о парадах на Красной площади, панно и плакаты с шеренгами марширующих сапог, с частоколом штыков, с эскадрильями и парашютистами, нужно было каждый день читать и слышать о том, что мы живём в самой справедливой стране, и потому при малейшей угрозе, при первой попытке врага посягнуть на наши священные рубежи народы мира, трудящиеся всех стран и прежде всего пролетариат Германии поднимутся на защиту первого в мире государства рабочих и крестьян – нужно было это слышать, ведь и сейчас, через столько лет, стоит только закрыть глаза, музыка, и гром, и гомон начинают звучать в ушах: если завтра война... малой кровью, могучим ударом... ни одной пяди своей земли... артиллеристы, точней прицел... но если враг нашу радость живую... на его же территории... ведь от тайги до британских морей... не видать им красавицы Волги... ворошиловские пули, ворошиловские сабли... эй, вратарь, готовься к бою! Нужно было этим жить и всему этому верить, чтобы разделить изумление, смятение, ужас, охватившие миллионы людей, когда они догадались, что происходит на самом деле. Невиданная по мощи и организованности армия не шла, а маршировала, не ехала, а катилась, не наступала, а неслась на нас, давя и сметая всё на своём пути, немецкий пролетариат и пальцем не подумал пошевелить ради нашего спасения, народы мира помалкивали, и единственным, да и то далёким и полуреальным нашим союзником, словно в насмешку над великим учением марксизма-ленинизма, оказались империалисты, тучный Черчилль и загадочный дядя Сэм.

Через неделю после начала войны мой отец вступил добровольцем в народное ополчение, некое подобие войска, в спешке и панике сформированное из мелких служащих, немолодых рабочих второстепенных предприятий, музыкантов, учителей, парикмахеров и других бесполезных людей. В начале июля ополчение выступило в поход в составе 32-й армии, вместе с ней попало в гигантский котёл между Смоленском и Вязьмой и в короткий срок было истреблено почти до последнего человека. Время неслось наперегонки с наступающим вермахтом. Грянули необычайно ранние и жесто-

кие морозы – русский Бог спохватился и, как мог, принялся вызволять свою несчастную страну. Кучки уцелевших полузамёрзших людей разбрелись по лесам; и, проблуждав в тылу противника два месяца, отец мой каким-то чудом вышел из окружения.

Перед этим он как-то заночевал в одной деревне. Поздно вечером в избу постучались немцы. Молоденький офицер спросил: «А это кто? Откуда? Партизан? Еврей?» Хозяйка ответила: «Он из нашей деревни».

Интересно было бы узнать, что стало потом с этим человеком. В какой-нибудь немецкой семье стоит, наверное, в углу на столике его фотография в чёрной рамке. Но если считать, что вероятность быть убитым на Восточном фронте равнялась одной пятой, вероятность умереть в русском плену – четырём пятым, вероятность вернуться калекой и окончить дни в разрушенной и голодной Германии – половине, то остаётся всё же некоторая возможность, слабая вероятность, что он жив до сих пор. В таком случае почему бы ему не оказаться в Федеративной Республике? В Мюнхене? Может быть, мы живём на соседних улицах, встречаемся каждый день в переулке. А если бы крестьянка сказала правду? Если бы я сам с мачехой и маленьким братом в сорок первом году оказался на оккупированной территории? В конце концов это было вполне возможно. Я не воевал, но и у меня было не меньше шансов сыграть в ящик, чем у этого офицера, хотя бы потому, что я принадлежу к племени, сгоревшему в печах.



Оставив Вену, мы провели несколько дней на границе, вблизи Берхтесгадена, где некогда находилась горная резиденция Гитлера, в местах изумительной красоты. С необычайной вежливостью полиция препроводила нас в деревенскую гостиницу. Посёлок казался безлюдным. В две шеренги вдоль главной дороги стояли плодовые деревья, в траве валялись яблоки, никто их не подбирал. Я увидел церковь, перед калиткой стоял велосипед, две женщины бродили по маленькому кладбищу. За рядами памятников из хорошего камня, с золотыми надписями, виднелся аляповатый гипсовый ангел, распростёрший крылья над столбцами имён. Это были местные жители, погибшие на войне. Проклятое прошлое преследовало меня. Но теперь я смотрел на него как бы через перевернутый бинокль. Со странным любопытством принялся я читать фамилии, даты, места смерти; то были по большей части совсем молодые люди, чуть ли не подростки, так, по крайней мере, мне казалось теперь. Один убит в Норвегии, другой над Францией – сбит в воздушном бою, ещё кто-то в Греции, на Крите, два или три человека не вернулись из-под Эль-Аламейна. Но и Греция, и Франция были исключениями. Я пробегал глазами надписи, как водят пальцем по строчкам сверху вниз, имя за именем, дату за датой, и почти везде стояло одно и то же слово: Rußland, Россия. Итак, одной этой альпийской деревни было достаточно, чтобы заполнить лесную поляну где-нибудь невдалеке от тех мест, где бро-

дил мой отец. Сколько таких деревень в Баварии, сколько таких полей в России? Наша страна так велика, что в ней хватило бы места для пятидесяти Германий. Отсюда СССР представлялся сплошным кладбищем – без ангелов и крестов. И только здесь, в такой благополучной, как казалось, Германии, сначала смутно, потом ясней начали вырисовываться масштабы апокалиптического возмездия, которое полвека назад разнесло вдребезги эту страну. Мечь, принимавшая самые отвратительные формы, достигла этот народ, всех без исключения, устранив разницу между виноватыми и невиноватыми; виновны были все уже потому, что они были немцы. Мечь затмила военные, государственные, идейные и моральные соображения. Военные действия шли своим чередом – мечь стояла над ними. Она поднялась со дна океана, как цунами. Миллионы беженцев устремились на запад. Мечь перекатилась через головы наступавших и обрушилась на бегущих.

Тех, кто спасся, ждало второе возмездие – уже состоявшееся. К концу войны бывший рейх представлял собой страшное зрелище. Не уцелело ни одного крупного города. Одна из последних сводок гласила: «Поле развалин, прежде именовавшееся городом Кёльном, оставлено нашими войсками». Среди этих развалин высился, словно гигантская двойная сосулька, выщербленный и повреждённый, семисотлетний Кёльский собор. Берлин, Гамбург, Франкфурт, Майнц, Вюрцбург, Дортмунд, Эссен, Дюссельдорф, Кассель, Нюрнберг, Мюнхен, Аахен, Бремен, где возле собора стоит памятник славным бременским музыкантам, кстати сказать, так и не добравшимся до города, были разнесены в щепы. Дрезден был уничтожен в одну ночь. Кольцо огня окружило город, и шестьдесят тысяч жителей и беженцев, запертых в центральных районах, задохнулись в дыму или погибли под обломками. Тысяча двести гектаров руин остались от изумительной столицы Августа Сильного. Престарелый Гауптман видел зарево на небе с крыльца своего дома в Силезии. Вестфальский город Мюнстер, который вырос вокруг монастыря и епископства, основанного Карлом Великим в VIII веке, погиб на 98 процентов, каким образом был произведён такой точный подсчёт, не постигаю. Я побывал в городишке Цербст. В 1745 г. свадебный поезд с гайдуками, с форейторами повёз отсюда в Санкт-Петербург 16-летнюю принцессу Софи-Фридерiku-Августу, будущую русскую императрицу Екатерину II. Через много лет после войны Цербст, разбитый русской артиллерией, напоминал человека, уцелевшего, но оставшегося без лица. Масштабы кары, поразившей Германию, можно было сравнить разве только с катастрофой Тридцатилетней войны, но в XVII веке не было бомбардировочной авиации. И в эту съёжившуюся, словно шагреновая кожа, проклиняемую всем миром и околевающую Германию хлынуло двенадцать миллионов беженцев из восточных областей. Одни бежали сами, другие были изгнаны после войны. Так окончилось «опьянение судьбой», Schicksalsrausch, двусмысленное словечко, брошенное Мартином Хайдеггером.

Современник свидетельствует: «Три года, с весны 1945 до лета 1948 года, немцы были одним из самых обнищавших народов на земле». Было под-

считано, что для того, чтобы разгрести развалины Франкфурта, понадобится тридцать лет. Каждый немец мог надеяться приобрести миску или тарелку в среднем один раз за пять лет, получить пару башмаков один раз в 12 лет, костюм – один раз в 15 лет. Лишь один из пяти новорождённых мог лежать в только ему одному принадлежащих пелёнках, и один из трёх умерших мог надеяться, что его похоронят в гробу. В сорок восьмом году какой-то шутник из Карлсруэ писал, что каждый житель сможет приобрести каждые пятнадцать лет одну поварёшку, каждые 150 лет – умывальник и каждую вечность – одну зубную щётку. Наступил Час Нуль, когда многим казалось, что история кончилась или начинается заново на пустом месте.



Ничто так не врезалось в память, как первые впечатления реальной жизни: ни памятники старины, ни ландшафты, ни даже то, что повергало в ошеломление нашего брата: неслыханное изобилие продовольственных витрин. Западный уровень жизни задаёт свой собственный язык богатства и бедности, непереводаемый на язык российской неустроенности и нищеты, чем и объясняются крайности, между которыми мечется эмигрант: то он чувствует себя приобщённым к неправдоподобно благоустроенной жизни, точно бедный родственник, которому разрешили переночевать в богатом доме, то испытывает, как ему кажется, ещё больше лишений, живёт ещё скудней, чем на родине; ибо он попросту не умеет жить этой жизнью. Сытая жизнь для него, как и для всякого русского, – синоним лёгкой жизни, он поглядывает свысока на заевшихся немцев и не хочет понять, что ограниченность естественных ресурсов и умение максимально использовать то, что имеется в распоряжении, пресловутая немецкая бережливость, любовь к порядку, короче, всё то, что русскому человеку кажется непроходимым мешанством, – и есть один из секретов богатства. Обалделый чужеземец бредёт мимо ярко освещённых выставок благополучия, словно среди садов Семирамиды, забыв, что ещё совсем недавно на месте этих садов высились холмы обгорелых кирпичей и щебня.

И точно так же раздваивается, колеблется между двумя крайностями ощущение самого себя в головокружительно новом мире. Кажется, смешно и думать о том, чтобы начать, с лысой головой, жизнь заново, смешно задавать вопрос, что изменилось в тебе с переселением на чужбину. На него давно ответил латинский поэт:

Coelum, non animum mutant qui trans mare currunt.

Небо меняет тот, кто бежит за море. Небо – а не душу. А с другой стороны, переменить страну, по крайней мере для людей, как мы, никогда не бывавших за бугром и уехавших насовсем, навсегда, без надежды когда-либо вернуться, – не то же ли, что родиться заново? Никогда восприятие не бы-

вает таким свежим, как в детстве; эти первые времена и были нашим немецким детством. Но *видеть* действительность такую, какова она есть, – вообще видеть – научаешься много позже. Ничто так не раздражает эмигрантов из России, как то, что немцы (американцы, французы) «неспособны нас понять». Стоило бы задуматься о том, что эта неспособность – не что иное, как зеркальное отражение собственной неспособности – а часто и нежелания – понять живущих здесь. Довольно скоро после переселения вашему слуге посчастливилось увидеть в мюнхенском театре Kammerstage (где позднее я стал завсегдатаем) «Вишнёвый сад» в постановке Эрнста Вендта. Три затянутых марлей, ярко освещённых окна должны были означать комнату, за которой находился сад. На тесной авансцене метались действующие лица в несуразных костюмах. Потом сели пить кофе, едва уместившись за крошечным столиком. Немного погодя Гаев обратился с приветственной речью к комоду или какому-то ларю: «Дорогой, многоуважаемый шкаф!» Старик Фирс, который по совместительству изображал смерть и был по этому случаю облачён в мундир служащего похоронного бюро, называл Гаева «господин Леонид». Во втором акте деликатный Лопухин ни с того ни с сего съездил прохожего по физиономии. В третьем акте Раневская оплакивала проданный сад, сидя на полу, и танцующие гости перешагивали через неё... Публика смотрела на всё это с чрезвычайным вниманием. Чувствовалось, что спектакль захватил зрителей. Итак, вся эта дикий обстановка, старательно выговариваемые русские имена, ненатуральные жесты, вся эта гротескная, липовая Россия – воспринималась всерьёз! Но понемногу настроение зала передалось и мне. К концу пьесы я, можно сказать, примирился с ней. (Впоследствии я видел много чеховских пьес на этой сцене. Мне казалось, что они были сыграны лучше, чем в России.)

Я шёл домой и думал, что сказал бы немецкий зритель, посмотрев, к примеру, «Перед заходом солнца» в московском Малом театре, увидев, как я в Мюнхене, битком набитый зал, зрителей, зачарованных странным спектаклем. Если существует русский Гауптман и то, что можно назвать русской Германией, почему не может быть немецкого Чехова? Я не знаю писателя, который ближе, интимней выражал бы моё чувство России; но в конце концов Чехов принадлежит всему миру. Почему не может быть немецкой России? Велика ли важность, если эта Россия не вполне совпадает с той, которую *мы* считаем единственно подлинной? Тем, кто видит её иначе, нет до нас никакого дела. Мы маркируем действительность при помощи символов, понятных только нам; сочетаясь друг с другом, они образуют модели; создав модель, мы полагаем, что усвоили действительность, постигли страну. В этой инсценированной нами действительности мы чувствуем себя уютно – до тех пор, пока внезапно не зашатаются фанерные декорации, не повалятся кулисы и актёры умолкнут в растерянности, не зная, продолжать ли пьесу или бежать с подмостков.



Должно быть, теперь мы и заняты тем, что кропаем новую пьесу, после того как действительность разнесла конструкции, с коими прожили мы целую жизнь. Об этом можно сказать лишь кратко, чересчур велика опасность впасть в новый схематизм, в умозрительность или сентиментальность. В конце концов выясняется, в пику Овидию, что не только душу, но и небо мы привезли с собой. Унести на подошвах землю, правда, не удалось. Но если можно, вопреки всему, говорить о «вживании», то оно состоит не в том, чтобы усвоить внешние формы чужеземной жизни, обрядиться в другую одежду, привыкнуть к местной кухне. Приобщение к новому заключается в том, чтобы почувствовать за благополучием Германии, за свежестью и чистотой её городов, за свистящими лентами идеально гладких дорог, за всем благообразием её цивилизации – почувствовать, да – чёрный провал, след травмы. Эта травма, о масштабах которой можно догадываться, лишь проживая здесь, возможно, и является концентрированным выражением некоторого тайного смысла немецкой истории.

Каково бы ни было будущее Европы, оно зависит в первую очередь не от Америки и не от России, но от этой срединной страны. Загадка Германии – по крайней мере для нас – состоит уже в том, что этот Феникс восстал из пепла, хоть и без крыльев, что эта нация в поразительно короткий срок оправилась после такого разгрома, который навсегда низвёл бы любую другую страну на уровень третьеразрядного провинциального существования. Загадка Германии – это соединение книжного идиотизма, мечтательности, музыкальности, порывов к сверхреальному – с практическим разумом, волей и дисциплиной. Парадоксальным образом нация, чья склонность к иррационализму по сей день служит лейтмотивом всех рассуждений о Германии и немецкой судьбе, предстаёт глазам соседей как народ, ведущий чрезвычайно размеренный, почти геометрический образ жизни, а его страна – как образец разумного, подчас слишком разумного благоустройства.

Цивилизованный Запад, каким его представляют себе в России, «пригожая Европа», как назвал её Блок, в первом приближении оказывается Германией; и слово «немец» ещё три века назад означало западноевропейца вообще. Германия, поставившая невест для семи поколений русских монархов, обучившая властителей России государственному управлению, бюрократии и военному делу, оставившая так много слов в русском языке, страна-педагог, страна-фельдфебель, трудолюбивая и мечтательная, холодная и чувствительная, втайне страдающая от своей холодности и неисцелимо одинокая, по сей день остаётся для нас заколдованным садом, где смеются феи, а в тёмном гроте спит грозное войско, где на каждом шагу видны следы работы неутомимых рук. Но садовника нет.





кандидат филологических наук, автор повести «Дезертиры», романов «Чертовое колесо» и «Толмач». Живет в Германии.

БАР-АВВА, ЦАРЬ ВОРОВСКОЙ*

Но весь народ стал кричать: смерть Ему! а отпусти нам Варавву.

Евангелие от Луки, 23:18

Незадолго до Пасхи был дважды ограблен караван персиянина Гарага. Один раз напали на окраине Иерусалима, где сгружались ковры и посуда, а второй раз остановили и обобрали на Ассийской пустоши, когда Гараг, закупив всякой всячины для возмещения убытков, только вышел за городские ворота, направляясь в Персию. Избитые купцы разбрелись по городу, пугали людей рассказами о побоях. Ползли дикие сплетни и мрачные слухи. Народ роптал и шевелился. Да и было от чего!..

Жизнь становилась все опаснее. Обворовывали дома, грабили лавки, отбирали выручку у торговцев, облагали податью лавочников, отнимали товары у купцов и барыши у менял. Грабили богатых, а их красивых жен и дочерей угоняли в горы, чтобы потом, натешившись, продать в рабство. Римляне не вмешивались в городские дела, солдаты только иногда, по просьбе Синедриона, прочесывали город, предпочитая играть в кости и шупать шлях, живших возле казарм. А у местной стражи глаза были залиты вином, а глотки залеплены деньгами – делай что хочешь, только плати!

Стукачи тут же донесли в Синедрион, что двойной грабеж – дело рук известного по всей Иудее вора и разбойника Бар-Аввы и его шайки. Действо-

* Глава из романа «Лука».

вал он, как всегда, нагло, смело и умело – у первого и последнего верблюда вспарывал брюхо и спокойно обирал караван, пока купцы и хлипкая охрана дрожали под ножами, а верблюды, связанные в цепочку, беспокойно урчали, отшатываясь от умиравших в кишках и крови животных. Хуже всего, что с караваном уходили важные бумаги для персидских властей, но тоже были украдены из баулов и торб.

И Аннан, глава Синедриона, отдал приказ взять Бар-Авву:

– Терпеть больше нельзя! Он стал опасен для нас! Народ возмутится! – хотя зять Каиафа уверял его, что глупо резать курицу, которая не только несет золотые яйца, но и наводит порядок в курятнике.

Приказ исполнили. Бар-Авва с разноязыкой дюжиной воров был окружен и взят под охрану в его родном селе Сехания, где он обычно прятался после грабежей и бесчинств, привезен во Дворец первосвященников и отправлен в подвал до суда.

В подвале, в мглистой тьме, светила лампадная плашка. Она стояла на выступе бугристой стены и почти не давала света. Глухая дверь. Где-то наверху – во Дворце или во дворе – ходили и бегали, но звуки, пронизывая земную толщу, в подвале превращались в слабые рокоты, стуки и звяки.

Подстилка была только для Бар-Аввы. Для двух других – земляной пол. Тщедушный и глуповатый карманник, Гестас-критянин, дремал в углу. Негр по кличке Нигер мучился от болей – при аресте был ранен в живот, наскоро перевязан, но ранагноилась, и он умирал.

Бар-Авва – большой вор, умудренный жизнью – одышливо ругался сквозь кашель. Он двадцать лет разбойничал вокруг Геннисаретского озера, никогда ни о чем не забывал, всегда всё делал как надо. А вот на этот раз, обезумев от добычи, забыл выставить вокруг шабаша охрану. За это и поплатился. Он громко вздыхал, бил себя по бритому черепу, по ушам:

– Ах я, дурень! Очумел от золота, как мальчишка! Сатанаил попутал! Хоть бы ты, Нигер, вспомнил! Или ты, Гестас, подсказал!..

Нигер стонал. Из розового зева рта толчками выходила пена. Бок раздуло. Из-под бурой повязки полз гной. Он в забытьи тер руками живот, мычал и скалился. Гестас отбредивался в полудреме:

– Да ты, кроме Сатанаила, разве кого-нибудь слушаешь! Даешь слово сказать? «Я – ваш учитель!» Вот, что от тебя слышно! Ведь так, Нигер?

– Я даю слово сказать тем, кто дельное говорит, а не всякой мелкоте вроде тебя! – осадил его Бар-Авва, покосившись на Нигера и зная, что бывает в тюрьме, если у двоих появляется возможность взвалить вину на третьего. – Заткнись! – для верности шикнул он на Гестаса, и тот притих.

Карманник был неопасен – мелкая сошка, способная только красть у стариков и буянить во хмелю. Но вот негр с золотыми серьгами, бывший служка палача в Вавилоне, где искалечил жреца и сбежал в Иудею. Убивать людей Нигер считал своим главным делом и умел это по-разному. Иногда кастетом пробивал черепа и пил кровь из пробоин, пока жертва билась в

агонии. Но сейчас он лежал навзничь, залитый пеной, слюной и мочой. У Бар-Аввы отлегло от сердца.

«Быстрее б ты подох!» – подумал он. Побродил по подвалу, приник к стене. Начал потихоньку постукивать по ней трехперстием костяшек. Постучал наверху... внизу... потом крест-накрест... Ни звука. Нигде никого. Где же остальные?.. Сбежал кто-нибудь или все здесь, в подвалах?.. Может, других отпустили, а их троих держат?.. Или рассадили всех по разным тюрьмам?.. Но зачем?..

Отяжелевший, хмурый, распахнув халат и обнажив грудь в тронутых сединой волосах, он устался в одну точку, угрюмо обдумывая, как выбраться на волю. Где-то должна быть лазейка, пока ты не в могиле!

Раньше всё было известно: золото и камни – алмазы, сапфиры, изумруды, аметисты – чего еще?.. Совсем недавно он, как положено, откупился шкатулкой камней, снятых с убитого патриция, о чем знали, но взяли. А сейчас происходит что-то странное. Ему не дали написать записки, увидеться с братом, поговорить с Каиафой или кем-нибудь из его лизоблюдов. Почему?.. Или золото потеряло цену? Или люди лишились разума?.. Или налогожницам Каиафы больше не нужны бирюльки и цепочки?.. Или подох старый Анна, и Каиафу просто скинули – кому нужен зять трупа?.. И почему стукачи не предупредили его, как обычно, о готовящемся аресте?.. Или их кто-то перекупил?.. Уже давно Бар-Авва приплачивал мелкой синедрионской сошке, за что имел глаза и уши в самом логове, всегда всё знал, что там творится. А вот на этот раз никто из шавок не сообщил об аресте. Ну, с ними он разберется, когда выйдет... Но как и когда это будет?..

...Плохо, что посажен в подвал. Если бы хотели поугагать, как бывало при вымогании поборов, то держали бы наверху, в особой комнате, где обычно поджидал один из людей Каиафы. Сам Бар-Авва ни к золоту, ни к камням никогда не прикасался, а всегда только на словах сообщал, где и сколько чего спрятано, зарыто, заложено. Те шли и брали. Зачем рисковать из-за какой-то дряни?.. Кто знает, что может взбрести в голову Синедриону? Вдруг схватят за руку, завопят: «Этот камень – с убитого! Та цепь – с покойника!» – и отправят на суд, а вместо него, Бар-Аввы, обложат данью другого, нового, вот и всё...

Единственное, на что мог он надеяться – на свой вес и авторитет. Конечно, воров в Иудее множество, но он – один из главных. За наглость, смелость и ум возведен в звание и не имеет права бросить своего воровского ремесла. Зная об этом, Синедрион считал более разумным и выгодным брать с него выкуп и пополнять им казну (и карманы), чем сажать или вешать. Все равно людей не изменить, вместо Бар-Аввы на воровском престоле будет сидеть другой разбойник и убийца – какая разница?.. Бар-Авва хоть всем известен и уважаем, в силах навести порядок в черном мире. А что начнется после его казни – неизвестно.

Так думал Синедрион раньше. Об этом сказал ему сам Каиафа, однаж-

ды повстречавшись на заре в узкой улочке возле Силоама, где Бар-Авва ночевал у одной из своих жен (тогда вор еще поразился: «Что надо этому человеку в таком квартале в эдакую рань?..») Каиафа был один, под капюшоном, куда-то спешил, но, наткнувшись на Бар-Авву, не увильнул, а, наоборот, с высоты своего худого роста настырно уставился вору в переносицу, сказал: «Пока ты хозяин дна – мы с тобой, и ты с нами. Но если что-нибудь случится с тобой – нас для тебя нет. И тебя для нас нет. Мы квиты». И добавил странные слова, которые вор хорошо запомнил: «Если хочешь осушить болото, не следует слушать жалоб лягушек и жаб».

Так было. А что теперь?.. Почему он тут, в вонючем склепе, а не на воле?.. Пять жен ждут его, а он гниет под землей с полутрупамии... Значит, что-то случилось? Но где?.. С кем?.. С ним?.. Или с Каиафой?..

Вор был в замешательстве. Было непонятно, откуда и чего ждать. А мысли о близкой Пасхе приводили его в полный ужас – кто ж не знает, что на Пасху казнят таких, как он?.. Неужели его сдали, предали?.. И воры, и брат, и друзья?.. Сделали козлом отпущения?.. Взвалили на него все дела?... Свели счеты?... Решили сместить?.. Казнить?.. Его?..

Он швырял в стену мисками и бил ногами визжащего Гестаса, упрекая его в чем-то, что было неясно ему самому, с бессильной тоской слушающая заунывную агонию Нигера, и все глубже погружался в могильный страх смерти.

Поздно ночью Бар-Авву вызвали из подвала, надели ручные и ножные кандалы, вывели тайным ходом из дворца и повезли куда-то в наглухо закрытой холстом телеге. Он слышал топот коней и ненавистную римскую речь, которую понимал с тех пор, как просидел несколько лет в тюрьме с римскими солдатами, осужденными за кражу провианта и насилие над маркитанткой. В телеге пахло грязью и гнилью. Холстина наглухо приторочена к бортам, никаких щелей. Блики ходят по грубой ткани. По дну переползают влажные пятна и прыгают куриные кости. Может, это жрал свою последнюю курицу какой-нибудь смертник, которого везли на казнь?.. Вор старался не дотрагиваться до костей, хотя усидеть на корточках было нелегко – телега скакала на колдобинах, и надо было хвататься руками за скользкие борта и липкое днище.

Вот телега встала. Его выволокли наружу, накинули на голову мешок и повели, подгоняя:

– Быстрее, быстрее!

Он ругался:

– Воздуха дайте!

Но его тянули волоком дальше, приказывая молчать и пиная в бока и ребра. Повороты. Сквозняки. Ругань. Запах горелого лампадного масла. Звон металла. Упало что-то. Хохот, эхо, скрежет, брань солдат... Сколько их было за спиной – он не знал: три, четыре?.. Вот остановили, растянули цепи, замерли. Потом с него сняли мешок.

Он стоял в полутемной претории. Связка-двойка факелов дымила в углу. За походным столом молодой солдат в легких латах что-то писал. Стол был завален свитками. Среди белых свитков – темные пятна чернильницы и кувшина.

С другой стороны стола в кресле находился пожилой человек. Богато одет. Сиреневая тога в золотых выточках. Строгое лицо. Короткие волосы с сединой. Руки в перстнях и шрамах, обнажены до локтей. Но ногах – сандалии с камнями, а ногти крашены хной.

Да это же римский начальник Пилат, который когда-то вербовал Бар-Авву в Германский легион!.. Тогда вору была предложена служба в карательном отряде. А в прошлом году, как раз на Пасху, он видел этого римлянина на Голгофе: пока Аннан распинался в преданности Риму, Пилат сидел в тени и ел пузатые персики, а потом размеренно задремал на солнце, когда тень передвинулась.

Пилат, мельком взглянув на вора, размеренно произнес:

– Манаим из Кефар-Сехании, вор по кличке Бар-Авва? Галилеянин? Сын берберийки Марьям и неизвестного отца?

Вор поморщился (как всегда при словах о «неизвестном отце», делавших его мать шлюхой):

– Это я, начальник. Звание ношу. Меня вся Иудея знает. И ты меня знаешь! – добавил он в надежде, что, может, Каиафа замолвил за него словечко, и надо подсказать, что это именно он, а не кто другой.

Но Пилат брезгливо отрезал:

– Тебя я не знаю. И знать не хочу...

– Да нет, знаешь... Ты меня в Германский легион вербовал... – настырно напомнил Бар-Авва.

– Да?.. – взгляделся Пилат внимательнее в лицо вора. Он иногда заходил в преторию, когда там шел набор карателей. – И ты, как видно, отказался?

– Как я мог согласиться? Я вор, свободный человек. Меня и в морскую охрану хотели главным взять, такой я нужный, – солгал Бар-Авва, где-то слышав, что римляне охотно нанимают иудеев, как самых свирепых, охранять свои морские границы.

– А почему ты отказался на этот раз?

– Плавать не умею... Воды боюсь с детства.

Пилат сухо кивнул и заглянул в поданный писарем свиток:

– Кто ограбил в прошлом месяце виллу богача Ликия, самому отрубил руки, а жену отдал вора на утеху?

– Не помню. У меня с этим плохо... – Бар-Авва хотел показать пальцем на свою голову, но солдат не ослабил цепи, не дал поднять руки.

– Пишут, что нападение на римский обоз с оружием – тоже твоих рук дело.

– Это они пишут... Я не припомню ничего такого...

– А грабеж лавки ювелира Зеведеева в Старом городе? Твои хамы обесчестили всех пятерых дочерей, а самому рот забили жемчугом так, что он

задохнулся? А? Тоже не помнишь? – Пилат свернул список и похлопал им по колену.

– Ничего не знаю. Первый раз слышу.

– А двойное ограбление купца-персиянина Гарага в этом месяце?

– Ты говоришь, не я! – огрызнулся вор.

– Где, кстати, те бумаги, которые шли в Персию, а попали к тебе? Они тебе не нужны, отдай, – недобро уставился на него Пилат.

– Читать-писать не умею. Бумагами не ведаю.

Пилат, развернув свиток, упомянул еще несколько дел. Писарь спешил, шуршал пером. Солдаты переминались. Факелы дымили. А Бар-Авва как заведенный отвечал:

– Не может быть. Никогда. Нет. Не упомяну, – на самом деле поражаясь, сколько чего известно Пилату... Выходило, что Синедрион не только топит его подчистую, но и хочет скинуть на него всё нераскрытое, валит на него и его, и не его грабежи и убийства!

Пилат усмехнулся:

– Да уж, трудно всё упомянуть, если за душой ничего, кроме мерзости, нет... Но надо. – Он свернул свиток, щелкнул застежкой, кинул его на стол. – Пошел бы к нам наемником – может, и остался бы жить... Тебе предлагали, но ты не захотел. Я сам служил в Германском легионе... Вот! – Пилат мизинцем, исподволь, указал на шрамы правой руки.

– Как же! Всем известно, что ты был там большим начальником, – нагло-угодливо начал плести Бар-Авва, но Пилат повысил голос:

– Но в легионе надо воевать. А зачем с германцами биться, если можно женщин насиловать и ювелиров-стариков душисть?.. Там ты, может быть, стал бы героем... А сейчас ты никто. Существо, которое все ненавидят. И скоро превратишься в падаль. Всё, конец. Подожди до Пасхи! Ты-то уж точно по закону будешь казнен! – добавил прокуратор, поворачивая зачем-то перстень на пальце.

Бар-Авва, что-то учуяв в этих словах, уцепился за соломинку:

– А кто не по закону?

– Тебе не понять... Твоя жизнь в крови и нечистотах протекает... Не тебе судить людей. Они должны судить тебя... И засудят!

При этих словах один факел вдруг зачал, надломился и горящим набалдашником рухнул на пол возле писаря, рассыпая искры и огонь. Писарь вскрикнул, отпрянул, задел стол. Свитки и перья полетели на пол. Пилат вскочил, живо схватил кувшин и, отбив горлышко о край стола, разом выплеснул воду на пылающую головку. Угли, шипя и дымя, расплозились по каменному полу. Всё произошло так быстро, что солдаты не успели даже дернуться. Пилат поставил кувшин на пол, сел в кресло, отряхнулся.

– Принести новые факелы! А эти убрать, дышать нечем!.. – И насмешливо посмотрел в сторону писаря, собиравшего с пола свитки: – Могли бы сгореть, между прочим... А за это суд и галеры!

Писарь, не разгибаясь, глухо спросил:

– Здесь темно... Зажечь свечу, пока принесут факелы?

– Не надо. Есть охрана. Страх есть грех. Тебе, солдату, не стоит об этом забывать... – на что писарь промолчал, наводя порядок на столе.

Один из солдат бросил цепь и начал мешком, в котором Бар-Авву ввели сюда, собирать угли и грязь. Затушил второй, чадящий факел. Вытащил черенки из треножника, захватил сломанный кувшин и понес всё из претории.

...Тьма и тишина. Откуда-то слышен солдатский бубнёж, скрежет железа, лай собаки. Писарь застыл черным пятном, слился со своей тенью. Пилат вздыхал, ворошил что-то на столе. А Бар-Авва ничего не мог понять. Что творится?.. Может, его хотят просто зарезать?.. Или предлагают бежать?.. Он украдкой огляделся, но солдат палкой повернул его голову обратно. И цепи были натянуты.

– А те... записки?.. Ну, ты знаешь... Не пострадали? – вдруг обеспокоенно спросил Пилат из темноты.

– Нет, здесь где-то, на столе, – откликнулся писарь виновато. – Только не видно без света.

– Нужен свет для них? – с непонятной издевкой произнес прокуратор. – Не помнишь наизусть?.. А ну, тише! – прикрикнул он, хотя в претории и так было тихо. – Говори по памяти!

– Не убивать. Не красть. Не обижать. Не лгать. Не прелюбодействовать. Деньги раздать нищим. Не обжорствовать. Почитать отца и мать. Не отвечать злом на зло. Прощать. Любить... – не очень уверенно стал перечислять писарь и замолк.

Отсветы огня из коридора не могли погасить звезд за окнами, таких больших, как будто кто-то поднес их вплотную к решеткам казармы.

– Может так жить человек? – спросил Пилат из темноты.

Было непонятно, кого он спрашивает. Писарь смущенно пробормотал:

– Не знаю...

А Бар-Авва обрадовался, поняв, что римлянин шутит. Посчитал это хорошим знаком и решил тоже не молчать:

– Побольше таких, и у нас, воров, была бы веселая жизнь! Сиди, жди, а тебе всё само в руки валит! И воровать бы не пришлось – зачем? Хорошая жизнь, даже очень! – добавил он туда, где виднелась тень начальника.

– Вот-вот, и воровства бы не было, и грабежей, и убийств... И все жили бы тихо-мирно... – согласилась тень и спросила дальше: – А ты бы мог так жить?

– Я? Так? Не воровать, девок не тискать, прощать? Нет, не мог бы. Да и нельзя мне уже после всего... всякого... что было... – осклабился Бар-Авва.

– А вот... говорят, что всем можно... начать так жить... Даже самым отъявленным, закоренелым и отпетым... Как ты, например...

– Или ты, – нагло ответил вор и панибратски добавил: – Ты ведь в своем Германском легионе тоже не маслобойней ведал... Все такие...

– Но всем можно начать, – повторил веско Пилат.

В этот миг солдат внес в казарму факелы. От свежего света все сощурились. Прокуратор спросил:

– Привезли?

– Да. Скоро будет.

Он оживился:

– Факелы сюда... Поближе... А этого убрать с глаз долой... Ты обречен... – холодно предупредил он Бар-Авву, но вдруг, что-то вспомнив, спросил: – Ты ведь галилеянин?

– Да, начальник. Вся моя родня оттуда. А что? – поднял вор голову. – Меня там все знают. И я всех знаю!

– Правда ли, что на вашем языке слово «Галиль» означает «земля варваров»?

– Конечно, а как же! Давили нас всегда, гоняли! – подхватил вор, безнадёжно думая, нет ли у римлянина каких-нибудь тайных дел в Галилее, где могла бы понадобиться его помощь. – За собак почитали! Если галиль – то ты никто, не человек уже... Запрещено у нас покупать, ночевать, обедать, даже здороваться с нами! Каково такое терпеть? Вот и стал вором, чтобы гордость не потерять, – спешил Бар-Авва, надеясь разжалобить римлянина этой чистой правдой и видя хороший знак в том, что правитель так заинтересован им и его жизнью, что даже спрашивает и слушает. – Наречие наше другое. Нас мало кто понимает. И разные люди у нас живут. Много непокорных...

– Непокорных чему? – Пилат то ли недоверчиво, то ли глумливо уставился на него в упор.

– Нашему закону и начальникам, кому еще? Спроси у саддукеев, они скажут... Саддукеи всегда так – сперва мучают, теснят, ломают, а потом еще и валят что ни попадя! Почему на меня всякую дрянь наговаривают? Где такой закон, чтобы без закона судить? – расшумелся Бар-Авва.

– С тобой обойдутся по закону.

И Пилат, отвернувшись от вора, тихим шепотом сказал что-то писарю. Бар-Авва, поняв, что все кончено, крикливо и грязно выругался от бессилия. И пошел из претории широким шагом, словно был свободен от цепей, за концы которых дергали солдаты:

– Куда? Медведь! Медленнее!

В подвале ничего не изменилось, только вонь стала сильнее, а свет – темней. В сизой мгле Гестас бродил из угла в угол, сторбившись как пеликан. Нигер лежал плашмя, в поту и блевотине.

– Почему не убрал? – Бар-Авва сурово пнул щипача ногой. – Этот умирает, но ты живой еще?

– Воды нет, как убрать? Да тут уже всё... Его самого убирать надо... Ну, что? – спросил Гестас без особой надежды.

– Ничего... Убрать все равно надо. Стучи в дверь!

На стук никто не явился. Воды оставалось на одного. Бар-Авва забрал

воду себе. Гестас, послонявшись, завалился на солому. Вор, покачив головой: «И перед казнью будет дрыхнуть!» Уселся на корточках возле двери, из-под которой пробивалась острая струйка воздуха. Затих. Смотрел на Нигера, думая неизвестно о ком: «Вот и жизни конец, собака ты шелудивая...»

Так шла ночь к утру.

Гестас по-лисьи, в клубке, похрапывал на земле. Нигер царапал в забытых ноги, шею, живот. А Бар-Авва мрачно обдумывал свое несчастье. Убеждаясь, что выхода нет, он то впадал в молчаливую ярость из-за того, что все забыли о нем, то успокаивал себя тем, что нужно время, чтобы подкупить стражу, уломать её устроить побег... А бежать из этих подвалов трудно!.. Двор полон охраны, квартал вокруг Дворца оцеплен. И где брат Молчун? Взят или на воле?.. Вор дремал, сидя на корточках, потом перебрался на подстилку.

Под утро дверь приоткрылась.

– Бар-Авва! – пробежал сквозняком шепот.

– Я, – быстро и ясно отозвался тот, как будто вовсе не спал; по-звериному подскочил к двери: – Кто? Что? – И недоверчиво высунулся, а потом вышел в коридор, к двум фигурам в плащах.

– Пошли.

Одна фигура двинулась скорым шагом. Вор заспешил, одновременно и боясь смерти сзади, и надеясь на неизвестное чудо впереди. Он шел как во сне: мимо влажных стен, глухих дверей с задвижками и засовами, мимо молчаливых солдат в нишах. Сзади шаркали шаги замыкающего. Вот поднялись из подвала. Распахнута дверь в угловую комнату, жестом приказано входить.

Там, при двух светильниках, сидел Каиафа. Худое, верблюжье лицо. Впалые щеки. Мелко сидящие глаза с черепашьими веками. Тиара с лентами слов. Черная накидка поверх белого балахона. Руки скрещены под накидкой. На столике – два куса пергамента и калам. Первосвященник, не шевелясь, подбородком молча-презрительно указал вору на скамью у столика.

– Ты всем ненавистен. Когда тыходишь в дом, все хотят выйти из него. Когда ты выходишь, все вздыхают с облегчением. Никто не хочет дышать с тобой одним воздухом. Ты – скорпион, которого не убивают только потому, что боятся яда... – начал Каиафа.

Бар-Авва нагло смотрел на него, слушая вполуха. Он вдруг успокоился, поняв, что вывели его из подвала не для того, чтобы про пауков рассказать. Его подмывало спросить, что делал этот начальник саддукеев ранним утром возле Силоама при их последней встрече – небось, от своих мальчиков из гарема шел! Но вместо этого он соорудил покорное лицо и сложил на коленях большие кисти в единый громадный кулак.

Каиафа уставился ему в переносицу:

– Ты губитель тел. Но ты нужен нам сейчас больше, чем тот, другой... Надо спасти тебя, но есть препятствие и препона – римлянин. И его супру-

га, Клавдия Прокула, всюду свой нос сующая... – Каиафа неодобрительно пожевал губами. – Она вставляет в колеса не палки, а бревна... Но я знаю, как обойти эти завалы...

– Как? Я всё сделаю! Всё отдам, только спаси! – зашептал вор. – Ты знаешь, у меня есть много, очень много...

– Нет, не так... Ему этого не надо, он от нас денег не берет, он богат. Нам надлежит сделать по-другому, – Каиафа выпростал руки из-под накидки. – У тебя есть имя и власть. Недаром кличка тебе – Божий сын. Сделай так, чтобы в день суда на Голгофе был только твой черный мир – и все будут спасены. – И веско повторил: – Все! И ты, и я, и все остальные...

– Черный мир? – не понял Бар-Авва.

Первосвященник поморщился:

– Снаряди воров по Иерусалиму: пусть они подкупают, запугивают, не пускают народ на Голгофу, а туда в день суда приведут своих... твоих... ваших... – он провел узкой ладонью перед грудью вора, будто хотел разрезать её. – Пусть в эту проклятую пятницу на Голгофе будет только черный мир...

– Зачем? – не понял Бар-Авва, подумав: «Всех разом взять?»

Каифа пошевелил тонкими длинными пальцами (на одном блестел опал в серебре), терпеливо стал объяснять:

– По нашему закону, одного из приговоренных народ должен отпустить...

Тут до вора дошло:

– Меня?

Каиафа удовлетворенно кивнул:

– Да, тебя. Вот и всё. И жабы будут довольны, и болото осушено... Мы тебя спасем, а ты – нас... – добавил он что-то непонятное, но вор не стал вникать, было не до этого. – Бери калам, пиши брату, что надо делать.

– Где он? Он не умеет читать, лучше я скажу ему сам на словах! – соврал вор, пытаясь узнать, где брат, но Каиафа отмахнулся:

– Ничего, кто-нибудь ему прочтет... Пиши, что ему надо делать. Сам, своей рукой пиши... Письмо он получит скоро, утром. А дальше – ваша работа. Мои помощники тоже помогут...

Бар-Авва схватил пергамент и нацарапал:

«Молчун пойдя на Кидрон вырой всё разгони запугай подкупи работяг чтоб на Пасху не шли на Гаввафу туда пригласи приведи найди извести наших всех судья спросит кого пустить все кричат меня Бар-Авву».

Каиафа брезгливо взял письмо, прочел, усмехнулся:

– Теперь надейся и жди. Я знаю, ты в Бога не веришь. Так молись своему Сатане, чтобы всё было сделано вовремя и правильно.

И, спрятав письмо под накидку, важно вышел из комнаты – длинный, худой, уверенный в себе даже со спины, прямой и гордой. Вместо него в проеме возникла фигура. Вор поднялся. Ему жестами приказали выходить, подтолкнули к лестнице.

Коридор миновали быстро. Солдаты в нише ели утреннюю похлебку. Бар-Авва стал жадно-яростно внюхиваться в запах еды, хотя до этого думать о ней не мог. Радость будоражила, подгоняла: он даже наткнулся на переднюю фигуру. Та обернулась и показала из-под полы тесак. Узнав по кантам плащей синедрионских тайных слуг, вор отпрянул от тесака. Зачем шелушиться? Он скоро будет есть жареную козлятину и жарить на своем кривом вертеле козочек и телочек, а они, шныри, сгинют тут, под землей: какая разница, с какой стороны решетки в подвалах сидеть? Подвал есть подвал. Им – тюрьма, ему – воля.

Он был уже возле своей двери, как фигура обернулась, с шорохом вытаскивая что-то из-под плаща. Он опять отпрянул, ожидая тесака или кастета, но это оказалась круглая желтая дыня, которую сунули ему в руки, прежде чем втолкнуть в подвал и захлопнуть дверь.

Вор понюхал дыню, хотел разломить, но она легко распалась на две ровные половины. Вместо семян в ложбинке, в тряпке, что-то завернуто. Он развернул тряпицу. Шар опиума с детский кулачок. Вор так обрадовался зелью, что, уронив дыню, кинулся к шайке с водой. Воды было на дне.

Гестас, приподнявшись на локте, частил спросонья:

– Что? Куда? Зачем?

– Ничего, стража дыню дала... Бери, жри...

И Бар-Авва ногой подкинул ему с пола упавшие куски. Плевком затушив фитиль, в темноте отломал от опиума кусок с полпальца, запил остатками воды, повалился на подстилку и обругал себя за тупоумие: «Надо было Каиафе родиться, чтобы мне спастись?! Как сам не додумался?..»

Вот и найден путь. Теперь надо ждать. Он верил в свою звезду. Хотелось жить: есть, пить, тискать баб. Догонять тех, кто убегает, расправляться с врагами, смотреть на их слезы. Хватать и рвать! Брать, где можно и нельзя. Выжидать, когда другие соберут золото, деньги, камни, а потом разом украсть, отнять всё... Да как же иначе?.. Он – хозяин черного мира! Торгаши, менялы, барыги, богачи, лжецы, щипачи, грабители с большой дороги – все в его власти! Его слово закон! Бар-Авва – бог для своей шестерни!

«Царь воровской!» – мечтал он, ощущая в теле ростки опиума – первые легкие теплые пугливые всходы. Но их скоро будет больше, они станут всё жарче, сладостней и настырней, пока не затопят и не унесут через замочную скважину во двор, мимо охраны, на волю, туда, где можно месить ступнями облака и млеть в истоме, ввинчиваясь в пустоту, как дельфин – в родные воды...

Он чесал зудевшее тело, думал: раз заставили писать Молчуну – значит, брат на воле. Или скоро будет там и справится с делом. И всё будет, как надо. И все снова станут целовать Бар-Авве руки и лизать пятки... Хотелось жить. Умирать – не хотелось.

Ворочался, не мог успокоиться. Садился смотреть в сторону чавкающего карманника. Принимался подсчитывать, сколько народу может вместить

Гаваафа, сколько артелей и лавок надо обойти, чтобы заставить работяг сидеть по норам и носа не показывать из дома на Пасху. Мысленно пересчитывал тех, кто из уважения к нему приедет на сходку, а кого из мелкой сошки надо согнать, собрать и привести, чтобы крикнули, что надо. «Сделать непросто, но очень даже можно...»

Вспоминая тех, кто мог увильнуть или подгадить, он вслушивался в стоны Нигера, думая, что вот, этот павиан отрезал головы из-за бус, отрывал уши с сергами, отбивал для потехи яйца или разрубал топором лбы, выедавая глазные яблоки, чтобы быть зорким. А теперь что?

«Где твоя зоркость, негр? Тьму видишь ты. А я буду жить и радоваться!» – усмехался вор, с издевкой вспоминая тягучие, как слюна, слова Каиафы о том, что он, Бар-Авва, не верит в бога. А где этот бог?.. Если бы бог был, то разве было бы на земле место таким, как он, Бар-Авва, как Нигер? Да и другим всем, кто мучит и грабит?.. Нет, таким бы не было места, а бог бы был... А раз они есть, то и бога нет... «А сами вы во что верите, гады, мешки золота и алчного семени?..» – забываясь в полусне, с презрением думал вор о Каиафе, медленно расчесывая свое волосатое тело, уже плывущее в потоке неги.

Первым делом Молчун с племянником Криспом разбили людей на шайки и распределили, кому где ходить по Иерусалиму, а сами двинулись по Глиняной улице, где жили гончары. Узкие переулки были забиты детьми, ослами, повозками. Стояла жара. Возле лавок было пусто. Торговки внесли фрукты внутрь, а овощи позакрывали парусиной от дикого солнца. Под прилавками разморенно дремали кошки.

Крисп остановился около дома из красного кирпича:

– Здесь их староста живет, Матфат.

Воры, ругаясь и спотыкаясь, пробрались между гончарными кругами, мимо готовых плошек и мисок, мимо горок глины и песка. Приникли к узкому окну.

– За вечерей сидят! Надо подождать. Сейчас лучше не заходить, злятся... – ворчливо сказал Крисп.

Молчун поморщился и без стука распахнул дверь:

– Всем – радоваться!

– И вам радоваться! – поперхнулся староста Матфат при виде непрошенных гостей.

Старик-отец нахмурил брови, величественно встал из-за стола и вместе с невесткой и внуками вышел.

Крисп сел напротив гончара:

– Нас ты знаешь?

– Знаю, как не знать... Вас все знают. Угощайтесь! – Матфат суетливо передвинул тарелки на столе.

Крисп говорил, Молчун не спеша брал кусочки хлеба и мял их в широких пальцах, поднимая злые выкаченные глаза на гончара, отчего тот ежил-

ся и терял от страха суть говоримого. А Молчун, скатав упругий шарик, кидал его на стол и тут же брался за другой кусочек мякиша.

Так продолжалось несколько минут. Крисп говорил, гончар не понимал (или не хотел понимать), чего от него хотят: на Пасху, в пятницу, не ходить на Голгофу, сидеть дома. Почему?.. Кому он помешает там с детьми и женой?.. Ведь праздник!

Молчун, скинув на пол хлебные шарики, развязал мешок, вплотную усталился Матфату в глаза своим омертвелым взглядом:

– Чтоб я не видел тебя там на Пасху! Ни тебя, ни жену твою, ни твоих детей, ни твоего отца! – Он отсчитал деньги. – Вот тебе тридцать динариев. И чтоб мы никого из твоей артели на Гаваафе тоже не видели! А увидим – плохо будет!

– Э... – замялся Матфат, в замешательстве глядя то на деньги, то на воров и прикидывая: «От бандюг не избавиться, а деньги пропадут... Но как удержать артельщиков по домам на праздник? Что им сказать? Как объяснить?» – А... кого в пятницу судить будут? – осмелился он спросить, все еще надеясь увильнуть от неприятного задания.

– Не твое дело, – хмуро отозвался Молчун. – Кого-то... И еще кого-то... Пустомелю одного... какого-то...

Гончар что-то слышал:

– Не Иешуа зовут? Деревенщина из Назарета? Народ подбивает против властей? Говорят, даже колдун! Порчи наводит и заговоры снимает. С ним целая шайка привороженных ходит. Одно слово – галиль! Что хорошего от них ожидать можно? – сказал и осекся гончар, словно облитый кипятком: вдруг вспомнил, что и Бар-Авва с Молчуном оттуда же родом, тоже галили!

– Главное, чтоб ты на Пасху дома сидел, – оборвал его Крисп. – Ты и вся твоя родня. Не то плохо будет тебе и всем остальным, по очереди! Приказ Бар-Аввы!

– Так ты понял? – грозно переспросил Молчун, надвигаясь на Матфата.

– Да, да, как не понять. Конечно, все понятно, как же иначе!.. – залепетал Матфат, пряча деньги. – Все будем дома, никуда не пойдем... Больны будем... И в артели скажу... Всё, как велено, сделаю... А Бар-Авве от всего народа – радоваться!

Воры, не слушая рассыпчатой болтовни гончара, хлопнули дверью и пошли на другую улицу, где обитал староста пильщиков. А по дороге решили подолгу не церемониться – времени в обрез. Поэтому просто вывели старосту на улицу и, дав ему пару увесистых зуботычин, приказали:

– В пятницу на Пасху твоим дуборезам сидеть по домам! Не то склады могут вспыхнуть! Дрова горят быстро, сам знаешь!

– Знаю, как не знать, – в страхе заныл тот, на всё соглашаясь, лишь бы избежать новых оплеух и избавиться от опасных посетителей.

Они оставили его в покое, а деньги, ему предназначавшиеся, отложили в особый мешок – на прокорм ворам, попавшим в рабство.



Шесть дней и ночей ходили по Иерусалиму люди Бар-Аввы, скупали и запугивали народ, запрещая под страхом смерти появляться в пятницу на Голгофе. Делать это было совсем не трудно – воров знали в лицо, боялись, не хотели неприятностей, а многие бедняки даже охотно соглашались за разные деньги остаться дома. Да и что мог сделать простой люд против разбойничьих шаек, вдруг наводнивших кварталы и пригороды Иерусалима?

Стычек не было, если не считать перепалку с точильщиками ножей – те, как всегда, были хорошо вооружены и настроены воинственно, но и тут деньги решили дело миром.

Зато долго бились вору с неким Левием Алфеевым, жожаком нищих. Он упрямо хотел вести своих калек на Голгофу, будучи уверен, что их там избавят от хворей. Он даже отказался от пяти дидрахм серебром. Его поддерживали другие слепцы и попрошайки. С нищими сладить было непросто: побоев эти битые-ломаные не боялись, терять им было нечего, отнять у них ничего нельзя, сама смерть их не пугала, а многих даже радовала... А вот надежда на исцеление была велика. Ведь сам Левий был так вылечен: обезноженный, встал и ушел служить нищим. Тумаки Молчуна и уговоры Криспа только раззадорили Левия. Тогда вору пообещали просто затоптать и забить его калек, если те вздумают приползти, куда не велено.

Деверь Аарон спешно рассылал письма по Иудее и окрестностям, приглашая воров на большую пасхальную сходку по просьбе Бар-Аввы. Ему была также поручена охрана входов на Голгофу. В день суда надо гнать прочь случайных зевак, убогих, мытарей, попрошаек, а пускать только своих, проверенных. Конечно, всюду будет много римской солдатни, но солдаты в иудейской речи не смыслят, им на все наплевать, лишь бы обошлось без давки и драк среди черни. А этого уж точно не произойдет там, где порядок будут наводить вору. Уже, говорят, прибыли первые гости из Тира и Сидона. Ждут разбойников из Тивериады. Вифания посылает главного содержателя городских борделей с толпой шумных шлюх, чтоб громче кричать и визжать, когда будет надо. Из Идумеи спешат наемные убийцы. Из Египта – гробкопатели и грабители могил. От Сирии будут дельцы и менялы. Обещали быть и другие...

В то же время шуруин Салмон с шайкой молодых воров ходил по борделям, шалманам, базарам, харчевням, извещая шлюх, сутенеров, пропойц, мошенников, аферистов и весь темный люд о приказе Бар-Аввы идти в пятницу на Голгофу. Потом обещаны вино и веселье. Все были возбуждены и рады, только одна какая-то Мариам из Магдалы попыталась было перечить и лопотать что-то о чудесах и боге, но её подняли на смех и пригрозили бросить в пустыне на прокорм орлам.

Прежде чем разойтись, Крисп и Молчун присели возле пруда. Крисп устало пробормотал:

- Ловко придумал дядя Бар-Авва! Он самый главный, самый умный!
- А как же... – поддакнул Молчун, думая про себя: «Может, это и не он

вовсе такой умный, а Каиафа или кто другой» – но вслух ничего не сказал: незачем кому-то, даже теткинному сыну, знать, что он, Молчун, был пойман, посажен в узкий мешок, где не повернуться, и ждал худшего, но его вдруг тайно и спешно выпустили на волю, сунув записку от брата. Всегда подозрительно, если кто-то выходит просто так, а другие остаются в казематах. А чей это был замысел – брата, Каиафы или кого другого, Молчуну доподлинно неизвестно. Да и какая разница? Лишь бы брат был цел и невредим и мог бы править воровским миром до смерти! Тогда и у Молчуна будет всё, что надо для жизни.

Крисп еще что-то говорил, собираясь уйти, но Молчун не откликнулся. Он был малоразговорчив и считал речь излишней: к чему слова, когда есть дела? Дела – видны, их можно потрогать, пощупать, понять. А слова – что? Воздух, пустота. «Если хочешь превратить болото в рай, не трать слов и сил на жаб и лягушек – сами передохнут!» – учил брат. И так Молчун будет жить. И Крисп. И Салмон, шурин. И Аарон, деверь и умник. И вся остальная родня, потому что воровские законы самые справедливые. А вот хотя бы другие жить по этим законам или нет – это всё равно. Их не спрашивают. Будет так, как будет, а не так, как они того захотят.



журналист, писатель, историк. Участник войны Судного дня. Был ранен. Редактор и политический обозреватель радиостанции «Коль Исразль» и радио РЭКА. Публиковался в журналах «Континент», «22», «Иерусалимский журнал», «Алеф» и др. Автор двухтомника «Кому нужны герои» и книги «Реальность мифов», за которую в 2004 году получил премию Федерации союзов писателей Израиля. Живет в Израиле.

ФРАУ ГЕББЕЛЬС*

ФЮРЕР

30 января 1933 года рейхспрезидент Германии генерал-фельдмаршал Гинденбург принял в своей резиденции фюрера национал-социалистической партии Адольфа Гитлера. Генерал-фельдмаршал стоял, опираясь на палку, – очень прямой, очень дряхлый, и взирал с высоты своего роста на коротышку ефрейтора, вспотевшего в наглухо застегнутом черном парадном сюртуке. Президент не предложил ему сесть.

Гитлер, пытаясь выглядеть солидно, выпятил грудь и надменно вскинул треугольный мясистый нос, вызывающе торчавший над черными усами. Президент стоял неподвижно и был похож на высокое старое дерево. Такие деревья нельзя свалить. Они падают сами, когда приходит срок, и то лишь потому, что гниют изнутри.

И восьми месяцев не прошло с тех пор, как Гитлер оспаривал у Гинденбурга высший пост в государстве. Тогда Гитлер в предвыборную кампанию за одну только неделю посетил двадцать городов, ежедневно выступая на трех-четырёх митингах, организованных с военной четкостью. Это он, фюрер, придумал эффектный пропагандистский трюк. Зафрахтовал самолет и парил над Веймарской республикой, поражая воображение избирателя своей жутковатой вездесущностью. Геббельс тут же выдвинул лозунг:

* Главы из романа «Грусть и память», который готовится к публикации в конце текущего года.

«Гитлер над Германией», вызвавший ликование и страх у миллионов людей. «Мимо навозной кучи пронесился магнит, а мы потом видели, сколько железа было в этой навозной куче, и сколько его притянул магнит», – записал Геббельс в своем дневнике.

И хотя Гитлер проиграл тогда «старому господину», но все же полученных им 13,5 миллиона голосов хватило на то, чтобы в относительно короткий срок устранить все преграды на пути к власти.

Фюрер робел перед Гинденбургом, подавлявшим его не только своим прусским аристократизмом. Президент напоминал ему папашу, податного инспектора, поровшего его в детстве. Гитлер робел порошой когда-то задницей. Он пытался, как мог, избежать противоборства с Гинденбургом и даже заявил в разгар предвыборных баталий: «Старый господин, ваше имя остается для немецкого народа именем вождя великой борьбы. Мы слишком почитаем вас, чтобы позволить людям, которых мы стремимся уничтожить, говорить от вашего имени».

Всем своим плебейским нутром Гитлер понимал, что «старый господин» не может испытывать к нему, выскочке, никакой симпатии.

«А, этот богемский ефрейтор, – говорил обычно Гинденбург, когда разговор заходил о Гитлере, и усмешка раздвигала его ледяные губы. – Меня тошнит от его вульгарных манер и напыщенной риторики. Я не верю, что этот субъект был хорошим солдатом. У него вертлявая походка и полное отсутствие выдержки».

Всего полгода назад Гинденбург сказал фон Папену, просившему дать Гитлеру хоть какой-нибудь министерский портфель: «Этого молодчика я назначаю почтмейстером, чтобы он лизал марки с изображением моей головы».

С тех пор многое изменилось.

Старый фельдмаршал ничего не понимал в искусстве. Гордился тем, что со школьных лет не прочитал ни одной книги. Зато он разбирался в стратегии и умел правильно оценивать ситуацию. Что поделаешь, если только Гитлер в состоянии вытащить немецкий народ из дерьма...

Бесцеремонно перебив фюрера, уже начавшего приличествующую случаю речь, уже опьяненного потоком собственных слов, Гинденбург благожелательно произнес: «Я надеюсь, господин Гитлер, что на посту рейхсканцлера вы будете осторожно пользоваться своей властью и по-рыцарски относиться к вашим политическим противникам. Не принимайте односторонних решений. Немецкий народ нуждается в сплочении и твердом руководстве».

Гинденбург слегка наклонил голову, давая понять, что аудиенция закончена. Гитлер поблагодарил, откланялся рывком и поспешил к выходу, ощущая приятное жжение в груди.

А вечером началось факельное шествие в честь нацистской победы. Лунный свет прозрачным маревом колебался над огненной лентой, отбрасывавшей тревожные блики на каменные стены. Гитлер с непроницаемым выражением лица шел по коридору из ликующих, охваченных беснованием живых шпалер.

«Живая триумфальная арка!» – прошептал гаулейтер Берлина доктор Геббельс, ожидавший фюрера у поспешно сооруженной трибуны. Вспыхнули прожекторы, расставленные так, чтобы между их голубоватыми лучами лежал мрак. На трибуну легко взбежал Гитлер. Прожекторы погасли один за другим – кроме тех, которые сфокусировались на фюрере. Его тшедушная фигура вдруг увеличилась и нависла над колыханием масс. Внезапная тишина оборвала вопли.

Гитлер начал говорить, глядя, как вспыхивают в огне прожекторов серебристые наконечники тридцати тысяч партийных знамен: «Разве можно не почувствовать в этот час то чудо, которое свело нас воедино! Однажды вы услышали голос, который захватил ваши сердца, пробудил вас, и вы пошли за ним. Вы шли целые годы, даже не видя человека, который говорил с вами, вы только слышали голос и шли за ним».

То, о чем Гитлер говорил, не имело значения. Проникал в душу и оставался в памяти только его голос, доносящий весть о существовании какой-то иной жизни, исполненной гордости, борьбы и смысла, – жизни, в которой без этого голоса невозможно было поверить.

«Слова, всего лишь слова, – подумал Геббельс, – ничего кроме слов, и все же миллионы идут за этим человеком, как за волшебной флейтой музыканта из Гаммельна, и будут идти до самого конца, каким бы он ни был. Это невероятно. Да полно, человек ли он?»

Была уже глубокая ночь, когда все закончилось. Гитлер, находившийся в состоянии эйфории, хотел праздновать дальше. Сегодня он не испытывал ни опустошенности, ни упадка сил, обычно накатывавших на него после публичных выступлений. Феноменальный успех его речей был, по сути, торжеством раскрепощенной сексуальности, направленной на толпу, которую сам Гитлер считал «воплощением женского начала».

Толпа становилась мягкой и податливой при первых звуках его будоражащего голоса. Семя его подсознательного словоизвержения падало на благодатную почву. В зале создавалась почти неприличная атмосфера экстаза, напоминавшего массовое совокупление. Глубокое дыхание в начале речи становилось все более порывистым, короткие вскрики следовали все чаще, напряжение достигало апогея – и спадало с первыми вздохами удовлетворения. Затем следовал новый подъем и истерический восторг как следствие нахлынувшего, наконец, речевого оргазма. Толпа и не могла, и не хотела противиться этой тайной сексуальной агрессивности. С годами человеческая масса, именно вследствие своей безликости, стала необходимой ему как допинг или наркотик.

Что касается женщин, то они никогда не играли в его жизни значительной роли. Если он и любил кого-то из них, так только мертвых. Свою покойную мать. Свою племянницу Гели Раубаль, которую довел до самоубийства. Их портреты он повесил в своем кабинете. Гитлер скептически относился к интеллектуальным возможностям прекрасного пола, но любил появляться в обществе красивых женщин, соответствовавших его эстетике, как картины старых добрых художников-реалистов.

– Мой фюрер, – сказал Геббельс, – позволю себе напомнить, что Магда ждет нас и что она целый день готовила сегодня ваши любимые блюда.

– Мы не омрачим ей этого прекрасного дня, – успокоил его Гитлер.

Впервые он увидел Магду три года назад в канцелярии гаулейтера Берлина. Магда – тогда фрау Квандт – была новой секретаршей Геббельса. Она сразу привлекла внимание Гитлера столь ценным им сочетанием женственности и скромности. Магда блистала красотой, со вкусом одевалась и никогда не перечила. А ее глаза, блестящие, загадочные, поражали выражением легкой, почти неуловимой грусти, и было в них что-то еще, совсем уж непостижимое, колдующее. Фюрер даже пожалел о том, что его сердце отдано Германии, и провидение не отмерило ему времени для семейной жизни. Тем не менее ему хотелось видеть эту женщину рядом с собой.

Выход оказался простым. Гитлер содействовал браку Магды Квандт с доктором Геббельсом и даже был свидетелем на их свадьбе. Теперь он мог часто бывать в ее обществе. Она сама готовила для фюрера вегетарианскую еду, сама прислуживала ему за столом, ненавязчивая и преданная.

– Придет время, и вы станете первой дамой Германии, образцом для каждой арийской женщины, – пообещал ей Гитлер.



В квартире Геббельса на Рейхсканцлерплац Гитлера терпеливо ждали человек пятнадцать. Среди них не было партийных функционеров. Здесь собрались люди, имевшие отношение к искусству. Магда Геббельс знала, что после напряженного дня Гитлер захочет отойти душой. Для него, несостоявшегося художника, политика была грандиозным заменителем художественного таланта. Он считал себя тонким знатоком искусства и любил посетовать на то, что роковое стечение обстоятельств не позволило ему достичь величия на избранном в юности поприще. Показательно, что в ближайшем окружении фюрера было непропорционально много людей, не реализовавшихся как творческие личности. Геббельс сочинял романы, Бальдур фон Ширак и Ганс Франк пописывали сентиментальные стишки, а Функ мечтал о славе композитора. Исключением, пожалуй, был Альберт Шпеер, по-настоящему талантливый архитектор, уважаемый и преуспевающий, – один из тех, кому Гитлер так завидовал в годы своей голодной венской юности.

Шпеер был сегодня здесь, за праздничным столом, вместе со своей очаровательной женой. Была здесь и Лени Рифеншталь, молодая, но уже снискавшая известность актриса и кинорежиссер. Ее фильм «Голубой свет» привел Гитлера в восторг. «Вы, как никто, ощущаете величие арийского духа, и вам суждено запечатлеть в художественных образах деяния созидаемой мной новой Германии», – сказал ей Гитлер.

Высокая, с узкими бедрами и хаосом белокурых волос, она выделялась в любом окружении. Самые красивые женщины блекли рядом с ней. Каждый мужчина, входивший в комнату, где была она, видел только ее. Глаза –

шалые. Голос тонкий, даже резкий. Она не была членом нацистской партии и поэтому, обращаясь к Гитлеру, не называла его фюрером.

– Господин Гитлер, – сказала Лени, пытаясь смягчить свой голос, – сегодня знаменательный день не только для вас. Вы отказались от своего призвания художника ради спасения Германии. Вы не жалеете об этом?

– Я никогда не перестану жалеть об этом, дорогая Лени, – сразу ответил Гитлер. – Многие думают, что я нахожу какое-то удовольствие в политической деятельности. Нет! Я политик поневоле, вернее – полная противоположность политика. Я стал бы самым счастливым человеком на свете, если бы мне удалось сбросить это бремя и всецело посвятить себя искусству. Но провидение избрало меня для спасения немецкого народа. Я должен построить государство высочайшей социальной справедливости. Я призван смирить всех врагов Германии и обеспечить ей жизненное пространство на востоке. И я вынужден спешить, потому что не проживу долго. В моей семье не было долгожителей.

– Мой фюрер, – вмешался Геббельс, – теперь власть в наших руках, и сам дьявол ее у нас не вырвет. Грядут большие перемены, и кое-кому это не понравится. Например, евреям.

– Евреям? – Гитлер пристально посмотрел на Геббельса, и тот отвел глаза. Фюрер знал, почему его гаулейтер проявляет такое рвение, когда речь идет о евреях. До вступления в партию в 1924 году Геббельс охотно ящался с евреями. Более того, влюбившись в какую-то еврейскую, охваченную патологической страстью к учебе, он вместе с ней окончил пять университетов. Он продолжает встречаться с этой еврейкой и теперь, имея столь замечательную жену. Надо будет положить этому конец. И не в одном Геббельсе дело. Даже в ближайшем окружении его, фюрера, не все понимают, что у евреев нет будущего.

Гитлер начал говорить со страстью, взвинчивая себя: «Я знаю, что многие немцы, считающие себя убежденными антисемитами, имеют в числе своих знакомых или даже друзей еврея, о котором говорят, что он не такой, как другие. Я и сам убежден, что среди немецких евреев есть люди порядочные, никогда не выступавшие против германской нации. Когда я, уличный художник, бедствовал в Вене, то мои картины покупал еврей Нойман, чтобы спасти меня от голода».

Тут Гитлер сделал паузу, которой воспользовался Геббельс: «Мой фюрер, – поспешно сказал он, – ваши картины будут объявлены национальным достоянием немецкого народа».

Гитлер с неудовольствием взглянул на него и продолжил: «Но все это не имеет никакого значения. Что с того, что есть евреи, не осознающие деструктивного характера своего бытия? Суть вещей от этого не меняется. Тот, кто разрушает живой организм других народов, сам обречен на смерть. Единственное, чему нам следовало бы у евреев поучиться, это соблюдению расовой чистоты. Евреи – самая чистая раса на свете, без всяких примесей. Раса, но не люди, ибо они несут гибель человечеству. Мы не знаем, почему еврей губит

народы. Может быть, он создан природой для того, чтобы закалить их, побудить волю к борьбе? В таком случае самыми выдающимися евреями следует считать апостола Павла и Троцкого, больше всех способствовавших этому.

Своей величайшей заслугой я считаю открытие еврейского вируса. В этом смысле мое имя должно стоять рядом с именами Пастера и Коха. Еврейский вирус уничтожит человечество, если против него не будет применена изобретенная мной вакцина. Рецепт ее предписывает абсолютное исключение евреев из жизни народов. Следует помнить, что речь идет о проблеме биологической, а не моральной. Ведь даже одна еврейская семья, даже один еврей являются источниками заразы. Исключений тут быть не может. Время эмоционального антисемитизма прошло. Отныне антисемитизм становится государственной политикой. Те, кто этого не понимают, не могут служить новой Германии».

Гитлер замолчал и сидел, сгорбившись, машинально теребя пальцами салфетку. Потом резко встал.

– Сожалею, что покидаю столь интересных людей, но я уже давно не могу располагать своим временем, как мне бы этого хотелось. Зиг хайль!

– Хайль Гитлер! – откликнулся хор нестройных голосов.

ГЕББЕЛЬС

Когда все разошлись, Геббельс сказал задумчиво: «В еврейском вопросе фюрер предельно радикален. Евреи – обречены».

– На что обречены? – тихо спросила Магда.

Геббельс пожал плечами. «Это знает только Гитлер. Как-то в беседе со мной фюрер говорил о создании гигантской резервации на Мадагаскаре, где можно было бы поселить 15 миллионов евреев. Впрочем, мне кажется, что он отбросил эту идею, поскольку человечество не доросло до нее».

– Даже немецкий народ и тот не дорос, – заметила Магда.

– Правильно, – согласился Геббельс. – Поэтому фюрер предпочитает не распространяться об уготованной евреям участи. Одно могу сказать – их ждут тяжкие времена. Геббельс помолчал и добавил: – Недавно фюрер с восхищением отозвался о римлянах за то, что они каленым железом выжгли язву Карфагена и тем самым обеспечили своей империи могущество и процветание на тысячу лет.

Магда неподвижно сидела в глубоком кожаном кресле, ее светлые глаза были, как обычно, спокойны и безмятежны. Геббельс все не мог приступить к объяснению с ней, хотя готовился к этому давно. Наконец, решился.

– Я хотел поговорить с тобой вот о чем, – сказал он. – Фюрер знает о твоём еврейском отчине Рихарде Фридендере, знает, что ты носила его фамилию и с трудом вырвалась из еврейской паутины. Он не придает этому значения. Главное для него, что в твоих жилах нет ни капли еврейской крови. Но фюрер ничего не знает о твоём еврейском дружке Викторе, с которым ты и сейчас поддерживаешь отношения. Если узнает, то не простит ни тебе, ни мне.

Магда молча смотрела на него. Машинально поправила волосы холодными, никогда не дрожавшими руками. Вспомнила, какую гору отчаяния преодолела она, прежде чем решилась на брак с ним.

Хлипкий, тщедушный, почти карлик, с непомерно большой головой на тонкой шее. Он, и достигнув зрелости, весил не более 50 килограммов. Правая нога всегда в шинах из-за врожденной болезни костного мозга. Лицо – подвижное, обезьянье. Правда, руки у него красивые – изящные, женственно-нежные. Но кто обращает внимание на такие мелочи? Как только не третировали в детстве и юности его, бедного крошку Цахеса. И уж, конечно, женщины не смотрели в экстазе ему в глаза. А как издевались над его литературными опусами! И хорошо, что в его жизни появилась эта еврейка Анка Штальхерм, хоть и измучившая беднягу своими капризами, зато избавившая от комплексов. Геббельс врал, когда клялся, что порвал с ней. Совсем недавно он встречался с Анкой в Мюнхене, куда ездил по партийным делам. Об этом сообщил Магде Карл Генке, секретарь канцелярии Геббельса, безнадежно в нее влюбленный.

С ним она познакомилась, когда стала активисткой нацистского движения. Генке настойчиво за ней ухаживал, но рыхлая фигура, безвольные губы и глаза навывкате лишали беднягу каких-либо шансов добиться взаимности. Магда его не щадила. Беспредельна жестокость женщины к мужчине, гибельно в нее влюбленному, но которого она не любит. Женщину такая любовь раздражает и превращает в тирана, от которого нельзя ждать ни доброты, ни великодушия.

Лишь выйдя замуж за Геббельса, Магда стала относиться к своему поклоннику более терпимо и научилась ценить его бескорыстную слепую преданность.

Магда видела все мелочные и смешные черты своего мужа, но видела также его силу и способность влиять на людей и события. Как оратор он уступал только фюреру, который ценил своего верного оруженосца и, возможно, стал бы ему другом, если бы у такого человека, как Гитлер, вообще могли быть друзья. Но Гитлер ведь в каком-то смысле не человек – до него не дотянешься. Магда помнила невыносимо сладостное потрясение, которое испытала, впервые услышав Гитлера в 1930 году на митинге в Берлине. Она забыла тогда обо всем на свете, и для нее началась новая жизнь.

В день своей свадьбы с Геббельсом она сказала Лени Рифеншталь: «Я люблю Йозефа, но мое чувство к Гитлеру гораздо сильнее любви. Для него я, не задумываясь, пожертвую жизнью. Только поняв, что нет женщины, которая могла бы покорить его сердце, я согласилась на брак с доктором Геббельсом».

Как потрясли Лени эти слова...

И она ни о чем не жалеет. Геббельс оказался мужем любящим и заботливым. Так почему же ей иногда бывает так горько?

– Ты все еще ревнуешь меня к Виктору? – с деланным удивлением произнесла Магда, когда затянувшееся молчание стало невыносимым. – И от-

куда ты взял, что я поддерживаю с ним отношения? Мы не виделись уже около трех лет. И вообще, как ты можешь меня упрекать, если сам продолжаешь встречаться с Анкой?

Геббельс смутился и поспешно сказал: «Да, Анка подошла ко мне после митинга в Мюнхене. Я попросил ее уехать из Германии. Она знает, что это была наша последняя встреча».

Магда засмеялась.

– Мне кажется, что в Германии только один последовательный антисемит – это фюрер.

– Ты не осознаешь серьезности положения, – сказал Геббельс уже раздраженно, – и даже не знаешь, кто он такой, этот Виктор.

– Знаю, – ответила Магда. – Гордый еврей и убежденный сионист. О моих отношениях с Виктором тебе все известно. Я дружила с ним, когда не понимала сущности еврейства. Это потом фюрер открыл мне глаза. Да и тебе тоже. До 1924 года ты ведь не был антисемитом. Обожал Гейне и боготворил своего еврея-профессора из Гейдельбергского университета. Об Анке я уж и не говорю.

– Речь не об этом, – поморщился Геббельс. – Твой Виктор является вождем еврейского анклава в Палестине. Он организовал собственную партию, которую англичане намерены использовать в своих целях. У него разветвленные международные связи и большое влияние. Насколько мне известно, он часто бывает в Берлине и пытается вести с нами переговоры об эмиграции немецких евреев. Такой человек не остановится перед шантажом, чтобы скомпрометировать тебя и меня. Он крайне опасен, но, к счастью, у нас есть своя агентура в Палестине. Его можно обезвредить. Что скажешь?

На секунду у Магды замерло сердце.

– Меня это не интересует, дорогой, – услышала она свой спокойный голос. – Я хочу только одного – быть хорошей женой и хорошей матерью.

Геббельс почувствовал облегчение, оттого что трудный разговор остался позади.

– А знаешь, – сказал он оживленно, – фюрер решил назначить меня министром пропаганды. Теперь, наконец, люди смогут прочитать мои книги. Это ведь неплохие книжищи, в конце концов.

МАГДА

Магда не любила воспоминаний и на себя, прежнюю, смотрела чужими глазами. Она даже не пыталась заглянуть в бездонный колодец времени. К чему? Прошлое ее не интересовало, а в будущем, как ни вглядывайся, различимы лишь бесформенные тени. То, что было вчера, не играло никакой роли, а о том, что будет завтра, она не думала. Невероятная ее витальность была сосредоточена на текущем дне. Она забывала тех, кого любила, как забывала свою прошлую жизнь, словно ее и не было вовсе.

Магда знала о существовании могучей тревожной силы где-то в глуби-

не ее души и старалась не думать о том, что будет, если эта сила вырвется наружу. Когда такое случалось, то от прежней ее жизни не оставалось ничего, кроме раздражающе бесполезных воспоминаний. Она освобождалась от них решительно и энергично, и начинала строить новую жизнь.

Ее душа была способна на самые неожиданные метаморфозы. Но никогда не менялась ее убежденность в том, что в этом мире имеют значение только чувства. Правда, они тоже со временем блекнут, изнашиваются и теряют свою привлекательность, но все же придают жизни хотя бы видимость смысла. Она долго полагала, что тяга к переменам и есть основное свойство жизни. Человечество, в силу своей ущербности, стремится к вечному идеалу, который, хвала Богу, недостижим, иначе стал бы вечным проклятием.

Фюрер считал человека и общество зависящими друг от друга врагами и видел в этом парадоксе двигательный стимул истории. Как-то за обедом сказал ей и Геббельсу: «Я создаю мир такой жестокости и силы, что его ничто не сможет разрушить. В нем не будет никаких парадоксов. Такой мир будет существовать вечно».

Каким величием надо обладать, чтобы понять непомерную тягу немцев к бездне и к смерти, освободить их от вериг этики и морали и поставить перед ними те цели, к которым они инстинктивно всегда стремились.

Впрочем, над подобными вещами Магда задумывалась редко и гениальность фюрера ощущала скорее интуитивно. Идеология и политические концепции ее мало интересовали. Гитлер освободил ее от одиночества, от неуверенности в себе, и за это она была ему благодарна. Ее чувство к нему было острым, всепоглощающим и неутоленным. Магда холодела от восторга, когда думала о том, что и ее тяга к бездне и к гибели воплощена в непостижимой личности фюрера. Жизнь продолжается, только когда за ее спиной маячит смерть. Лучшие цветы расцветают, чувствуя ее тлетворное дыхание. Гитлер был возродившимся языческим божеством, провозвестником смерти, и немцы безропотно готовились принести ему в дар свои жизни. Магда точно знала, что будет жить, пока живет он.

Иногда, обычно в конце холодной берлинской осени, когда тихий шум дождя сопровождается необъяснимой влажной печалью, смутной чередой возникали в ее сознании они все: фрейлейн Беренд, фрейлейн Фридендер, фрейлейн Ритшель, фрау Квандт. Каждая из них – это она, Магда – такая, какой была когда-то.

Фрау Геббельс – ее последняя метаморфоза. Магда обрела, наконец, то, что искала. Отныне смысл жизни заключался для нее в том, чтобы быть рядом с фюрером. Ради этого она отказалась от личного счастья и терпела ласки мужа, отличавшегося, подобно многим людям малого роста, необузданным сексуальным темпераментом. Правда, Геббельс не вызывал у Магды отвращения, и благодаря этому ее жизнь с ним не стала невыносимой.



Йоханна Мария Магдалена – таково ее полное имя – родилась 11 ноября 1901 года. Она была незаконнорожденной – «дочерью греха», как разъяснила ей настоятельница католического монастыря в Брюсселе, куда девочку отдали на воспитание по настоянию отца, инженера Оскара Ритшеля, спокойного, даже флегматичного человека с заурядным лицом торговца, невыразительными глазами и аккуратно подстриженными усиками. Ровный в обращении, он никогда не повышал голоса. Никакие заботы не могли изменить бесстрастного выражения его лица. Читал он только техническую литературу и справочники, находя своеобразное удовольствие в их строгой конкретности. Отвлеченные понятия были чужды его рационального склада уму. Но свою единственную дочь Магду он любил, насколько это чувство вообще было для него доступно. Когда она болела, не отходил от ее кровати. Ее детская комната была набита игрушками. В основном, заводными машинками. Он и сам был похож на хорошо сработанную живую машину.

Мать Магды, Августа Беренд, происходившая из семьи разорившегося фермера, не считалась красавицей, но обладала тем редким обаянием, которому невозможно, да и не нужно противиться. У нее были каштановые волосы, нежные глаза, а в жилах текла густая обильная кровь. В любви она была неутомимой и слишком требовательной, чем объясняется большое количество ее неудачных романов. Увидев ее впервые, Оскар Ритшель почувствовал непривычную странную истому. Узнав, что Августа приехала в Берлин на заработки, предложил ей вести его домашнее хозяйство.

Роман служанки с хозяином оказался и бурным, и скоротечным. Ни по характеру, ни по темпераменту они не подходили друг другу. Августа ушла из дома Ритшеля, не зная о своей беременности, а когда узнала, то ничего не сказала ему из гордости. Решила, что вырастит ребенка сама.

Девочке было уже около года, когда Оскар Ритшель, вновь появившийся в жизни Августы, уговорил ее выйти за него замуж. Она согласилась при условии, что брак будет фиктивным. Сама мысль об интимных отношениях с ним теперь вызывала у нее чувство, похожее на тошноту. И себе, и дочери Августы оставила свою девичью фамилию.

Она ушла от мужа через несколько лет в Брюсселе, где он получил должность в патентном бюро.

Когда Магде исполнилось семь лет, ее послали в школу при католическом монастыре. Там она учила французский язык и шлифовала свой характер, в котором со временем стали доминировать такие качества, как скрытность, сила воли и настойчивость.

К отцу она была равнодушна, несмотря на то, что тот не щадил усилий, чтобы завоевать ее сердце, а вот ко второму мужу матери Рихарду Фрилендеру сразу почувствовала искреннюю привязанность. Ей нравилась его манера разговаривать с ней доверительно, со слегка утрированным почтением, как со взрослой. В нем было немало детского, и, общаясь с ребенком, он сам без труда превращался в большого ребенка.

Преуспевающий коммерсант, владелец нескольких магазинов, торгующих кожаными изделиями, Рихард Фридендер мало соответствовал своей профессии. Любил все немецкое: музыку, литературу, искусство, быт, природу, уклад жизни. Подобно стопроцентным немецким патриотам, ненавидел врагов Германии. Евреем он чувствовал себя только раз в году – в Йом-Кипур. В этот день он постился, как это делали из поколения в поколение его предки, и шел в синагогу – слушать молитву «Кол нидре» и звуки шофара. Домой возвращался с просветленным лицом, и, если Магда еще не спала, подбрасывал ее к самому потолку со словами: «Сброшено бремя грехов!» – и подхватывал сильными руками, а она визжала от страха и восторга. Однажды он взял девочку в синагогу, и она увидела странных людей, горячо моливших о чем-то своего Бога на непонятном языке.

Она любила отчима больше матери и после их развода приняла его фамилию. Стала фрейлейн Фридендер.

А потом началась Первая мировая война. Жизненная энергия величайших народов растрачивалась в яростном противоборстве, которому, казалось, не будет конца. Для немцев это была война за право господства и за решающую роль в управлении миром. Патриотический порыв, охвативший Германию, распространился и на немецких евреев. Перед уходом на фронт Рихард Фридендер сказал падчерице: «Мы, немецкие евреи, получили уникальную возможность влиться в единый поток национальной судьбы и доказать немцам, что у нас в жилах течет такая же кровь, как у них».

Отчим храбро сражался, был произведен в лейтенанты, получил ранение под Верденом и Железный крест. Он часто писал ей с фронта, и она отвечала на его письма. Получив отпуск после ранения, показал ей статью в одной из центральных газет. Это была яростная филиппика в адрес евреев, окопавшихся в тылу и наживающихся на войне и черном рынке.

Сказал с печальной улыбкой: «Вера в еврейские козни неистребима. Она нужна немцам, как пиво, ибо согревает их и помогает жить. Чем больше евреев погибнет на фронте, тем яростнее будут вопли о том, что все они жируют в тылу и наживаются на ростовщичестве».

Германия боролась, по сути, одна против почти всего мира и почти победила. Но после войны она лежала во прахе и еще долго содрогалась от переживаемых мучений. Непосильные репарации, парализованная экономика, головокружительная инфляция, безработица. Отчим с трудом устроился старшим официантом в берлинском ресторане. Он опять женился, и опять на немке – Эрне Шарлоте. Магда в то время с ним уже почти не общалась.

Но она не поверила бы тогда, если бы ей сказали, что настанет час – и она предаст отчима. Закроет уши, чтобы не слышать его мольбы о помощи. Оставит нераспечатанными его письма. А когда к ней явится Эрна Шарлота с ужасной вестью, то, повернувшись к ней спиной, скажет лакею: «Спроси у нее, что здесь нужно жене еврея. Я евреям не помогаю».

Это случится 15 июня 1938 года, в день, когда, по распоряжению Геб-

бельса, Рихарда Фридендера отправят в концентрационный лагерь Бухенвальд. Он пройдет все круги ада – голод, холод, унижения, избиения, каторжный труд, прежде чем смерть избавит его от страданий. Его буквально замучат до смерти. Он умрет 18 февраля 1939 года в возрасте 57 лет. Вдове выдадут урну с прахом за наложенный платеж в 97 рейхсмарок. Это будет последняя польза, которую принесет ассимилированный еврей Рихард Фридендер своему немецкому отечеству.

Гитлер требовал последовательного рационального антисемитизма, а первая дама Третьего рейха являла собой образец послушания.

Даже Геббельс не обладал столь непоколебимой твердостью. Когда в 1943 году в Берлине немецкие женщины явились в его канцелярию с требованием освободить их арестованных еврейских мужей – вещь в Третьем рейхе немислимая, – он этих женщин принял, выслушал и, неожиданно для всех, а, может, и для себя самого, сказал: «Хорошо».

И обреченные эти евреи возвратились домой. Некоторых вернули даже из Освенцима, где их уже ждали газовые камеры.

В тот день Геббельс был непривычно задумчив и вернулся домой раньше обычного. Снял с книжной полки томик в кожаном переплете и долго читал. Потом бережно поставил его на место. Это был «Романсеро» Генриха Гейне. Первое издание 1851 года.

Книги Гейне были сожжены по всей стране по приказу Геббельса, собравшего уникальную коллекцию прижизненных изданий любимого поэта, дабы наслаждаться ими в одиночестве. Наедине с собой Геббельсу было наплевать на то, что Гейне – еврей.

Но Магда ведь не заглядывала в колодезь времени и не могла всего этого знать в те годы.



С началом войны немецким гражданам стало неуютно в поверженной Бельгии, и семья Фридендеров возвратилась в Берлин. В 1916 году Магда окончила начальную школу и поступила в гимназию, где, в силу природной своей застенчивости, держалась особняком. Однажды к ней подошла смуглая девочка с зеленоватыми глазами и с непривычной для немецкого уха фамилией Арлозоров. Звали ее Лиза.

– Ты еврейка? – спросила Лиза.

– Нет.

– А почему у тебя такая фамилия, Фридендер?

– Это фамилия моего отчима.

– А мы, Арлозоровы, евреи. Я хочу с тобой дружить, если тебе это не мешает.

– Не мешает, – сказала Магда.

Она стала часто бывать в семье новой подруги. Арлозоровы занимали нижний этаж в старом, потемневшем от времени доме, к которому присло-

нил садик с чахлой растительностью. Открывая калитку, Магда слышала иногда медленную печальную музыку. Это хозяйка играла Шопена или Шуберта.

Раньше Арлозоровы жили в городке Ромны, на Украине. В Германию эмигрировали после погромов 1905 года. Глава семейства Шауль – невысокий крепкий человек лет пятидесяти, неулыбчивый, с очень внимательными глазами, вызывал у Магды робость. Видела она его редко, ибо он постоянно бывал в разъездах по коммерческим делам. В семье относились к нему с почтительностью, в которой угадывалось нечто большее, чем просто уважение.

Хозяйку дома звали Ласка. Красота ее уже поблекла, и линии тела утратили былую гибкость, но она все еще была хороша. Голос ее был завораживающе красив, а глаза блестели от полноты жизни. Она образцово вела хозяйство, отличалась спокойным достоинством и умело поддерживала в доме атмосферу любви и толерантности. Магду поражало, что в этой семье все любили друг друга и никогда не ссорились. И все были талантливы. Мать играла на рояле. Лиза и ее сестра Дора пели и рисовали, а их старший брат Виктор свободно владел тремя языками и пробовал свои силы в литературе. Магда многое узнала о нем от Лизы еще до того, как впервые его увидела.

– Первый ребенок в нашей семье умер, едва успев взглянуть на свет божий, – рассказывала Лиза. – Когда опять родился мальчик, отец назвал его Хаимом, чтобы и в нем не угасла искра жизни. Второе имя – Виктор дала ему мать. Ах, Магда, ты обязательно должна познакомиться с моим братом. Он такой умный и такой добрый. Отец говорит, что человек должен поставить перед собой цель и обязательно ее добиться. Кто-кто, а наш Виктор* добьется. Я знаю, что у него все получится в жизни.

– Чего же он хочет, твой брат? – спросила Магда.

– Уехать в Палестину, чтобы строить там еврейское государство. Он сионист. А еще Виктор хочет быть во всем первым. В школе верховодит и раздражает учителей вопросами, на которые те не могут ответить. Ведет им же созданный сионистский кружок. Ходит в дискуссионные клубы, чтобы поупражняться в ораторском искусстве – у него красивый голос. Пишет стихи и социальные трактаты. Воспитывает в себе волю тем, что спит на кровати без матраса и принимает только холодный душ. Занимается фехтованием и боксом.

– Ну а какие-то слабости у него есть? – Магде стало уже интересно.

– Его слабость – красивые девочки. Так что ты, Магда, определенно будешь иметь у него успех, – засмеялась Лиза.

* Хаим (Виктор) Арлозоров (1899–1933) – видный деятель сионистского рабочего движения в подмандатной Палестине. Инициатор создания социалистической рабочей партии Мапай (1930), председатель политического отдела Еврейского агентства (1931). В 1933 году занялся организацией массовой алии евреев из нацистской Германии. В июне этого же года был убит в Тель-Авиве.

Магда попала под обаяние Виктора с первой же встречи. Она сразу увидела, что он некрасив. В его продолговатом лице, с правильными, но чрезмерно крупными чертами, было что-то лошадиное. Ноги у него были большие, а руки длинные как жерди.

Зато глаза, глубокие, темные, с синеватыми белками, показались Магде настолько чарующими, что она боялась встретиться с ним взглядом. В тот первый вечер Виктор говорил мало, лишь изредка посматривал на нее с отрешенной улыбкой. Когда она уходила, он проводил ее до двери и, задержав ее руку в своей, спросил: «Когда мы увидимся?»

– Завтра, – чужим голосом ответила она.

Их свидания были не частыми, ибо Виктор настолько упорядочил свою жизнь, что у него почти не оставалось свободного времени. К тому же Магде едва исполнилось пятнадцать лет, и Виктор, хоть и был старше всего на два года, относился к ней покровительственно, как к младшей сестре.

Для Магды же каждая встреча с Виктором была праздником. Ей нравилось бродить с ним по берлинским улицам, и когда он был рядом, то даже изнуренные военными тяготами лица прохожих выглядели так, словно в их жизни произошло что-то хорошее. Ей нравилось в нем все: и манера нелепо размахивать руками, и стремительная походка, и глаза, в которые она, будь на то ее воля, смотрела бы не отрываясь. И, конечно же, его голос, который казался ей гораздо значительнее того, о чем он говорил, и оставался в памяти как неповторимая мелодия.

Виктору было приятно, что эта красивая белокурая девочка смотрит на него с обожанием и обо всем его расспрашивает. Ему импонировала ее тяга к музыке, к литературе, ко всему прекрасному. Он не знал, что подобная тяга в одних случаях объясняется душевным богатством, а в других – душевной скудостью.

Магда подпадала под вторую категорию. Она легко впитывала чужие взгляды и убеждения, а когда было нужно, с такой же легкостью избавлялась от них. Она знала, для чего появилась на свет. Чтобы стать примерной женой и матерью, народить кучу замечательных детей и прожить жизнь с гордо поднятой головой, наслаждаясь всеобщим уважением и приятным сознанием исполненного долга. Любовь поможет ей получить все дары земли. Она сама придумала свой идеал. Упорно создавала его по кусочкам, по обрывкам чего-то. В созданном ею идеальном образе взглядам и убеждениям не было места. Ее это не интересовало. Она удовольствуется теми, которые будет иметь ее муж. Иначе в семье невозможна гармония.

– Виктор, – спросила Магда, когда они гуляли по парку, – через год тебе исполнится восемнадцать. Если война к тому времени не закончится, ты пойдешь на фронт?

– Конечно нет, – улыбнулся он. – Ты ведь знаешь, что я не чувствую себя немцем и никогда этого не скрываю. В моей душе много Востока, раздвоенности, много всего того, что чуждо нормальному немцу. К тому же

моя жизнь принадлежит не мне. Меня ждет Палестина, и если мне суждено погибнуть, то за свой народ, а не за чужой.

– Но ты ведь любишь Германию?

– Я люблю немецкую литературу. Она учит воспринимать жизнь как призвание и долг. Мне imponируют такие немецкие качества, как интеллектуальная энергия и деловая эффективность. Но мне ненавистен дух прусской казармы и тупой бюргерский национализм. Я – еврей, и не ощущаю судьбу Германии как собственную судьбу.

– Но ведь немецкие евреи сейчас сражаются за Германию, выполняют свой долг по отношению к стране, ставшей их домом.

– Ну, да. А французские евреи точно также сражаются за Францию, английские – за Англию, а русские – за Россию, страну погромов и кровавых наветов. А после войны этих же евреев сделают козлом отпущения за все пережитые беды. Нет, Магда, родина евреев – это Палестина. Оттуда они вышли и туда должны вернуться. Иначе – погибнут.

Магда слушала напряженно, стараясь понять логику этого необычайного человека. И она задала вопрос, давно вертевшийся на языке.

– А почему евреев так не любят?

– Совсем не потому, что за ними тянется длинный шлейф самых нелепых обвинений, – сразу ответил Виктор. – На евреев возводят обвинения, потому что их не любят.

– Я этого не понимаю, – жалобно произнесла Магда.

– Вырастешь – поймешь.

Ей хотелось понять.

Виктор Арлозоров учился в берлинской гимназии имени Вернера фон Сименса, известной своим либерализмом. Состоятельные евреи охотно отдавали в нее детей. Виктор, несмотря на то, что немецкий не был его родным языком, редактировал школьную газету «Вернер-Сименс-Блеттер» и вел сионистский кружок «Тикват-Цион» – надежда Сиона. Он так увлекательно рассказывал о будущем еврейском государстве на Святой земле, что этот кружок посещали не только евреи. Стала приходиться и Магда.

– Я счастлива, – тихо произнесла она, когда Виктор подарил ей в день рождения звезду Давида на золотой цепочке.

– Знаешь, чего я хочу? – сказала она ему однажды. – Стать еврейкой и уехать с тобой в Палестину, создать там свой дом и с винтовкой в руках его защищать.

Виктор внимательно на нее посмотрел: «Такое решение ты сможешь принять, только когда тебе исполнится 18 лет. Не спеши. Судьба не любит назойливости. Она дает сама и отнимает сама. Если ее подталкивать, ничего не получится».

– Но я мечтаю об этом, – сказала Магда.

– Мечты чаще всего не сбываются.

Он даже не поцеловал ее ни разу, хотя Магде очень этого хотелось.

Встречи их становились все реже и, наконец, прекратились совсем.

Виктор поступил в Берлинский университет штудировать экономику. Он считал, что экономическую базу для еврейского государства в Палестине необходимо создавать уже сейчас.

Магда окончила гимназию, и ее приняли в престижный пансион в Хольцхаузене, в гористом Гарце, далеко от Берлина.

Там она узнала, что Виктор женился, и на какое-то время окаменела. А потом сняла подаренный им кулон со звездой Давида и бросила его в ящик комода, где хранила всякие ненужные вещи, которые жаль выбрасывать.

«Он был прав, – подумала Магда, – мечты не сбываются. Плохо желать запретного. Судьба читает наши мысли и наказывает тех, кто хочет слишком много или же недозволенного».

КВАНДТ

В феврале 1920 года Магда отправилась из своего пансиона в Берлин на каникулы. Переполненные поезда стали обычным явлением в нищей, разоренной Германии. Люди метались с места на место в поисках работы и сносной жизни. В переполненном купе нечем было дышать, и она направилась в вагон-ресторан, чтобы скоротать время. Ей дали столик на двоих, и вскоре свободное место занял какой-то мужчина, вежливо попросив у нее разрешения.

Было ему уже сильно за сорок, но выглядел он моложе. Высокий, спортивный, в прекрасно сшитом костюме, с тонкими, хоть и несколько суховатыми чертами лица, он производил впечатление хорошо воспитанного человека, что соответствовало действительности. Магде он сразу понравился, и в последующие годы она не раз будет с тоской себя спрашивать: «Чем?»

Обедали молча. Он с живым интересом, но без назойливости, изредка поглядывал на нее, чему-то улыбаясь, а она делала вид, что всецело занята своим бифштеком. Наконец, он спросил:

– С кем вы едете, фрейлейн?

– Одна, – ответила Магда.

– Нехорошо юной особе путешествовать одной, да еще в такое время.

– Я не путешествую, а еду домой на каникулы.

– Вы студентка?

– Да.

Магда отвечала односложно, не зная, как реагировать на столь явные попытки незнакомца завязать разговор. К тому же ее не покидало ощущение, что лицо этого человека ей знакомо. Он же, почувствовав ее внутреннюю напряженность, сказал с улыбкой:

– Раз уж судьба свела нас, то позвольте представиться: Гюнтер Квандт.

Ну, конечно. В газетах она не раз видела эти плотно сжатые губы, этот резкий профиль. Квандт. Владелец хозяйственной империи. Финансовый магнат. Один из самых влиятельных людей в послевоенной Германии.

– Я знаю, кто вы, – сказала Магда.

– А я вот еще не знаю, с кем имею честь.

– Меня зовут Магда. Магда Фридендер.

Его лицо вдруг потемнело.

– Вы – еврейка? – спросил он с таким комическим ужасом, что Магда невольно улыбнулась.

– Я такая же немка, как и вы. Фридендер – фамилия моего отчима. Он меня вырастил, и поэтому я ношу его фамилию. Мой отчим – еврей только по крови. По духу и воспитанию он истинный немец. Ушел добровольцем на фронт. Храбро сражался. Был ранен под Верденом.

В глазах Квандта, таких же светлых, как у Магды, появилось и сразу исчезло выражение легкого изумления.

– Пожалуй, лучше сразу признаться вам, что я антисемит, – сказал он после затянувшейся паузы. – Нет, не в вульгарном значении этого слова. Я не расист и не шовинист. И не ультрапатриот, ослепленный блестящими достоинствами своего народа. Мы, немцы, трудолюбивы, талантливы, энергичны, предприимчивы. Все это так. Но к нашим национальным особенностям относятся и такие черты, как стадная психика и отсутствие воображения. Свобода как таковая нам ненавистна. Бремя решать для нас непосильно. Мы преклоняемся перед грубой силой и презираем слабость. Нам нужно, чтобы кто-то взял на себя ответственность за все, что с нами происходит и произойдет. Нас легко превратить в палачей лишь потому, что мы не в силах представить себя на месте наших жертв.

– Хорошего же вы о нас мнения, – сказала Магда. – Так говорят враги Германии.

– Я люблю Германию, – ответил Квандт, снижая пафос своих слов иронической усмешкой. – Но я также полагаю, что лозунг «Deutschland über alles» выражает опасную нашу гордыню, ибо превыше всего может быть только Бог.

– Вы верите в Бога?

– Верю.

– Тогда почему же вы антисемит? Ведь евреи – избранный Богом народ. Не так ли?

– Так и не так. С нашей, христианской, точки зрения, еврейский народ является избранным, потому что из их среды был избран человеческий сосуд для воплощения Божественной сути. Господь выбрал этот народ, чтобы воплотиться и вочеловечиться. Но евреи сами отвергли бесценный свет Божий, явленный для всех, но для них – в первую очередь, и таким образом сами отреклись от своего избранничества. С тех пор евреи превратились в народ-изгой, несущий в себе огромную разрушительную потенцию, убийственную для других народов.

– Но ведь среди евреев так много хороших, полезных обществу людей, – искала контраргументы Магда.

– А я с этим и не спорю, – пожал плечами Квандт, – и отнюдь не утверждаю, что среди евреев нет хороших людей, с которыми приятно пообщать-

ся в возвышенных плоскостях, где «несть ни эллина, ни иудея». К сожалению, все это не имеет значения. Один из феноменов еврейства, совсем уж непостижимый, заключается в том, что евреи, кроме индивидуальных душ, имеют еще и коллективную душу.

– Не об этом ли говорится в польской поговорке: «Если в Варшаве жид чихнет, то краковские жида немедленно откликнутся: "На здоровычко"»? – спросила Магда.

– Вот именно, – улыбнулся Квандт. – Обладая такой коллективной душой, евреи могут без всякой организованности действовать только себе на пользу, разрушая те структуры, которые для других самые полезные, а для них – нежелательны. Я верю, например, что ваш отчим всей душой любит немецкую культуру. Но такие, как он, сами того не сознавая, разрушают живительные немецкие источники, эту культуру питающие. Причем вполне искренне считают, что действуют в немецких интересах, хотя на самом деле служат еврейским целям. Дело в том, что еврейская коллективная душа обладает исключительной силой. Она диктует евреям их еврейские устремления. Евреи могут в совершенстве впитать в себя чужую культуру, могут искренне желать служить только ей, но сидящая внутри каждого из них общая еврейская воля обязательно повлечет их по еврейскому пути. И, уверяю вас, большинство из них этого даже не осознает.

– У меня есть друзья евреи, – смущенно сказала Магда с таким чувством, будто признавалась в чем-то постыдном.

– У меня тоже, – засмеялся Квандт. – Но об этом мы уже говорили.

– Вы прочитали мне целую лекцию, – засмеялась и Магда. – Теперь я чувствую себя более просвещенной и должна признать, что у вас оригинальная манера знакомиться с девушками.

– Простите, Бога ради, – смутился Квандт. – Просто я ужасно обрадовался, что вы не еврейка.

– Вам это так важно?

– Очень важно, – произнес он, став вдруг серьезным.

– Расскажите о себе, – перевела Магда разговор на другую тему. – Вы, конечно, женаты?

– Моя жена умерла два года назад от рака, оставив меня с двумя маленькими детьми.

– Мне очень жаль, – сказала Магда.

– Жалеть, в сущности, не о чем. Она принадлежала к захиревшему роду остзейских баронов и занималась только тем, что кичилась своим аристократическим происхождением. Кроме этого, в ней не было абсолютно ничего, заслуживающего внимания.

– Но как же вы справляетесь с двумя детьми, один?

– На самом деле у меня пятеро детей, – улыбнулся Квандт. – Я ведь усыновил трех сирот. Их погибшие в авиационной катастрофе родители были моими друзьями. А как справляюсь? Не так хорошо, как бы мне хотелось, ибо род моих занятий оставляет мало свободного времени.

Магда впервые посмотрела на него с уважением.

Она настояла на том, чтобы самой расплатиться за обед, но берлинский свой адрес дала Квандту без колебаний. Ей импонировали возможности этого человека.

На следующий день посыльный доставил на ее квартиру огромную корзину белых роз.

Через три месяца Магда вышла замуж за Гюнтера Квандта, после того как выполнила два его условия: сменила католическую веру на протестантскую и отказалась от еврейской фамилии Фридендер. Она приняла фамилию своего отца и стала фрейлейн Ритшель.



Очень быстро Магда поняла, что совершила ошибку. Дело было не в том, что по возрасту Квандт годился ей в отцы. Магде это даже нравилось. Но уже в первые недели брака высветлилось несходство их характеров и темпераментов. Гюнтер Квандт оказался человеком скучным, заземленным. По воскресеньям он регулярно посещал церковь, где слушал пасторские проповеди с таким видом, словно это были откровения свыше, предназначенные лично ему. Трезвая его рассудочность все подчиняла строгому распорядку. Для него не существовало божественных даров жизни. В его идеально стерильном мире не было места призракам. Вино и женщины его не пьянили, музыка не интересовала, искусство оставляло равнодушным. Читал он только религиозную литературу и труды Платона, которого считал величайшим из мыслителей.

Правда, к молодой своей жене Квандт был предупредительно внимателен. Гордился ее красотой и даже испытывал нечто похожее на влюбленность. Но почему-то, оставаясь с женой наедине, избегал смотреть ей в глаза, как бы боясь увидеть в них свое отражение.

Магду же больше всего раздражали в Квандте те качества, которые были присущи ее отцу. Проявление в близком человеке недостатков, уже знакомых по прошлому, приводило ее в отчаяние, ибо крыло в себе предвестие будущего.

Но хуже всего оказалось то, что Квандт был создан для чего угодно, нотолько не для любви. Магда осознала это в дни свадебного путешествия по Италии. Физическая близость с ним не доставляла радости и вызывала лишь раздражение, ставшее со временем невыносимым. Она не сразу поняла, что дело не в ней, а в нем. Будь на ее месте любая другая женщина, результат был бы тот же. Однажды она случайно нашла его письма к другу студенческих лет и догадалась, почему Квандт не видел ничего возвышенного в супружеских обязанностях, которые тщательно исполнял, следуя чувству долга. К счастью, Магда почти сразу забеременела, что позволило отлучить его от супружеского ложа – сначала на время, а после рождения Харальда, единственного ребенка от этого брака, – навсегда.

Квандт отнесся к этому спокойно.

Хотя неудачный их союз был обречен, он, тем не менее, продержался восемь лет. Люди, между которыми нет ничего общего, могут сосуществовать в одних рамках, если не мешают друг другу. У Магды была своя спальня, свой кабинет, свой распорядок дня, свои друзья и слуги и, самое главное, возможность бесконтрольно тратить деньги. Одна беда ее миновала. Ее муж не был скупым.

Самым ярким впечатлением семейной жизни осталось для нее пребывание в Нью-Йорке, куда Квандта привели деловые интересы. Белокурая немка блистала в светских салонах красотой и туалетами и завоевала немало поклонников. Были у Магды и любовники, но всегда на короткое время, ибо ни одному из них не удавалось затронуть ее потаенных чувственных струн. Более других преуспел в этом Герберт Гувер, племянник американского президента, обладавший своеобразным чувством юмора, но, подобно многим американцам, лишенный такта. Когда его представили Магде, он сказал, бесцеремонно ее разглядывая:

– Как вас угораздило выйти замуж за мистера Квандта? Это ведь не человек, а одушевленная бухгалтерская книга.

За эту дерзость она взяла его в любовники, но не пожелала связать с ним свою жизнь, ибо не видела смысла в том, чтобы менять одну золотую клетку на другую.

После возвращения супругов в Берлин, молчаливое, но достаточно заметное пренебрежение Магды к ее «спутнику жизни» стало уже необратимым. Ей хотелось чем-то заполнить пустые дни. Она окончила курсы стенографисток, потом возглавила благотворительное общество, но никакого сочувствия к бедным и обездоленным в себе не нашла, и это занятие ей наскучило.



Весной 1928 года на театральной премьере Магда встретила Виктора. Вновь увидела медленную улыбку, наплывающую на лицо подобно тени. Она сразу его узнала после десятилетней разлуки. Виктор стал крупнее, массивнее. Лицо, загоревшее под южным солнцем. Тяжелые, усталые губы. Все в нем показалось ей чужим. Лишь отрешенная улыбка была прежней.

В антракте она подошла к нему и сказала высохшим голосом:

– Здравствуй, Виктор.

Магда потом напрасно старалась вспомнить, как получилось, что после спектакля они с Виктором вышли на улицу, не глядя друг на друга, сели в такси и поехали в гостиницу, где он всегда останавливался. И там исчезло все, кроме невыносимого томления, которому отчаянно и тщетно сопротивлялась ее душа.

С тех пор они встречались каждый раз, когда Виктор приезжал в Берлин. Магда понимала, что преодоление невозможного ведет к трагедии. Их связь была похожа на странную мелодию, ворвавшуюся неизвестно откуда

в тяжелый предрассветный сон. Оставаясь наедине, они почти не тратили времени на разговоры. Она узнала только, что Виктор развелся и женился опять и что он играет видную роль в политической жизни еврейского анклава в Палестине. К его сионистским делам она не испытывала теперь никакого интереса. Не интересовали ее и евреи, с их жалкими потугами возродить свою государственность где-то на задворках британской империи. Но пока у нее не было сил отказаться от этих редких свиданий.

Однажды муж пригласил ее в свой кабинет для серьезного разговора.

– Магда, – сказал Квандт, досадливо морщась и поводя плечом. Она хорошо знала эту его привычку именно так реагировать на неприятные вещи. – Я тебя крепко любил, ты это знаешь. Иначе разве я позволил бы тебе вести образ жизни, противоречащий моим принципам? Но всему есть предел. Ты завела любовника-еврея, не считаясь ни с моими чувствами, ни с интересами нашего сына. Есть вещи, через которые я не могу переступить. Я даю тебе развод. Не беспокойся, ты ни в чем не будешь нуждаться.

– Не еврея я взяла себе в любовники, а мужчину, – поправила его Магда, – и ты отлично знаешь, почему.

Квандт согласился ежемесячно выплачивать Магде четыре тысячи рейхсмарок, что позволяло ей вести тот образ жизни, к которому она привыкла. Кроме того, бывший супруг купил для нее роскошную квартиру в центре Берлина, оплатил медицинские страховки и положил на счет их сына Харальда кругленькую сумму.

Оказавшись свободной и богатой, она не почувствовала себя счастливой.

Ущербная душа Магды стремилась к полноте, и она не знала, чем заполнить тяготившую ее пустоту жизни. Мимолетные встречи с Виктором, хоть и были ярким переживанием, оставляли чувство все большей неудовлетворенности. Она хотела его только для себя, а он принадлежал сионизму, жене и этому гонимому племени, к которому почему-то никто не испытывал симпатии.

Когда его долго не было, она испытывала облегчение и даже неприязнь к нему. Когда он появлялся, она обо всем забывала.

В начале 1930 года Магда случайно попала на митинг национал-социалистической партии. Выступал сам Адольф Гитлер. Впервые она увидела нервное лицо с аккуратно подстриженными усиками, впервые услышала завораживающий голос, хриплый, с металлическим тембром, то угрожающий, то о чем-то молящий. Толпа ликовала и бесновалась вместе с ним, и в какой-то момент Магда почувствовала, что этот извергающий из себя заклинания человек, в экстазе закрывающий лицо белыми руками, знает самые потаенные движения ее души. Она, как и все присутствующие, ощутила свою причастность к некоей универсальной истине, освобождающей от неврозов и комплексов, и растворилась в неведомом ей прежде коллективном чувстве обожания и преклонения. Она не запомнила почти ничего из его речи, но внимательно прочла ее на следующий день в партийной газете «Фелькишер беобахтер».

Повторила поразившую ее фразу: «Национал-социализм – более чем религия: он – воля к созданию нового человека».

Перечитала абзац, посвященный евреям: «Еврей – это, пожалуй, раса, но не человек. Он просто не может быть человеком в смысле образа и подобия Бога Вечного. Еврей – это образ и подобие дьявола. Еврейство означает расовый туберкулез народов». Эти слова не вызвали в ней внутреннего протеста. Магда обрела, наконец, то, что искала всю жизнь.

С рвением неопита штудировала она «Майн кампф», подписалась на «Фелькишер беобахтер», где публиковались все выступления Гитлера, регулярно ходила на партийные собрания.

Первого сентября 1930 года партийная ячейка «Берлин–Запад» вручила ей билет члена национал-социалистической партии за номером 297442.

Магда больше не вспоминала о своих мечтах строить еврейское государство в Палестине с винтовкой в одной руке и с Торой в другой. Теперь она верила в великую миссию германской расы, в мировой еврейский заговор, в преступность Версальского договора.

А нацисты шли от успеха к успеху. В том же сентябре, на всеобщих выборах, шесть с половиной миллионов избирателей отдали голоса национал-социалистам, которые, получив 107 мест в рейхстаге, стали второй по величине партией Германии.

Магда, уверовав, что будущее принадлежит фюреру и его движению, с особым рвением занялась личной карьерой. Благодаря своему социальному статусу и знанию иностранных языков, она получила место в берлинском партийном архиве, где на элегантную новую сотрудницу почти сразу же обратил внимание партийный гаулейтер Берлина Йозеф Геббельс. На эту должность он был назначен Гитлером в 1926 году, с поручением завоевать для «новой Германии» «красные» рабочие кварталы Берлина. Геббельс блестяще справился с задачей. Демагогия, зажигательные речи, факельные шествия, лесть и клевета привели к тому, что большинство «красных» кварталов довольно быстро превратились в коричневые.

7 ноября 1930 года Магда была приглашена в кабинет Геббельса, который предложил ей вести его личный архив. Он не нарушил делового характера этой первой встречи, но его страстные взгляды были красноречивее слов. Свой архив Геббельс держал дома, где Магда и стала работать с ним по вечерам.

Запись в дневнике Геббельса 28 января 1931 года: «Вечерами приходит Магда Квандт и остается надолго. И цветет своей красотой. Будь же моей королевой!» А вот еще одна дневниковая запись того периода: «До глубокой ночи сижу я вместе с Магдой. Она восхитительно прекрасна и добра, и любит меня сверх меры. Я люблю сейчас только ее одну».

Потом в дневниковых записях пошли цифры, которыми Геббельс нумеровал интимные встречи со своей избранницей.

19 декабря 1931 года состоялась свадьба Магды Квандт и Йозефа Геббельса. Гитлер сам поздравил новобрачных и преподнес невесте огромный букет хризантем.

За полгода до этого события Магда в последний раз увиделась с Виктором. Она не могла больше длить опасную связь. Они встретились поздно вечером, не в гостинице, а в небольшом кафе в рабочем квартале Берлина, где было меньше шансов на то, что ее узнают.

– Это наше последнее свидание, – сказала Магда. – Наши пути разошлись. Ты живешь для своего народа, а я – для своего. Я вступила в национал-социалистическую партию, потому что верю в звезду Адольфа Гитлера, созидающего новую Германию. И еще одно: скоро я выйду замуж за доктора Геббельса. Жалею, что не сказала тебе всего этого раньше.

Виктор был абсолютно не готов к тому, что произошло. Он понимал, что Магда уже давно не та девочка, к которой его мать относилась как к собственной дочери. Но то, что она стала нацисткой, просто не укладывалось в голову. Глаза его стали слепыми, безжизненными. Он смотрел на Магду с отвращением и ужасом, не находя слов. Впрочем, слова ей были не нужны.

– Твои соображения по этому поводу меня не интересуют, поскольку ничего не могут изменить, – холодно произнесла Магда. – Прощай, Виктор. Не звони мне. Это бесполезно.

Она встала и ушла, не оглядываясь.

Виктор еще долго просидел за столиком в оцепенении, ощущая боль от вонзенного жала. Эта женщина стала для него тяжким испытанием, и, думая о ней, он чувствовал нечто большее, чем просто гнев. «Горечь уязвленного самолюбия, – попытался он одернуть себя. – Нечего раскисать из-за такой дряни. А как вдохновенно она лгала! Впрочем, все женщины лживы, а если они иногда и говорят правду, то, значит, им это почему-то нужно».

Но и столь циничная мысль не принесла ему облегчения.

– Какая глупость полагать, что страдание облагораживает душу, – думал он. – Это нелепое заблуждение. Страдания лишь ожесточают. Делают человека мстительным и злым. А тут даже не из-за чего страдать. Той Магды, которую я знал, не существует больше, как нет уже и того Виктора, которого знала она.

Он встал и вышел в темную пустоту ночного города, наполненную странным зловещим ожиданием.



ВЫЗОВ ИСТОРИИ

Последний номер журнала «Nota bene» вышел достаточно давно, чтобы я уже успел получить удовольствие, прочитав в нем свою статью* и наслышавшись лестных отзывов и критических замечаний от друзей и знакомых. Некоторые из них высказали недоумение по поводу того, что я назвал Либермана чем-то вроде либерального консерватора от национализма, тогда как другие – их было большинство – выражали недовольство тем, что я недостаточно остановился на главном, как им представляется, в программе Либермана – его идее «полюбовного» обмена населением. Скажу честно – я не только боялся, памятуя наставления предков, втискивать все яйца в одну корзину, но и не сумел это сделать. За что и поплатился. Поскольку, однако, худа без добра (теоретически) не бывает, то перерыв между выражением своих мыслей, возбужденных прочтением книги Либермана «Моя правда», и их нынешним разъяснением позволил мне сформулировать некий тезис, который я хочу высказать сразу же, в начале, и намерен доказывать потом на протяжении всей своей статьи. Тезис этот таков: **независимо от того, кто и с каким счетом победит на израильских выборах–2006, самые актуальные и важные идеи для всенародного их осмысления и обсуждения выдвинул Авигдор Либерман.**

Я могу даже, забегая вперед, намекнуть, почему я так думаю. Потому что выборы–2006 принципиально отличаются от всех предыдущих. Раньше мы еще могли успокаивать себя мыслью, что главное – перетерпеть, потому что «время работает на нас», а сегодня вдруг резко обозначилось, что время так круто и очевидно повернулось **против нас**, что этого прежнего

* З. Сандлер. По стопам Жаботинского // «NB». 2005. № 12.

утешения никогда больше не будет, и мы должны срочно искать какие-то новые ответы на вызов истории. «Мы» в этой фразе – это не только «мы, израильтяне» или «мы, евреи», это также и «мы, западный мир», так что не случайно на Западе сегодня такие ответы уже начали искать, и вот именно эту новую общемировую, я бы сказал – историческую проблематику во всей ее неотложности Либерман и стремится вынести сегодня в центр наших нынешних предвыборных дебатов, предлагая какие-то отечественные варианты ее решения, – единственный на фоне пылких споров других наших политиков о минимальной заработной плате и отсутствии–наличии очередного «партнера». Поскольку, на самом деле, не эти споры, а именно то, о чем заговорил Либерман, должно было бы составить истинное содержание выборов–2006. Ибо они судьбоносны – без всякой высокопарности, просто время оказалось такое.

Я уже говорил об этом «ответе» Либермана. На главный вызов новой эпохи он предлагает, по сути, ответить программой сплочения нации. Но, прежде чем говорить о сути этого вызова и о том, почему он настоятельно требует национального сплочения, надо заметить, что еврейское общество в Израиле расколото сегодня так основательно, что сплочение его на основе одной какой-то идеологии практически невозможно. Поэтому тот, кто всерьез призывает к этому сплочению, неизбежно должен предложить нечто новое, что выпускало бы притягательные шупальца во все стороны, чтобы каждой сестре по серьгам – этаким *меурав иерушалми*, то бишь «иерусалимская смесь». И поменьше трескотни о «сионизме», потому что заклинания от сионизма тоже сегодня уже не помогают, их в самую пору (падение роли Сохнута это подтверждает) заменить реал-сионизмом, который имел бы дело с той реальной Эрец-Исраэль, какая есть и пребудет, а не с той мессианской, в которой евреи Бруклина будут возлежать рядом с евреями из Парижа. С другой стороны, задача облегчается тем, что сегодня не только у нас, но, пожалуй, и на Западе, и на Востоке нельзя найти поистине девственно-чистую идеологию – разве что в каком-нибудь белорусском заповеднике. Все смешалось нынче в идеологическом доме, и в самую пору было бы поговорить об «идеологическом постмодернизме», если бы это слово не было столь затаскано любителями его произносить всуе. Взять хотя бы неоконсерваторов, с их еврейским темпераментом, американским патриотизмом, имперской ястребиностью и преданностью идеалам либеральной демократии, – чем не *меурав американи*?

Вот почему и та своеобразная (и заметим для справедливости – весьма *иерушалми*) идеологическая смесь, на которой Либерман предлагает заново замешать тесто еврейской нации, – той же породы. От консерватизма здесь, повторю уже сказанное в прошлый раз, – упор на объединяющую силу традиции, на блага социального мира и гражданской безопасности (порядка), от национализма – акцентирование приоритетной важности национального единства и интересов нации, от либерализма – идеи конституционного государства, свободной экономики и демократии. (Оговорюсь –

разумеется, не той демократии, которая всесильна, потому что верна, а посему внедри ты такую вот в племя людоедов, они тут же либералами заделаются и впредь будут поедать чужаков только на основании результатов голосования в людоедском парламенте. Проповедники столь упрощенного понимания базисных законов человеческого бытия, вроде нашего убогого теоретика Н. Щаранского, несут свою долю ответственности за победу проиранских шиитов на демократических выборах в Ираке и ХАМАСа на столь же демократических выборах в Палестинской автономии.)

Справедливость требует отметить, что ни американские неоконсерваторы, ни наш израильский Либерман, в действительности, не являются первооткрывателями этого демократического консервативного национализма. И даже не Маргарет Тэтчер или Рональд Рейган, которые в этом отношении делят только почетные второе и третье места. Потому что первое место в этом движении к «постмодернистским» идеологиям по праву занимает еще один еврей, которого звали Бенджамен Дизраэли и пример которого убедительно доказывает, что новое – это зачастую хорошо забытое старое. Этот крещеный иудей, возглавивший английскую консервативную партию, 28 лет пестовавший ее в оппозиции, а затем приведший к власти и ставший премьер-министром (при этом одним из самых выдающихся), являл собой замечательное сочетание чутья на новое с уважением к традиции. «В прогрессивной стране, – говорил он, – изменения происходят непрерывно, и главный вопрос не в том, сопротивляться ли этим неизбежным изменениям, а в том, производятся эти новшества в духе обычаев, законов и традиций народа или же ради соответствия неким абстрактным принципам и произвольным доктринам». Либералы в понимании этого «правого» политического мыслителя были, как мы бы сказали сегодня, рационалистически мыслящими интернационалистами – их весьма заботило, что скажут «другие» – Европа, например. Консерватизм же, как он его понимал, был выражением романтического национализма, который больше заботится о том, «что скажут предки». (В самом деле, кому, как не «гордому еврею», каковым Дизраэли оставался всю жизнь, было и думать о мнении предков!) В то же время на первом месте для Дизраэли всегда стоял вопрос: как увязать консервативную преданность национальной традиции с верностью демократическим принципам? Его идеалом была «консервативная демократия», то есть, в конечном счете, то же, что у Тэтчер и Рейгана, с той оговоркой, что в гибридную идеологию последних минувшее со времен Дизраэли столетие добавило изрядную долю умеренного либерализма.

В этом же потоке находится и идеология Либермана. Он ее не только не открыл, но даже, наверняка, не вычитал в книгах (на своем политологическом факультете), потому что ее составляющие слишком ощутимо локальны, местного покроя, и предназначены для чисто отечественного потребления; кесарю кесарево, либералам либеральное, а всех вместе пусть объединит желание: жила бы страна родная и жил бы ее народ. Последнее заботит Либермана больше всего, и именно в этом (можно сказать – в этом своем «на-

ционализме») он прозорливее других наших политиков и более чутко, чем они, ощущает и указывает другим, каково веление времени. Ибо тезис об отмирании национального государства оказался в наше время столь же преждевременным, как в свое время тезис об отмирании государства вообще, а чуть позже – тезис об отмирании национальной культуры в пользу мультикультурализма. Наше время снова востребовало на первый план нацию с ее культурой (или лагерь наций с их общей культурой), и фундаментальное «общее» – обще-национальное, обще-культурное – становится сегодня более важным, чем внутренние политические различия. Не случайно поэтому, что, хотя Либерман-политик – человек, конечно, не «левый», а «правый» (в нашем местном понимании), но эта его правизна начинается только на политическом, а не на том фундаментальном уровне, где речь идет о сохранении народа. Проще говоря, для него, как и для Дизраэли, нация главное, а «правизна» вторичнее. Именно отсюда берет начало то его нашумевшее предложение отдать палестинцам (в порядке согласованного обмена) какие-то части Эрец-Исраэль, которое некоторые наши комментаторы истолковали как «полевение Либермана». Это очень поверхностное толкование. Если сохранение нации того потребует, Либерман, оставаясь вполне «правым», возможно, отдаст и Восточный Иерусалим. (Чем он, кстати, отличается от нынешнего вождя Ликуда Нетаниягу, который так и остался просто правым, без подстилающей эту правизну фундаментальной идеи.)

Сквозная национальная идея Либермана просматривается даже в мелочах. Хорошо все то, что направлено на сохранение нации, плохо то, что этому так или иначе противоречит. Точно так же, как его давняя концепция «Конституционной ассамблеи» предполагала участие в ней всех групп израильского общества и достижение их консенсуса (это «хорошо»), и его нынешние претензии к арабским депутатам израильского кнессета, позволяющим себе одобрять антиизраильский терроризм, исходят не из оскорбленного чувства национального самолюбия, а из трезвого понимания, что это «плохо». Плохо потому, что сохранение еврейского народа требует сохранения еврейского государства (а не «государства всех граждан»), и если уж нам суждено жить с большим арабским меньшинством, то надо решительно добиться, чтобы неизбежное при этом ослабление нации было минимальным. Мы не можем стать национально гомогенным государством, но все те наши соседи по дому, которые хотят жить с нами вместе, должны понять и принять, что они живут в доме с определенной культурой. В этой культуре **можно** (хотя я не уверен, что нужно) рисовать карикатуры на Моисея, Иисуса и Мохаммеда, а бесчинствовать на улицах по этому поводу – не позволено. И одобрять терроризм – тоже. Перефразируя классиков: жить в чужой культуре и быть свободным от этой культуры нельзя.

Это желание: создать, сплотить и удержать свое национально-культурное пространство – требует не только сплочения нации, но и размежевания по культурному признаку. И здесь принципиально важна любая, самая малая попытка. Именно такой попыткой и является план «обмена населением», и в

этом смысле он имеет принципиальное значение, хотя внешне может показаться чем-то маленьким и частным, этакой добавкой к тем всеохватным планам территориального размежевания и ухода за «стену», которые декларируют другие израильские политики. В этой добавке, однако, больше чуткости к самому главному требованию времени, чем в этих чисто политических схемах. Ибо вопрос сегодня не просто в том, где провести границы, а в том, что будет **внутри** этих границ. Это главный вопрос нашего времени.

Повторю еще раз – наше время уже работает против нас. Еще 30 лет назад карикатуры на Пророка в какой-то богом забытой датской газете вызвали бы, ну разве, жидкий всплеск арабского недовольства, который вскоре затих бы сам собой. Еще 30 лет назад Израиль имел дело с Организацией освобождения Палестины, которую поддерживали арабские страны и Советский Союз, – но эта организация была единственной в своем роде. Сегодня буйные демонстрации против карикатур на Пророка проходят в один и тот же день в Индонезии и Сомали, почти на двух противоположных концах земного шара, и мы имеем дело не с одной ООП, а с ХАМАСом, «Хизбаллой», «Аль-Каедой», Ираном и Сирией одновременно. Запад уже попытался «навести порядок» – там, там и там, – но демократизировать не выходит, стукнуть кулаком – не пугает, прикрикнуть уже не получается, окрик сбивается на фальцет, и всемирная мусульманская толпа улюлюкает еще злорадней. Зеленое знамя протянулось широкой полосой по карте мира, от какого-то дикого Борнео до предгорий Атласа, и под ним набрякает миллиардистский и реваншистский восторг миллиарда с лишним человек, не меньше трети которых – юнцы и юницы. Ислам созрел помериться силами с Западом и почуял запах победы – запах крови. Впрочем, другие мародеры тоже уже стоят позади, ожидая своей очереди.

Более 30 лет назад популярного французского фантаста Распая посетило видение, после которого он на год забросил всякую другую работу, чтобы это видение запечатлеть. Результатом этого года работы стал роман «Лагерь святых», который вызвал тогда такие же бурные споры, как примерно сейчас предложение Либермана об обмене населением. В романе описывалась ситуация, когда доведенные до отчаяния голодные индийские толпы движутся маршем на Европу, чтобы разбить у ее границ свой лагерь смерти: они будут умирать, а европейцы пусть решают, что с этим делать. Европейцы понимают, что впустить все эти миллионы к себе – смерти подобно, а не впустить – подобно убийству. Роман на этом кончается – вопросительным знаком, и пока критики и мыслители пытались найти всеобъемлющий ответ на этот вопрос Распая – такой, чтобы и овцы были целы, и волки сыты, правители Европы успели впустить к себе не миллионы, а десятки миллионов других голодных – правда, не индусов, как почему-то выбрал Распай, а мусульман. И вопросительный знак со страниц пророческой книги перешел на страницы прозы жизни.

Мы не Европа, в нашем еврейском доме мусульман не 10, а почти 20%, и вдобавок дышащие ненавистью к нам вооруженные мусульмане окружа-

ли нас с севера, юга и востока. Но тот же вопрос стоит и перед нами, разве что намного острее. Утешать себя тем, что «зато время работает на нас», сегодня уже невозможно. Время сегодня работает на обострение противостояния культур. Мультикультуралисты ошиблись – культуры оказались, в конечном счете, непримиримы. Находясь в одной и той же стране, они угрожают ее – в конце концов, по достижении сравнимой силы – попросту взорвать. Разделенные географически, они гневно отторгают чужие ценности. Министр иностранных дел России объясняет журналистам, что Россия не видит особой ценности в свободе слова, потому что ей вообще чужды ценности Запада. Китаю тоже наверняка чужды ценности христианского Запада, а России – ценности Китая. Кое-кто в России, правда, спит и видит слиться в экстазе с ценностями ислама, но это только издали так приятно тешить себя мечтами – пока тебя не принудили обрезать, а на жену не надели чадру. Какие ценности чужды исламу, лучше спросить у демонстрантов в Сомали и на острове Борнео. С легкой руки президента Буша Запад едва не начал выяснять абсолютную ценность тех или иных ценностей с помощью хантингтоновского «столкновения цивилизаций» – кончилось тем, что Иран понял необходимость «исламской бомбы». Теперь платить за уроки демократии от Щаранского придется нам всем.

Ситуация вызывает к поиску ответов, и в первом приближении ответом представляется «всемирное размежевание культур», этакая доктрина Монро, переведенная на язык каждой отдельной культурной общности. В глобальном масштабе, соответственно духу нашей глобальной цивилизации. Это уже не желание, а жизненная необходимость, диктат самосохранения. Вы там – мы тут. И «мы» в этом контексте – это не только «мы, западный мир», но и «мы, израильяне» или «мы, евреи». Именно эту мысль и пытается довести до сознания сограждан Авигодор Либерман. Как я уже сказал, его идея обменять исламский Умм-эль-Фахм на что-нибудь «еврейское» – это наш локальный, соответствующий нашим маленьким масштабам вариант «размежевания культур». Противники Либермана насмешливо подсчитывают, на сколько сотых процента этот обмен уменьшит число мусульман в Израиле, и проходят мимо сути, ибо тут, на самом деле, важно не число, а принцип: недостаточно отделиться стеной от палестинского государства – нужно как можно полнее, быстрее и уважительнее «телесно» размежеваться с исламской культурой, в самом широком смысле этого слова. Хотя бы на время. На пару-другую столетий. А там посмотрим. Это негуманно, анти-демократично, противомультикультуралистично и так далее, но тот, кто понимает, какова альтернатива, поймет и то, что это «хорошо».

Я чуть было не закончил словами: «потому что таково веление времени, и Либерман пророк его», но вовремя спохватился, что уже сказал это иными словами – смотри начало.



доктор исторических наук, журналист, редактор американского журнала «FrontPage Magazine». Живет в США.

СИМПОЗИУМ: ОЧИЩАЯ ЗЕМЛЮ АЛЛАХА

Глазов: Выборы в парламент Палестинской автономии явились еще одним пугающим напоминанием о намерении исламистов очистить мир от евреев. ХАМАС – организация, победившая ФАТХ на этих выборах, – недвусмысленно объявляет своей целью физическое истребление евреев и «уничтожение Израиля». Достаточно заглянуть в Хартию этой организации, чтобы убедиться в этом. В чем нет, разумеется, ничего нового. Исламисты всегда стремились к уничтожению евреев. Так, например, на конференции «Мир без сионизма», прошедшей в октябре прошлого года в Тегеране, новый иранский диктатор Махмуд Ахмадинежад, продолжая эту исламистскую традицию, выразил свою мечту «стереть Израиль с карты мира».

Мы собрались сегодня, чтобы обсудить, что лежит в основе этого исламистского стремления. В нашем симпозиуме участвуют *д-р Ганс-Питер Радау*, немецкий исламовед, соавтор «Энциклопедии ислама» и автор многих книг, в том числе «От Аллаха к террору?»; *Кеннет Левин*, психиатр из Гарвардской медицинской школы, историк и комментатор израильской политики, автор новой книги «Синдром Осло»; *Давид Гутман*, психолог, почетный профессор Медицинской школы Северо-Западного университета в Чикаго; и *Нэнси Кобрин*, психоаналитик, ассистент Хайфского университета, автор книги «Новое платье шейха: исламский террор и что он представляет собою в действительности». Первое слово д-ру Радау. Что, по вашему, думает и чувствует Махмуд Ахмадинежад, когда говорит об уничтожении Израиля? Как возникают такие желания? Действительно ли речь идет только об Израиле? Удовлетворит ли исламистов, если евреи покинут Израиль и переселятся куда-нибудь в другое место?

Радац: Этот вопрос связан с неким полем представлений, которые можно назвать эсхатологическими. В радикальном исламе существует некая неустраняемая тенденция требовать тотального господства, а отсюда вытекает соответствующее параноидальное представление о враге, которое рождает яростное стремление его уничтожить. Радикалы в шиитском Иране и близлежащих районах Ирака воспринимают предписания Корана и свои особые традиции куда серьезней, чем их суннитские единоверцы. В отличие от суннитов, шиитские клирики сохраняют за собой право выносить личные суждения по религиозно-политическим вопросам. Со времен Хомейни они присвоили себе даже право на политическую власть, что ранее было им решительно запрещено. И вот, если мы обратимся к эсхатологии Корана, то увидим, что, согласно исламской традиции, Судный день не наступит, пока не будет уничтожен последний еврей. Это позволяет нам понять и нынешнее, специфически иранское утверждение, что решение Аллаха о назначении даты Судного дня должно быть ускорено с помощью полного уничтожения евреев.

По этой причине переселение евреев из Израиля в Европу, которое предлагает Ахмадинежад, ничего, в сущности, не меняет. В действительности, его мысль, если проанализировать ее хотя бы из чисто теоретического интереса, сводится к двухэтапному решению – сначала убрать Израиль с так называемой «земли Аллаха» и заслужить за это благодарность всего мусульманского антисемитского мира, а на втором этапе обрести возможность атаковать Запад в существенно улучшившейся для ислама ситуации. Европа, в состав которой войдет Израиль, станет значительно более подходящим объектом для шантажа, чем ныне. Учитывая, насколько отравлены чувством так называемой «колониальной вины» ее политики и интеллектуалы, можно ожидать, что Европа будет покорно уступать исламу как в сфере экономических интересов, так и в области европейских «ценностей», вроде демократических свобод и юридического правопорядка. В этом смысле нас не должна удивлять нынешняя вялая реакция европейцев на угрозы исламистов, вроде той, с которой недавно обратился к Западу Азми Бешара, член израильского кнессета и выпускник дружественного исламу Университета имени Гумбольдта в Берлине: «Оставьте нас, отдайте нам Палестину и заберите себе свой Израиль вместе со своей демократией – они нам ни к чему».

Вот так потенциально возможное на глазах превращается в реальное и актуальное. И самым реалистическим аспектом происходящего является то, как быстро все стороны – за исключением самого Израиля – теряют ощущение реальности. Сегодня уже попросту нельзя игнорировать очевидность: то, что раньше считалось непроизносимым, уже произнесено вслух, и Европа реагировала на это так, что ее ответ можно считать молчаливым согласием. Однако, судя по разговорам в дипломатических кругах, в Израиле видят и другую сторону медали: кое-кто в Иерусалиме считает Ахмадинежада «самым ценным израильским агентом» в мире, поскольку он создает первосортную легитимацию для израильского превентивного удара.

Что же касается режима аятолл, то следует учесть, что Ахмадинежад и его сообщники испытывают все возрастающее давление. Внутренние экономические и социальные проблемы Ирана почти катастрофичны. Согласно надежным статистическим данным, почти треть населения, около 23 миллионов, живет ниже уровня бедности, и примерно столько же там безработных. Правительство отчаянно нуждается в том, чтобы найти виновника всех этих бед. Таковым является Запад, это «гнездо сатаны», ну и, само собой, Израиль.

Поскольку проект построения «исламского рая на земле» провалился, уйти от обвинения в некомпетентности можно, только обратившись к насилию. Встроенный в ислам мессианский аспект, особенно сильный в шиитском исламе, тут же оказывается под рукой, уполномочивая на самые крайние меры и благословляя лидеров на совершенно фантастические, богоподобные претензии. Главная трагедия иранской истории состоит в том, что древние культурные традиции и необычайно высокий коллективный интеллектуальный уровень этой страны постепенно, по мере ее эволюции в сторону ислама, стали тоталитарными. Для новейшей истории Ирана характерны этакое богоподобные правители, которые на практике выражают это постепенное превращение нации в оплот тоталитаризма, и нашли свое воплощение в фигурах Хомейни, Хаменаи и Ахмадинежада.

Этот последний сделал свою карьеру в «Баси» – военизированной организации, которая объявила своей задачей продвигать и защищать «революцию». Члены этой организации принадлежат к самым разным слоям иранского общества и представляют собой то, что Ахмадинежад именует «иранской культурой». Эта его оригинальная концепция «культуры» на деле предполагает всемерное расширение революции посредством терроризирования граждан своей страны и поддержки за пределами Ирана – оружием, деньгами и добровольцами – террористических организаций типа «Хизбаллы». Кстати, о безоглядной жестокости режима аятолл: по нынешним оценкам, от ста до двухсот тысяч иранских детей были принесены этим режимом в жертву своим фанатичным целям во время войны с Ираком, когда эти дети использовались как «живые детекторы» при прокладке путей через минные поля.

И поскольку те же самые люди решают сегодня, как использовать на практике иранский атомный потенциал, не нужно особенно богатого воображения, чтобы представить себе, к чему могут на деле привести мечты Ахмадинежада довести численность своей организации до 20 млн человек, включая соответствующее количество террористов-смертников. И все во имя того, чтобы осчастливить человечество еще одним раем на земле.

Глазов: Восхитительно! Эта идеология воистину основана на уважении к человеческому существованию и любви ко всем братьям по роду людскому, не так ли, доктор Левин?

Левин: Я согласен с д-ром Радацем в том, что все эти разговоры Ахмадинежада об уничтожении Израиля, равно как и граничащее с пропове-

дью геноцида отношение иранской религиозной верхушки к евреям, выражают специфически шиитский вариант исламской ортодоксии, а также преследуют вполне определенную политическую цель – добиться того, чтобы арабский мир признал Иран ведущей силой современного ислама.

Эсхатология и жертвенность выражены в шиитском исламе ярче, чем в суннитском, и поэтому, пропагандируя нескончаемую войну против евреев, а также, в сущности, против христиан и других «неверных», иранские лидеры могут опираться на ключевые положения шиизма. Но то, как они старательно подчеркивают свое намерение уничтожить Израиль, всячески клеймят евреев и прославляют массовые убийства, одновременно свидетельствует о стремлении завоевать всеарабскую поддержку путем поощрения двух весьма популярных в арабских массах идей – демонизации евреев и отрицания права Израиля на существование, которые всемерно пропагандируются по всему арабскому миру контролируруемыми государствами средствами массовой информации, в мечетях и школах и, по сути, воспитывают арабов всего мира в духе ненависти к евреям.

Стоит заметить в этой связи, что Саудовская Аравия, явно противостоя этому устремлению Ирана завоевать всеарабские и даже всеисламские симпатии, широко развернула экспорт своей собственной антиеврейской и, в несколько меньшей степени, антихристианской индоктринации через все более щедро финансируемые саудовским режимом ваххабистские школы и мечети во всем исламском мире, а также в мусульманских общинах Европы, Соединенных Штатов и остальной Америки. По сути, Иран и Саудовская Аравия вот уже двадцать пять лет соревнуются в этой демонизации евреев.

Рассуждения Ахмадинежада о том, что евреи, поскольку их преследовали в Европе, должны получить свое государство в той же Европе и переселиться туда, тоже весьма популярны в арабском мире и в этом плане выражают собой еще одну попытку иранских лидеров привлечь арабскую поддержку и добиться признания за Ираном гегемонии в исламе. Утверждение, что арабы платят за преступления нацистов, стало чем-то священным в арабском мире, хотя в, действительно, приход Гитлера к власти, скорее, задержал обретение евреями государственности, поскольку Великобритания реагировала на политику Германии усилением враждебности к еврейской эмиграции в подмандатную ей Палестину и к созданию там еврейских государственных структур, стараясь умиротворить арабов, которые все больше поддавались гитлеровской пропаганде, а также в силу того, что не встретившие своевременного отпора военные успехи нацистов быстро нейтрализовали Лигу Наций, которая до того боролась с нарушениями Великобританией ее мандатных обязательств в отношении евреев.

Вообще же говоря, призывы Ахмадинежада к демонтажу Израиля и перемещению еврейского государства в Европу – старая тема в исламском мире. Ливийский диктатор Каддафи когда-то уже призывал к перемещению Израиля в... Эльзас.

Однако тот факт, что антиизраильская и антиеврейская риторика иран-

ского руководства направлены на завоевание арабской поддержки, не означает, конечно, что его враждебность по отношению к Израилю и евреям не является искренней и что оно не намерено действовать в духе этой ненависти. Несомненными доказательствами этого намерения являются уже упомянутое финансирование и вооружение Ираном «Хизбаллы» и поддержка всех палестинских террористических группировок, включая те, что связаны с ФАТХом. Вдобавок, Иран и напрямую продемонстрировал, что он готов воевать не только с Израилем, но и с евреями во всем мире, как об этом давно уже засвидетельствовали взрывы не только в израильских посольствах, но и в еврейском общинном центре в Буэнос-Айресе в 1980-х годах.

Риторика и действия иранского руководства по отношению к Израилю и евреям и его интерпретация мусульманского священного писания, направленная на подкрепление политики геноцида против тех, кого оно считает своими врагами, показывают, что было бы ошибкой недооценивать опасность превращения Ирана в ядерную державу.

Вместе с тем, вялость реакции Запада на угрозы Ахмадинежада неудивительна. Кое для кого в мире, в том числе в Европе, риторика Ахмадинежада представляется нетерпимой и требующей самого резкого ответа. Но западный мир в целом уже и прежде демонстрировал, что он вполне может ужиться с иранскими лидерами, даже если они будут на деле преследовать те же антиизраильские и антиеврейские цели, – лишь бы они меньше говорили об этом и были больше заинтересованы в развитии торговли с Западом. В Европе сейчас с ностальгией вспоминают времена Рафсаджани, в бытность которого иранским президентом европейцы заключили крайне выгодные контракты с Ираном: в отличие от Ахмадинежада, Рафсаджани мало говорил о своем энергичном стремлении к созданию ядерного оружия и лишь изредка упоминал об Израиле; и, в отличие от своего нынешнего преемника, он не заявлял вслух о своей уверенности, что Иран вполне переживет обмен ядерными ударами с Израилем, тогда как еврейское государство в результате такого обмена будет уничтожено.

Гутман: Кое-кто считает, что в самой ДНК ислама и Корана закодирована сущностная и неистребимая ненависть к евреям. Мол, печально, но это так. По мнению таких пессимистов, это означает, что мир между семитскими странами может быть достигнут только в результате священной войны – Ягве против Аллаха, – в которой одна сторона полностью уничтожит другую. А, учитывая соотношение сил на Ближнем Востоке, это будет война, в которой мусульмане имеют все шансы победить.

Я придерживаюсь более оптимистической (надеюсь, что не наивной) точки зрения. Для начала скажу, что я живу в исламской секте, среди друзов, и принят как почетный родственник в правящую семью. Я видел, как друзские юноши патрулируют вместе с евреями в подразделениях израильской пограничной стражи. Вдобавок, я бывал в Иордании, Сирии и Египте и видел, что только сирийский лидер демонстрирует поистине непримиримую ненависть к евреям. Иорданцы и египтяне вели себя дружелюбно и

были заинтересованы в нас, как и мы в них. На Ближнем Востоке мало абсолютов, и я не думаю, что неистребимая и универсальная ненависть к евреям является одним из них. Нужно учесть также, что евреи не являются единственным униженным меньшинством в границах исламского мира, в так называемом Дар-уль-Исламе. В этом мире полное равноправие требует двух условий – ты должен быть этническим арабом и ты должен быть верующим мусульманином.

Если ты не удовлетворяешь ни одному из этих критериев, тебе плохо. Так, друзья – этнически (и культурно) арабы, но их секретная религия отличается от ислама по достаточному числу доктринальных пунктов, чтобы считаться ересью. Как следствие этого, друзья – эти «не знающие Аллаха» – претерпели много преследований за последние восемьсот лет.

Евреям опасней вдвойне: они и не арабы, и не мусульмане. Вдобавок, они имели наглость нарушить субординацию и выйти за рамки положенного им статуса, выиграв Войну за независимость и потребовав равенства с «мусульманскими повелителями», как народ среди народов. За аналогичную попытку христиане в Ливане были сурово наказаны мусульманами, развязавшими против них двадцатилетнюю жесточайшую гражданскую войну. А кроме того, евреи внесли свою лепту в нынешнее униженное состояние «мусульманских повелителей», создав весьма преуспевающее государство и победоносную армию, в то время как мусульманский мир, как заметил однажды Артур Кестлер, за последние 500 лет не произвел ничего, кроме ковров и порнографических открыток (а также новаторских приемов террора); и даже сейчас, снова выйдя на мировую арену, видит, что ему нечем похвастаться – в особенности, в сравнении с израильянами. У евреев более высокая культура, более развитая наука, могучая армия и оружие, за которым мир выстраивается сегодня в очередь. Причем все эти израильские успехи достигнуты в самом сердце Дар-уль-Ислама. Само существование Израиля – это оскорбительный вызов экстремистскому исламу и неизбывная нарцисстическая рана. Не удивительно, что его лидеры мечтают, как прыщавые подростки о девочках, о ядерном геноциде. Но питают эти мечты, скорее, уязвленная гордыня да сопровождающее ее озлобление, а не исламская теология.

Что же касается вялой европейской реакции на этот поход ислама против евреев, то она имеет много составляющих, в основном коренящихся в напоминаниях коллективной совести. Европейцы пытаются избавиться от воспоминаний о своих собственных еврейских погромах в прошлом, лишив евреев звания жертвы и перенося ее на палестинцев. В сущности, поддерживая требования палестинцев, европейцы решают свои собственные проблемные отношения с евреями и оказываются чистенькими – они уже не только не бывшие преследователи, они теперь защитники преследуемых.

В результате палестинцы все больше играют роль современного Иисуса Христа, этой жертвы «богоубийц», а теперь «народоубийц», то бишь евреев. У меня нет прямых доказательств этого, но мне представляется, что

по мере того, как палестинцы подражают распинаемому Христу, они пробуждают в сознании рядовых европейцев очень мощные «иконографические» ассоциации; я имею в виду все эти бесчисленные христианские иконы с изображениями Спасителя и его еврейских мучителей. Быть может, теология – не самый главный двигатель исламского антисемитизма, но в европейской «войне против евреев» она наверняка играет могучую, хотя и не признаваемую вслух роль.

Кобрин: Доктор Гутман отметил чувство уязвленной гордости и ярость, питающие всякого рода фантастические мечты. Я согласна с этим. Но откуда берется сама эта ярость? Я вижу ключ к ответу в мусульманской одержимости представлениями о чистоте и грязи. Одержимость этими представлениями указывает на искаженные, извращенные, нездоровые отношения исламского ребенка с матерью. Эти отношения, в конечном счете, порождают во взрослом мусульманине убийственную ярость против матери, но эта ярость, как обычно в таких случаях, переносится на Другого – в данном случае на еврея, но в других случаях на женщину вообще – на жену, на дочь и т. д. В исламском понимании, еврей не только неверный. Напомню, что в том же Иране религиозная традиция запрещает евреям выходить на улицу в дождь, чтобы не загрязнить (т. е. отравить) воду и тем самым загрязнить (т. е. отравить) шиита. Сегодня в Иране осталось 25 тысяч евреев на 70 миллионов жителей, так что нынешний иранский антисемитизм – это поистине «антисемитизм без евреев». И он развивается, как обычно – за отсутствием своих евреев взгляд юдофобов обращается на Израиль.

Есть и еще одна исламская психологическая особенность. В арабском (шире – мусульманском) мире ребенку вплоть до подросткового возраста не разрешается отдаляться от матери. В результате он вырастает, не усвоив, что существуют некие границы и ограничения. У него отсутствует способность признавать свою некомпетентность. Я могу лишь предполагать, каково было детство Ахмадинежада, но оно вряд ли было счастливым, если он ощущает такую жгучую потребность в ненависти. Террористы вообще довольно слабые, хрупкие существа – они кутаются в одеяло крайней идеологии, сотканной из ярости и гнева.

В силу преувеличенного мнения мусульман о себе, дарование Синайского Откровения евреям уязвило их нарцисстическое Эго и оставило у них глубокую и незаживающую рану. Существование евреев (Израиля) постоянно напоминает им об этом историческом унижении, и поэтому уничтожение евреев – это для них самый радикальный способ избавиться от проблемы. Но, с другой стороны, такое решение оставляет их наедине с неизбывной драмой их идентичности, поскольку исламская идентичность не оригинальна, а заимствована – у иудеев и христиан.

Трагедия палестинцев в том, что они никогда не боролись с самими собой, чтобы научиться вглядываться в себя и контролировать свои эмоции. Поэтому они по сей день продолжают упорствовать в обвинении других в своих бедах. Хотя они и пытаются позиционировать себя в роли современ-

ного Иисуса Христа, это выглядит психологически неправдоподобно и шокирует Европу, хоть и ставшую уже Еврабией, но так и не нашедшую адекватного ответа на причины не только учиненной нацистами Катастрофы, но даже и на испанскую инквизицию. Достоинно оплакивать убиенных – дело трудное, если не вообще невозможное.

К сожалению, в мире много обиженных и оскорбленных, которые радостно хватаются за все эти исламские психологические извращения и предпочитают быть орудиями насилия. Большое число обратившихся в ислам европейцев – тому доказательство. И мы не сможем справиться с этой проблемой, пока не поймем связи таких исламских традиций, как особая роль матери, отношение к женщине и готовность к принесению в религиозную жертву собственных сыновей, с нынешним джихадом в суннитском и шиитском исламе.

Радац: Теоретические спекуляции весьма соблазнительны. Это, между прочим, также одна из причин успеха ислама в Европе – там широко циркулирует чисто теоретическая идея так называемого «диалога», старательно избегающая обсуждения серьезных практических проблем. Лично я не так уж уверен, что мы можем приписать европейский антиизраилизм одному только чувству «колониальной вины». Денежные переводы на счета палестинских террористических групп поступают уже так долго и в таких возрастающих объемах, что это нельзя объяснить одним только моральными соображениями угрызаемых совестью европейцев, какими бы извращенными ни были эти угрызения. Накапливаются свидетельства того, что следует скорее говорить о расчетливом исламском политико-экономическом шантаже. Америка, Израиль и Европа, с одной стороны, и Саудовская Аравия и Иран – с другой, образуют весьма сложный клубок нефтяных, оружейных и инвестиционных интересов, а их банковская и предпринимательская история уходит в давнее прошлое.

В этом плане я согласен с замечанием доктора Левина, что европейцы поминают Рафсаджани добрым словом, прежде всего, за выгодные контракты и умение скрывать свои истинные намерения относительно Израиля и всего западного мира. И то же относится к исламистам в Европе, которых здесь восхваляют за их «умеренные» речи, хотя в своем собственном кругу те проповедуют уничтожение европейской демократии и рекрутируют людей на курсы шахидов.

Поскольку все это широко известно, а ведущие общественные институты европейских стран – да даже и органы безопасности, – тем не менее, продолжают открыто поддерживать этих «представителей ислама», кажется вполне обоснованным предположить, что здесь, действительно, существует некая определяющая интерактивная ситуация экономического шантажа, если и не вообще серьезное изменение долговременных политических позиций Европы. Поэтому совершенно бесполезно подсчитывать, сколько приятных и терпимых мусульман каждый из нас лично знает. Все эти приятные мусульмане нисколько не влияют на исламскую антропологическую

константу и ее главную догму – стремление устранить сначала евреев, а потом христиан, реализуемое или, по меньшей мере, подпитываемое нефтяными долларами. Иранские ракеты с ядерными боеголовками, способные накрыть всю Южную Европу, включая ближние предальпийские регионы, – это тоже весьма убедительный аргумент в любом «диалоге», не так ли?

Сейчас вопрос в том, хватит ли у европейской общественности интеллектуальной и прочей энергии, чтобы вмешаться в происходящее и переломить парализующее влияние таких риторических лозунгов, как «Исламский путь к миру», «Кордовский идеал религиозной терпимости», «Демократический евроислам» и тому подобных обманок, распространяемых официальными европейскими имиджмейкерами, которые, по существу, выступают в роли исламских функционеров.

Не удивительно, что эти добровольные функционеры более или менее теряют дар речи или отделиваются невнятной апологетической фразеологией всякий раз, когда происходит очередной исламский теракт. И даже невероятные масштабы ахмадинежадовских нападков на Израиль и евреев не могут изменить сложившуюся схему. Это показал опыт Германии. В откликах немецкой прессы на иранские выпады нельзя приметить ни малейших признаков солидарности с Израилем, не говоря уже о компетентном анализе политических и моральных импликаций грубых выпадов иранского президента. В то же время ведущие газеты Германии наперебой занимались обсуждением биографии Ахмадинежада, его внешнего вида и его равнодушия к элементарной гигиене. Эта смесь непреднамеренной, плюралистически-поверхностной болтовни с вполне намеренным отвлечением читательского интереса от серьезного политического анализа прекрасно сопрягается с «диссоциогеничностью» исламского общества, которую только что диагностировала доктор Кобрин. Это растущее сходство двух обществ, в сочетании с пропагандистской концепцией «исламского пути к миру», может со временем превратиться из фатального в летальное, как уже показал пример Франции с ее исламскими бунтами.

Левин: Доктор Кобрин, несомненно, права, утверждая, что пламя исламской убийственной ненависти имеет определенные психосексуальные корни. Но я думаю, что в обстоятельствах, когда целые общества охвачены такой ненавистью, к тому же направленной на вполне определенную политическую мишень, недостаточно говорить только об особенностях детского воспитания или отношения к матери. Было бы точнее говорить, что определенные глубинные психосексуальные течения, которые в иных условиях нашли бы выражение в ином облике, теперь становятся психологической подпиткой той индоктринации, той пропаганды звериной ненависти к определенному врагу, воздействию которой подвергаются сегодня члены исламских обществ. Ключевое слово тут – индоктринация, и тот факт, что антиеврейская ненависть среди арабов достигла такого беспрецедентного масштаба, свидетельствует об энергичной и фанатичной целенаправленности, с которой эта ненависть вбивается в людей через средства массовой

информации, мечети и школы во всем арабском мире. Главным импульсом этой индоктринации (в несколько меньшей степени направленной также против христиан и других «неверных») является, в основном, арабская ксенофобия и господствующее представление о себе – пропагандируемое как исламскими, так и секулярными ближневосточными режимами, – как о народе, чье законное господствующее место в мире украдено у него с помощью дьявольских козней других

Этим расцветом антиеврейской индоктринации в арабской и шире – исламской среде мир обязан зависимости Запада от ближневосточной нефти. Демонизация Израиля и евреев находит сочувственный отклик в Европе в немалой степени также и потому, что вопиюще бессмысленные и циничные сравнения израильтян с нацистами шекочут многие европейские умы. Частично это связано с желанием многих европейцев избавиться от воспоминаний о Катастрофе. Но это подпитывается также и давней европейской ненавистью к евреям, принявшей сейчас новый облик. К примеру, так называемые «либеральные» церкви как в Америке, так и в Европе, которые в стремлении остаться «на плаву» объявили своей новой «миссией» социальную активность за пределами западного мира, теперь избрали Израиль мишенью диффамации и остракизма и приняли сторону палестинцев, представляя их в качестве «распинаемого» народа, а евреев – в знакомой роли богоубийц на своем новом «обезьяньем процессе».

Однако главным фактором, который объясняет, почему европейцы позволяют арабской юдофобии беспрепятственно усиливаться и почему они заново открывают каналы для самых уродливых проявлений закоренелого европейского антисемитизма, является тот, правильно отмеченный доктором Радацем, что эта позиция выгодна для европейских экономических интересов и позволяет европейцам хорошо наживаться. Европа предпочитает видеть в арабах и иранцах чисто экономических партнеров и прощать им их фобии, какими бы геноцидами эти фобии ни пахли и как бы ни готовы были те же самые арабы и иранцы действовать во имя этих фобий. В действительности, европейские народы давно закрыли глаза на все и всякие ненавистнические действия арабов против религиозных и этнических меньшинств в их среде; и они вряд ли изменят эту свою позицию, если мишенью окажутся евреи.

Европейское равнодушие будет продолжаться до тех пор, пока европейцы не почувствуют, что исламофашизм угрожает и им самим, а это случится не так уж скоро, поскольку европейцы, как и многие американцы, уже привыкли не замечать грозящей им опасности.

Гутман: Доктор Левин уже напомнил нам, что психологические факторы сами по себе не могут полностью объяснить ненависть к евреям в Европе и Аравии: важную роль играют также экономические интересы и воспитание. Однако извращенные взаимоотношения полов в исламе так ужасны, так мало изучены и так сильно влияют на положение женщин и на отношение исламистов к Израилю, что этому стоит уделить еще немного внимания.

Наши социологи посвятили много исследований третьему миру, но всегда старательно избегали «матери всех патологий» – унижения арабских женщин мужчинами. Несколько упоминаний об убийствах во имя семейной чести и обрезании женских гениталий – и это все. Возможно, причина такого безразличия в том, что эти великие ученые умы не могут повесить вину за эти исламские традиции на президента Буша.

И впрямь, эти традиции возникли задолго до Буша. Многие арабские сказки представляют собой вариации одной и той же темы – благородный любящий принц прощается со своей прекрасной, любящей и благородной женой, но не успевает он шагнуть за порог, как она уже оказывается в постели с грязным, уродливым и больным негром. Мораль очевидна: нельзя доверять свою честь женщине. Повернись к ней спиной, дай ей хоть чуточку свободы, и она тут же обесчестит тебя, пожертвует твоей честью ради другого мужчины и накличет на тебя стыд и позор.

Поэтому равенство полов, по мусульманскому убеждению, принесет лишь ту свободу, о которой говорят арабские сказки – свободу распущенной, неутолимо похотливой женщины. Возможно, в этом образе освобожденной женщины проступают также черты всемогущей – по отношению к ее ребенку – матери. Как бы то ни было, страхась бесчестия, которым угрожает ему свободная женщина, арабский мужчина нуждается в покорных женщинах вокруг себя, и, когда он лишен таких покорных женщин, он ощущает опасность, что сам превратится в женщину, то есть в постыдное и бесчестное существо. Мы можем только гадать, вслед за доктором Кобрин, каковы ранние источники этого недоверия к матери и к женщинам вообще, но его проявления достаточно очевидны – даже в структуре любого традиционного арабского дома. Так, когда вас ведут к бедуинскому становищу, то всегда с той стороны, откуда вы не можете увидеть женскую половину, а, посещая жилище оседлого араба, вы всегда встречаете хозяина на некой нейтральной полосе, между открытой и скрытой частями дома, и женщины там не появляются. Во многих самых отсталых местах исламского мира женщины ограничены и в более широком социальном плане (хотя, любопытно, например, что не в Иране) – им запрещено появляться без чадры, не дозволены такие мужские занятия, как вождение автомобиля, и разрешено лишь минимальное участие в политике.

В этой арабской психодраме полов израильяне исполняют роль мощной дестабилизирующей силы. Как гяуры они должны были бы находиться в положении покорной женщины, но вместо этого преступили все положенные женщине ограничения и претендуют на роль мужчин – воинов, пионеров и строителей. Более того, израильяне – это проводники модернизации, тех социальных изменений, которые, к ужасу арабов, несут с собой освобождение женщин и кошмары арабских сказок. Этот маленький сатана занозой сидит в самом сердце Дар-уль-Ислама и демонстрирует мусульманам равенство женщин с мужчинами. Иранцы уже свергли когда-то своего шаха, потому что он пытался проводить модернизацию; они на-

деются, что «Хизбалла» остановит либерализацию Ливана; и теперь готовят атомные бомбы для окончательного уничтожения израильтян. Короче, когда вы вмешиваетесь в неустойчивую психосексуальную структуру мусульманского сознания, вы напрашиваетесь на крупные неприятности.

Кобрин: Доктор Гутман прав. Я думаю, что приблизиться к практической реальности, более того – к самой сути этой реальности, можно только с помощью такого психосексуального анализа. Даже Джон Хекман, Нобелевский лауреат по экономике, упоминает об этом факторе, когда обсуждает проблему американских обездоленных детей. В сущности, в арабомусульманском мире имеет место то же самое, только с большей силой и частотой. Дети воспитываются в чувстве стыда, роль женщины девальвируется, прививается ложный кодекс чести, и все это подпитывается и усложняется фанатичными идеологиями с их устойчивыми образами. В результате возникает уникальный тип терроризма, который достигает апогея в угрозе применить оружие массового уничтожения и задействовать сотни террористов-самоубийц. Но такие люди не уникальны – до Ахмадинежада мы уже видели Гитлера и ему подобных.

Семья, домашняя атмосфера – вот ключ к формированию или разрушению всякого общества. Само общество может быть тоталитарным или демократическим, это неважно. Я помню всех этих маленьких арапчат в Европе, в иммигрантских анклавах, которые не интегрировались в первую очередь в силу изоляции матерей от нормальной жизни. А также – всех тех европейских детишек, которые внешне «о'кей», но в действительности имеют очень серьезные проблемы. В подростковом возрасте они становятся наркоманами и приходят к мысли, что решение их проблем состоит в обращении в ислам и превращении в террориста-самоубийцу. Я умею распознавать душевные травмы, и я вижу, что отчаяние этих подростков уходит корнями в детство. Мы совершим грубую ошибку, если не уделим этому факту должное внимание. Детство – это тот период жизни, когда закладывается будущая нетерпимость. Индоктринация очень, очень редко достигает успеха, если домашняя и дворовая среда здоровы.

Я понимаю опасения доктора Радаца и доктора Левина. Но вот сейчас в Европе исламский террор ведет чуть ли не к параличу общества, а никто из европейцев как будто и не замечает этого – отсюда их вялость и отсутствие энергичного ответа. Наверно, должно стать еще намного хуже, прежде чем опасность будет поистине осознана.

*Перевод с английского – Рафаил Нудельман
(«FrontPageMagazine», February 2006)*



УРОВЕНЬ РУССКОЙ ЖИЗНИ*

(недопроизнесенный доклад)

В декабре 2005 мы с женой приехали в Москву на некую (не называю, потому что случившееся там не уникально) научную конференцию. Договорились – доклад на 30 мин, я написал доклад для быстрого зачитания за это время. Но организаторы впили дополнительных докладчиков и время произнесения докладов всем (не только мне) срезали – остановили через 10 мин. Передо мной, правда, извинялись (а что с извинениями делать, на хлеб намазывать? Так я его не ем). Добавлю, что первый (и, надеюсь, последний!) раз в жизни был на научной конференции, где не задавали вопросов и не было обсуждения. Итак:

В конце 2004 московское издательство «Научный мир» напечатало мою книгу с таким же названием. Расскажу о главных выводах и чуть дополню тем, что узнал-додумал уже после ее выхода. Говорить буду о таких вещах:

- А) Понятие–значение
- Б) Статистическая база
- В) Методические проблемы
- Г) Некоторые результаты
- Д) Куда идем

* Текст публикуется в авторской редакции.

А) Понятие–значение

Заходя на *первый круг*, что есть этот самый уровень жизни, с чем его едят? Что означает само понятие, какой показатель, как говорят в народе, квантифицирует вышеуказанный феномен? Физики до сих пор не определили понятия «масса»–«заряд», но измеряют их, вопрос «что это такое?» заменили на «как это измерить»? Тут почти обратный случай – мои книга и доклад в основном о проблемах измерения.

Тянет сказать, что высокий уровень жизни – это безбедная (не обязательно беззаботная) жизнь. Наверное, это так, хотя тождества тут нет. Не всегда счастье–несчастье только лишь в материальном (рай с милым в шалаше, да еще в российском климате – лишь поэтическая вольность): счастье неэквивалентно и, так сказать, непропорционально уровню жизни¹. Те, кто, упирая на духовность, объявляют материальное благосостояние «второстепенным», сами обычно вполне обеспечены. С другой стороны, понятие безбедной жизни исторично и отнюдь не экстерриториально. К примеру, жизнь московского слесаря полнее и лучше, чем скажем, Александра Невского или же ближнего боярина Ивана Грозного. У Пушкина было 1000 крепостных, но вы, сидящие здесь, живете лучше.

Независимо от философского и неотвечаемого – для чего, для какой цели живем, и есть ли такая цель? – поддержание–повышение уровня жизни есть истинная «цель экономики», назначенной удовлетворить материальные (да и духовные) наши потребности². Все это уныло тривиально, однако наш брат-экономист слаб в подсчете уровня жизни в некоторой стране в некоторый момент и меры отличия его от ненекоторых стран-моментов.

Предлагали определять уровень жизни длительностью брэнного нашего бытия. Вообще говоря, чем лучше–выше уровень жизни, тем дольше наш век, но только вообще говоря. Возрастание средней продолжительности жизни обычно есть результат увеличения ее уровня, то есть направления изменений совпадают, но численной связи нет. Так, во Франции потребление пожиже, чем в США, но по продолжительности жизни две страны близки друг к другу (черт знает почему? – по известной гипотезе, дело в красном вине). Конечно, хочется жить дольше, однако не все соглашаются на «цену»: те же диеты–зарядку. Кстати, в Древней Греции считалось нормальным прожить 70 лет; Нанне, которая явилась наконец к Финну, стара и немного горбата, было тоже 70 (зарядку она, конечно, не делала). За прошлый век продолжительность жизни в Америке (и не только) увеличилась вдвое, но главным образом за счет уменьшения детской смертности. А сокращая детскую смертность, мы препятствуем естественному отбору; недаром, каких-то 200 лет назад были «богатые, не вы».

Казалось бы, можно сравнивать уровень жизни по доходу; увы, не совсем так. Действительно: сравнивать на душу или же на семью (если да, то какого

¹ Вопрос Э. Б. Ершова: «Хочешь ли ты быть здоровым бедняком или же больным богатеем?»

² Станислав Ежи Лец: «Жил духовной жизнью, но лояльно заботился о теле».

размера), до или же после налогов (и каких именно), как принимать во внимание возраст (на научной фене «возрастную структуру населения»), учитывать ли климат, длину рабочей недели и интенсивность труда, состояние экологии, пенсионные системы, социальное неравенство, вычислять ли по «простой средней» или же по медиане, итд–итп? Да и не весь доход идет на потребление. Сказанное дополнительно усложняется, когда речь идет о межстрановых и динамических сравнениях.

Одного-единственного показателя, который прямо–убедительно отвечал бы своей величиной на вопрос – как люди живут? – нет в природе. Например, мы сравниваем свои жилища размером–местоположением квартиры, натываясь на надобность сложить вместе различные элементы–компоненты (его кухня больше, а у меня зато балкон). Работающие негры в США одеваются богаче белых, но их потребление в целом ниже–хуже, да и жизнь короче³. Сложнейший феномен не вписывается в «одну цифру», поэтому трудно сказать – лучше или хуже в целом стал уровень жизни за такой-то период, лучше или же хуже он там-то, чем там-то? Попытки совместить в одном показателе разные факторы упираются в проблему весов, как ее удовлетворительно разрешить, какие веса чему придавать – неведомо. В поиске приемлемого ответа надо найти эрзац «универсального» показателя. Им является показатель личного потребления, то есть количество товаров и услуг на душу.

Разумеется, уровень жизни не сводится к личному потреблению. Житель нормальной страны мало беспокоится о персональной безопасности⁴, в других странах – иначе, однако состояние преступности–безопасности показателями личного потребления не отражается. Скажем, в России в автокатастрофах гибнет намного больше людей, чем в той же Америке, при несравнимом движении. Увы, не имеет прямого отношения ни к личному потреблению, ни к уровню жизни, так сказать, степень личной свободы в стране. Пример – 99% всех обвинительных заключений российские суды одобряют. А я, бедный тогда эмигрант, выиграл в суде дело, которое называлось «Игорь Бирман против Соединенных Штатов Америки». Своеобразно относятся к уровню жизни медицинское обслуживание и доступность образования; мы к этому вернемся.

Как бы то ни было, центральной, повторю, является категория личного потребления. Самое время сказать, что, определяя его объем, ищут ответ на три вопроса: лучше или хуже по сравнению с другими странами? лучше или хуже по сравнению с другими временами? как распределяется?

Общепринятый подход в сравнениях экономик таков: сопоставляя объемы национального продукта, выясняют, какая страна «впереди». Но, отбрасывая постылое – граждане для государства, его величина лишь косвенно характеризует жизнь людей. Мы сравниваем экономики так, как сравниваем, главным

³ У мужиков – 75 и 66,6 лет; у дам – 80,2 и 75,6 (U. S. Census Bureau. *Statistical Abstract of the United States: 2004–2005*. Washington D.C., 2004, p. 73).

⁴ Сознаю, что текст публикуется в Израиле... Наши уцелевшие потомки будут вспоминать о XX веке, как о тихом–мирном.

образом из-за прискорбного неумения измерять важнейший экономический показатель – уровень жизни! Называя вещи их именами, мы–экономисты не способны договориться о значении понятия и измерить, как–насколько экономика исполняет наифундаментальное свое назначение!

Не все определяется количественно, да еще линейно. Допустим, все другие показатели двух стран одинаковы, но в одной из них выпивают в пять раз больше водки на душу. Арифметически личное потребление в этой стране выше, но не скажешь, что ее жители на самом деле живут лучше (мой московский сосед с научной этой гипотезой категорически не согласен). Да и вообще, не всегда возрастание элементов личного потребления и их суммы есть благо. Говоря о пище, дело не только в бесполезности для здоровья иных дорогих видов еды (или дешевых – сало), но и в простом переизбытке.

Временной аспект потребления связан также с отложенным (отсроченным) потреблением. Различают, так сказать, текущий уровень дохода и доход прошлый, накопленный. Цель сбережений – потребление в будущем, но состоятельные люди благополучных стран тратят часть своего дохода на инвестиции, сознавая, что стиль их жизни, вне зависимости от результата, реально не изменится. Кстати, это один из главных аргументов против суждения об уровне жизни по доходу.

Среди различных факторов выделю (не)желание работать. Одной из главных причин бедности во все времена было нежелание трудиться, вспомните – в России в XIX в., а в Англии раньше были работные дома. В связи с недавними беспорядками во Франции моя приятельница повторяет слова своей уборщицы (нелегальная эмигрантка из Украины) – в Париже полно работы. Подъем уровня жизни приводит к уменьшению стимулов для работы. Мой внук мог пойти в лучший в стране институт, но там надо много заниматься, а он не хочет «трудиться вперед»⁵.

Чтобы покончить с этой темой, напомним, что в России, помимо того что научные сотрудники многих НИИ появляются лишь в дни выдачи зарплаты, кроме отпусков есть новогодние и майские каникулы.

Кстати, как вам нравится такое определение богатства – можно не работать.

Б) Статистическая база

При всех осложнениях–оговорках, интуитивно ясно, что уровень жизни есть главным образом объем потребления; «цель экономики» и заключается в удовлетворении разнообразных потребностей, но главная проблема состоит в невозможности (даже приблизительно) подсчитать. Нет правильных–неправильных экономических показателей, все дело в том, где–как их употребляют

⁵ На берегу океана под пальмой лежит негр, мимо идет американец. – Чего бездельничаешь? – А на фига? – Вставай, иди учись. – Зачем? – Выучишься, поедешь в большой город, поступишь на работу, станешь много зарабатывать. – И? – Раз в год поедешь в отпуск, будешь купаться, есть свежие фрукты. – Так ведь я и так лежу на пляже, а с дерева падают бананы.

и, добавлю, как их исчисляют. Впрочем, Лец определял статистику (наверное, он имел в виду советскую) арсеналом сатиры.

Переходя к проблемам российской статистики, приведу пример. Мой другой внук ошарашил меня показателем продолжительности жизни на Кубе – 75 лет. Я ему говорю – не может быть, потому что не может быть никогда, он показал цифры в Интернете. Кстати, не забудьте, там карточная система. К чести российской статистики – она, надеюсь, честно сообщает свою теперешнюю продолжительность жизни – менее 59 лет у мужиков. С другой стороны, российские статистики основывают важнейшие показатели на цифрах розничного товарооборота, но как раз он, мягко говоря, сомнителен. Есть оценка, что занижен на 70 процентов, я прочитал об этом не где-нибудь, а в журнале *Вопросы статистики*⁶.

Опора многих статистических подсчетов, особенно на Западе, – опросы населения, на которые с большими оговорками можно полагаться. А вот на так называемые семейные бюджеты в России полагаться ни в коем разе не надо. Причин, по меньшей мере, две – выборка⁷ и, вторая, – опрашиваемые тривиально врут: кто-то не очень понимает, кто-то что-то скрывает, многие по привычке. А ведь ключевые показатели российской статистики основаны на них.

Поскольку это крайне важно, несколько примеров. Самый очевидный – именно на таких опросах основываются данные о доходах–расходах населения, а «...расходы наших граждан превышают их показанные, официальные доходы на треть – цифра из года в год колеблется незначительно»⁸. По оценкам МВД, теневая экономика составляет 40%.

Второй – опросы хуже всего показывают доходы первого и последнего децилей⁹. Между тем в широком ходу так называемый коэффициент фондов, по нему средний доход в первом дециле в 14,8 раза (во точность!) превышает доход в последнем дециле.

Третий. Под заголовком «Субъективный голод» *Ведомости* сообщили в октябре об опросе с замечательным вопросом «За последние 12 месяцев были ли такие времена, когда у вас или вашей семьи было недостаточно средств на питание?» 30% опрошенных ответили утвердительно¹⁰.

Четвертый. Не я первый замечаю, что статистика нищеты Северного Кавказа сильно–явно преувеличена.

⁶ 2005, № 3, с. 52. Специалисты знают, что в России объем розничного товарооборота – основа важнейших статистических показателей.

⁷ Для неспециалистов – в опросах участвуют лишь те, кого удалось уговорить; обязательная ротация не проводится; итд.

⁸ *Эксперт*, 2004, № 16, с. 88.

⁹ Дециль – 10% от выборки. Первый дециль (богатые) таят свои реальные доходы от мытарей и бандитов, последний (бедные) не хотят лишиться социальной помощи. Речь не об олигархах и бомжах, а о попытке сравнить 10 «верхних» (по доходам) процентов населения с 10 «нижними» процентами.

¹⁰ *Ведомости*, 17.10.05.

Пятый. Вот замечательные данные, позвольте вам их представить¹¹.

Количество бедных в процентах от численности населения:

- на основе бюджетных обследований Госкомстата – 55%;
- оценка ресурсов по тем же обследованиям – 47%;
- на основе макробаланса доходов–расходов – 20%;
- мониторинг семей, в которых душевой доход оставался ниже прожиточного уровня в течение 5 лет (застойная бедность) – от 11 до 13%;
- тоже в течение 8 лет – от 6 до 8%.

Я не слишком высокого мнения о российской статистике, но приходится сказать, что по всем опросам в США расходы бедных всегда превышают их доходы; по одному опросу – в шесть раз¹².

В) Методические проблемы

Из главных проблем измерения уровня жизни – измерение экономических результатов затратами, это вообще проклятая наша проблема. Если вещь в два раза дороже, сие отнюдь не значит, что она «объективно» вдвое «лучше». Коли такое было бы верно, то есть если бы результаты равнялись затратам, не было бы экономического прогресса, мы бы жили жизнью первобытных дикарей. Правда, цены, которые при нормальной конкуренции стремятся к затратам, удобны как раз для характеристики потребления, обозначая (в нормальной экономике, при конкуренции) предпочтения потребителей, но это лишь частично верно, так как потребительная ценность возрастает–уменьшается непропорционально затратам¹³.

Как вычленить существенное–нужное–рациональное? Сказать иначе – живем ли мы для исполнения некоторой «объективной цели», или же для получения удовольствий?¹⁴ Близка проблема престижного потребления: действительно ли лучше жизнь того, кто при других равных условиях одевается по новейшей моде? Или – лучше ли живет некурящему? Ответ кажется ясным (кажется – потому, что бросивший курить, как и ограничивающий себя в еде, отказывается от удовольствия), а как, например, насчет вина и, более широко, как расценить отклонение, так сказать, от текущего стандарта? К тому же, мы подсчитываем уровень потребления затратами, но бросивший курить свои затраты снижает.

Любимый мой пример – включать ли в показатели уровня жизни расходы на похороны (против пословицы: часто дешевле прокормить, чем похоронить)? Если да, то кого именно – того, кого хоронят, или же тех, которые хоро-

¹¹ *Эксперт*, 2004, № 16, с. 92 (интервью с Л. Овчаровой).

¹² Stanley Lebergott (*Consumer Expenditures*, N. J, 1996, p. 6) ссылается на отчет Бюро трудовой статистики США.

¹³ Российские переводчики Маркса напрасно употребляли «потребительную стоимость» вместо «ценность».

¹⁴ Иван Александрович Хлестаков: «Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия».

нят? Еще пример – куда отнести (к качеству жизни супруга?) то, что Наталья Николаевна Гончарова считалась первой красавицей Петербурга?

Потребление «вредной» еды вполне может выглядеть (а то и быть – вспомним гонения на сахар–сахарин–яйца–масло–кофе–выпивку, а также как нас в далеком детстве пичкали рыбьим жиром) лучше диеты. То же относится и к одежде, включая презренный галстук (по Фрейду, сексуальный символ), местоположение жилища. Тут, как и во многих иных случаях, выручает спрос – раз он наличествует, значит, не так уж вредно (хотя наркотики!). Вопрос можно поставить и так: что лучше – рационально или же для чистого удовольствия?

В 1982-м, еще при советской власти, ЦРУ опубликовало результаты сравнения советского уровня жизни с американским. Результаты по разным причинам получились, мягко говоря, идиотские, одна из причин – здравоохранение–образование сравнивали по затратам. Советское образование вышло почти таким же как и в США, да и здравоохранение ненамного хуже. Действительно, по числу врачей и количеству койко-дней в больницах СССР опережал США¹⁵. Что касается образования, то напомним недавний нашумевший Шанхайский рейтинг вузов мира.

Далее, прямые международные сравнения в валюте дают очевидно неверные результаты из-за разной структуры цен, поэтому сравнения проводят по так называемым паритетам покупательной способности, ППС. Идея расчетов по ППС выглядит разумной, но практически приходится прибегать к бесчисленным допущениям–условностям, и результаты сравнений оказываются, по меньшей мере, подозрительными.

Попытки справиться с проблемой международных измерений привели к конструированию так называемого индекса человеческого развития. С ним много играют, особенно в ООН, суть – личное потребление «складывают» с показателями, характеризующими образование–здравоохранение–экологию. Показатели здравоохранения–образования–экологии вычисляются по балльным оценкам – безусловно произвольная процедура. Складывают с помощью специальных «весов». Поскольку реальная основа для весов неведома (и вряд ли существует), я не отношусь к индексу всерьез. По нему Норвегия на первом месте, Швеция на втором, а США – на десятом. В Швеции я полгода жил, в Норвегии бывал: не говоря уже о широте выбора в наших и их магазинах и прочем (скажем, треть норвежцев курят), состоятельные норвежцы–шведы посылают детей учиться в наши университеты и ездят к нам на медицинские операции.

Но – всегда эти «но» – днями мы обсуждали проблему с моей дочкой, профессорствующей в Чикаго. Так вот, признавая все то, что я вам сейчас сказал, она говорит, что предпочла бы жить в Норвегии.

¹⁵ Три недели тому назад (я докладывал в начале декабря) мне бесплатно поставили в Вашингтоне так называемый стент, я провел в госпитале менее суток. Мой друг в Москве дважды лежал в лучшем госпитале по 5 дней и заплатил несколько тысяч долларов, первый раз ему сказали, что стент ставить надо, во второй – что не получается.

Г) Некоторые результаты

Немного о динамических и межстрановых сравнениях. Что касается динамики, еще в конце 1997 мы с Л. Пияшевой определили, что российские граждане живут лучше, чем советские¹⁶. Тогда нам возражали практически все, но, так сказать, из общих соображений, убедительных аргументов против нашей точки зрения не было.

С тех пор средний уровень жизни после замечательного дефолта упал, а теперь приметно превзошел уровень 1997-го, не могу сказать – насколько, но заметно.

Говоря относительно межстрановых сравнений, Россия отстает от США раз в 10, если не больше. Почему так сильно? Из-за катастрофического состояния российской статистики сколько-нибудь точные измерения личного потребления практически невозможны, к тому же показатели валовой продукции дают лишь косвенное представление о нем. Все же, при сравнении с США, притом что американский ВВП переваливает за 13 трлн дол. (вместе с Японией экономика США дает 40% мирового производства), составляет ли российский ВВП 300 или аж 600 млрд дол. (первое, думаю, ближе к истине), не принципиально важно – масштаб отставания грандиозен, и нет никаких шансов его преодолеть за ближайшие десятилетия. Да иного и быть не может, удивительно было бы более скорое преодоление последствий строительства социалистической экономики на гранитной основе всесильного марксистско-ленинского учения.

Говоря конкретнее, наверное, наименьшее отставание по еде–одежде, но еда–одежда занимают все меньший удельный вес в американском потреблении, что-то порядка 15%. Думаю, что отставание по количеству калорий если и есть, то невелико, основные проблемы с качеством – Россия медленно перестает быть «страной вечнозеленых помидоров» (Жванецкий). Расскажу о моем личном опыте с качеством весьма массовой продукции. Полвека назад (срок давности кончился) я гнал в Москве самогон. Как-то узнал, что чистить продукт надо марганцовкой. Насыплешь несколько кристалликов, выпадает осадок, бережно сливаешь – сивухи меньше. Гнать самогон я скоро перестал, но научная любознательность привела к эксперименту – бросил несколько кристалликов в водку. Результат тот же – выпадает осадок, водка чище. Потом я эвакуировался в Америку и как-то увидел марганцовку в русском магазине (в других местах ее нет). Купил, насыпал сдуру сразу в большую бутылку дешевой американской водки, она чуть ли не год стояла – никакого осадка.

Что касается одежды, то Москва одевается неплохо, почти как работающие негры в США, да и провинцию не вдруг отличишь от Москвы.

Очень сильно Россия отстает по жилью и по инфраструктуре. При среднем размере семьи 2,6 чел. средняя площадь американского индивидуального дома достигла 258 кв. м, то есть 100 кв. м на душу¹⁷. В России – 20 кв. м на душу. Не

¹⁶ Игорь Бирман и Лариса Пияшева (известный экономист времен перестройки и после, умерла в 2001). *Статистика уровня жизни населения России*. М., 1997.

¹⁷ *Financial Times*, 22.08.05, p. 1.

забудем и состояние–качество жилья. Упомяну также дороги – общая длина американских дорог более 6 млн км, в России – раз в 10 меньше при большей территории и опять-таки несравнимом качестве. Кстати, в *Онегине* написано:

Лет чрез пятьсот
Дороги, верно
У нас изменятся безмерно.

Пока прошло менее 200 лет.

И, конечно, более всего Россия отстает по жизни стариков, американские старики – наисостоятельная часть населения. То, чего практически нет в России, – последние годы жизни люди доживают в домах для стариков. Не утешает недавняя статья Т. Малковой в *Московских новостях*, что самыми бедными стали не старики, а дети.

Показатель личного потребления характеризует некоторый средний уровень, однако важно и как разнятся всякие группы населения, особенно если богатых не единицы. Исследователи, причем не только в России, сосредотачиваются не на среднем уровне жизни, не на том, как все люди живут, а главным образом на неравенстве, на страданиях меньшинства. Не считаю, что общество не должно заботиться о бедных, но две с половиной тысячи лет назад Перикл сказал: «в бедности у нас (то есть в Греции) не постыдно признаваться, а постыдно не выбиваться из нее трудом».

Неравенство старо, как мир, бедные были всегда и, наверное, будут. Равенство исходных возможностей сглаживает неравенство (в демократических странах часто поднимаются из грязи в князи), но не разрешает социальную проблему. Полное уравнивание уровня жизни не только недостижимо, но и неразумно, так как съедает необходимые для общего прогресса стимулы (мы корыстны). С другой стороны, чрезмерная социальная дифференциация, когда значительная часть населения бедствует при роскоши немногих, чревата Разными–Пугачевыми–Лениными и иными Че Геварами, хотя трудно установить, за какой степенью дифференциации следует взрыв. Если и не говорить о справедливости (это не экономическая категория), по меньшей мере, политически необходимо удовлетворять хотя бы минимальные базовые нужды всех¹⁸.

Принципиальное, фундаментальное отличие нынешних времен – раньше основная часть населения была бедна, теперь в нормальных государствах в бедных состоит, так сказать, подавляющее меньшинство, которое живет за счет основной массы населения. Общепринятого определения – что это такое, кто входит в средний класс – нет. По-моему, это люди с собственностью, пусть небольшой, но собственной. К собственности надо отнести и искусство врача, и квалификацию учителя. Разумеется, здесь, в этой комнате, присутствует средний класс.

¹⁸ Замечу, что звонкая фраза: «богатые становятся богаче, а бедные – беднее» редко верна. Вернее сказать, что богатые увеличивают свое богатство быстрее, но практически всегда растет и благосостояние бедных. Во всяком случае, в нормальных странах.

Д) Куда идем

Переходя к последнему разделу, с огорчением повторю, что нынешнее поколение россиян далеко не дойдет до американского уровня. Как преодолеть отставание – не моя тема, все же скажу, что уже более 15 лет я долдоню одно и то же – нужен средний класс. Не хочу ввязываться в политические дискуссии, но скажу, что российское правительство – прежде всего товарищи Кудрин, Греф, Игнатьев проявили убедительную бесталанность: не использовали уникальную возможность – рост мировых цен на нефть. Увы, от умственной импотенции виагры нет.

Что касается показателей уровня жизни, последний раздел моей книги называется *Бессилие экономической науки*. Как врачи, увы, сами не живут дольше других, так и экономисты – опять увы, не самые богатые, мы не лучше врачей. Значит ли это, что надо просто перестать измерять? Нет, но надо вдумчиво относиться к результатам измерений, не путать–пугать людей очевидно неправильными числами, избегать сложных концепций–показателей, не лениться оговаривать – какие условности приняты при расчете показателя. И максимально пользоваться здравым смыслом.

Оставшиеся несколько минут употреблю на нечто связанное с уровнем жизни. Во-первых, льготы. По-моему, монетизация льгот есть совершенно верная идея, другое дело, что попытка провести ее была проделана не лучшим образом. Не проявился ли тут гений Гайдара? По справедливости, монетизация льгот (а то и ликвидация многих льгот – зачем, к примеру, в Вашингтоне старикам–старухам скидка в метро?) нужна везде.

Выплата пенсий государством за наш же счет, то есть у нас берут, а потом часть возвращают – не наилучшая идея. Надо, чтобы человек сам заботился о своей старости. Увы, даже в США попытка дать для начала возможность людям самим распорядиться четвертью отчислений на старость не прошла через Конгресс.

Во-вторых, многие проблемы в России упираются в, так сказать, наименее оптимальную систему налогов. Система заставляет скрывать доходы, пыльным цветом развилась преступность, всеобщая коррупция, ни к черту не годится статистика. Мне очевидно – надо резко снизить все ставки налогов, сделать их такими, чтобы честная уплата налогов была сравнимой с немалыми расходами по их сокрытию. Говорят, что сумма собираемых налогов в первое время сократится. Как раз на это надо обратить громадный стабилизационный фонд.

А если собираемая сумма и сократится, пусть это поведет к сокращению крапивного семени.

Последнее. Я немного знаком с Мишей Брином, недавно он рассказал, как в 1990 привез сына в Москву, на второй день тот ему сказал: «Папа, спасибо, что ты увез меня отсюда». В 1997-м сын основал Google. Рассказываю не потому, что личное состояние Сергея Брина оценивается в 11 млрд дол., а потому, что 5 работников компании стали миллиардерами, а 1000 – миллионерами. В долларах.

Сравните с Абрамовичем – папы, который увез бы его, не было, новую систему компьютерного поиска не изобрел, тысяча его служащих миллионерами не стали, купил «Челси».

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ С АХМАДИНЕДЖАДОМ

Новейшая история изобилует стремительными изменениями геополитических ситуаций – достаточно вспомнить падение Берлинской стены или атаку на «близнецы» в сентябре 2001 года, – и всем очевидно, что сейчас мир переживает один из таких фундаментальных поворотов, быть может, самый судьбоносный. Именно сейчас, с появлением радикальной исламской коалиции во главе с Ираном, а не раньше, в момент вторжения западной коалиции в Ирак, обозначилась реальная угроза «войны культур», и западный мир занят сегодня поиском причин, извлечением уроков и оценкой перспектив. Пока, увы, преобладают пессимистические выводы.

Большинство комментаторов видит главную причину ухудшения ситуации в стратегической ошибке американских политиков, которые оказались в плену близорукой и безответственной «теории демократизации» Ближнего Востока. Начатая ради этой призрачной цели война привела к прямо противоположным результатам. Своей военной победой в Ираке Соединенные Штаты расчистили региональное пространство для возникновения радикальной исламской коалиции, а своей программой демократического реформирования ислама способствовали приходу этой коалиции к власти. Если неоконсервативные советники президента Буша и оказались правы, утверждая, что можно экспортировать формальную демократию и институт свободных выборов в исламский мир, то они допустили роковую ошибку, не поняв, что **«в мире ислама, – как это четко сформулировала газета "Asian times", – больше свободы означает больше фундаментализма»**. «Содержимое реторты выплеснулось прямо в лицо экспериментатору, – пишет обозреватель Джеймс Гланц в статье "Экспорт демократии" в газете "Геральд трибюн". – Президент Буш, который так усердно рекламировал демократию

и свободные выборы как панацею от всех ближневосточных бед, получил то, на что напрашивался: свободные выборы в Палестинской автономии принесли победу ХАМАСу. Если вспомнить аналогичные избирательные успехи других фундаменталистов региона, – продолжает Гланц, – то возникает сомнение, могут ли эти угрозы, нависшие над миром **сегодня**, компенсироваться отдаленными и весьма проблематичными выгодами пресловутой демократизации. Способен ли однократный укол демократической вакцины остановить те силы, которые он неизбежно пробуждает? Можно ли загнать джинна обратно в бутылку, отстранить ХАМАС от власти, удержать авторитарные режимы в Египте, Иордании, Бахрейне, Кувейте от падения в случае свободных выборов. Соединенные Штаты вряд ли сумеют остановить этот процесс, едва лишь он начнется. Их недавний опыт в Латинской Америке уже показал, что попытка помешать приходу к власти радикальных – прежде всего, левых – движений только усиливает их.

Уже упомянутая выше «Asian times» в своей постоянной колонке «Шпенглер» вторит нью-йоркской газете: «Американская внешняя политика исходила из надежды, что на руинах хусейновского Ирака поднимется современный и демократический ислам, а институты демократии позволят прежде оттесненным на обочину шиитам приобщиться к религиозному плюрализму. Увы, факты говорят о противоположном: не секулярные шииты, а проиранские шиитские партии победили на выборах в Ираке; "Мусульманские братья" в четыре раза усилили свои позиции на выборах в Египте; ХАМАС победил на выборах в Палестинской автономии; "Хизбалла" стала самой мощной политической и военной силой в Ливане; и, что самое главное, – Махмуд Ахмадинежад победил своего прагматичного оппонента на прошлогодних выборах в Иране».

Победы радикалов способствовали росту наступательных настроений в исламском мире. Эти настроения ярко проявились как в недавних бунтах мусульманской молодежи во Франции, так и в массовых бесчинствах в ходе так называемого «карикатурного конфликта». Все более очевидной становится пронизательная правота слов папы Бенедикта XVI: «Мусульмане сейчас полагают, что они являются самой существенной религиозной силой будущего. Перед лицом глубоких моральных противоречий Запада и в силу его внутренней беспомощности – которой неожиданно стала противостоять новая экономическая мощь арабских стран, – исламская душа пробудилась. Появилось усиленное чувство идентичности, новое самосознание: "Наша религия прочно стоит на ногах, ваш же удел – отступление..."» В отличие от теоретиков «демократического реформирования» ислама, папа римский глубоко пессимистичен: **ислам нельзя реформировать**: «Коран это тотальный религиозный закон, который регулирует всю политическую и социальную жизнь и настаивает на том, чтобы весь образ жизни был исламским. Это не просто еще одна религиозная конфессия, которая может быть включена в свободное царство плюралистического общества... В исламской традиции Бог передал Мохаммеду свои слова, Коран, но это Его вечные слова, а отнюдь не слова

Мохаммеда. Поэтому они должны вечно оставаться такими, и у мусульман нет возможности изменить их или дать им более современное толкование, в то время как в христианстве и иудаизме динамика совсем иная – здесь Господь работает через людей: через Матфея или через Исаяю, например».

Четко обозначившаяся центральная роль Ирана в лагере радикального исламизма и его явное стремление к конфронтации с Западом побуждают вдумчивых обозревателей к анализу целей и возможностей иранского режима. В этой связи «шпенглеровская» колонка газеты «Asian times» напоминает о недавнем высказывании президента Ахмадинежада на встрече с религиозными студентами (5.1.06): «Ислам не связан географическими или этническими границами. Это универсальная идеология, которая ведет мир к справедливости. Мы не стыдимся провозгласить, что ислам готов править миром. Мы должны подготовиться к тому, чтобы править миром». Эти слова, отмечает газета, нельзя сбрасывать со счета как демагогическую браваду или религиозную демагогию. За ними стоит вполне реальная, хотя и авантюрная цель, продиктованная отчаянными обстоятельствами. «Иранский президент спешит, и тому есть веские причины, – говорится в статье "Демография и имперские претензии Ирана" ("Asian times"). – В 2050 году старики будут составлять примерно треть населения Ирана. Это приближается к ситуации в европейских странах и США, но одно дело решать такую проблему в стране, где производство на душу населения составляет 44 тысячи долларов в год, а другое – в стране, где оно составляет 7500 долларов, где доходы от нефти должны снизиться до нуля уже к 2020 году, а пенсионная система отсутствует напрочь... У Ирана остается чуть больше одного поколения до встречи с этой опасностью, и понимание такой угрозы заставляет Ахмадинежада спешить, в том числе и с созданием иранской атомной бомбы. В своей предвыборной программе 2005 года он сформулировал поистине мобилизационные задачи, стоящие перед Ираном в ближайшем будущем: ликвидация 50 тысяч деревень из существующих 60 тысяч, переселение в города 30 миллионов иранцев, передача государству всех основных функций в области здравоохранения, образования и культуры, введение жесткого контроля над радио, телевидением и интернетом, введение централизованного планирования и управления экономикой... Ахмадинежад хочет превратить Иран в региональную сверхдержаву», и тогда Сирия, Ливан и хамасовская Палестина естественным образом образуют пояс ее спутников.

Запад ошибается, продолжает «Шпенглер», когда в своих стратегических (как политических, так и военных) расчетах исходит из представления об исламском мире как об огромном пространстве сплошного застоя, отсталости и раздраженного бессилия. Эта ошибка может привести к таким же тяжелым последствиям, чреватым масштабными проблемами, что и надежды на блага демократизации Ближнего Востока. «В лице нынешнего Ирана Западу противостоит не средневековый ислам, а его вестернизированная версия, быстро трансформирующаяся в тоталитарную политическую идею

логию. В лице Ахмадинежада Запад имеет дело с исламским лидером, который обладает достаточной хитростью и силой, чтобы обратить себе на пользу все ошибки западных политиков. До него Иран, с его 15% инфляции и 11% безработицы, казался таким же уязвимым и безвредным, как, скажем, Германия начала 1933 года, перед приходом Гитлера к власти. Запад недооценил могучую поддержку, которую оказали Ахмадинежаду сельские массы и жители тегеранских трущоб. Новому президенту понадобилось всего несколько месяцев, чтобы справиться с диссидентами и умеренными политиками, назначить сотни своих товарищей по Революционной гвардии на руководящие посты и сменить 40 иранских послов. Гитлеру тоже понадобилось всего несколько месяцев, чтобы шагнуть в канцлеры Германии».

«Подобно Гитлеру, – развивает свою аналогию "Шпенглер", – нынешняя дерзость иранского президента порождается сознанием, что ему уже нечего терять. Экономическое и демографическое положение иранского режима в дальнем плане безнадежно. Но точно таким же было положение Германии в 1933 году, и Гитлер понимал это куда лучше других. Всего лишь через 3 недели после того, как он развязал Вторую мировую войну вторжением в Польшу, он сказал своим военным: "Нам нечего терять, но мы можем многое выиграть. В результате наложенных на нас санкций мы не можем продержаться больше нескольких лет. Боевой дух немецкого народа великолепен, со временем он может только ослабевать". Гитлер знал, что немецкая экономика в одиночку не потянет войну, но он рассчитывал на индустриальную мощь Западной Европы, плодородные земли Восточной Европы и нефть Румынии. Аналогичные расчеты движут и Ахмадинежадом. Заполучив ядерное оружие, он рассчитывает легко подчинить себе Ирак с помощью набирающего там силу шиитского большинства, особенно в случае ухода американских войск из этой страны, что неминуемо приведет к ее распаду и гражданской войне. Он планирует так же легко захватить контроль над западной частью Саудовской Аравии, где сосредоточены ее главные нефтяные запасы, потому что большинство населения там составляют шииты. У Ирана прекрасные отношения с Азербайджаном, который некогда был частью Персидской империи. Режим Баку поддерживает иранскую ядерную программу и сотрудничает с Ираном в области добычи нефти в Каспийском море. **Превратив Иран в ядерную державу, Ахмадинежад планирует захватить контроль над всей нефтью Ближнего Востока».**

Возможные последствия такого развития событий для Ближнего Востока и мира в целом впечатляюще рисует известный английский историк Нил Фергюссон (автор книги «Колосс, или Оценка американской империи») в статье «Причины великой войны 2007 года», опубликованной в газете «Дейли телеграф». Предлагая читателю представить, как опишет будущий историк истоки возможной мировой войны, развязанной Ираном, Фергюссон говорит: «Первой причиной войны была важность региона как источника нефти. С одной стороны, все прочие нефтяные запасы мира быстро иссякали, с

другой – головокружительно быстрый рост экономики Индии и Китая вызвал огромный рост спроса на горючее. Второй предпосылкой войны была демография. В то время как рождаемость в Европе уже в 1970-х годах упала ниже уровня воспроизведения, падение рождаемости в исламском мире шло куда медленней. В частности, в Иране после исламской революции, снизившей разрешенный брачный возраст и запретившей противозачаточные средства, к 1995 году две пятых населения составляли подростки в возрасте 14 лет и моложе, которые к 2007 году уже были готовы воевать. В том же 1995 году население Ирана превзошло население Британии. Третьей и, возможно, самой важной причиной войны были культурные факторы. Начиная с 1979 года не только Иран, но и большую часть исламского мира, от Марокко до Пакистана, захлестнула волна религиозного подъема, противоположная процессу секуляризации, происходившему в западных странах. Идеологический коктейль, именуемый исламизмом, был таким же крепким, как самые радикальные европейские идеологии XX века – марксизм и фашизм. Исламизм был антизападной, антикапиталистической и антисемитской идеологией».

Переломным моментом для будущего историка, по Фергюссону, наверняка покажется декабрь 2005 года, когда президент Ирана объявил Катастрофу европейского еврейства мифом, а Израиль – «позорным пятном», которое надо «стереть с карты мира». «До этого исламисты могли вести войну со своим противником только с помощью террора, но теперь Ахмадинежад решил вооружить их чем-то более серьезным, чем "пояса смертников". Его решение ускорить иранскую программу ядерного вооружения имело целью получить возможность лишить Соединенные Штаты их главного регионального союзника на Ближнем Востоке. В других обстоятельствах намерения Ирана нетрудно было бы сорвать – Израиль уже показал однажды свою способность нанести авиаудар по ядерному реактору, а неоконсервативные советники президента Буша уже с 2006 года рекомендовали ему нанести такой же удар американскими ВВС. Однако по совету государственного секретаря решено было искать дипломатическое решение. США опасались повторения истории с Ираком. Европейские страны полагали, что Ахмадинежад только блефует и запугивает. Единственный человек, который мог бы переубедить президента Буша – Ариэль Шарон, – был выведен из строя обширным инсультом... Кончилось тем, что даже санкции на Иран не удалось наложить из-за вето Китая в Совете Безопасности».

«История повторилась, – грустно вздохнет, если верить Фергюссону, будущий историк. – Западная политика умиротворения дала Ирану достаточное время для создания ядерного оружия. Вскоре ядерные ракеты Тегерана были нацелены на Тель-Авив. В свою очередь, аналогичные ракеты в Израиле были ориентированы на Тегеран. Оптимисты все еще надеялись на повторение того, чем закончился Кубинский кризис. Продолжались лихорадочные челночные перелеты американского госсекретаря из столицы в столицу. Но было уже поздно. Разрушительный обмен ядерными ударами в августе 2007 года ознаменовал не только крах дипломатии, но и конец ста-

рой эры. Некоторые говорят даже, что он ознаменовал начало подлинного заката Запада. Поднявшиеся шиитские массы захватили американские базы в Ираке, и Китай пригрозил вмешаться в конфликт на стороне Тегерана. Здесь не место обсуждать дальнейший ход войны 2007–2011 годов. Но нельзя не задаться вопросом: не могла ли стратегия превентивного удара предотвратить ядерное вооружение Ирана ценой минимальных потерь? В этом случае Великая война в Заливе никогда бы не произошла».

Но возможно ли действительно остановить Иран с помощью американского превентивного удара? Журнал «Atlantic Monthly» опубликовал обширную статью Джеймса Фоллоуза «Будет ли Иран следующим на очереди?», в которой рассказывается о военно-стратегической игре, проведенной американскими специалистами для оценки реальной возможности и вероятных последствий такого превентивного удара. Эта игра имела целью решить, как должен действовать американский президент, получив данные о том, что Иран приближается к красной черте – созданию и быстрому наращиванию ядерного арсенала. Специальный комитет, в котором отдельные специалисты играли роли директора ЦРУ, госсекретаря, начальника Объединенного комитета начальников штабов и министра обороны, должен был оценить надежность этих данных и дать президенту соответствующие рекомендации. Следовало учесть при этом также ряд неизвестных факторов, начиная с намерений иранского руководства и возможных превентивных действий Израиля. Ясно было, что эти действия, в свою очередь, тоже будут зависеть от ряда неизвестных факторов, поскольку израильское руководство вряд ли будет точно знать, сколько и каких важнейших иранских ядерных объектов необходимо уничтожить, где они расположены и можно ли разбомбить достаточное их число, чтобы оправдать возможные военные и политические последствия такого шага. В результате обсуждения взгляды участников военно-стратегической игры разделились. Большинство пришло к выводу, что нынешние угрозы Израилю нанести превентивный удар по иранским ядерным установкам имеют целью оказать давление на Соединенные Штаты и принудить их самих к нанесению такого удара. При этом, по мнению того же большинства, у Израиля нет необходимых технических возможностей для эффективной ликвидации всех иранских ядерных объектов.

«Что касается возможных действий США, – пишет журнал, – то в ходе игры взвешивались три военных сценария: а) превентивный, с целью устрашения, удар по базам Революционной гвардии; б) воздушный налет – для уничтожения иранских ядерных установок; в) вторжение с целью смены режима. Каждый из первых двух сценариев может быть осуществлен сам по себе, тогда как третий требует предварительного осуществления обоих первых. Первый имеет то преимущество, что он легко исполним и не содержит особого риска, поскольку все цели заранее известны. Второй сценарий – тот же, что ранее был сочтен слишком трудным для израильтян. По оценкам разведки, соответствующих целей атаки насчитывается не менее 300, причем

125 из них оцениваются как связанные с производством ядерного, биологического или химического оружия. С военной точки зрения это тоже операция минимального риска, требующая не более пяти дней для реализации».

Наибольшие споры, продолжает журнал, вызвал третий сценарий. По мнению военных, на этот раз, в отличие от Ирака, американские войска не должны оставаться в стране после реализации всех своих задач. В течение 30 дней они должны выйти на подступы к Тегерану, уничтожить там основную часть иранской армии, занять передвижными отрядами Тегеран, привести к власти прозападный режим и немедленно покинуть Иран, ни в коем случае не ввязываясь в процесс послевоенной стабилизации». Как пишет Фоллоуз, исполнитель роли начальника Комитета начальников штабов сформулировал этот план в истинно лапидарном виде: «Быстро войти, сменить режим, поставить замену ему и быстро уйти, уничтожив или приведя в нерабочее состояние все ядерные установки» – что вызвало бурную реакцию остальных участников игры: «Как можно говорить о реальности такого блицкрига после чудовищного урока иракской войны?» Последовал весьма показательный ответ: «С военной точки зрения, все, что начинается после завершения военных операций, имеет второстепенный характер. Если нужно сделать что-то еще, этим должны заниматься другие».

Наибольшую опасность, по мнению военных, может составлять реакция Ирана. Иранские руководители наверняка сочтут любые, ставшие известными приготовления США к превентивному удару достаточным поводом для разжигания кампании антиамериканской ненависти и интенсификации террористических действий во всем мире. Особые возражения вызвал второй сценарий. Мнение большинства участников игры свелось к следующему. «Мы не знаем всех мест, где ведутся ядерные разработки, и не можем быть уверены, что наверняка сумеем их разбомбить. В случае атаки, которая ликвидирует только часть этих установок, процесс наращивания иранского ядерного арсенала будет всего лишь замедлен, меж тем как США окажутся перед угрозой полномасштабного иранского возмездия, в том числе общеисламской нефтяной блокады. И если даже мы замедлим этот процесс на год, что мы будем делать через год? Может быть, такой сценарий имеет малый военный риск, но его стратегический риск огромен».

Возражения вызвал и третий сценарий. «В сравнении с Ираком, Иран имеет в три раза большее население, в четыре раза большую площадь и впятеро большие производственные мощности. У нас просто недостаточно сил, чтобы осуществить там смену режима и гарантировать его устойчивость».

«По окончании игры, – пишет Фоллоуз, – сформировалось следующее общее мнение. Имеется полное согласие по поводу того, что Иран стремится заполучить ядерное оружие, и, если его не остановить, он им обзаведется. Точно так же имеется общее согласие в вопросе о военных возможностях США. Американские войска могут нанести превентивный удар по Ирану или осуществить вторжение в эту страну, но в дальней перспективе ни одна из этих военных операций не даст нужного результата. Кроме того,

они содержат явный и скрытый риск. Явный риск связан с тем, что у США нет достаточного количества войск и техники, чтобы воевать в Иране, не уйдя из Ирака. Внутриамериканские и международные протесты будут масштабными. Скрытый риск связан с тем, что иранское правительство наверняка будет знать о готовящемся нападении и примет свои меры. В отличие от Ирака, Иран имеет много возможностей нанести серьезный ущерб американским интересам – нефтяной бойкот; военно-стратегический союз с "Аль-Каедой", затяжная война на своей территории и т. п. Еще больший риск сопряжен со сценарием превентивного удара по иранским атомным установкам, прежде всего потому, что иранская ядерная программа продвинулась куда значительно, чем в свое время иракская, а у американцев нет возможности обнаружить все необходимые объекты и нет уверенности в том, что их можно надолго вывести из строя. Поэтому превентивный удар может замедлить создание иранского атомного оружия в лучшем случае на три года ценой еще большего ожесточения и сплочения иранского народа и всего исламского мира в едином антиамериканском фронте. В этом случае в будущем возможно даже нанесение ядерного удара по Соединенным Штатам».

И те же трудности, считают участники игры, делают почти неосуществимым и практически неэффективным израильский превентивный удар по Ирану, особенно учитывая, что Израиль располагает меньшими техническими возможностями, чем США, его удар нанесет меньше ущерба, а ответная реакция Ирана и его союзников будет много более опасной.

Как заявил руководитель игры, «все это означает, что американский президент должен понимать, что он не может "взять и объявить" войну Ирану. Это не значит, что он не должен угрожать войной. Угрозы – обязательная часть процесса переговоров. Кроме того, есть обстоятельства, когда можно пойти и на рискованные действия. Однако на данный момент выигрышного военного варианта решения проблемы не существует. Дело нужно предоставить дипломатам».

В отличие от американцев, занявших в нынешнем иранском конфликте – возможно, под влиянием такого рода соображений – более сдержанную (в смысле военных угроз) позицию, в Европе осознание реальности иранской угрозы вызвало необычайную сплоченность. Реакция европейских руководителей достаточно четка и резка. Президент Ширак намекнул Ирану на наличие у Франции ядерного арсенала; глава Атомного агентства ООН Мохаммед аль-Барадаи заявил, что попытка Ирана заполучить атомную бомбу может быть «в крайнем случае» остановлена военной силой; министр обороны ФРГ сказал, что военную опцию нельзя исключить, и самая массовая немецкая газета «Бильд» поместила фото иранского президента с челкой и усами Гитлера под вопросительным заголовком: «Не грозит ли Иран свергнуть мир в новую пропасть?» Иран, однако, именно Европу считает более слабым звеном возможной западной антииранской коалиции. Расчеты иранского руководства строятся на том, чтобы в преддверии предстоящей конфронтации заранее за-

пугать и расколоть европейское общественное мнение. Английский обозреватель Гартон Тимоти Аш считает, что недавние, хорошо скоординированные бунты мусульманской молодежи во Франции, как и срежиссированный Ираном и оркестрованный Сирией внезапный и одновременный взрыв «стихийных протестов» мусульманских масс против опубликованных за полгода до того карикатур на Мохаммеда, были направлены именно на эту цель.

Расчеты Ирана не вполне иллюзорны. Мусульманские бунты уже заставили ряд политологов и аналитиков задуматься над степенью готовности Европы к решительному противостоянию угрозе исламизма внутри и извне. По мнению профессора Теодора Дальримпля, опубликовавшего на интернетском сайте «Раскованный Катон» статью «Обречена ли Старая Европа?», европейская ситуация оставляет желать много лучшего. «Над Европой нависло ощущение надвигающейся катастрофы, – пишет автор. – Задним числом XX век кажется теперь протяжным удаляющимся ревом континента, находящегося – при всем росте своего материального благополучия – в состоянии глубокого экзистенциального неблагополучия и упадка». Главной причиной нынешнего упадка Европы, считает Дальримпль, является ее «одержимость» социальной безопасностью, которая, в свою очередь, связана с подспудным страхом перед будущим. Этот страх порождает открытая экономика, с ее незащищенностью рабочих мест, неустойчивостью акций, зависимостью от внешних рынков и прочими неожиданностями того жерода. Гонимые страхом, люди ищут гарантии на государственной службе, в государственных пенсионных фондах и т. п. и, в конечном счете, попадают в зависимость от государства и его институтов. По данным газеты «Либера-сьон», три четверти французов теплее относятся к социализму, чем к капитализму, и три четверти французской молодежи мечтают устроиться на государственную службу. Все это порождает психологию эгоистического индивидуализма. Европейские граждане и европейские страны становятся все более равнодушными ко всему, кроме личной и национальной безопасности. Общим настроением становится: «После нас – хоть потоп». «С другой стороны, – говорит автор, – в европейской культуре последних десятилетий всё большую силу набирает взгляд на европейское прошлое как на непрерывную череду колониальных захватов и эксплуатации, кровопролитий и несправедливости по отношению к народам Африки и Азии. Эта извращенная мода, энергично проповедуемая постмодернизмом, лишает европейского человека возможности гордиться своим прошлым и верить в творческие достижения и потенции своей культуры и, напротив, – возвращает чувство вины, проявляющееся в том, что перед наплывом эмигрантов двери страны широко распахнуты. И тут опять возникает парадоксальная обратная связь, потому что отсутствие у коренного населения уверенности в ценностях своей культуры становится препятствием для интеграции в эту культуру все новых иммигрантов. В результате иммигрантское гетто, лишённое этого европейского комплекса вины и скептицизма, постепенно начинает считать свою культуру более привлекательной, динамичной и перспективной, чем

культура народа-хозяина. В этих условиях единственным, что объединяет этносы, живущие в одной стране, остается география, а единственным видом диалога о путях сосуществования становится гражданский конфликт».

Откликаясь на анализ Дальримпля, Эд Лисколл на том же сайте пронизательно замечает, что все названные автором беды Европы говорят о тяжелой духовной болезни, которая состоит в утрате того, что «древние греки называли "тумос" – страсть, пассионарность, воодушевление, а также готовность сражаться за сохранение своих ценностей и убеждений, – все то, что характерно сегодня – хотя и в извращенной форме – для исламского мира. Тумос, – говорит Лисколл, – несовместим со стазисом, но европейцы все еще полагают, что могут иметь все одновременно – динамичную экономику и щедрую социальную защиту, миллионы мусульманских иммигрантов и мультикультурализм, постмодернистское общество и чувство национально-коллективизма. Европа уклоняется от выбора между этими альтернативами, предпочитая жить в мире иллюзорной устойчивости и благополучия, хотя ее общество дряхлеет и распадается буквально на глазах. Арнольд Тойнби когда-то сказал, что "цивилизацию не убивают – она кончает самоубийством". Общество, не сдерживаемое обручами единой традиции, связями обычаев и общим чувством идентичности, идет к социальному самоубийству. Но о какой общей идентичности можно говорить, когда все возрастающие миллионы мусульманских иммигрантов не желают признавать культурные ценности коренного населения, и в Британии сегодня больше людей в пятницу посещают мечети, чем в воскресенье – церкви. Бездействие европейцев перед лицом этих изменений равносильно культурной капитуляции». Обычно за ней следует капитуляция физическая.

Ту же тему угрожающего Европе цивилизационного самоубийства развивает Марк Штейн в статье «Это демография, болван!», опубликованной в журнале «The New Criterion». «Если мы воюем, то с чем? – спрашивает автор. – Явно не с исламом. Исламизм – как СПИД: он знает, что не может победить нас напрямую, и ждет, пока наш ослабленный мусульманской иммиграцией организм прикончит какая-нибудь другая болезнь. В нашем случае эта болезнь называется утратой цивилизационной уверенности. Наша "прогрессивная" повестка дня: жирный велфер, аборт, секуляризм, мультикультурализм и тому подобное – это путь к коллективному самоубийству. Возьмите хотя бы мультикультурализм. Самое замечательное в нем – это огромная любовь к чужим культурам при полном невежестве, непонимании этих культур. Почему-то все эти пылкие ревнители равенства африканской и европейской культур жить предпочитают все-таки не в Африке, а в Европе. Это, однако, не мешает им оправдывать исламский терроризм. Как сказала баронесса Хелен Кеннеди после событий 11 сентября: "Почему вы во всем обвиняете исламских фундаменталистов? Наш фундаментализм ничем не лучше"».

Джихадистам, развивает свою мысль автор, незачем нападать, им достаточно идти за нами, как за лунатиками, бредущими к обрыву. «Мы и есть настоящие лунатики, потому что не замечаем опасности под ногами. Пото-

му что главная опасность, угрожающая Европе, – не война, не истощение ресурсов, не экономический застой, не экологическая катастрофа или глобальное потепление, а "демография, болваны!" Секулярное общество вельфера может существовать только при рождаемости на уровне религиозного общества строгой экономии. Но единственное западное общество, в котором рождаемость находится чуть-чуть выше уровня, необходимого для превышения смертности, это США – 2,1 ребенка на женщину. В Ирландии это 1,87, в Германии и Австрии 1,3, т. е. на грани вымирания, в России и Италии ниже этой грани – 1,2, в Испании – 1,1, что означает, что население этой страны с каждым поколением сокращается наполовину. А, между прочим, в Сомали рождаемость составляет 6,91 ребенка на женщину, а в Афганистане – 6,78. И вот результат: с 1970 до 2000 года доля развитого мира в населении земного шара упала с 30 до 20%, а доля мусульманских стран выросла с 15% до тех же 20%. А что будет в 2020-м?»

«Мир сегодня стал намного более мусульманским и намного менее западным, – заключает автор. – Но и сам Запад (Европа) за это время принял к себе около 20 млн мусульман, что равно населению Ирландии, Бельгии, Дании и Эстонии, вместе взятых. Чем закончится этот процесс? Общество, которое не имеет детей, не имеет будущего. Оно следует обычному пути всех погибших цивилизаций – изобилие, вялость, упадок, исчезновение. Где-то к середине века в мире будет около 500 млн американцев, но в Европе будут жить только старики – или мусульмане. Если европейские политики не предпримут серьезных усилий, чтобы отказаться от неподъемной для экономики 35-часовой рабочей недели, ухода на пенсию в 60 лет и нынешнего уровня социальных и медицинских выплат, им придется импортировать столько рабочих-иммигрантов, что к 2035 году большинство европейцев будут составлять мусульмане. Может ли общество, демографически все более исламское, не стать исламским также политически? Если Европа не обретет новую волю к жизни и к сопротивлению, можно с уверенностью сказать, какое будущее ожидает современную плюралистическую либеральную демократию».

В сегодняшней западной мысли явно преобладают пессимистические и даже трагические тона. Это, несомненно, навеяно тем бесспорным фактом, что изменения, долго и исподволь назревавшие в мире, на переломе 2005–2006 годов внезапно соединились в новую и довольно угрюмую реальность. Положение, в котором оказалась западная цивилизация перед лицом исламской угрозы, действительно, серьезно и может стать еще хуже, если Запад срочно не предпримет решительные и во многом мучительные и нетрадиционные меры. Но для этого нужно стряхнуть с себя благодушие, расстаться с иллюзией, что на наш век хватит, и восстановить подлинную иерархию приоритетов. Мрачные статьи западных журналистов, порой нарочито сгущая краски, призывают к такому осознанию. Они заставляют заново вслушаться в слова поэта: «Как мелки с жизнью наши счета, как крупно все, что против нас...»

НАД
ТЕКСТОМ...



специалист по информационным системам, переводчик. Печатался в журналах «Multilingual Computing» и «The ATA Chronicle», а также в русскоязычных изданиях в Израиле. Живёт в США.

МАРЦИАЛ ИЛИ ГОРАЦИЙ?

Ах, если б мы вели речь!
Ведь это речь ведет нас...

Евг. Батраков

Что может дать фактологический анализ поэзии – «фактологический» в смысле соотнесения текстуальных фактов (смысловых единиц поэтического текста) с историческими и культурными реалиями, а не с фактами биографии, эстетической позиции или мировоззрения автора?

Обычно именно текстуальные факты и референции связываются читателем по ассоциации с целым кругом понятий и наделяются мифологическим, символическим или эстетическим значением. Вопрос о том, адекватны ли эти факты реальности, не есть простое буквоедство – ответ на него позволяет по-новому взглянуть на соотнесение этих фактов с психологическими механизмами восприятия текста и, что ещё более интересно, даёт богатую пищу для размышлений о причинах популярности того или иного автора или произведения среди определённого круга читателей.

Не углубляясь в терминологические дебри, попробую пояснить сказанное на примере известного поэтического произведения В. Высоцкого «Баллада об иноходце». Лирический герой – свободолюбивый оригинал, бунтарь, сбрасывающий с себя иго «похожести», одинаковости, в общем, «тот, кто марширует под свой барабан». Воплощение – бесприоритетное: лошадь всегда пользовалась особой симпатией в русском фольклоре и при

мифологическом очеловечивании наделялась самыми благородными чертами. Ритм и энергетика текста – потрясающие: чуть ли не буквально воспроизводится темп широкого галопа. Лексический ключ – под стать лирическому герою: **иноходь** несёт в себе аллегорически и ассоциативно богатое сочетание понятий «**иначе ходит**». Всё это, вместе взятое, превратилось в неизменный и многолетний успех, массовость, популярность – невзирая на то, что с фактологической точки зрения это произведение представляет собой собрание вопиющих нелепиц, присутствующих чуть ли не в каждой строфе и оскорбительно очевидных для любого лошадника¹.

Фактологический анализ подобных произведений массовой культуры вполне тривиален, и его результаты хорошо укладываются в классическую схему пересечения тезаурусов автора и читателя. Но стоит перейти к более сложным феноменам поэтической культуры – и ситуация резко меняется.

Историко-культурные референции в поэтическом тексте расширяют спектр воспринимаемых значений текста – но для этого требуют правильной идентификации каждой такой референции, т. е. «вписывания» её в смысловую структуру текста. При этом читатель всегда неявно, по умолчанию предполагает, что автор «играет по правилам» – т. е. *правильно* представляет реалии в поэтическом тексте. В действительности же довольно часто дело обстоит вовсе не так.

В данной работе я попытаюсь проиллюстрировать эти довольно тривиальные положения на примере нескольких произведений Иосифа Бродского – и, прежде всего, его поэтической эпистолы «Письма римскому другу» (1972).

Это не просто одно из изыскнейших поэтических произведений, эгегическое до отстранённости и ироническое до сарказма; это очень «бродский» текст, в каком-то смысле манифест отважного стойка – подданного великой империи.

«Имперская» тема в целом и тема Римской империи в творчестве Бродского ещё ждут глубокого и систематического исследования. Но одна из составляющих этой темы – это реалии и персоналии римского имперского мира (да и античности в целом), которыми щедро населена поэзия «первого» Бродского (т. е. примерно до 1974 г.² и далее, хоть и в значительно меньшей степени). Ещё в 1963 г. он пишет «Полевую эклогу» и «Ex oriente» («*Да, точно так же, как Тит Ливий, он сидел в своем шатре...*»), в 1964-м странно стилизует «Нет, Филомела, прости...»³ и отождествляет

¹ Несколько раз мне довелось быть свидетелем тягостного недоумения и неловкости, которые мои друзья – конники-профессионалы, преклоняющиеся перед талантом Высоцкого, – испытывали при исполнении этой песни.

² Бродский покинул СССР в 1972 г. – но в своих стихах примерно ещё пару лет как бы по инерции оставался «тем», «ленинградским» Бродским (по крайней мере, в моём восприятии). Одно из свидетельств тому – стихотворение «На смерть друга», написанное в 1973 г.

³ Филомела – дочь Пандиона, царя Аттики, и Зевксиппы – подверглась насилью со стороны Теря, мужа своей сестры Прокны. Узнав об этом, Прокна убила Итиса, своего сына от Теря, и

себя, поэта-изгнанника, с Овидием: *«Заснешь с прикушенной губой средь мелких жуликов и пьяниц. / Заплачет горько над тобой Овидий, первый тунец»*. А в 1965-м пишет «Ех ponto» (*Последнее письмо Овидия в Рим*), в 1966-м после сицилийского грека Дамона⁴ в «Подражание сатирам...» появляется ещё одна странная стилизация – о Проперции и Цинтии⁵, имена которых вновь всплывают в 1968-м – в «Anno Domini»; 1969 г. – «Дидона и Эней» (по Вергилию), 1970 г. – «Post aetatem nostram»... И далее (хоть и значительно реже и лишь в качестве декоративной атрибутики («Бюст Тиберия» в 1981 г.) в течение более двух десятков лет – многоликий пантеон античных имён, примет и аллюзий в десятках произведений вплоть до последних «МСМХСIV» (*«Глупое время: и нечего, и не у кого украсть...»*) (1994) и «На виа Фунари» (1995), где поэт обнаруживает неуверенное знакомство с происхождением Септимия Севера⁶:

И ты далеко в Тунисе
или в Ливии созерцаешь изнанку волн,
набегающих кружевом на итальянский берег:
почти Септимий Север.

Личный – и весьма болезненный – опыт столкновения поэта с властью (*с янычарами в зелёном*), «непрерывной тряски, рытья по карманам, судейской таски», ощущение себя в окружении Третьего Рима (*«Пищу и вздрагиваю: вот чужь-то, неужто я против законной власти?»*) привели Бродского к этическому идеалу стоицизма, понятому и прочувствованному не по книгам, а по собственному признанию – вынужденному.

Как известно, стоицизм предполагает презрение к боли и пренебрежение богатством, удовольствием и славой, безразличие к внешним обстоятельствам, иронию в отношении правителей, а также – что весьма важно – в проявлении и изображении чувств и страстей, которые стоику полагается подавлять. Согласно стоикам, высшим благом является жизнь в согласии с естественной добродетелью. Неразумно желать несбыточного – надо следовать лишь собственному внутреннему отклику на жизненные обстоятельства.

Именно такой стоический дух появляется уже в ранних стихах Бродского и пронизывает всё его наследие, хотя и пиетет к стоицизму постоянно уравновешивается иронией.

его мясом накормила мужа. Разъярённый Терей попытался убить обеих сестер, но Зевс превратил Теря в удода, Филомелу в соловья, а Прокну – в ласточку (по некоторым источникам в ласточку была превращена Филомела, а Прокна – в соловья).

⁴ Дамон и Финтий, два пифагорейца, жившие в Сиракузах в VI в. до н. э., образец преданности в дружбе.

⁵ В одной из элегий поэта Секста Проперция говорится о том, как он привел домой двух потаскушек, чтобы отомстить некой Цинтии.

⁶ Римский император Септимий Север был выходцем из Лептис Магны (Ливия).

Стоицизм лирического героя «Писем римскому другу» – в его зоркой мудрости («Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря»), бесстрашном принятии безжалостных реалий жизни и смерти (увядания, физического распада, непредсказуемости жизненного пути), иронии («Мы, оглядываясь, видим лишь руины...», «Ты с ней спал ещё... А нынче стала жрицей. Жрица, Постум, и общается с богами») и самоиронии («Взгляд, конечно, очень варварский, но верный», «Протекаю, говоришь? Но где же лужа?»). Стоицизм и в предвидении собственной смерти – от обострённого ощущения простых чувственных радостей («...потём вина, закусим хлебом или сливами...») до деловых инструкций об организации «альтернативных», как сказали бы сейчас, похорон («Забери из-под подушки сбереженья...»). Стоицизм и в заключительных аккордах, в которых особенно пронзительно звучит тема исторической памяти, физического продолжения бытия героя в образах лавра, оставленного ложа, судна, борющегося с ветром.

И странным диссонансом в подзаголовке стоит: «Из Марциала».



В русской стихотворной традиции эта атрибуция означает перевод (часто авторизованный) или переложение извлечения, отрывка, части иноязычного поэтического произведения – например, одного-двух достаточно самостоятельных стихотворных отрывков поэмы, эпического произведения и т. п. Таким образом в «Письмах» Бродский сразу же как бы отстраняется от авторства и удостоверяет «подлинность» римского колорита.

Вопрос «марциаловского авторства» не нов. Пожалуй, первым обратил на него внимание Дэвид Бетеа⁷, предположивший, согласно Л. Лосеву⁸, что единственное оправдание подзаголовку – «разнообразие тем и образов, заимствованных из классических латинских поэтов – Овидия и Горация, а также Марциала». Далее, отстаивая обоснованность референции к Марциалу, Лосев пишет:

«Мы можем догадываться, почему он, после колебаний, сохранил филологически некорректный подзаголовок. Парадигма отношений аполитичного по складу ума и таланта поэта с родной империей, разнообразно эксплуатируемая Бродским, включает в себя и неизбежные сравнения собственной судьбы с судьбами любимых римских лириков. <...> Бродский постоянно, и в России, и в Америке, перечитывал римских поэтов и прекрасно знал основные факты их биографий, в том числе и то, что Марциал в конце жизни предпочел уехать из Рима на родину, в глухую провинцию у моря, Испанию. <...> Сдается нам, что для Бродского в начале 1972 года были куда как ощутимы различия в судьбах административно-ссылного Овидия, офи-

⁷ Joseph Brodsky and the Creation of Exile / By David M. Bethea. Princeton University Press, 1994.

⁸ См.: Лев Лосев. Примечания с примечаниями // Новое литературное обозрение. 2000. № 45.

циально обласканного и удалившегося на покой Горация и своего рода "внутренней эмиграцией" Марциала. Короткий подзаголовок добавляет существенный аспект к читательскому восприятию текста».

С первым утверждением Л. Лосева в этом отрывке («*Мы можем догадываться...*») я могу безоговорочно согласиться, только добавив к нему одно слово («*Мы можем лишь догадываться...*») – поскольку судить о различиях в судьбах Овидия, Горация и Марциала в ощущении Бродского мы можем лишь по его представлению о них, основанному на знакомстве с творчеством этих поэтов, но часто противоречащему историческим фактам.

Вот что Бродский говорит по этому поводу:

«...по моему убеждению, всякий более или менее приличный человек нашей профессии, стихотворец, рано или поздно начинает отождествлять себя с одним из четырех римских поэтов. Это, в общем, естественно, поскольку эти четыре господина – Вергилий, Гораций, Овидий и четвертый... нет, скорее Проперций, а не Катул – они дают картину четырех известных темпераментов»⁹.

Заметим, что в этой формуле Марциал отсутствует. Ведь если знать, кем был Марк Валерий Марциал и насколько его взгляды и жизнь противоречат иронично-стоическому тону лирического героя стихотворения, подзаголовок «Из Марциала» можно воспринять либо как насмешку над читателем, либо как грубую ошибку. Стоический дух «Писем» совершенно чужд личности Марциала – да и в значительной мере его поэзии.

Рискуя злоупотребить цитированием, приведу в пользу этого довода всего несколько выдержек из весьма солидных источников. Первый – классический труд И. М. Тронского «История античной литературы» (Л., 1947):

«...Марциал был очень далек от умонастроения аристократической оппозиции. Он принадлежал к тому поколению, которое пришло ей на смену и цепко держалось за блага жизни в условиях императорского режима. Стоическая аристократия требовала готовности уйти из жизни, наподобие Катона; Марциал отнюдь не сочувствует этому идеалу.

Тот не по мне, кто легко покупает кровью известность;
Тот по мне, кто стяжать может без смерти хвалу.

Молодой провинциал, к тому же, не любил труда и "спешил жить".

Жизнь твоя завтра... О нет! И сегодня для жизни уж поздно.
Постум, кто пожил вчера, тот лишь один и мудрец.

⁹ Цит. по кн.: *Иосиф Бродский*. Пересеченная местность. Путешествия с комментариями: Стихи / Сост. и автор послесл. П. Вайль. М.: Изд-во «Независимая газета», 1995.

Быть свободным может, по словам Марциала, только тот, кто способен на лишения. "Если ты можешь не иметь раба, то можешь не иметь царя" (патрона). *Марциал на это не был способен и избрал для себя паразитический путь "клиенты", с ее ежедневными "приветствиями", подачками и унижениями. На этом пути ему пришлось испытать немало тяжелых разочарований. Все же он добился некоторого достатка, который, впрочем, далеко не соответствовал его пожеланиям* (выделено мной. – И. В.).

...Марциалу легко удаются задушевные, идиллические тона. Как и Стаций, он откликается на радостные и печальные события в жизни римских богачей, описывает принадлежащие им достопримечательности и произведения искусства, шлет любезные стихотворения знатным и влиятельным лицам – *в расчете, конечно, на то, что его услужливость не останется без вознаграждения* (выделено мной. – И. В.) <...> Это не страстная, лично заостренная эпитаграмма Катулла. Остроумный Марциал обычно пользуется вымышленными именами, и его насмешка в гораздо большей мере направлена на типическое. <...> *Многостороннее освещение получают страдания, унижения и разочарования клиента: к теме подачек и угощения за чужой счет Марциал возвращается в самых разнообразных и изощренных вариациях* (выделено мной. – И. В.).

<...> Сетования на упадок литературы Марциал парирует типично "клиентским" объяснением этого явления: "Был бы у нас Меценат, появились бы тотчас Мароны", и похвалы знатным литераторам, вроде упомянутого выше Силия Италика, далеко не всегда соответствуют действительному уровню их дарования. *Для влиятельных особ с пера нашего эпиграмматиста текут только похвалы, а в работе перед "божественным" императором Домицианом и заискивании перед его клеветами Марциал нисколько не уступает Стацию* (выделено мной. – И. В.).

Марциал никогда не был близок ко двору, но после падения абсолютистского режима Домициана положение его в Риме пошатнулось. Похвалы новой власти и опорочивание прежней не встретили благосклонного приема.

Жалкой лести слова, напрасно льнете
Вы к губам моим, слишком к вам привычным!

<...> Чужды Марциалу также тенденции морально-обличительного характера, свойственные философствующим сатирикам древности, и общественные нравы не вызывают у него возражений идеологического порядка. Взор поэта скользит по мелочам; не глубина критики, а меткость слова и остроумие зарисовок составляют силу Марциала.

Конечно же, и Гораций, и Вергилий, и Овидий были вынуждены искать покровительства у власть имущих и состоятельных патронов. Но Марциал в своём раболепии и лживом угодничестве (в своих эпитаграммах он не стеснялся признаться в том, что он – лизоблюд, которому совершенно чужды стоические идеалы) предвосхитил Союз писателей сталинского разлива; так, в одной из эпитаграмм он обращается к Домициану: *«И при владыке*

каком шире свобода была?»¹⁰ Даже такое справочное издание, как энциклопедия «Кругосвет», выражается по этому поводу далеко не академическим тоном: «его (Марциала. – И. В.) грубая лесть Домициану подчас тошнотворна». Но наиболее исчерпывающую, на мой взгляд, характеристику дал Я. Парандовский:

«Марциал, торгуя лестью, уже дорого не брал и за скромную плату был готов писать что угодно и о чем угодно. *Бегал за грошом туда, куда Гораций не сделал бы и шага за кошельком с золотом* (выделено мной. – И. В.). В Марциале обрел себе символического представителя многочисленный род литературных нищих, людей, одаренных крупным талантом, умом, уверенных в своей ценности и, тем не менее, обреченных на вечное попрошайничество и на славу, которая при жизни не спасала их от презрения, а после смерти влекла за собой напоминания об унижениях, компромиссах, лжи, лицемерии»¹¹.

Насколько же иначе воспринимает Марциала Бродский:

«Марциал так многогранен. Он реже всех в истории лизал задницы. Его похвалы тиранам – это просто продувание мозгов»¹².

Видимо, в таком восприятии и коренится удобная иллюзия, к которой прибегает Бродский, – «отшельничество» Марциала в Испании. Но возвращение Марциала в Испанию уж никак нельзя назвать добровольным, сознательным отшельничеством! Марциал действительно вернулся на родину, но вынужденно и по совершенно банальным причинам – после падения Домициана, став негодным новой власти, причём совершенно нищим (даже деньги на дорогу ему дал Плиний Младший). В Испании же он существовал знакомым и испытанным образом – жил за счёт богатой матроны, подарившей ему небольшую усадьбу.

В пользу «марциаловской» атрибуции говорит лишь тот факт, что в стихотворении дважды (в разных контекстах) упоминается *наместник* и один раз (хоть и косвенно) – *провинция*. Известно, что наместники были только в провинциях Рима (Сирии, Египте, Испании и т. д.), но не в Италии.

В то же время в стихотворении очень много неслучайных референций к Горацию (Квинт Гораций Флакк, «К Постуму») – тема быстротечности жизни и иные мотивы. Случайно ли это? Может быть, Бродский имел в виду Горация, а не Марциала?

¹⁰ Цит. по кн.: *Марк Валерий Марциал. Эпиграммы* / Пер. с лат. Ф. Петровского. М., 1968.

¹¹ *Ян Парандовский. Алхимия слова* / Пер. А. Сиповича. М., 1972.

¹² *An Interview with Joseph Brodsky* / By Eva Burch and David Chin // *Columbia – A Magazine of Poetry and Prose*. 1980. № 40. Spring/Summer. P. 50–68. Цит. по кн.: *Иосиф Бродский. Большая книга интервью*. 2-е изд. М.: Изд-во «Захаров», 2000.

В пользу предположения о Горации говорит многое.

Для Бродского Гораций – это далеко не рядовое имя в пантеоне римской литературы. Ещё в 1962 г. поэт, обнаруживая хорошее знакомство с Горацием¹³, поддразнивает и его, и себя («Я памятник воздвиг себе иной!»), в 1963-м – саркастически полемизирует с горациевым каноном в совершенно стоическом стиле:

Мои слова, я думаю, умрут,
и время улыбнется, торжествуя,
сопроводив мой безотрадный труд
в соседнюю природу неживую.

Имя «Марциал» в других произведениях Бродского практически не встречается – разве что в ряду других римских имён в проходных репликах Туллия в «Мраморе». А Гораций, напротив, занимает почётное место – поэт написал «Подражание Горацию» («Лети по воле волн, кораблик») и «Aere Perennius», неоднократно упоминал («Будет помнить каждый знак, как хотел Гораций Флакк»; «...где Назо и Вергилий пели, вещал Гораций»); «...и в горячей полости горла холодным перлом перекачивается Гораций»), вдохновлялся его поэтическими образами (Ода II, 20 – «Осенний крик ястреба») и даже цитировал («Мрамор»):

Туллий. Как сказано у поэта: «Постум, Постум, увы, бегут летучие годы...»

Публий. Кто это сказал?

Туллий. Гораций.

Публий. Елки-палки. Передай-ка мне телефон.

Но наиболее ярко отношение Бродского к Горацию проявилось в его эссе «Письмо к Горацию»; так, Лев Лосев пишет:

«Читая его, невозможно избавиться от ощущения, что обращение к римскому поэту не приём, что писавший действительно верил в то, что обращается к Горацию. И одновременно к другому любимому поэту – Одену, поскольку среди прочего в письме излагается странная идея метемпсихоза: Оден – воплощение Горация в двадцатом веке»¹⁴.

Показателен и другой пример. В поэме «Шествие» («Романс принца Гамлета») обращение к Горацию встречается трижды в сравнительно небольшом поэтическом отрывке («Ох, Гораций мой, / мне, кажется, пора домой»; «Гораций мой, я в рифму говорю! / Как быстро обгоняют нас возлюбленные наши»; «Гораций мой, / я верил чудесам, которые появятся извне»).

¹³ Речь идёт об известной XXX оде Горация «К Мельпомене» («Ad Melpomenen»).

¹⁴ Лев Лосев. Сороковой день // Новое русское слово. 1996. 8 марта.

Но здесь Бродский, говоря от имени Гамлета, пользуется именем «Гораций» – и это не случайно. В единственном (пастернаковском) переводе «Гамлета» этот персонаж – друг Гамлета – именуется по всему тексту Горацио (в оригинале – *Noratio*), и все другие персонажи (напр., Марцелл и Бернардо в сцене с призраком) называют его именно так – **кроме Гамлета!!!** Волею Пастернака-переводчика Гамлет называет своего друга «Гораций» (*Noratius*) – а это исходная латинская форма английских имен *Noratio* и *Norase*. Это не случайно – Гамлет тем самым подчёркивает достойные качества друга, восходящие к стоицизму Горация-поэта.

Отметим, что в других переводах «Гамлета» (М. Лозинского, А. Кроненберга, А. Радловой) подобных вольностей нет. Иными словами, Гамлет **видел Горация в Горацио** – и поэтому называл его так. Бродский **захотел увидеть Горация в Горацио** – и увидел, поступив точно так же. Так что референция эта – именно к древнеримскому поэту, а не к шекспировскому персонажу, хоть это и не очевидно на первый взгляд.

Ода II, 14 Горация «К Постуму» – пожалуй, единственное (насколько мне известно) в античной литературе произведение, обращённое к человеку с таким именем¹⁵. И совпадение это отнюдь не случайно.

Заметим, что Бродский обращается по имени к адресату чуть ли не в каждой строфе, подчёркивая, чуть ли не смакуя это обращение. «Постумовский» рефрен настолько настойчив, что даже скрупулёзнейший Натан Эйдельман в своём дневниковом упоминании¹⁶ называет это стихотворение «Постум» (NB!).

Ad Postumum

Eheu fugaces, Postume, Postume,
Labuntur anni nec pietas moram
Rugis et instanti senectae
Adferet indomitaque morti.

К Постуму

О, Постум, Постум, быстротекущие
Проходят годы, и благочестие
Ни старости, увы, ни смерти
Неукротимой сдержать не сможет¹⁷.

¹⁵ Справедливости ради следует сказать, что это имя встречается в одной эпиграмме Марциала:

...Жизнь твоя завтра... О нет! И сегодня для жизни уж поздно.
Постум, кто пожил вчера, тот лишь один и мудрец.

Правда, осторожный Марциал обычно пользуется вымышленными именами, стараясь не задеть никого, – и здесь он воспользовался фактически именем нарицательным, а не собственным («постум» от лат. *postumus*, «родившийся после смерти отца»).

¹⁶ *Натан Эйдельман*. Из дневников. З/1 [1975 г.]: «Недельный "Новый год", чудное пение Окуджавы ("Император", "Страна дураков", "Господа юнкера"). Мотор – Миша Козаков; заводной, талантливый; необыкновенное чтение "Руслана и Людмилы"; Бродского ("Постум", "Фауст", американских стихов)».

¹⁷ Пер. К. Кожурина.

Общая тональность горацевой оды – ещё один хороший аргумент. Ведь с первой же строфы известная ода Горация отличается той же тональностью, что и строфы Бродского. Это та же идея *capre diem* (столь свойственная молодому Горацию), а также внебытийности, отдельности, которую исповедует и Бродский в «Письмах». Тон обращения лирического героя «Писем» к адресату совершенно немислим в устах Марциала, но удивительно отвечает взаимоотношениям Горация и Мецената, ближайшего сподвижника императора Августа, – Гораций входил в круг ближайших друзей Мецената («римскому другу»).

Литературный кружок Мецената (в него входил также Проперций, неоднократно упоминаемый Бродским) был самым знаменитым средоточием литературной жизни на переходе от Республики к принципату и воплотил в себя как иерархически-клиентские отношения, так и равноправно-дружеские. Но Меценат всячески поддерживал в своем кружке традицию неотерической дружбы (или игры в дружбу)¹⁸ – это показательнее всего выступает в горацевом послании I, 7. Меценат по-дружески просит Горация приехать к нему из подаренного им, Меценатом, имения¹⁹. Несмотря на свою глубокую признательность Меценату, Гораций принимает просьбу друга за приказ патрона, отвечает отказом и пишет, что ради своей независимости он готов отказаться и от имения. Ситуация узнаваемая – чуть ли не буквально воспроизведение конфликта Горация с Августом Октавианом²⁰ («поэт и власть»). Щедроты покровителей не раз ставили Горация в подобные положения, но, как отмечает И. М. Тронский, «из них он всегда выходил с совершенным тактом и достоинством» (ор. cit., с. 386). Да и обращение лирического героя к адресату – «лебезить не нужно, трусить, торопиться» – непредставимо в устах Марциала, как и немислим отказ Марциала от имения или высокой должности ради своей независимости.

Существуют и иные – косвенные, но не менее убедительные – доводы в пользу Горация: например, упоминания гетер, а также вложенная в уста лирического героя цитата из греческого поэта²¹ (Гораций завершил своё образование в Афинах), вряд ли возможная у Марциала.



¹⁸ М. Л. Гаспаров. Поэт и поэзия в римской культуре. Цит. по кн.: Избранные труды. Т. 1. «О поэтах». М., 1997. С. 49–80.

¹⁹ Гораций получил в подарок от Мецената небольшую усадьбу в Сабинских горах («Был в горах. Сейчас возжусь с большим букетом»), благодаря которой ему больше не надо было печься о хлебе насущном.

²⁰ История с сочинением гимна в честь великих Столетних игр по поручению императора Августа и отказ в ответ на предложение Августа занять место его личного секретаря.

²¹ Лев Лосев отмечает, что «По торговым он делам сюда приплыл, а не за этим» – единственное место в «Письмах», которое может рассматриваться как более или менее прямая цитата, но не из римского, а из греческого текста «Эпитафия купцу-критянину» Симонида Кеосского (556–468 до н. э.).

И заключительный образ: «на скамейке – Старший Плиний». Читатель вправе задуматься: что это – человек, которого зовут так, или книга, которую написал Плиний Старший (Гай Плиний Секунд)? На скамейке – он сам (т. е. лирический герой, от лица которого ведётся повествование) или книга Плиния Старшего, которую оставил на скамейке этот лирический герой и которая является символом его присутствия, знаком исторической памяти?

Версия Плиния Старшего как лирического героя отпадает практически сразу. Плиний Старший никак не мог оказаться в этой роли: если исходить из того, что письмо написано человеком, сосланным или бежавшим «в провинцию у моря» и живущим там в безвестности, в стеснённых обстоятельствах. Напротив, Плиний Старший никогда не впадал в немилость, был талантливым юристом, военачальником и на момент своей трагической гибели – префектом римского флота²².

Если же предположить, что на скамейке книга Плиния Старшего, то лирическим героем может быть только Марциал (Гораций – 65–8 гг. до р. Х., Плиний – 23–79, Марциал – 40–103). И хотя Гораций – наиболее вероятный лирический герой стихотворения, он просто не мог знать Плиния. Марциал же наверняка знал произведения Плиния Старшего, и автор вполне мог упомянуть книгу последнего в качестве поэтического атрибута. Однако Марциал не мог бы – да и вряд ли захотел – стилизовать своё произведение в духе Горация, хотя имя «Постум» ему было известно.

В свете сказанного возникает такая общая схема: Бродский приписывает «Письму» Марциалу, взяв за основу факт его жизни в провинции (в отвлечении от мотивов и обстоятельств, побудивших Марциала к этому). Поэт наделяет лирического героя мировоззрением и стилем Горация, вложив для убедительности в его уста обращение к Постуму как прямую отсылку к ХХХ оде. Упоминание книги Плиния Старшего – случайная атрибуция, которой поэт воспользовался просто для колорита, не задумываясь о её уместности.



«Имперские» ассоциации «Третьего Рима» у Бродского – не очередной метафорический приём, не историческая аллюзия, а навязчивый кошмар, впившийся в подсознание поэта и неожиданно и страшно узнаваемый в тексте. Но и здесь поэтический текст являет собой весьма вольное обращение с фактическим материалом. Вот всего три примера – «Одному тирану» (январь 1972), «Письмо генералу Z.» (осень 1968) и «На смерть Жукова» (1974).

Стихотворение «Одному тирану»²³ само по себе представляет интересную литературоведческую шараду: какая историческая личность является

²² Плиний Старший был к тому же давним и близким другом императора Веспасиана, губернатором Тарраконской Испании и Нарбоннской Галлии.

²³ Показательно то, что Бродский пользуется античным греческим термином «тиран», а не современным (например, «диктатор», «угнетатель»).

наиболее вероятным прообразом героя?²⁴ Гитлер?²⁵ Но каков бы ни был ответ, в множество легко узнаваемых характерных европейских чёрточек вплетены две совершенно чужеродные – но именно поэтому очень неслучайные – детали.

Одна – «сраженья в двадцать одно» (т. е. не в европейские «блэкджек», баккара или макао, а в «очко» – реалия советского времени с уголовным оттенком). Вторая – загадочная для несведущего: «*прикус бромистого натра*». Эту тему Бродский развил подробно в «Горбунов и Горчаков» – ведь практика тайного включения препаратов брома в рацион некоторых социальных групп (солдат, студентов и т. д.) была изобретена в СССР и более нигде не применялась в массовом порядке, даже в нацистской Германии.

В стихотворении «Письмо генералу Z.» мы вновь встречаем как подлинно римский декор, так и недвусмысленную атрибутику «Третьего Рима», приправленные деталями других эпох и времён. Это стихотворение ещё более полифонично – но по сочетанию значимых аллюзий за текстом ясно просматривается драматический эпизод Первой мировой войны и трагическая судьба генерала А. В. Самсонова, командующего 2-й армией, который предпочел самоубийство бесчестьем жестокого поражения (стоический сюжет).

В этом смысле «римская» референция «*ваши Канны*²⁶, *флеши, каре, когорты*²⁷» отчётливо указывает на это, смешивая *Канны*, ставшие синонимом разгромного поражения²⁸, с воинскими терминами XVIII–XIX вв. (*флеши, каре*). Надо сказать, что и здесь Бродский сочетает несочетаемое – с одной стороны, реалии 40–50-х годов XX в. («любой приказ превращается *рацией в буги-вуги*»), с другой – XVIII в. («*пушки уткнулись стволами вниз, ядра размякли*»).

И вновь – многочисленными оговорками в устало-ироничной интонации офицера российской армии 1914 г. проступают признаки более позднего и неизмеримо более страшного времени («в *другой звезде, кроме той, что у вас на шапке*», «*спуская пунцовый стяг*»), достигая саркастической

²⁴ К образу этого же тирана в контексте современной «бюргерской» империи поэт возвращается в стихотворении «Развивая Платона».

²⁵ Оставив Вену (где он влачил жалкое существование) и поселившись в Мюнхене, Гитлер тоже работал лишь эпизодически и большую часть времени проводил в местных кафе и пивных, читая газеты и споря о политике («...*бедность, униженья, за скверный кофе, скуку...*»). Точность ещё двух деталей (сутулость и «движение ладони от запястья») подтверждает кинохроника.

²⁶ Сражение под Каннами, в котором Ганнибал нанёс сокрушительное поражение римским войскам под командованием Теренция Варрона.

²⁷ В данном контексте когорта (3 манипулы, своего рода батальон из трёх рот) – изобретение Сципиона Африканского после поражения под Каннами.

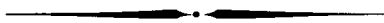
²⁸ Показательно название книги Г. С. Иссерсона «Канны мировой войны. Гибель армии Самсонова» (М.: Госвоениздат, 1926).

высоты в строфе, недвусмысленно намекающей на совсем недавнее августовское вторжение в Чехословакию («Письмо генералу Z.» было написано осенью 1968 г.).

Души ж, известно, чужды злорадства,
и сюда нас, думаю, завела
не стратегия даже, но *жажда братства*:
лучше *в чужие встреть дела*,
коли в своих нам не разобраться.

Картина похорон советского военачальника в стихотворении «На смерть Жукова» – ещё один пример того, сколь малозначимы для Бродского подлинные обстоятельства события и как легко приносимы они в жертву поэтическому воображению. И дело даже не в том, что автор просто не мог быть свидетелем похоронной процессии; в первой же строфе слова «*Вижу <...> гроб на лафете*» и «*Вижу в регалиях убранный труп*» суть вымысел, поэтический приём. Тело маршала Жукова было после смерти кремировано, и урна с прахом была установлена для прощания в Краснознаменном зале ЦДСА, после чего на катафалке её перевезли к Дому Советов, где и перенесли на орудийный лафет.

Собственно, вольное обращение с реалиями и фактами никогда не мешало поэту вину – и уж тем более бессмысленно пенять И. Бродскому за противоречия и ошибки в воспроизведении исторического контекста. Скорее напротив – похоже, мы многим обязаны тому, что во время оно он бросил школу и своё образование продолжал самоучкой, выхватывая то, что ему казалось важным, гениально провидя незнаемое и дополняя исторический контекст не принадлежащими ему деталями, которые и совершают необъяснимое чудо – превращение рифмованного текста в поэзию.



КЮБИЛЕЮ
ГЕЙНЕ



филолог, профессор, доктор хабилитат, специалист по истории мировой литературы, автор десятков книг, научных и научно-популярных статей, эссе и комментариев, лауреат конкурса сетевой литературы «Art-Lito 2000» в номинации *non fiction*. Живет в Германии.

ГОЛГОФА ГЕНРИХА ГЕЙНЕ*

Как вспомню к ночи край родной,
Покою нет душе больной.

Гейне. Ночные мысли

Он был песнью своей родины
этой ведьмы-златовласки
в проклятие обратившей
родное слово.

Роза Ауслендер. Генрих Гейне

Поговорим о странностях любви! Речь пойдёт об особом чувстве – о привязанности к родине. История мировой поэзии поражает обилием примеров (от Данте до Ахматовой), когда любовь к отечеству становилась проклятием, болью и мукой, оставаясь при этом неиссякаемым источником творчества. «Люблю отчизну я, но странною любовью...» У каждого из больших поэтов рода «странной любви» своя. Случай Гейне и вовсе особенный.

«Страдая Германией»

Родившийся и укоренённый в Германии, Гейне полжизни прожил добровольным изгнанником в соседней Франции. Родина была одновременно его счастьем и проклятием. Не начать ли с жалоб «поэтиного сердца»?!

* 17 февраля сего года исполнилось 150 лет со дня смерти Гейне.

разительно быстро завоевавший Париж, снискавший расположение французских литераторов и министров, гризеток и принцев крови, революционеров и светских дам, Генрих Гейне, тем не менее, страдал на чужбине:

Мне воздух Германии нужно вдохнуть,
Иль я погибну, тоскуя.

Поэт провёл здесь четверть века (1831-56), большую часть своей творческой жизни, и дышалось в столице Франции, сказать по правде, куда легче, чем в родном краю. А вот, поди ж ты, задыхается!

Тебя, Германию родную,
Почти в слезах мечта зовёт!
Я в резвой Франции тоскую,
Мне в тягость ветренный народ*.

И это пишет человек, снискавший репутацию повесы, ветренника, насмешника, даже циника, а главное – явного французофила! С такой репутацией добиться любви немцев невозможно, а за Гейне числились и другие «грехи» (ведь он был прирождённым возбудителем и нарушителем спокойствия), так что его любовь к Германии осталась неразделённой, а потому и несчастной.

О любви евреев к их немецкому отечеству написано немало, и примеров этой любви не перечесть. Чувство это было искренним, действенным, подобным цветущему и плодоносящему дереву. Нацисты это дерево выкорчевали из немецкой земли с корнем, вместе с евреями. В 1933 году Геббельс направил своего эмиссара к Ремарку в Аскону с приглашением вернуться в Германию. Ремарк категорически отказался, и визитёр на прощанье спросил, не будет ли он сожалеть о своём решении, не замучит ли его ностальгия вдали от отечества. В ответ он услышал: «Помилуйте, я же не еврей!» Не все способны оценить горькую иронию ответа.

Несмотря на то, что Гейне больно ранили антисемитизм и тупоумие сограждан (этих «христианско-германских ослов», по выражению «красного доктора» Карла Маркса, знаконца Гейне), поэт томился по Германии, был болен ею.

А как Германия отнеслась к своему сыну, скорее – долой лицемерие! – к пасынку? По свидетельству современника, журналиста и драматурга фон Мальтица, Гейне как поэт сделался «любимцем нации, единственным, к кому молодёжь не оставалась равнодушной». Ещё бы! Ведь он освободил поэзию одновременно от патетики и туманности, он придал ей лёгкость и изящество, остроумие и шутовство, доходящую до фривольности. Он добился безупречного синтеза лирического и интеллектуального. Однако в глазах тевтономанов перевешивало другое – ненавистное еврейство! Лю-

* Перевод М. Лозинского.

бимцем нации Гейне не стал, более того – он раздражал слишком многих. Его поздней поэзией пренебрегали, а уж Гейне-журналист просто выводил из себя. Не будем перечислять его прижизненных обидчиков от «французоеда» Менцеля, который называл Гейне «наглым еврейшкой», до Крауса, считавшего «Книгу песен» «опереточной лирикой». Обратимся к нашим дням.

Недавно в Дюссельдорфе прошли торжества: в родном городе широко отмечали юбилей Гейне. Праздник не стал общегерманским, что неудивительно: отношение к поэту до сих пор здесь неоднозначное. Вальтер Хинк начинает своё эссе «Генрих Гейне, или Противостояние догме» (1982) признанием: «Мы с ним так и не сладили. Ни его современники не смогли справиться, ни потомки». Ему суждено было везде оставаться чужаком, аутсайдером: в Германии он был евреем, во Франции – немцем. Веком позже такое же мучительное состояние будет переживать ещё один гений – Франц Кафка. Впрочем, одинокими и трагическими фигурами предстают в немецкой литературе и Гёльдерлин, и Клейст, и с еврейством это не связано.

Сто лет назад оценка Гейне на его родине не была свободна от горечи оскорблённых им когда-то патриотов и фарисеев. Это почувствовал и отметил русский поэт Иннокентий Анненский в юбилейной статье «Генрих Гейне и мы» (1906). И в наши дни писать о Гейне в Германии, по словам известного критика Марселя Райх-Раницки, – дело всё ещё затруднительное и щекотливое. Похоже, соотечественники навсегда обиделись на выпады Гейне против орла Гогенцоллернов и знамени Барбароссы. К злопамятности бюргеров прибавилась ненависть нацистов к поэту-неарийцу. Немцы пели его «Лорелей» и во времена Гитлера, но в песенниках стояло: «слова народные». Видимо, им было неведомо, что это – высшая похвала для поэта.

Во времена нацистского режима поэт, на чьи слова Роберт Шуман сложил свои песни, именовался «неизвестным». Таковым он остался и для почтенных учёных мужей Дюссельдорфского университета, которые спустя 40 лет после падения Третьего Рейха упорно отклоняли предложение дать университету имя Генриха Гейне, хотя всем известно, что Гейне родился в этом городе.

Когда в 1956 году в ФРГ был выпущен сборник Гейне по случаю столетия со дня его смерти, автор предисловия честно признался: читателю предстоит встреча с незнакомцем. Между тем, этот «незнакомец» к середине XIX века радикально обновил язык поэзии и прозы, а потому смог совершить то, о чём только мечтали лучшие из его предшественников: он демократизировал немецкую литературу, преодолев разрыв между искусством и действительностью, между поэзией и жизнью. Фридрих Ницше незадолго до кончины писал: «Высшее понятие о лирическом поэте дал мне Генрих Гейне. Тщетно ищу я во всех царствах тысячелетий столь сладкой и страстной музыки. <...> И как он владел немецким языком! Когда-нибудь скажут, что Гейне и я были лучшими артистами немецкого языка – в неизмеримом отдалении от всего, что сделали с ним просто немцы».

А ведь еврей Гейне стал не только великим немецким поэтом европей-

ского масштаба, он был и глубоким мыслителем. Если бы до нас не дошли его стихи и поэмы, и мы могли бы судить о Гейне только по его прозе, публицистике и письмам, то и этого материала хватило бы, чтобы признать его замечательным умом XIX столетия. Именно эта часть его наследия рассматривается в предлагаемом эссе.

Если в нацистской Германии еврейство Гейне служило причиной его отлучения от немецкой поэзии, то в советской России его происхождение стыдливо замалчивали. Вот и Франц Петрович Шиллер, автор не только трёхтомной «Истории зарубежной литературы», но и весьма содержательной монографии о Генрихе Гейне, создававшей в чёрные для советских евреев годы, смог уделить этому существенному моменту в жизни и судьбе поэта всего лишь пять строк. Но кто возьмётся осуждать автора, прошедшего школу и университеты сталинских лагерей и ушедшего из жизни в горькой нужде и одиночестве?

Однако настала пора коснуться табуированной в нашем отечестве темы, ведь еврейство Гейне – не только страница его биографии, оно в известной мере определило его духовный мир, сказалось на темпераменте и мироощущении, оно породило многие его темы и образы, оно обусловило отношение к его наследию в Германии.

Обманутые ожидания

Гейне родился в Дюссельдорфе на исходе XVIII столетия, когда на Рейне гремели барабаны и пели боевые трубы генерала Бонапарта, в ту пору первого консула Французской республики. Гейне сам позднее напишет: «Над моей колыбелью играли последние лунные лучи восемнадцатого и первая утренняя заря девятнадцатого столетия».

Мать поэта Бетти Гейне, из богатой семьи потомственных врачей ван Гельдернов, спала и видела своего первенца офицером. Усачи-французы в синих и зелёных мундирах, в ослепительно белых штанах и клеёнчатых киверах, маршировавшие по улицам Дюссельдорфа, принесли с собой свободу и равноправие. Вот почему и простой горожанин, и крестьянин, и даже еврей теперь могли мечтать о генеральских эполетах. В детстве и отрочестве Гарри Гейне дышал воздухом свободы, он чувствовал себя со своими соучениками-христианами на равных, с некоторыми дружил и поверял им свои мечты и тайны. Семья не отличалась ортодоксальностью: в доме отмечались и еврейские, и христианские праздники. Эмансипация немецких евреев началась накануне рождения поэта, он принадлежал к поколению, воспитанному вне гетто, и хотя связи с традицией не были окончательно оборваны, не они уже определяли его путь.

Гарри ребёнком ещё не понимал, что значило быть евреем. Узнав, что его дед по отцовской линии был маленьким евреем с большой бородой, он поспешил поделиться удивительной новостью с одноклассниками (он посещал школу при францисканском монастыре). Что тут поднялось! Маль-

чишки хохотали, блеяли, хрюкали, лаяли, каркали, прыгали по столам и скамейкам, и учитель, примчавшийся на шум, тут же стал искать зачинщика. Гарри был изобличён: своим сообщением о дедушке он подал повод к этой кутерьме, за что и получил первые в жизни побои. Ранние впечатления детства оставляют, как известно, глубокий след. И сам Гейне признался в «Мемуарах», точнее в небольшом отрывке, который уцелел от рукописи: «Каждый раз, когда в моём присутствии заходила речь о маленьких еврейх с большими бородами, у меня по спине пробежал холодок жутких воспоминаний». У него навсегда отпало желание делиться сведениями об опасном дедушке.

Детское воображение будущего поэта больше занимали истории, которые рассказывала старая бабушка и тётушки по материнской линии. Рассказы их напоминали сказки из «Тысячи и одной ночи». Оказывается, его предки в XVII веке пользовались большим почётом при дворе курфюрста и курфюрстины, владели особняками, больницей и даже замком. Старуха живописала массивную золотую и серебряную посуду, персидские ткани на стенах, хотя к тому времени, как она вышла замуж за врача Готшалька ван Гельдерна, богатство уплыло из рук. Сам Готшалек, дед поэта, получил университетское образование и стал доктором медицины на деньги, вырученные от продажи драгоценностей, которыми был украшен молитвенник его матери. Истории старых женщин можно было бы счесть выдумкой, но сохранилось одно материальное подтверждение, а именно фронтопис к «Агаде» ван Гельдернов, относящийся к XVII веку. Ныне он хранится в библиотеке Еврейского религиозного института в далёком Цинциннати. Это – прямое свидетельство богатства и высокого культурного уровня предков Гейне.

Дядюшка Гарри, Симон ван Гельдерн, прошедший в иезуитской школе курс гуманитарных наук и пробудивший в мальчугане охоту к литературным опытам, щедро одарявший его книгами, представлялся племяннику *героем староиспанской драмы*, поскольку обладал честнейшим и благороднейшим сердцем и проявлял истинно рыцарское величие. То, что оригинал-дядюшка «вместо блестящего рыцарского плаща носил невзрачный сюртучок с фалдами, напоминавшими точь-в-точь хвост трясогузки», т. е. представлял собой фигуру отнюдь не героическую, а скорее забавную, комическую, ничего не меняло.

Неизгладимое впечатление произвела на мальчика личность его двоюродного деда, которого называли Шевалье или Восточным человеком. Она открылась ему не только в рассказах и анекдотах, накопленных старыми тётушками, но и через его записную книжку, которую Гарри откопал в пыльных сундуках в чердачной комнате своего дяди. Позже он обнаружит в библиотеке Дюссельдорфа брошюру на французском и английском языках, изданную двоюродным дедом в Лондоне, где тот жил некоторое время. Это была оратория «Моисей на Хориве». В семейных анналах сохранился факт паломничества деда в Иерусалим, где на горе Мориа ему якобы было виде-

ние. Впечатлительный мальчик так глубоко погружался в авантюрную жизнь и полную превратностей судьбу своего покойного деда, занятого путешественника, что ему начиналось казаться, что он заново проживает жизнь этого давно умершего человека. Убедительные свидетельства тому Гейне приводит в «Мемуарах», к которым мы и отсылаем читателя.

Приведённые выше сведения о родословной Гейне позволяют судить о высокой степени интеграции семьи в немецкое общество, причём началась она задолго до выступления «маскилим» – еврейских просветителей. Ван Гельдерны гордились происхождением от испанских евреев-сефардов и свысока поглядывали на немецких евреев-ашкеназов. Биография Гейне брала истоки в далёком средневековье, развитие рода ван Гельдернов отразило историческую тенденцию: они принадлежали к испанским евреям (возможно, среди предков были и насильственно крещённые марраны), которые, уходя от преследования инквизиции, переселялись на север в Нидерланды, где в Амстердаме возникла одна из крупнейших еврейских общин, а также в северную Германию (Альтону, Гамбург).

Предки Гейне были не только богаты, но и образованны, его мать владела несколькими иностранными языками, в молодости музицировала. Настойчивый интерес Гейне к Испании, к Востоку закономерен. В конце жизненного пути он только усилится. Тогда же придёт Гейне к выводу о том, что «между сменяющимися поколениями существует солидарность», что «каждое поколение – продолжение предшествующих и ответственно за их дела». Осознание этих связей – удел зрелости. Мы же вернёмся к его отрочеству и юности.

В октябре 1813 года французы ушли из Дюссельдорфа, а с ними сгинули и честолюбивые надежды Бетти Гейне: некрещеному еврею пути к научной деятельности и государственной службе вновь были заказаны. Доступными оставались коммерция и финансы. Однако у её Гарри начисто отсутствуют способности к торговле. Что ждёт её мальчика? Образованная и притом практичная женщина остановила свой выбор на юриспруденции. В это время как раз был основан Боннский университет, юридические кафедры которого заняли знаменитейшие профессора. Решение созрело.

Провожая сыновей, которые покидали родной дом, чтобы учиться или работать в других немецких городах, а то и за границей (Гарри учился в Бонне, Гёттингене и Берлине, прежде чем оказался в Париже, Максимилиан стал врачевать в России, Густав осел в Вене), маленькая хрупкая, но энергичная женщина им наказывала: «Обещайте мне никогда не искать пристанища в мелком государстве, избирайте великие города и великие страны, но везде сохраняйте немецкое сердце, верное немецкому народу». Точно так наставлял Гарри и дядя, гамбургский банкир Соломон Гейне, ссылаясь на авторитет местного раввина, который внушал пастве, что долг сынов Израиля, проживающих в Германии, быть истинными немцами, носителями благородного немецкого духа. Идеи Хаскалы (движения, направленного на интеграцию евреев в немецкое общество) торжествовали повсе-

местно, несмотря на то, что после поражения Наполеона в Германии началось наступление на права евреев.

Прусские чиновники быстро навели в городе, да и по всей земле новые (точнее – старые) порядки. Пройдёт несколько лет, и те, кто прежде раболепствовал перед Наполеоном, станут дружно проклинать французскую тиранию. Но поскольку французы недосыгаемы, гнев «истинных германцев» обрушится на евреев. В 1819 году в Гамбурге, куда перебралось семейство Самсона Гейне, разразился погром. Хулиганский клич «Хеп! Хеп!» (аббревиатура латинского *Hierusalem est perdita*, что означает: Иерусалим разрушен!) пронёсся по многим германским землям. А в просвещённых кругах нашлись «теоретики» антисемитизма. Профессор истории Берлинского университета Рюс опубликовал брошюру «О претензиях евреев на немецкие гражданские права», в которой настаивал на том, что враги христовой веры должны быть отделены от всех других граждан: носить особую одежду, жить в особых кварталах. Некто «барон Х» издал памфлет «Зерцало еврейства», в котором предлагал продать возможно больше евреев англичанам для работы на заокеанских плантациях, мотивируя это подходящим моментом: английский парламент запретил торговлю чёрными рабами, между тем нужда в рабочей силе увеличилась. Оставшихся в Германии евреев мужского пола барон требовал кастрировать, а женщин и девиц определить в публичные дома. Такое вот решение еврейского вопроса!

В 1822 году был частично отменён эдикт 1812 года о гражданских правах евреев Пруссии, и они вновь лишились возможности преподавать в университетах и школах. Можно только догадываться, сколько унижительных укулов и обид претерпел Гейне, если в письме от 14 апреля 1822 года закадычному другу Христиану Зете решился на такие строки: «Я говорю, что не могу быть больше твоим другом, только потому, что всегда был честен и прям с тобой до конца и не хочу тебя обманывать и сейчас. У меня теперь совсем особое настроение, и оно, пожалуй, главная причина всему. Всё немецкое мне отвратительно, а ты, к сожалению, немец. Всё немецкое действует на меня как рвотное. Немецкий язык режет мне ухо. Временами мне противны собственные стихи; я вдруг понимаю, что они написаны по-немецки. <...> Я бы никогда не подумал, что животные, именуемые немцами, принадлежат к такой скучной и в то же время к такой коварной породе».

В берлинском Обществе науки и культуры евреев

На волне подобных настроений Гейне вступил в 1822 году в берлинское Общество науки и культуры евреев, во главе которого стояли историк еврейской литературы Леопольд Цунц и блестящий гегельянец, доктор права Эдуард Ганс, создавшие Общество в 1819 году. Гейне познакомился с Гансом в салоне Рахели и Карла Фарнхагенов, где он встретил понимание, где его поэтический талант был признан, где не сомневались в его будущем. В Обществе Гейне приобрёл близкого друга Мозеса Мозера, которого назы-

вал живым эпилогом к «Натану Мудрому», и сблизился с Йозефом Леманом, Иоэлем Вольфом (Вольвилем). Все они принадлежали к первому поколению эмансипированных евреев и были при этом, как и сам Гейне, «отчаянными гегельянцами». Гейне принял настолько активное участие в работе Общества, что и сам начал вести занятия по немецкому, французскому языку и истории Германии.

Один из учеников с благодарностью и благоговением вспоминал уроки Гейне. Особенно запомнилось ему, как тот с огромным воодушевлением и неподражаемым поэтическим вдохновением рассказывал о победе Арминия Германца над римскими легионами в Тевтобургском лесу. Его глаза блестели, лицо сияло радостью.

Двадцати лет хватило, чтобы энтузиазм угас. Поэту оказалось не по пути с домашними патриотами, которые во множестве расплодились в Германии. История первой победы германского оружия приобрела в 1844 году под пером Гейне откровенно ироническую окраску. Откройте 11-ю главу поэмы «Германия. Зимняя сказка»:

Вот он, наш Тевтобургский лес!
Как Тацит в годы оны
Классическую вспомним топь,
Где Вар сгубил легионы.
Здесь Герман, славный херусский князь,
Насолил латинской собаке.
Немецкая нация в этом дерьме
Героем вышла из драки.
Когда бы Герман не вырвал в бою
Победы своим блондинам,
Немецкой свободе был бы капут,
И стал бы Рим господином.

Слава господу! Герман выиграл бой,
И прогнаны чужеземцы,
Вар с легионами отбыл в рай,
А мы по-прежнему немцы.
Немецкие нравы, немецкая речь, –
Другая у нас не пошла бы, –
Осёл – осёл, а не asinus,
А швабы – те же швабы*.

Воодушевление уступило место насмешке. Но что осталось прежним – это негативная оценка жалкого положения отечества. В 1822 году он говорил своим ученикам: «Когда я смотрю на карту Германии и вижу эту уйму

* Перевод В. Левика.

цветных пятен, меня охватывает настоящий ужас. Напрасно спрашивать себя, кто сегодня управляет Германией». Спустя 22 года он пишет о чудовищном зловонии 36 клоак (читай – 36 немецких государств). И воспринимает он это положение Германии как свою личную драму.

Молодой Гейне избегал шумных студенческих сборищ, он не стремился в этот круг по многим причинам, не последнюю роль играло опасение услышать в свой адрес пренебрежительное: «Говядина!» Так на студенческом жаргоне называли евреев. Будучи крайне щепетильным в вопросах чести, Гейне не раз дрался с обидчиками на дуэлях. Тем более он дорожил новыми друзьями-интеллектуалами из Общества, с ними на протяжении нескольких лет он состоял в активной переписке. Его письма позволяют судить о том, насколько значима еврейская ипостась Гейне.

Бесправие евреев больно задевало юношу, и он не видел иных перспектив, кроме эмансипации и пробуждения сил в самом еврействе. Фридлиндера и его команду (преданных последователей отца Хаскалы Мендельсона) Гейне назвал «мозольными операторами», которые «пробовали при помощи кровопускания излечить тело иудаизма от роковых нарывов, его разъедающих». Их попытки улучшить положение евреев путём «европеизации» еврейского богослужения, перевода его на немецкий язык, привнесения в него некоторых элементов католической обрядности кажутся ему несостоятельными. В Гамбурге в 1818 году открылась синагога с реформированным богослужением, органом, хором и проповедями на немецком языке. Гейне не оставил без внимания это новшество. Иронизирует он и по поводу тех единоверцев, которые хотят «уютенького евангелического христианства под вывеской иудейской фирмы: они шьют себе талес из шерсти агнца божьего, фуфайку из перьев святого духа и кальсоны из христианской любви; и вот они терпят крах, а их наследники выступают уже под вывеской "Господь Бог, Христос и К⁰".

Слабость, пассивность евреев рождают у начинающего поэта горькие чувства. В письме к Вольвилю (от 1 апреля 1823 года) Гейне пишет: «Мы больше не ощущаем в себе сил, чтобы носить длинные бороды, поститься, ненавидеть и из ненависти терпеть; вот источник нашей реформации. <...> У меня тоже нет сил носить бороду, чтобы мне вдогонку кричали: "Еврейчик!", нет сил поститься и т. д. У меня даже нет сил, как следует, есть мацу. Я живу сейчас у еврея (напротив Мозера и Ганса), и получаю вместо хлеба мацу, и ломаю себе о неё зубы. Но я утешаю себя и думаю: "Мы ведь в изгнании"».

Чувство сопричастности к Обществу заставляет Гейне часто прибегать к этому «мы»: «...Мы, учёные евреи, постепенно совершенствовали немецкий стиль» – это из письма Цунцу. В том же 1823 году в письме Мозеру он признаётся в любви «к нашему праделу». В этом же письме содержится интересное признание в сослагательном наклонении: «Если бы я был немцем (но я не немец – смотри многие страницы у Рюса и Фриса), я стал бы...» Сегодня эти имена никому ничего не говорят. За ними – бер-

линский и иенский профессора-антисемиты, писания которых, по мнению Гейне, настолько опозорили немецкую нацию, что ему стыдно быть к ней причисленным.

Анализируя драму Михаэля Бера «Пария», которую отметил сам Гёте, Гейне указывает на сопоставление, лежащее в основе произведения, – сходство индийского парии с евреем – как на главную неудачу автора. «Глупее и вреднее всего – поистине достойна палок – вот такая любопытная идея: пария догадывается, что предки его сами предопределили свою печальную участь, совершив какое-то кровавое злодеяние». Гейне сразу уловил, что это прямой намёк на распятие Христа, это поняли и зрители, а вот то, что парию уличает еврей Бер, это, по мнению Гейне, непростительно. Достаточно, что церковь уже почти две тысячи лет преследует евреев под этим предлогом. Подход Бера «не может быть *для нас* (курсив мой. – Г. И.) безразличным». Опять – «мы», «нас». «Я предпочёл бы, чтобы Михаэль Бер крестился, но зато и судил о христианстве резко, по-альманзоровски (Гейне к этому времени издал свою романтическую драму "Альманзор", в которой еврейская тема присутствовала в завуалированном виде. – Г. И.), вместо того чтобы трусливо шадить его и даже строить ему глазки». Сам Гейне в эту пору намерен с энтузиазмом бороться за права евреев и их гражданское равноправие. «И в тяжкие времена, которые неизбежно наступят, – обещает он другу, – немецкая чернь услышит мой голос, эхо которого прогмат в немецких пивных и дворцах».

Признаваясь в другом письме Мозесу Мозеру в том, что он не является «энтузиастом еврейской религии», «которая первая провозгласила неравноценность людей (Гейне имел в виду объявление евреев богоизбранным народом. – Г. И.), что причиняет нам теперь столько страданий», Гейне в то же самое время в письме Йозефу Леману (от 26.06.1823) просит приятеля: «Поставьте меня в известность, если где-нибудь найдёте выпады против меня, особенно затрагивающие мою религию».

Отказываясь быть немцем в 1823 году, Гейне тем самым включал себя в еврейский круг. Это отнюдь не означает, что в этом круге всё и все устраивали поэта. В его письмах мы находим резкие высказывания о евреях Гамбурга: «жалкая сволочь», «еврейский сброд», «эти еврейские, или, вернее сказать, только во Израиле возможные мерзости». Он чувствует себя среди них белой вороной, чужаком. Из Люнебурга он сообщает Мозеру: «Евреи здесь, как и всюду, – невыносимые торгаши и грязнули, христиане из среднего класса скучны и настроены чрезвычайно антисемитски, высший класс обладает теми же свойствами, только в ещё большей степени».

О еврейско-немецком симбиозе

Видимо, двойственность положения (еврей–немец) не давала Гейне покоя. В письме Мозеру в конце января 1824 года он, переходя на французский, замечает: «Ведь, собственно, я не немец, как ты, вероятно, знаешь...

Я бы не слишком гордился, если бы и был немцем. *Oh, ce sont des barbares!»* (О, эти варвары! – франц.)

Однако полтора месяца спустя в письме к Рудольфу Христиани (адвокат и литератор, женившийся на одной из кузин Гейне) молодой поэт признаётся: «Я знаю, что я одно из самых наименее немецких животных; я знаю отлично – немецкое для меня то же, что рыбе вода, знаю, что для меня невозможно уйти из этой стихии и что (продолжаю рыбные сравнения) я иссохну, как треска, если (развиваю водную метафору) выпрыгну из вод немецкого патриотизма. По существу, я даже люблю немецкое больше всего на свете, я горд и счастлив тем, что грудь моя – архив немецких чувств, так же как две книги мои – архив немецких песен».

И в том, и в другом случае Гейне не лукавит. С младых ногтей он ощущал себя немцем и хотел им быть, но довольно скоро уяснил, что это ему заказано. Как ассимилированный еврей он, конечно же, испытывал мучительное раздвоение: его интересовала и влекла еврейская традиция, но пересиливало другое – стремление к немецкой и европейской культуре, которая в XIX веке заменила многим евреям религию. Исаак Дойчер, английский историк-марксист, биограф Троцкого и Сталина, в 1967 году предложил парадоксальное определение – «нееврейский еврей» (*Non-Jewish Jew*). Его дочь написала о нем: «Он принадлежал и сам себя считал принадлежащим к тому типу евреев – не-иудеев, которые трансцендировали иудаизм и преодолели еврейское самосознание ради высших идеалов человечества». Сказанное может быть отнесено и к Гейне.

Безусловно, он стремился к симбиозу еврейско-немецкого и даже подчёркивал близость евреев и народов германской расы. В сочинении «Девушки и женщины Шекспира» (1838) он пишет на эту тему: «Поразительно, какое глубокое сродство существует между евреями и германцами, этими народами – носителями нравственности. Это сходство возникло не по ходу истории, не потому хотя бы, что великая семейная хроника евреев, Библия, служила всему германскому миру воспитательной книгой, а также и не потому, что евреи и германцы были с древнейших времён непримиримыми врагами римлян и, следовательно, естественными союзниками; сродство это коренится глубже, и оба народа в основе своей так походят друг на друга, что древнюю Палестину мы могли бы воспринимать как Германию Востока, между тем как нынешнюю Германию следовало бы считать родиной Священного писания, землёй, породившей пророков, твердой чистой духовности».

Проблема некоего германско-еврейского синтеза занимала не только Гейне, но и других евреев Германии. В XX веке о ней станет размышлять Стефан Цвейг, в статье о писателе Якобе Вассермане, авторе книги «Мой путь как немца и еврея» (1922), он пишет: «Вследствие таинственной поллярности напряжённых противоречий стихийная первобытная сила еврейского видения мира оказалась ближе к немецкой, чем к другим нациям, поскольку и евреи, и немцы стремились к общей конечной цели – к некоему

морально-метафизическому одухотворению всей жизни; правда, стремились чрезвычайно разными методами, но с единым высшим мировоззрением, в какой-то степени соответствующим знаменательной близости Спинозы и Гёте в конечных точках их духовного состояния».

Основой еврейско-немецкого симбиоза в случае Генриха Гейне является немецкий язык, в котором он ощущал себя как пловец в своей стихии. В своих «Признаниях» (1854) он отмечал, что Священное писание стало для евреев диаспоры портативным отечеством, которое они в своих скитаниях повсюду таскали за собой, храня как зеницу ока. Он же вынужден был создать своё «портативное отечество» на базе немецкого языка из жизненных элементов – литературы, философии, истории. «Особое положение евреев в немецком обществе Гейне смог сублимировать и компенсировать, как никто до него и лишь единственный после него, а именно Кафка, и обратиться на пользу своему творчеству» (М. Райх-Раницки). Через стихию слова Гейне смог ощутить и ощущал себя немцем.

Раздвоение личности всегда мучительно. Потому-то Кафка и посочувствовал Гейне: «Несчастный человек. Немцы обвиняли и обвиняют его в еврействе, а ведь он немец, и притом маленький немец, находящийся в конфликте с еврейством. И как раз это и есть типично еврейское в нём».

В отличие от Рахель Фарнхаген (в девичестве Левин), которую Гейне глубоко чтит, он не стыдился своего происхождения, не отрекался от него. Еврейская самоненависть ему не была свойственна ни в малейшей степени. Даже спустя 20 лет Гейне будет помнить своих друзей, с которыми он сошёлся в Берлине, и посвятит памяти одного из них сочинение «Людвиг Маркус. Поминальное слово», которое было анонимно напечатано в аугсбургской «Всеобщей газете» (май 1844 года). Некролог покойному Маркусу, духовному наследнику Мозеса Мендельсона (по странному совпадению Маркус тоже происходил из Дессау и был физически тщедушным и слабым) невольно привёл Гейне к некрологу Обществу. Он отдал дань умершим к этому часу Гансу и Мозеру, с любовью написал о Бен-Давиде и Цунце. Это обо всех них им сказано: «Духовно одарённые и глубоко чувствующие люди пытались спасти с помощью этого Общества давно проигранное дело, но самое большее, чего им удалось добиться, это разыскать останки более древних борцов на полях прошлых битв».

Характеристики и оценки вышеназванных членов Общества весьма любопытны, но ещё интереснее и важнее мысли Гейне о необходимости эмансипации евреев: «Да, на эмансипацию всё-таки придётся согласиться рано или поздно, по чувству ли справедливости, по благоразумию, или по необходимости. Антипатия к евреям среди высших классов не имеет уже религиозных корней, а среди низших классов она с каждым днём всё больше и больше превращается в социальную ненависть (курсив мой. – Г. И.) к господствующей власти капитала; к эксплуатации бедных богатыми. Юдофобство носит теперь совсем другое название, даже у черни. Что же касается правительств, то они, наконец, добрались до высокочудрой идеи, что госу-

дарство есть организм, и что последний не может быть здоровым до тех пор, пока хоть один-единственный из его членов, будь то хоть мизинец ноги, страдает каким-нибудь недугом. Да, как бы гордо государство ни подымало свою голову и как бы ни встречало оно открытой грудью всяческие бури – сердцу, и груди, и даже этой гордой голове всё-таки придётся разделить боль с мизинцем, если он страдает от мозолей; ограничения в правах евреев являются такого рода мозолями на ногах немецкой государственности».

Положение еврейства в Германии продолжало по-прежнему его волновать. Незадолго до смерти Гейне открывает своё авторство «Поминального слова» и дополняет сочинение «Позднейшей заметкой». В марте 1854 года он высказывает глубоко продуманную, можно сказать, выстраданную мысль о том, что еврейский вопрос в Германии – это, прежде всего, немецкий вопрос. Освобождение евреев невозможно без раскрепощения, без эмансипации самих немцев: «Евреи <...> лишь тогда будут по-настоящему эмансипированы, когда христиане также полностью добьются эмансипации. Их дело тождественно делу немецкого народа...» (курсив мой. – Г. И.). Эти строки звучат настолько актуально (и не только в Германии!), что трудно поверить, будто они написаны 150 лет назад.

Автобиографический подтекст «Бахерахского раввина»

Перед угрозой растущего антисемитизма Гейне счёл правомерным обращение к истории и культуре евреев, установление связи между историческим иудаизмом и современной наукой. Он задумывает и начинает в 1824 году писать историческую повесть «Бахерахский раввин», позже он охарактеризует её как «попытку в духе Вальтера Скотта, но на еврейском материале».

Трудясь над повестью, Гейне усердно штудирует материалы, необходимые для воссоздания эпохи, в том числе и работы талантливого Цунца, они для него своего рода эталон. Он хочет внести свой вклад в «общее дело» и радостно предвкушает, что его будущую книгу «Цунцы всех веков назовут источником». В письмах Мозеру летом 1824 года он сообщает о том, что много занимается хрониками и еврейской историей, называет многих авторов и признаётся: «Совсем особые чувства овладевают мной, когда я перелистываю эти печальные анналы, богатые поучением и страданием. Сущность еврейской истории всё больше и больше раскрывается передо мной, и это духовное вооружение, конечно, очень пригодится мне впоследствии».

Повесть, однако, осталась незаконченной, значительная её часть, хранившаяся у матери в Гамбурге, сгорела в числе других его бумаг во время страшного пожара в 1833 году. Тем не менее, в 1840 году Гейне публикует сохранившееся начало «Бахерахского раввина» (фрагмент из 40 страниц). То, что Гейне решил опубликовать фрагмент в 1840 году, – не случайность. Так он откликнулся на громкое ритуальное дело, получившего название «Дамасского» (1840). Речь шла о кровавом навете, который как шлейф тя-

нулся (и ещё тянется!) за евреями. Родился он в немецкой Фулде в начале XIII века и оказался весьма живучим. В начале своей повести Гейне пишет: «...обвинение, которое с давних времён, на протяжении всего Средневековья, до начала прошлого столетия, стоило евреям *много* крови и страха, была затасканная до тошноты, повторявшаяся в хрониках и легендах басня, что евреи похищают освящённые гостии и до тех пор пронзают их ножом, пока не истечёт кровь, а на Пасху закалывают христианских детей, дабы употребить их кровь в ночном богослужении».

Взгляд Гейне устремляется к Испании, к золотому веку еврейской культуры в зоне испано-мавританского культурного влияния. Трагические события в жизни немецкого еврейства ассоциируются при этом с историей изгнания и насильственного крещения евреев Испании и Португалии, с временами инквизиции. Произведение явно связано с поиском национальных корней немецкого еврейства и духовных основ собственной родословной. Одновременно эта повесть отражает ту борьбу, которая происходила в душе и сознании поэта. Ведь когда он приступил к её написанию, он уже подумывал о крещении, осуждая при этом себя как дезертира и отступника. Религиозно-этические категории вины и греха получают в повести художественное воплощение.

Главным героем, на что указывает название, является потомственный раввин небольшого прирейнского городка Бахераха рабби Авраам, человек ещё не старый, но прославившийся учёностью. Семь долгих лет изучал он божественный закон в высшей школе Толедо. Действие происходит в XV веке. Завязкой служит страшное происшествие во время пасхального седера. Бахерахский раввин празднует Песах в своём доме в окружении многочисленной родни и учеников. Перед читателем развёртывается настоящая религиозная идиллия. Внезапно появляются два незнакомца в тёмных плащах, назвавшиеся единоверцами. Никто не заподозрил беды. Их усадили за стол на почётное место рядом с Авраамом. И вдруг он случайно замечает под столом у своих ног окровавленный детский труп. Его подбросили незнакомцы. В эпоху далёкого средневековья время от времени такие происшествия случались, и каждый раз – на Песах. За «преступление» платила жизнью вся община.

Окаменевший от ужаса раввин понял, что ночью в его доме начнётся резня. Не подав вида, что он заметил труп, Авраам продолжал читать Агаду. Улучив момент перед трапезой, он вышел из комнаты, подав знак жене следовать за ним. Лишь на берегу Рейна он объяснил ей, что им грозит смертельная опасность, заверив её, что их родичей и друзей нечестивцы не тронут, удовлетворяясь грабежом дома. С помощью соседского мальчишка им удалось уплыть далеко от Бахераха.

Новый день застал беглецов у городских ворот Франкфурта-на-Майне. Когда стражники ихпустили, они направились в гетто, обитатели которого по случаю праздника собрались в синагоге. Супруги тоже вошли туда, прекрасная Сарра поднялась в помещение для женщин. Сквозь решётку

она благоговейно наблюдала за обрядом выноса Торы, её восхитило пение кантора, правда, болтовня женщин отвлекала её, но всё же она услышала голос своего мужа. Она вслушалась в его молитву, и вдруг до неё дошло, что он поминает многочисленных родственников, в том числе её сестёр, маленьких племянниц и племянника, поминает как невинно убиенных. Силы покинули несчастную.

Тут мы оставим героиню и обратим внимание читателя на негативную нравственную оценку, которую получило бегство бахерахского раввина в наши дни. В 1937 году берлинский литературовед Эрих Лёвенталь в послесловии к повести указал на «удивительную безответственность, с которой раввин в минуты опасности тайно покидает доверявшую ему общину во имя собственного спасения». Сам Лёвенталь, в отличие от рабби Авраама, разделил участь своих соплеменников и погиб в Освенциме в 1944 году.

Задумывался ли сам Гейне над этической стороной поступка рабби? В письме Мозеру (01.07.1825), где он подробно пишет о работе над «Раввином», Гейне выражает уверенность, что только он может написать эту книгу и «что создание её – дело нужное и угодное Богу». В этом же письме меня «зацепил» пассаж, где он ведёт речь о разности натур его и... Гёте. Гейне считает, что Гёте по природе лёгкий и жизнерадостный человек, для которого самое высшее – наслаждение жизнью. «Хоть он и чувствует и догадывается, что значит жить ради идеи, он не принимает её глубоко и не живёт ею». Себя Гейне оценивает как энтузиаста, преданного идее до самопожертвования. Однако он хочет быть честным до конца и признаётся: «Но в то же время я понимаю и наслаждение жизнью, я нахожу в нём удовольствие, и тогда во мне возникает великая борьба между моей ясной разумностью, которая ценит жизненные блага и отмечает как глупость всё жертвенное воодушевление, и склонностями мечтателя...» Прервав рассуждения на эту явно волновавшую его тему, Гейне мимоходом замечает: «Да, эту тему ты найдёшь и в "Раввине"».

Вот слово и сказано. Не предвещает ли бегство бахерахского раввина будущего дезертирства из иудаизма самого автора? Ведь он принял крещение во время работы над повестью. Сделано это было 28 июня 1825 года тайно, но с согласия семьи. Мотивировка этого шага была достаточно цинична: через две недели он должен был получить диплом и рассчитывать на должность. Внутренне он испытывал глубокий стыд. Мозеру он пишет откровенно: «Мне было бы очень жаль, если бы моё собственное крещение явилось тебе в благоприятном свете. Я не вижу, чтобы мне полегчало, напротив, с тех пор я ещё больше несчастлив». А потому, когда до него дошли слухи, что Ганс, крестившийся несколькими месяцами ранее, проповедует христианство и всерьёз пытается обратить сынов Израиля в новую веру, он откликнулся на эту новость следующим образом: «Если он это делает по убеждению, то он дурак; если он делает это из лицемерия, то он подлец. Я, конечно, не перестану любить Ганса, но, тем не менее, признаю, что мне было бы гораздо приятнее, если бы вместо этой новости я

узнал, что Ганс украл серебряные ложки». А над собой он иронизирует: «Я становлюсь теперь истинным христианином, то есть состою паразитом при богатых евреях». Но его шуточка – маска, а под ней человек, переживающий глубокий кризис.

О том, что предпринятый шаг дался Гейне нелегко, говорит и стихотворение «Отступник», которому переводчик В. Зоргенфрей дал название «Отщепенцу», несколько меняющее смысл, ибо речь в нём идёт о ренегатстве.

О, как юность беззаботна!
О, как быстро ты поддался!
Как легко и как охотно
Со Всевышним столкнулся!
Малодушно и бесславно
Ухватился за распятыё,
То, которому недавно
Посылал ещё проклятыё!
Вот оно – читать запоем!
Шлегель, Галлер, Берк – о, бредни!
Был вчера ещё героем,
А сегодня плут последний!

Стихи были посвящены Гансу, но этот уничтожающий приговор Гейне вынес и самому себе. Ганс, его душа – это то зеркало, заглядывая в которое, поэт узнаёт себя. И он признаётся другу-исповеднику: «Я часто думаю о нём (о Гансе. – *Г. И.*), потому что о себе самом мне думать не хочется».

Отправляя Мозеру очередное стихотворение, Гейне представляется молодым испанским евреем, «евреем в глубине души, но из высокомерия и заносчивости принявшим крещение». В этой маске легко узнать героя «Бахерахского раввина» – молодого испанца дона Абарбанеля, который появляется на улице Франкфурта во всём великолепии рыцарского одеяния и преграждает путь героям, подступая к прекрасной Сарре с галантными комплиментами.

Вспыхнуло от боли лицо прекрасной еврейки, и ответила она жёстко: «Когда хотите вы стать моим рыцарем, то принуждены будете сразиться с целым народом и в этой борьбе същете мало благодарности и ещё меньше чести! И когда вы хотите носить мои цвета, то принуждены будете нашить на свой плащ жёлтые кольца или повязать фату с синими полосами, ибо это мои цвета, цвета моего дома – дома, что зовётся Израиль и весьма страждет и над которым глумятся на улице сыны счастья!»

Гордая речь еврейки-парии разрушила маскарад, и «рыцарь», краснея и запинаясь, признался, что он не хотел оскорбить Израиль, что он сам принадлежит к этому народу, ибо его дед, а возможно и отец, были евреями. Гейне дал герою благородное имя Абарбанель, представив его племянником известного сефардского богослова, дипломата и министра при порту-

гальском и испанском дворах. Исаак бен Иегуда Абарбанель (1437–1508) – фигура историческая, он прославился комментариями к Ветхому завету, после изгнания евреев бежал из Испании в Италию. Известно, что его младший сын принял христианство. О племяннике раввина история умалчивает, Гейне его придумал. Герой этот чрезвычайно важен, ибо является своеобразным *alter ego* автора.

Из дальнейшего выясняется, что рабби Авраам и молодой дон Абарбанель знакомы. Во время учёбы в Испании рабби Аврааму довелось спасти юношу, тонувшего в водах Тахо, после чего они подружились. Теперь между ними происходит показательный разговор. Раввин стыдит молодого маррана за отступничество: «Негоже льву отречься от самого себя! Как в таком случае станут поступать звери послабее льва?» «Не смотри на меня с отвращением, – отвечает молодой испанец. – Мой нос не стал отступником. Когда случай завёл меня в обеденное время на эту улицу, и хорошо знакомые запахи еврейских кухонь зашевелили мои ноздри, тогда овладела мною та самая тоска, которую ощутили наши отцы, когда вспомнили о горшках с мясом в Египте; вкусные воспоминания юности зашевелились во мне...» Дон Абарбанель приглашает раввина с женой отобедать в «лучшую харчевню Израиля». На этом фрагмент обрывается.

Перечисление вкусовстей еврейской кухни, память о которых сохранилась у Гейне с детских лет, даёт богатую пищу для разговора о запахах еврейства, который неизбежно приведёт нас к Розанову с его «обонятельным и осязательным», к Мандельштаму с его «хаосом иудейским», заставит вспомнить «особенный еврейско-русский воздух» Довида Кнута и Бог знает что ещё – всё, что вмещается в ёмкую формулу «мускус иудейства». Предмет разговора безумно интересный, но уводит от главного.

Главное же заключается в признаниях Абарбанеля относительно его истинного вероисповедания. В ответ на упрёки раввина он отвечает: «Да, я язычник, и равно противны мне как сухие, безотрадные иудеи, так и пасмурные, ищущие мучений назарейне... Да простит мне наша богородица из Сидона, священная Астарта, что я преклоняю колена и молюсь перед многострадальной матерью распятого... Только колена мои и язык мой славят смерть, сердце моё хранит верность жизни!..»

Нужно ли говорить, что перед нами символ веры молодого Гейне. И он не столько перешёл в христианство, сколько крестился в язычество, в «эллинизм». Впервые он заговорил о назарействе как о понятии, не связанном с религией. Оно станет ключевым в его споре с Людвигом Бёрне. А что касается «Бахерахского раввина», то он остался незавершённым, хотя Гейне собирался опубликовать его в 1825 году, включив в один из томов «Путевых картин». Даже на исходе декабря он не отказался от этого намерения, хотя и признался, что «"Раввин" опять не двигается с места». Однако в 1825 году произошли события, которые привели к фактическому распаду Общества. Интересы, которыми он жил несколько лет, отходят на задний план, потому и работа над «Раввином» застопорилась.

Нетерпение сердца

Крещение не открыло Гейне пути к карьере. Прощение о приёме в Гамбургскую коллегия адвокатов осталось без ответа. Влиятельная родня могла бы помочь. Однако родственники смотрят на него как на позор семьи, считают бездельником и повесой, упрекают в легкомыслии, наушничают богатому дяде, провоцируют на ссору, скандал. Как всё это стерпеть, как тут не сорваться?! Материальная зависимость от дяди-банкира тем более оскорбительна, что в этой семье его не принимают всерьёз, и ему это хорошо известно. Обе кузины, вначале Амалия, а затем и Тереза оставят без внимания и тем более без ответа любовное чувство Генриха. Им нравятся его стихи, но замуж каждая пойдёт за солидного человека своего круга, на которого укажет отец. А Гарри достанутся сердечные муки, горечь разочарования, любовная тоска, которые отольются в стихи цикла «Страдания юности». Сердечные раны, полученные в Гамбурге, как это бывает у поэтов, будут долго саднить и не зарубцуются до смерти, свидетельством чему – предсмертные стихи:

В их поцелуях крылся путь к изменам,
От них я пьян был виноградным соком,
Но смертный яд с ним выпил ненароком,
Благодаря кузинам и кузнам*.

Сердечная боль поэта вызывала отклик не у каждого. По свидетельству Винбарга, одного из членов группы «Молодая Германия», тот круг людей, в котором он вращался, не был в восторге от Гейне. «Его считали там отличным поэтическим жонглёром; особенно сомневались в правдивости его чувств и любовных переживаний, и поэтому успехом пользовалась следующая эпиграмма на него:

Садовника кормит лопата,
Нищего кормит клюка,
А мне приносила дукаты
Любовная тоска».

Но мы помимо стихов располагаем письмами поэта и воспоминаниями тех, кто был Гейне в ту пору близок, а потому судим иначе. Вот письмо Мозесу Мозеру:

«Проклятый Гамбург, 14 декабря 1825 г.

Вот я снова всё начинаю с азов, усталый от бесцельной беготни, чувств, мыслей, а на дворе ночь и туман, чёртова кутерьма, и все, от мала до велика, бегают по лавкам, покупая рождественские подарки... Я же подарю те-

* Перевод М. Гарловского.

бе к Рождеству нечто совсем особенное, а именно обещание, что в ближайшее время я не застрелюсь».

В мае 1826-го появился первый том «Путевых картин», куда вошли «Путешествие по Гарцу» и два стихотворных цикла «Опять на родине» и «Северное море». Книга поразила многих непривычным соединением нежности и сарказма. Подобная манера раздражала немецких читателей. Только они расчувствовались, воспарили, как поэт грубо сталкивает их с небес на землю, когда они менее всего этого ожидают. Что за несносная привычка!

Среди стихов первого цикла есть одно, где поэт представляет себя в образе мифического Атланта, принявшего на свои плечи необычный груз – бремя страданий. Стихи переводил и Александр Блок, но мы приводим перевод В. Гиппиуса:

Атлант я горемычный! Целый мир,
Моих страданий мир, носить я должен!
Ношу невыносимое, и сердце
Готово разорваться.

Много лет спустя Гейне прибегнет к той же поэтической метафоре: «...весь мир надорван по самой середине. А так как сердце поэта – центр мира, то в наше время оно тоже должно самым жалостным образом надорваться. Кто хвалится, что сердце его осталось целым, тот признаётся только в том, что у него прозаичное, далёкое от мира, глухое закулочное сердце. В моём же сердце прошла великая мировая трещина, и именно поэтому я знаю, что великие боги милостиво отличили меня среди многих других и признали меня достойным мученического назначения поэта». Ещё одна мученица, Марина Цветаева, боготворившая Гейне, справедливо заметила, что этот замечательный образ многое объясняет в нашем душевном строе, ибо великая социальная трещина в XX веке пришлось по сердцам не только поэтов.

Коль названо имя Цветаевой, следует заметить, что даже она в стихотворении «Евреям» (1920), откликаясь на роковые события в революционной России, не устояла против расхожего мнения: в трагедии русских виноваты евреи. Вид почерневших, а ещё недавно горевших золотом куполов Кремля рождает вихрь обвинений: «Попран! – Предан! – Продан!» Простой народ называет преступников-святотатцев: жида! Что же Цветаева? «В братоубийственном угаре» она повторяет это слово. Опомившись, спохватывается: «Но есть один – напрасно имя Гарри / На Генриха переменя!» Гейне – не только любимый поэт Цветаевой, но и символ еврейства. И вся система понятий «евреи», «преступление», «кровь» возникает у неё через и в связи с Гейне. Так рождается финал этого стихотворения:

Ты, гренадеров певший в русском поле,
Ты, тень Наполеонова крыла.
И ты жидом пребудешь мне, доколе
Не просияют купола!

Комментировать стихи, сверхнеожиданные для традиционного образа Цветаевой, не берусь. Гейне бы не смолчал. Как бы он ответил? Разве что повторил бы: «И ты, Брут?!»

Он ведь и впрямь пел grenадеров в русском поле и не только в известном одноименном стихотворении, но и во второй части «Путевых картин» (1827), куда вошла «Книга Ле Гран», в которой, по словам автора, «Наполеон и французская революция изображены во весь рост». Книга наделала много шума и тотчас после выхода была запрещена в Рейнландии, а также в Австрии, Ганновере и Мекленбурге. Вызывающее французофильство и симпатии к Наполеону воспринимались как предательство и измена, как государственное преступление. Они оскорбляли патриотические чувства многих сограждан. Издатель Кампе нервничал, опасаясь новых репрессий. К тому же он ревновал Гейне – и не без оснований – к мюнхенскому издателю барону Котта.

Котта, просвещённый либерал, издатель Гёте и Шиллера, пригласил Гейне в Мюнхен участвовать в его журнале «Утренний листок» и редактировать «Политические анналы». Он обещал содействие и в получении места, а именно – должности профессора Мюнхенского университета. Однако надежды получить кафедру в Мюнхене были обмануты. Министр фон Шенк тоже ходатайствовал о нём перед королём Людвигом I, но тщетно. И чему удивляться?! Когда этот баварский король, ревностный католик, воздвиг возле Регенсбурга пантеон прославленных деятелей Германии, так называемую *Walгаллу*, он запретил устанавливать там бюст реформатора Лютера. Станет ли он дарить милостью новоиспечённого протестанта Гейне, тем более что против этого Гейне ополчились баварские клерикалы.

Поэт «раздразнил гусей», сотрудничая с мюнхенскими журналами. Он был уверен, что эстетический период (или эпоха Гёте) кончился, что наступило новое время: «Наше время – время борьбы идей, и журналы – наши крепости». Он ориентировался на либерально мыслящих граждан, но преобладали в обществе совсем иные силы. Они-то и развязали в прессе кампанию против Гейне, обвиняя в богохульстве, издевательствах над дворянством и церковью.

Следом за клерикалами против «вожака либералов» выступил мюнхенский поэт Август фон Платен с комедией-памфлетом «Романтический Эдип». Гейне не сомневался: за графом Платеном стояли «ночные совы из конгрегации» и «аристократические павлины». Бедный Платен, вздумавший подражать Аристофану в своей комедии, не мог предположить, какой сокрушительный ответный удар ожидал его. Он, никогда не читавший Гейне, не знал его возможностей и пристрастий (Гейне высоко ставил именно Аристофана!) и на свою беду сам подал повод оппоненту использовать средства сатиры, которыми тот владел виртуозно. Гейне в ту пору заканчивал третью часть «Путевых картин» о своём путешествии в Италию – «Луккские воды». В последней главе книги он сквитался с Платеном. Сказать, что он уничтожил незадачливого поэта – ничего не сказать. Кое-кто из

приятелей отвернулся от Гейне, не в силах простить ему эту публичную порку. Даже верный Мозер счёл ответный удар излишне жестоким, и Гейне прервал с ним всякие отношения.

Гейне понимал, что главой о Платене он бесконечно повредил себе в общественном мнении, но он просто *«обязан был преподавать урок»*. В письме к Карлу Фарнхагену, одному из немногих, кто не только не осудил Гейне, но и поддержал его, он разъясняет причины своей резкости: «В платеновской истории я не претендую на венец гражданственности, я заботился, прежде всего, о себе, но источники этой заботы возникли из всеобщей борьбы нашего времени. Когда на меня впервые набросились мюнхенские попы и впервые заговорили обо мне как о еврее, я смеялся, я считал это просто глупостью. Но *когда я почувствовал здесь систему* (курсив мой. – Г. И.), когда я увидел, как нелепый призрак постепенно становится грозным вампиром, когда я разглядел цель платеновской сатиры, когда я узнал от книготорговцев о существовании подобной же рукописной продукции, пропитанной тем же ядом и расползающейся повсюду, я препоясал чресла и ударил со всей силой, со всей быстротой».

Поэт даже не предполагал, сколь глубоко яд антисемитизма поразит сознание немцев, к каким разрушительным последствиям это приведёт, но он отважился говорить *о системе*, об антисемитской тенденции, опасной не только для евреев, но и для самих немцев. Одурачить апатичного и рабочего Михеля не так уж сложно, тем более что «дело народа никогда не встречало широкого сочувствия в Германии». Тем не менее, он намерен сражаться за это дело, хотя его собственное здоровье (открылось кровохарканье), казалось бы, к борьбе не располагало. Едва оправившись от недуга, он начинает искать приложение своим силам, т. е. официального места в Потсдаме, в Берлине, зондирует почву в Вене, но везде встречает отказ.

Подобно некоторым животным и птицам, способным предчувствовать природные катаклизмы, Гейне полон предощущений грядущей революции. Она и впрямь разразилась в июле 1830-го, но не в Германии, а в соседней Франции. На родине поэта она отозвалась еврейским погромом в Гамбурге, волнениями в Ганновере и землях Брауншвейг, Саксония, Гессен, где возникли представительные учреждения граждан, несколько ограничивших самодержавную власть. Герцог Брауншвейгский даже отрёкся от престола. Гейне, однако, подмечает, как «незримо воздвигаются ещё более крепкие непроницаемые тюремные стены вокруг германского народа». Он видит свою задачу в том, чтобы готовить соотечественников к грядущим революционным бурям. Ведь период главенства искусства пришёл к концу, «наступила эпоха энтузиазма и действия». Больше чем когда-либо он сосредоточен на публицистике.

Стрелы его обращены в первую очередь против дворянства и церкви. Заканчивая «Путевые картины», он пишет: «Если в тупо религиозной Германии книга моя сможет способствовать эмансипации чувства от религии, я буду так этому рад, что охотно перенесу все страдания, которые причи-

няют мне вопли святош. Увы! Я ведь переносу и нечто гораздо горшее». Готовность пострадать за Германию не удивительна: ведь Гейне ни на минуту не сомневается в своей принадлежности к немцам. Читая его прозу, то и дело наталкиваешься на выражения: «мы, немцы», «нас, немцев», «нам, немцам» и т. д. Но уже в 1830 году был вынесен вердикт: «Не немец!» А после 1871 года фон Трейчке в своей широкоизвестной «Немецкой истории» писал со всей определённости: «Медленно, очень медленно мы приходим к пониманию, что остроты Гейне никогда не могли быть полностью созвучны взглядам немцев. Прошло много времени, прежде чем люди осознали, что *esprit* (дух – *фр.*) Гейне – далеко не *Geist* (дух – *нем.*) в немецком смысле». Трейчке писал, немцы читали, и, как заметил Ницше, никому не было стыдно, а Гейне уже не мог ответить.

В начале 1831 года Гейне издаёт со своим предисловием брошюру «Кальдорф о дворянстве в письмах к графу М. фон Мольтке». Первая строка предисловия сразу вводит в тему: «Галльский петух прокричал теперь во второй раз, и в Германии тоже рассвело». В то время как французы занимались реальными делами, «мы грезили на наш немецкий лад, – продолжает Гейне, – то есть мы философствовали». Немцы и впрямь совершили революцию в философии. Гейне расскажет об этом в книге «К истории религии и философии в Германии» (1835), пока же он даёт сжатую оценку: «Вся наша немецкая философия есть не что иное, как сновидение французской революции». Однако эпоха философствования завершена, немцам теперь предстоит перейти к политике, и сразу встаёт вопрос, насколько они готовы к этому. Характер революции, по его мнению, всегда обусловлен нравственным состоянием народа и особенно его политическим развитием, а развитие это зависит от свободы печати.

В каком плачевном состоянии находилась свобода печати в Германии, можно судить по тому, что в январе 1831 года был издан приказ Прусского управления полиции о конфискации четвёртого тома «Путевых картин». Вышеназванная брошюра тоже была немедленно запрещена, поскольку она оспаривала правовые притязания дворянства. Но главной причиной запрета послужили 14 страниц предисловия. Властям достаточно было и одного абзаца: «"Гражданское равенство" могло бы быть теперь в Германии, так же как некогда во Франции, первым лозунгом революции, – писал Гейне, – и кто любит отечество, тот, конечно, не должен медлить, если желает подействовать тому, чтобы спорный вопрос о дворянстве был улажен или решён посредством спокойного обсуждения, раньше чем вмешаются неуклюжие диспутанты со слишком решительными доказательствами, с которыми не смогут сразиться ни цепкие силлогизмы полиции, ни самые меткие доводы пехоты и кавалерии, ни даже *ultima ratio regis* (последний довод короля – *лат.* – *Г. И.*), который легко может превратиться в *ratio ultimi regis* (довод последнего короля – *лат.* – *Г. И.*)».

Легко сказать: кто любит отечество, не должен медлить! Казалось бы, либерализм в Германии сразу после июльской революции неожиданно при-

обрёл множество сторонников, но новоявленные глашатаи свободы не шли дальше повторения изрядно затрёпанных истин, а с приходом из Польши вестей о разгроме повстанцев доморожденные либералы и вовсе притихли. Но ведь «у нас в Германии ничто не делается быстро», – иронизирует Гейне. Черепаший шаг выводит его из себя: «Я всё-таки не похож на настоящего немца!» Остаётся одно: уехать во Францию и пытаться оттуда воздействовать на ход событий на родине. Нетерпение сердца толкнуло его на отъезд. Покидая Германию, он признался, что его «тошнит от берлинских либеральных Тартюфов». Разве такое прощают? Недоброжелателей у Гейне прибавилось.

Отъезд во Францию был для поэта единственным выходом. «Мне оставался выбор между безоговорочной капитуляцией и пожизненной борьбой, – писал он Фарнхагену из Парижа в 1833 году. – Я выбрал последнюю, и, право же, не по легкомыслию. Взяться за оружие меня давным-давно принудило издевательство недругов, наглость чванных аристократов. Маршрут всей моей жизни лежал уже в моей колыбели». Эмиграция не стала для него тихой гаванью.

Один – против всех

В Париже, в этой столице XIX столетия, как позже назовёт его Вальтер Беньямин, Гейне внимательно следил за борьбой политических партий, но сам не примкнул ни к одной, партийный фанатизм был ему глубоко чужд. На первых порах он посещал собрания сенсимонистов, о которых ему восторженно писала его берлинская приятельница Рахель Фарнхаген, бывал он и на собраниях французских республиканцев и немецких радикалов. Партия радикалов во главе с Бёрне тщетно пыталась вовлечь Гейне в свои ряды, он уклонялся: догматизм в сочетании с пафосом начётчиков он чуял за версту, политическое резонёрство его бесило. У сенсимонистов он хотя бы не слышал высокопарных, напыщенных речей. Но и сенсимонисты не избавляли от сомнений, от недоверия к миру и к себе самому.

Немецких эмигрантов Гейне сторонился, подозревая некоторых – и не обосновательно – в том, что они приставлены шпионить за ним и доносить: «Германия, старая медведица, напустила в Париж всех своих блох, и меня, несчастного, они совсем заели». Тем не менее, почти ежедневно заходил он в немецкую книжную лавку «Гейделоф и Кампе» на улице Вивьенн, где встречался с немецкими литераторами, художниками, учёными, журналистами – эмигрантами и приезжими. Тут бывали его старые знакомые: поэт Михаэль Бер, композитор Феликс Мендельсон, барон Мальтиц. Здесь познакомился он с Александром фон Гумбольдтом, князем Пюклер-Мускау, которому он посвятит свою книгу «Лютетия». Здесь можно почитать немецкие газеты (он с нетерпением ждал очередного номера аугсбургской «Всеобщей газеты») со своими корреспонденциями о политической и культурной жизни Франции), полистать книги-новинки, среди них были и его собственные.

Правда, в 1832 году «аугсбургская кумушка» (так Маркс аттестовал «Всеобщую газету») отказалась от корреспонденций Гейне, уступив требованиям фон Гентца, всесильного секретаря князя Меттерниха, прекратить публикацию статей этого «чудовища». Но «чудовище» исхитрилось донести до сограждан свою правду о французской жизни иным способом: в конце 1832 года Кампе издал корреспонденции Гейне отдельной книгой – «Французские дела». Через год вышел первый том «Салона» со статьями о французских художниках, второй том вышел в 1835 году, туда вошла известная работа «К истории религии и философии в Германии». В том же году опубликованы очерки немецкой литературы, блестящий памфлет под названием «Романтическая школа».

«Я отошёл от злободневной политики, – писал Гейне Фарнхагену, – и занимаюсь теперь главным образом искусством, религией и философией». Но как он ими занимается?! В каждой строке бьётся сердце борца. Последние два сочинения – это живые документы литературно-общественной борьбы. Впервые эти работы были опубликованы в Париже и адресованы французам, в Германии они появятся позднее.

Он первым «выболтал тайны» немецкой классической философии, показав, что за её схоластическими формулами и тёмными словами скрываются прогрессивные, революционные идеи, имеющие колоссальное значение для развития человеческого общества. Историю немецкой философии он сопоставил с политической историей Франции: «...Кант был нашим Робеспьером... За ним пришёл Фихте со своим Я, этот Наполеон философии... Мы пережили восстания в духовном мире, как вы – в мире материальном, и при ниспровержении старого догматизма мы горячились не меньше, чем вы при взятии Бастилии».

Достаточно прочесть один абзац из «Романтической школы», чтобы понять, почему этого «романтика-расстригу» ненавидели «тевтономаны» и доморощенные патриоты: «Нам был предписан патриотизм, и мы стали патриотами, ибо мы делаем всё, что нам приказывают наши государи. Под этим патриотизмом, однако, не надо понимать чувство, носящее то же имя здесь, во Франции. Патриотизм француза заключается в том, что сердце его согревается, от этого нагревания расширяется, раскрывается... Патриотизм немца заключается, наоборот, в том, что сердце его сужается, что оно стягивается, как кожа на морозе, что он начинает ненавидеть всё чужеземное и уже не хочет быть ни гражданином мира, ни европейцем, а только ограниченным немцем». Гейне стоял на том, что восприимчивость к общечеловеческому – признак не слабости, а, напротив, внутренней жизненной полноты и силы. Укоренённость в родной почве ведёт к расцвету духовной жизни, а широта человеческого духа делает его сочувственным к восприятию всего общечеловеческого. Гейне мыслил как европеец.

Когда Гейне писал «Романтическую школу», большинство её деятелей ещё были живы, потому его саркастические портреты некоторых из них, его предостережения против политической опасности их заигрывания с

католицизмом и апологии средневековья имели такие же последствия, как если бы он стал ворочать палкой в осином гнезде. Жалящих укусов было не счесть.

Каждое очередное сочинение Гейне становилось событием и бурно обсуждалось на родине. Стражам порядка в Германии они представлялись опасными. В письме к французскому критику и историку литературы Филарету Шалю от 15.01.1835 года он признаётся: «Вот уже 12 лет, как в Германии спорят обо мне; меня либо хвалят, либо бранят, но то и другое – страстно и непрестанно. Там меня любят, ненавидят, превозносят, ругают».

Гейне писал не только для соотечественников о Франции, но и для французов о Германии. Как сказали бы ныне, он наводил мосты. Одну из книг, вышедших в Париже, он так и назвал «О Германии». Ещё недавно во Франции пользовалась известностью книга Жермены де Сталь под таким названием. Гейне сознательно бросил вызов французской писательнице, справедливо полагая, что она, путешествуя по Германии, не увидела главного. Она навязала французам свои субъективные представления о германском духе и характере, о немецком романтизме, представления поверхностные и искажающие истинную картину. Он же предложил взгляд изнутри.

Гейне посвятил свою книгу знакомому сенсимонисту Анфантену. Старый утопист был благодарен, но книга его не удовлетворила. Он считал, что задача состоит не в том, чтобы рассказать одному народу о другом, но в том, чтобы соединить «все народы в единую семью». Когда-то Шиллер мечтал о том же. «Обнимитесь, миллионы!» – взывал он в «Оде к радости». Гейне уже убедился в несбыточности и иллюзорности подобных надежд. Подумать только, ещё три года назад он слушал сенсимонистов как провозвестников истины, способной спасти человечество!

Разошёлся Гейне, как уже было сказано, и с немецкими якобинцами, вождём которых стал Людвиг Бёрне. Вождь был настроен сверхрадикально, его кумиром был Марат. Сын франкфуртского банкира, учившийся вначале медицине, Бёрне стал известным журналистом. Как и Гейне, он принял крещение. Как и Гейне, покинул Германию и умер в Париже. Бёрне считался лидером и идеологом демократического литературного течения «Молодая Германия», которое заявило о себе к началу 1830-х годов. К младогерманцам примыкали Гуцков, Лаубе, Мундт, Винбарг. А что же Гейне? Он пишет со всей определённой: «С "Молодой Германией" в целом я никак не связан; слышал, что они поместили моё имя среди сотрудников своего нового "Обозрения", на что я никогда не давал согласия. Но молодые люди, конечно, будут иметь во мне крепкую поддержку».

В письме Генриху Лаубе (от 23 ноября 1835 г.) Гейне идёт дальше: «Заклинаю вас всем, что вы любите, если и не встать в войне, которую сейчас ведёт "Молодая Германия", на её сторону, то соблюдать, по крайней мере, по отношению к ней весьма *благоприятствующий* нейтралитет и ни единым словом не задевать молодёжи». Молодёжь эта по отношению к Гейне

поведёт себя не лучшим образом, и время это не за горами. Бёрне вначале старался завербовать Гейне в свои ряды, но дружба автора «Книги песен» с французскими писателями и общественными деятелями, его корреспонденции о Франции в немецкой прессе вызвали недовольство Бёрне. Он начал плести против поэта «якобинские интриги», преданные ему эмигранты обвиняли Гейне в легкомыслии, беспринципности и соглашательстве с прусскими властями. Гейне хранил гордое молчание, чем ещё больше разъярял «маленького назаря».

Крайнее неудовольствие младогерманцев вызвали циклы стихотворений, которые Гейне назвал женскими именами – «Серафина», «Анжелика», «Диана», «Гортензия», «Кларисса», «Катарина». Да, они, младогерманцы, считавшие себя великими реформаторами этики, заимствовали у сенсимонистов учение о «третьем завете», который якобы придёт на смену Ветхому и Новому и оправдает и дух, и плоть человеческую. Но ведь этот Гейне доводит «эмансипацию плоти» до настоящего эротизма! Да это настоящий разгул чувственности! Вы только послушайте его «Песнь песней»!

Женское тело – это стихи,
Они написаны Богом,
Он в родословную книгу земли
Вписал их в веселии многом.
Воистину тело женщины – песнь,
Высокая Песнь песней;
Строфы – стройные члены его,
И нет этих строф чудесней.

Распуколки розовые грудей
Отточены, как эпиграмма,
И несказанна цезура та,
Что делит груди прямо.
Плавные бёдра выдают
Пластика-маэстро;
Вводный период, закрытый листком, –
Тоже прекрасное место.

И погрузиться, о Боже, хочу
В великолепье стихов я;
И изучать поэму твою
И день и ночь готов я*.

Что это, если не кошунство?! И может ли уважающий себя немец, отец семейства промолчать, закрыть глаза, пройти мимо?! И вот уже реформа-

* Перевод Ю. Тынянова.

тор Карл Гуцков пишет Гейне увещательное письмо (от 6 августа 1938 г.), где предупреждает поэта, что этими стихами он погубит свою репутацию у немцев: «Ваше *настоящее* будет уничтожено – будущего, разумеется, у вас отнимать нельзя ради вашего *прошлого*». Своё «дружеское послание» Гуцков вскоре опубликовал в газете Кампе «Телеграф», движимый противоречивыми желаниями: отмежеваться от распутника и в то же время спасти его из бездны греха, но главное – воспрепятствовать публикации стихов на родине.

Романтик позднего призыва Эрнст Теодор Амадей Гофман (он умер как раз, когда юный Гейне появился в Берлине) поделил человечество на истинных музыкантов и просто хороших людей, разумея под последними – обывателей. Гейне же пришел к другому выводу: «Все люди – иудеи или эллины; или это люди с аскетическими, иконоборческими, спиритуалистическими задатками, или же это люди жизнерадостные, гордящиеся способностью к прогрессу, реалисты по своей природе». В поединке между назарейским (читай – иудео-христианским) спиритуализмом и жизненной радостью эллинов Гейне и Бёрне оказались по разные стороны баррикады. Неистребимая антипатия Бёрне к Гёте-олимпийцу и эллину Гейне проистекала именно из его назарейского духа.

Имена Гейне и Бёрне настолько часто звучали в одном ряду, что их стали считать чуть ли не синонимическими. Один из ранних гонителей Гейне, некто Эдуард Майер, объединив его с Бёрне, писал в 1831 году: «Крещёные или нет – всё едино. Мы ненавидим не еврейскую религию, но множество отвратительных особенностей характера этих азиатов, и среди прочего – их обычную наглость и самонадеянность, их безнравственность и легкомыслие, их крикливую манеру вести себя и столь низменный подход к жизни». Здесь уже пахнет расовым подходом.

В 1835 году общегерманский Союзный сейм поддержал поход, начатый против «младогерманцев» Пруссией. Кампанию развязал националист Вольфганг Менцель, который в своих писаниях объявил о существовании опасного тайного общества, именуемого «Молодая Германия», заражённого якобы еврейским духом, а затем произвёл Гейне наряду с Бёрне в главаря этого союза. Когда сейм запретил издание и распространение произведений «младогерманцев», первым в проскрипционном списке оказалось имя Генриха Гейне. Даже ещё не написанные им сочинения подлежали запрету (случай небывалый!). Напрасно Гейне письменно обращался в сейм и даже поместил в аугсбургской «Всеобщей газете» «Разъяснение», ответа он не дождался. В глазах защитников порядка и религии Гейне и Бёрне представлялись главарями единой шайки крамольников. Демократическая оппозиция также ставила их имена рядом. Кое-кто из общих знакомых считал их разногласия печальными недоразумениями, едва ли не размолвками близких друзей.

На самом деле ни о дружбе, ни о единстве не могло быть и речи. Действительно, их и впрямь роднили сходство немецко-еврейских судеб, талант

публицистов, любовь–вражда к отечеству, ненависть и презрение к глашатаям «старогерманства», проклинавшим евреев и французов, социалистов и либералов. Но Гейне и Бёрне были несовместимыми противниками, ибо расходились в главном: в отношении к жизни, во взглядах на историю общества, любовь, искусство, стихи и людей. Их разность укладывается в известную поэтическую формулу: «Волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень не столь различны меж собой». Блестящий искромётный талант Гейне сам по себе раздражал и провоцировал менее одарённого соперника. Чем демонстративнее Гейне игнорировал Бёрне, тем сильнее этот доктринёр, фанатик гильотины ненавидел поэта. Смерть Бёрне не покончила с враждой.

В 1840 году, через три года после смерти своего оппонента, Гейне выпустил книгу «Людвиг Бёрне», которая вызвала настоящую бурю. В своё время в связи с выходом в Париже книги «Французские дела» он жаловался на то, что в него вцепились и умеренные, и прусские шпионы, и католическая монархическая партия: «Вы представления не имеете, какой сейчас шум и гром вокруг меня». Но этот шум и гром не шёл ни в какое сравнение с тем скандалом, какой разразился после выхода книги о Бёрне. Гейне и впрямь умел наживать врагов.

Он не старался свести счёты с умершим или оправдать себя, тут действовали не мелкие чувства, но бескорыстная вражда. Гейне дал объективную оценку Бёрне как представителю породы радикалов, олицетворением которой был в его глазах Робеспьер. Поскольку он хотел писать без гнева, он и начал с признания: «Бёрне был патриот от головы до пят, и Германия была его безраздельной любовью. Да, этот человек был великий патриот, пожалуй, величайший, всосавший с молоком мачехи-Германии и самую жгучую жизнь, и самую горькую смерть! <...> Жизнь вдали от отечества стала для него настоящей пыткой, и не одно злое слово в его произведениях было вызвано этой мукой. Кто не знал изгнания, тот не поймёт, как ярко оно окрашивает наши муки и какой яд, какую тьму оно вливает в наши мысли». Он писал о Бёрне, но сам мучился этой любовью к мачехе-Германии.

Щедро цитируя уничижительные высказывания Бёрне в свой адрес, Гейне отнюдь не хотел доказать правомерность своего ответного удара. Если бы всё сводилось к личной неприязни, книга эта не появилась бы. Суть её была куда более значительной, чем сведение счётов. Книга эта стала, как пишет Лев Копелев в своей книге о Гейне, «защитой поэзии, искусства и человеческой личности от посягательств доктринёров и фанатиков».

Со свойственной гениям проницательностью Гейне углядел опасность в случае победы демократических радикалов, одержимых уравнительными идеями, этих «пещерных санкюлотов»: «Придут радикалы и пропишут радикальное лечение, которое, в конце концов, производит только наружное действие, в лучшем случае уничтожает струпья на теле общества, но не внутреннюю гнилость. <...> Вся унаследованная радость, вся прелесть,

всё благоухание цветов, вся поэзия будут выкачаны из жизни, и не останется в ней ничего, кроме похлёбки утилитаризма».

Те из нас, кто ею досыта нахлебался в стране Советов, наблюдали, как торжествующая посредственность, нисколько ею не тяготясь, уничтожала всякое высшее дарование или норовила свести его до общего пошлого уровня. Потому-то мы способны понять Гейне и разделить его тревожные мысли, но его современники-соотечественники оказались к тому не готовыми. Они уличали его в аристократическом снобизме. Пушкина тоже, кстати, попрекали аристократизмом.

Постоянный издатель Юлиус Кампе, торопивший с выходом книги и без согласия автора давший ей название «Генрих Гейне о Людвиге Бёрне», что звучало нескромно и усугубило негативную реакцию, теперь писал в полной растерянности: «Германии и немцам вы стали чужим, не знаете больше их убеждений, не знаете настроений Михеля! Берегитесь! Иначе популярность ваша пойдёт к чёрту окончательно. В Бёрне все уже видят не писателя, а мученика за германскую свободу, и он имеет шансы попасть в святые. <...> Даже бывшие политические враги Бёрне перебежали к нему. Они почитают и уважают его честный, прямой и твёрдый характер. Я и сам так поступлю, и так делает каждый! Каждый!»

Ох уж этот характер! Именно Бёрне пустил в оборот противопоставление: у Гейне, дескать, есть талант, есть талант, но он лишён характера. Гейне язвит по этому поводу: «Завистливая бездарность после тысячелетних усилий наша, наконец, могучее оружие против дерзости гения: она открыла антитезу таланта и характера. ...Пустая голова получила право ссылаться на переполненное сердце, и благонаравие стало козырной картой». А ведь характер может быть всяким. Кстати, Ницше в своей книге «По ту сторону добра и зла» утверждал, что философ как раз «имеет право на "дурной характер"». Что касается характера Гейне, то оценка Ницше представляется необычайно пронизательной: «Он обладал той божественной злобой, без которой я не могу мыслить совершенства, – я определяю ценность людей, народов по тому, насколько неотделим их бог от сатира». Мишенью сатиры Гейне стали не только Людвиг Бёрне и его компания, но все немецкие филистеры. А такое не прощают.

Гейне сознавал, что навредил себе в общественном мнении ещё больше, чем во времена полемики с Платеном, но не раскаивался. Он остался в одиночестве, зато обрёл свободу: он перешагнул через эмигрантские и отечественные склоки политиканов, отринул укору, сплетни интриганов, порвал мнимые связи с мнимыми единомышленниками. Единственный положительный отклик на его книгу появился в «Бреславльской газете», его автором был Фердинанд Лассаль, в ту пору шестнадцатилетний гимназист. В начале XX века Томас Манн признался, что «Людвиг Бёрне» – его самое любимое произведение Гейне, содержание книги он оценил как всемирно-историческое, а её язык как гениальнейший образец немецкой прозы. Но Гейне этого не услышал. Полагаю, немцы – тоже.

«Привязанность к делу человечества»

Семь лет Гейне отдал прозе, публицистике. С 1840 года «Аугсбургская газета» возобновила публикацию его корреспонденций из Парижа, приостановленную в 1832 году. Цензура кромсала и «исправляла» тексты, но всё равно они были важным источником, из которого читающая Германия могла узнать о политической и культурной жизни соседей. Гейне верно оценил суть происходящего во Франции после 1830 года: власть была в руках финансовой аристократии. Некоторых её представителей – Ротшильда, Фульда – он знал лично, мог кое-что и порассказать о них. Гейне объективно характеризовал новый режим с его частой сменой правительств и парламентской грызнёй, писал о соперничестве Гизо и Тьера, видных политических деятелей при короле-буржуа Луи-Филиппе, сочувственно высказывался о парижском пролетариате. Позже, возвратясь к этим корреспонденциям, он напишет: «Тот, кто уловит дух моих слов, всюду увидит строжайшее единство мысли и неизменную привязанность к делу человечества, к демократическим идеям революции».

В начале 40-х годов, не оставляя публицистику, он возвращается к поэзии. Теперь она приобретает гражданственно-политический характер, но не пафосно-торжественный, а задиристо-сатирический. Как пишет Гордон Крейг в своей книге «Немцы», «Гейне оказался сатириком среди людей, которые с трудом переваривали сатиру и ждали от литературы серьёзного подхода и почтения к явлениям, достойным уважения». Так что он опять не удовлетворил запросы немецкой публики, более того – раздражил быка.

В поэме «Атта Тролль» (1842), в этом комическом эпосе, а точнее – аристофановской сатире, кипят нешуточные политические страсти. Герой поэмы – сбежавший от хозяина мятежный медведь Атта Тролль. В его призывах к «справедливости звериной», к единению и равенству «без различья веры, запаха и шкуры», угадываются программные лозунги недругов Гейне. Это тевтономаны с их тупостью, мелкобуржуазные радикалы с их уравнительными тенденциями и «назарейством», «тенденциозные» поэты начала 40-х годов с их бесплодным пафосом и напыщенностью. Националистические и псевдорадикальные черты Атта Тролля ярче всего выражены в надгробной надписи на памятнике герою:

Тролль. Медведь тенденциозный,
Пылок, нравственен и смирен, –
Развращённый духом века,
Был пещерным санкюлотом.
Плохо танцевал, но доблесть
Гордо нёс в груди косматой.
Иногда зело вонял он, –
Не талант, зато характер*.

* Перевод В. Левика.

Как говорится, комментарии излишни. Беснование оппонентов обеспечено надолго.

Что двигало Гейне, когда он писал знаменитую поэму «Германия. Зимняя сказка» (1844) или «Современные стихотворения» (1840–1850)? Ответ можно найти в его письме: «Великое пристрастие к Германии гложет моё сердце, и пристрастие это неизлечимо». «Для Гейне, – писал Иннокентий Анненский в статье "Генрих Гейне и мы" (1906), – любовь к родине была не любовью даже, а тоской, физической потребностью, нет, этого мало: она была для него острой и жгучей болью, которую человек выдаёт только сквозь слёзы и сердится при этом на себя за малодушие».

Лирическое начало в поэме сплетается с обличительно-сатирическим. Будучи виртуозом полемики, Гейне сражается с открытым забралом, не щадит многочисленных врагов (и не только их). Не задумываясь о такте и тактике, он отпускает дурашливые шуточки и злобные остроты, дешёвые колкости и едкие намёки, язвительные насмешки, прибегая при этом к образам из области «телесного низа» (вплоть до импотенции и поноса). В ответ его недруги назвали поэта: «пачкун родного гнезда». Историк фон Трейчке так оценил «Германию. Зимнюю сказку»: «Данная поэма, самое блестящее и характерное произведение, вышедшее из-под пера Гейне, показывает немцам, чем они отличаются от этого еврея. У арийских народов есть свои Терситы и Локи, но такой персонаж, как Хам, открывающий наготу собственного отца, известен лишь еврейской саге».

Страстное желание реформировать раздробленную полуфеодалную Германию толкало Гейне на путь открытой борьбы с юнкерско-бюрократическим государством. «Я советую вступить в открытую войну с Пруссией не на жизнь, а на смерть. Добром здесь ничего не добьёшься», – писал он Кампе в 1842 году. Он резко меняет тональность своей лирики. Обращаясь к согражданам, он пишет:

Из-за того, что я владею
Искусством петь, светить, блистать,
Вы думали – я не умею
Грозющим громом грохотать*.

Знакомство и частые контакты с молодым Карлом Марксом, Фридрихом Энгельсом, общение с давним знакомцем Мозесом Гессом, соредактором «Рейнской газеты», сказались на политических и социальных симпатиях Гейне и на характере его поэзии 1840-х годов, на критическом пафосе и историческом оптимизме поэмы «Германия». В немецкой газете «Форвертс», издававшейся в Париже, в которой Маркс после закрытия «Рейнской газеты» стал задавать тон, публикует Гейне большую часть стихотворений 1844 года, в том числе и «Доктрину»:

* Перевод С. Маршака.

Возьми барабан и не бойся,
Целуй маркитантку звучней!
Вот смысл глубочайший искусства,
Вот смысл философии всей!
Сильнее стучи, и тревогой
Ты спящих от сна пробуди!
Вот смысл глубочайший искусства...
А сам маршируй впереди!*

Пробудить сонного Михеля нелегко, но Гейне не отступает: «Я – меч, я – пламя!» Он клянётся биться за будущее Германии в первых рядах. Его стихотворение «Силезские ткачи», опубликованное «Форвертсом», распространяется в листовках.

Проклятье отечеству, родине лживой,
Где лишь позор и низость счастливы.

Германия старая, ткём саван твой,
Тройное проклятье ведём канвой.
Мы ткём! Мы ткём!**

Прусский посол в Париже потребовал закрытия газеты, которая ведёт пропаганду в пользу политического переворота в Германии. Из Франции были изгнаны Маркс и все сотрудники «Форвертса». Тронуть Гейне Гизо не решился, опасаясь бури негодования французской общественности. К этому времени Гейне пользовался европейской известностью, в числе его друзей были Бальзак, Жорж Санд, Готье, Дюма, Беранже, Жерар де Нерваль, Шопен, историк Минье. Посвящая Гейне повесть «Принц богемы», Бальзак подчеркнул заслуги собрата-художника, который «в Париже представляет мысль и поэзию Германии, а в Германии – живую и остроумную французскую критику».

В родной же Германии гений Гейне редко встречал понимание и восхищение, чаще – нападки и упрёки. Ему не прощали добродушного презрения, с каким он писал о немецкой филистерской породе. Ура-патриотов бесили его подтрунивания:

Французам и русским досталась земля,
Британец владеет морем.
А мы – воздушным царством мечты,
Там наш престиж бесспорен***.

* Перевод А. Плещеева.

** Перевод В. Клюевой.

*** Перевод В. Левика.

Зная это, Гейне в предисловии ко второму изданию «Германии» обратился к своим обидчикам: «Успокойтесь. Я люблю отечество не меньше, чем вы. Из-за этой любви я провёл 13 лет в изгнании, но именно из-за этой любви возвращаюсь в изгнание, может быть, навсегда, без хныканья и кривых страдальческих гримас». Будучи вне каких-либо организаций, идеологий и программ, оставаясь одиноким независимым путником, Гейне доказал возможность быть политическим поэтом, не превращаясь при этом в политика.

1848 год, год великих европейских потрясений (революция в Германии потерпела поражение), был для Гейне первым годом жестокой болезни, которая давно подбиралась к нему, а теперь накрепко на всю оставшуюся жизнь приковала к постели. Его надежды на возможность демократических преобразований на родине рухнули. Результат революции свёлся к тому, что в лоскутном ковре Германии теперь значилось не 36, а 34 государства. Гейне откликнулся на события стихотворением «Михель после марта» (1850). Оно пронизано горьким и гневным сарказмом.

Казалось, мартовские события вывели белокурого Михеля из привычной спячки. «Он стал выказывать разум» и в порыве даже кричал, «что каждый князь – предатель». Но запала хватило ненадолго. Наступает смертный час немецкой свободы. Что же Михель?

А Михель пустил и свист и храп
И скоро с блаженной харей
Опять проснулся как преданный раб
Тридцати четырёх государей*.

Боль обманутых ожиданий наслаивается у Гейне на физическую боль. Именно в это время происходит поворот в его взглядах, духовное преобразование, которое озадачит многих.

Ослепнуть, чтобы прозреть

В письме к брату в далёкий Петербург Гейне пишет: «События в Германии очень неприятно влияют на моё настроение. Какое отвратительное ничтожество! Может быть, счастье для меня, что мне ни во что не надо вмешиваться, и мне очень приятно, что ты живёшь так далеко от сцены, где разыгрываются эти ужасы... Я совсем один, я живу в страшном одиночестве, хотя и в центре Парижа, ристалища всех страстей!» В этом же письме есть и такие строки: «В мучительные бессонные ночи я сочиняю очень красивые молитвы, которых, однако, не записываю и которые все направлены к весьма определённом Богу, Богу наших отцов».

Ещё недавно, узнав, что его биография попала в книгу «Знаменитые евреи», вышедшую в Мюнхене, Гейне кипел от возмущения, не потому что

* Перевод В. Левика.

стыдился происхождения, негодование вызывали попытки загнать его в гетто еврейства. Как и опочивший Гёте, он считал себя в первую голову европейцем, гражданином мира. Но вот 15 апреля 1849 года он пишет в редакцию «Всеобщей газеты»: «...я больше не самый "свободный после Гёте немец", как назвал меня Руге в прошлые дни, когда я был здоров; <...> я более не жизнерадостный, толстоватый эллин, который весело трунил над печальными назарейнами, – теперь я всего лишь бедный, смертельно больной еврей, изнурённое подобие горя, несчастнейший человек!»

Этим признанием он больше всех изумил бы свою жену, доведись Матильде прочесть эти строки. Франц Кафка описывает возлюбленной Милене забавный эпизод, имеющий отношение к этому сюжету. Немецкий поэт Майснер, изредка посещавший больного Гейне, вспоминает, что Матильда досаждала ему своими выпадами против немцев: «и ехидны-то они, и язвительны, и самонадеянны, и мелочны, и навязчивы – короче говоря, несносный народ!» Однажды он не выдержал и возразил: «Но вы же совсем не знаете немцев! Генрих общается только с немецкими журналистами, а они тут в Париже все евреи».

– Ах, – говорит Матильда, – всё-то вы преувеличиваете. Один-другой среди них, может быть, и найдётся, например, Зейферт...

– Нет, – возражает Майснер, – как раз он тут единственный нееврей.

– То есть как? – удивляется Матильда. – Вот Ейтелес – он что, еврей? (А это был могучий белокурый верзила.)

– Ещё какой! – отвечает Майснер.

– Но Бамбергер?

– Он тоже.

– А Арнштейн?

– И он.

Так они перебрали всех знакомых. В конце концов, Матильда разозлилась и сказала: «Вы просто смеётесь надо мной. Вы ещё скажете, что Кон тоже еврейская фамилия, но ведь Кон – зять Генриха, а Генрих – лютеранин!» На это уже Майснеру нечего было возразить. А лютеранин Гейне возьми и объяви во всеуслышание: «Я всего лишь бедный, смертельно больной еврей!»

Что стоит за этой метаморфозой? В послесловии к новому лирическому сборнику «Романсеро» (1851), третий раздел которого составляют «Еврейские мелодии», Гейне публично заявляет, что «возвратился к Богу, подобно блудному сыну, после того как долгое время пас свиней у гегельянцев». Однако возврат к ценностям еврейства не привел его «к порогу той или иной церкви или даже в самое её лоно». Гейне и после духовного переворота остался дерзко-насмешливым скептиком, верным своей Музе, родившейся на берегах Рейна, на родине карнавала, а потому легко меняющей маски.

Вспоминал ли он в эту пору свои беседы и споры с молодым Карлом Марксом? Тот только приехал в Париж со своей очаровательной женой и, конечно же, хотел обратить в свою веру известного поэта. Говорили они тогда и о еврействе. Выходец из буржуазной ассимилированной семьи, Карл Маркс как раз в это время написал статью «К еврейскому вопросу» (1843).

«Какова мирская основа еврейства? – задавался вопросом двадцатипятилетний выпускник юридического факультета. – *Практическая* потребность, корысть. Каков мирской культ евреев? *Торгашество*. Кто его мирской бог? *Деньги*. Отлично! Но в таком случае эмансипация от *торгашества и денег*, то есть от практического, реального еврейства, была бы самоэмансипацией нашего времени». Маркс определил тенденцию нового времени: сила рыцарского меча уступила силе денег, деньги стали мировой властью. Пожалуй, Гейне согласился бы с выводом своего молодого приятеля, ему нравились парадоксы: «Практический дух еврейства стал практическим духом христианских народов. Евреи настолько эмансипировали себя, насколько христиане стали евреями». Маркс намеревался спасти «объевреившееся» человечество, упразднив эмпирическую сущность еврейства, рынок и его предпосылки. И сами евреи тем спасутся, уверял он, поскольку их сознание очеловечится. Судьбы человечества волновали уроженца Трира куда больше, нежели еврейские. Интересно, как далеко он продвинулся в своих теориях изменения мира? Первые годы ещё приходили вести из Лондона, а теперь...

«Признания», в которых Гейне объясняет перемены в собственных взглядах, создавались зимою 1854 года. Он сам назвал эти 55 страниц текста «важным жизненным документом», и это побуждает отнести к нему с особым вниманием. Гейне замыслил «Признания» как эпилог к новому изданию книги «О Германии», включавшей его известный очерк «К истории религии и философии в Германии». Что же это за признания? Есть шуточные, невинные, но некоторые явились настоящей сенсацией.

«Романтик-расстрига» прощался с гегельянством. Диалектику Гегеля, которая, как нас учили, стала одним из трёх источников и трёх составных частей марксизма, он уподобил серой разварной паутине. Какое святотатство! Гейне отрекался от атеизма, который оказался оборотной медалью гегельянства, в упрощённом варианте овладевшего массами. Рост безбожия в среде простонародья его напугал, как некогда Вольтера, который сказал, что если бы Бога не было, его следовало бы выдумать.

Гейне признался, что воскрешением религиозного чувства он обязан Библии. Он, проштатавшийся по всевозможным танцулькам философии, предававшийся всем оргиям ума, возомнивший себя Господом Богом, теперь находит утешение в этой священной книге. Он рекомендует «обожеествившим себя безбожникам», среди которых мелькают знакомые имена Фейербаха, Бруно Бауэра и Маркса (последнего он аттестует как своего «непримиримого друга»), почаще обращаться к библейским сказаниям для назидательного размышления.

Он ещё и ещё раз подчёркивает великую заслугу протестантизма в деле сохранения и распространения Библии. Следование её заповедям, по мнению Гейне, ведёт «к установлению великого царства духа, царства религиозного чувства, любви к ближнему, чистоты и истинной нравственности».

Признаваясь, что раньше недолго любил Моисея и в целом иудейское законодательство, враждебное всякой образности и пластики, Гейне делится

своим новым открытием: Моисей сам был великим художником и обладал подлинным художественным духом. Из пастушеского племени он извлял народ, которому дано было преодолеть тысячелетия.

«Как о Создателе, так и о его созданиях, евреях, я никогда не говорил с достаточным уважением, и тоже, конечно, из-за моей эллинской натуры, которую отталкивал иудейский аскетизм. С той поры уменьшилось моё пристрастие к Элладе. Я вижу теперь, – пишет Гейне, – что греки были лишь прекрасными юношами, евреи же всегда были мужами, и не только в былые времена, но и до сего дня, несмотря на восемнадцать веков гонений и страданий. С той поры я научился лучше ценить их, и если бы всякая гордость происхождением не была бы дурацкой несообразностью в борце за революцию и её демократические принципы, то пишущий эти строки мог бы гордиться тем, что предки его принадлежали к благородному роду Израиля, что он – отпрыск тех мучеников, которые дали миру Бога и нравственность и сражались и страдали на всех боевых полях мысли».

Тема национальной гордости чрезвычайно актуальна и в наши дни, но на ней легко поскользнуться. Мы знаем множество примеров, когда пробуждение национального сознания оборачивалось воинствующим национализмом, а национальная гордость – дискриминацией инородцев. Заканчивалось это катастрофически для всех. Умирающий Гейне нашёл точку опоры в своей иудейской гордости, вспомнив о царях и пророках, к которым восходит его род. Подлинная национальная гордость ведь не политична, не демагогична, она – этична.

После смерти Гейне в его бумагах были найдены во множестве высказывания и афоризмы, которые позднее вошли в собрание его сочинений под общим названием: «Мысли, заметки, импровизации». Среди них есть и такая неожиданная запись: «Еврейство – аристократия: единый Бог сотворил мир и правит им; все люди – Его дети, но евреи – Его любимцы, и их страна – Его избранный удел. Он – монарх, евреи – Его дворянство и Палестина – экзархат Божий». Далеко ушёл Гейне от юношеских суждений, отрицавших идею богоизбранности евреев. Уверовал ли он в избранность евреев или таким образом эпатировал, дразнил христиан?

Можно представить, как эти заметки выводили из себя немецких националистов, если советский «почвенник-славянофил» Ст. Куняев в 1979 году написал донос в ЦК КПСС на Гейне и издателей его десятитомного собрания, которое вышло в Союзе в конце 1950-х годов. По прошествии двух десятилетий он сигнализировал о том, что в одном из томов опубликованы размышления поэта, «работающие на идею мессианства, на прославление "избранного народа", на национальное высокомерие».

Донос неистового ревнителя советской идеологии перепечатан в его двухтомнике, изданном в 2001 году. Сочинение Куняева звучит актуально в постсоветской России. Приведём лишь одну цитату: «Что это такое, как не националистические религиозные заблуждения, издавая которые громадным тиражом без комментариев мы фактически работаем на сионизм, проповедуемый устами Гейне – крупного поэта вообще, но в данном случае малень-

кого обывателя, находящегося в шорах иудаизма. Издание классиков тоже политика. Но почему в результате этой политики почти расистские откровения Гейне мы популяризируем, а пронциательные размышления Достоевского (мирового классика покрупнее, чем Гейне), которые бы работали на борьбу с сионизмом, на нас, а не против нас, мы держим под спудом... Почему?»

Не исключено, что в 1979 году автора докладной записки в ЦК КПСС волновало и то, что «почти расист» Гейне замахнулся на ещё одну «святыню». Ведь, в «Признаниях» можно прочесть такое: «Мы видим в победе коммунизма угрозу всей нашей современной цивилизации».

На протяжении многих десятилетий в споре коммунистов и антикоммунистов неизменно присутствует имя Гейне, обе стороны стремятся приспособить его высказывания последних лет для своих нужд. Следует условиться с самого начала, что за понятием «коммунизм», которым пользовался Гейне в середине позапрошлого века, стояло нечто иное, нежели сегодня. Речь не шла о марксизме, ибо его ещё не существовало. «Коммунистический манифест», в котором Маркс эскизно наметил свои идеи, только-только вышел из печати и не стал предметом пристального внимания Гейне.

Отношение Гейне к коммунизму, а точнее к коммунистическим доктринам разного толка (в основном ему были известны теории уравнилельного коммунизма) было двойственным, в чём он открыто признавался. Через год после публикации «Признаний» он диктует предисловие к французскому изданию «Лютеции», где вспоминает, что ещё в начале 40-х годов с бесконечным страхом и тоской признал: «будущее принадлежит коммунистам». Их лидеры, эти «доктора революции», по его мнению, – единственные жизнеспособные личности в Германии. И теперь, в 1855 году, он говорит: «Честно сознаюсь, этот самый коммунизм, столь враждебный моим вкусам и склонностям, держит мою душу во власти странных чар, и я не в силах им противиться». Он приводит два довода в его пользу. Первый: «если я не могу опровергнуть посылку, что "все люди имеют право есть", я вынужден подчиниться и всем выводам из неё». Второе, что его привлекает, – это главный догмат коммунистов, который звучит так: «самый неограниченный космополитизм!» В России его, правда, свели к пролетарскому интернационализму. Гейне же был воплощением космополитизма. «Из ненависти к сторонникам национализма я мог бы почти влюбиться в коммунистов».

Гейне, несомненно, был левым писателем, но левый радикализм он ненавидел и презирал. «Эти когорты разрушения, эти сапёры, топор которых угрожает всему общественному зданию, бесконечно сильнее уравнилелей-бунтарей в других странах вследствие ужасающей последовательности их доктрины, ибо в безумии, движущим ими, есть, как сказал бы Полоний, система», – пишет он в «Признаниях». Он не на шутку был встревожен, заметив, что атеизм, которому он годами платил щедрую дань, «вступил в более или менее тайный союз с жутко оголётным, лишённным всякого фигового листка грубым коммунизмом».

Гейне, как и Пушкин, в молодости брал уроки «чистого афеизма» (*атеизма*). Однако «кошунства», доходящие до цинизма, в которых обвиняли обо-

их, часто бывали не более чем маской. В юношеском стихотворении «Безверие» Пушкин признался: «Ум ищет Божества, а сердце не находит». Молодому Гейне в высшей степени было знакомо это состояние, но в конце жизненного пути поиски Бога захватили его. Он всегда был одинок и уязвим, теперь же, оказавшись в «матрачной могиле», он был обречён на полное одиночество. Трагизм безверия в этой ситуации ощущался особенно остро. Отсюда – постепенный возврат к ценностям иудаизма. Как это ни парадоксально, но ещё недавно единственным источником религиозного мироощущения поэта был эротизм, чувство божественности любви и женской красоты. Он не изменил ему, даже вступив на путь духовного преображения.

Гейне не позволил поработить себя ни одной доктрине. Поразительна смелость, с которой он подошёл к священной проблеме: народ и интеллигенция. Нигде она не стояла так остро, как в царской России. Мы вскормлены русской литературой, внушившей порядочным людям кому острое, кому смутное чувство вины перед несчастным, страдающим народом, внушившей уверенность, что человек из народа лучше, чище, нравственнее, мудрее. Не только в советской России, но и в нацистской Германии интеллектуалы из ложного стремления к единению с народом, путая народ и толпу, опускались до черни и оказывались под её каблуком. Томас Манн утверждал, что тем они обесчестили себя, ибо «свойственные черни качества не могут быть облагорожены с помощью предавшего себя духа; происходит обратное – дух унижает себя и оказывается в рабстве».

Представьте, какие чувства овладевали читателем, когда он в «Признаниях» наталкивался на такой пассаж: «Один великий демократ как-то сказал, что если бы король пожал ему руку, он поспешил бы сунуть её в огонь, чтобы очистить её. Я сказал бы подобным образом: я вымыл бы руку, если бы *самодержавный народ* (курсив мой. – Г. И.) почтил меня рукопожатием». Первая реакция читателя: «Какой отвратительный снобизм!», «Ату его!»

Однако Гейне двигал не снобизм, а беспощадная трезвость в оценке ситуации. Хор льстецов, кадивших народу, «этому бедному королю в лохмотьях», вызывал его негодование. Вступив с ними в спор, он выдвигает при этом свой план решения вопроса. «Придворные лакеи народа непрестанно прославляют его достоинства и добродетели: "Как прекрасен народ! Как добр народ! Как разумен народ!"» Гейне последовательно разбивает сомнительные аксиомы. Бедный народ не прекрасен, а безобразен из-за грязи. Нужно строить общественные бани. Народ совсем не добр, он зол, поскольку голоден. Народ должен иметь что есть. Его Величество народ не разумен, а глуп. «Любовью и доверием он дарит только тех, кто говорит или рычит на жаргоне его страсти, но он ненавидит всякого честного человека, говорящего с ним на языке разума для его же просвещения». Такое происходит повсеместно с незапамятных времён.

Гейне вспоминает давние события в Иерусалиме. Народу предоставили свободу выбора между праведнейшим из праведников и гнуснейшим разбойником с большой дороги. Каков был выбор толпы? «Отдай нам Варавву!» Причина этого извращения – невежество. Необходима сеть общест-

венных школ, где народ будет получать обучение бесплатно вместе с потребными для этого бутербродами и прочими съестными припасами. «И когда каждый человек из народа получит возможность приобретать любые знания, вы не замедлите вскоре увидеть и разумный народ».

Теперь, когда вы ознакомились с программой Гейне, думаю, желающих побить его камнями не осталось. Он, как это бывает с поэтами, намного опередил время, и те, кто побывал сегодня в Западной Европе, не могут не признать, что его программа работает. И осуществили её не коммунисты. Здесь Гейне ошибся.

Многие из его предсмертных записей посвящены Германии, до последних дней мысли его устремлялись к Рейну, уносились за Рейн. Вот лишь одно высказывание: «Немцы хлопочут сейчас над выработкой своей национальности; однако они запоздали с этим делом. Когда они с ним, наконец, справятся, национальное начало в мире уже перестанет существовать, и им придётся тотчас же отказаться и от своей национальности, не сумев извлечь, в отличие от французов или британцев, никакой пользы из неё». Гейне не суждено было узнать, что эти хлопоты доведут немцев до национал-социализма, который ввергнет его возлюбленную Германию в бездну. Но он, сумевший подняться над шаблонами мышления своего времени, предвосхитил идею объединения Европы. Нынешние тенденции глобализации, существование европейского союза с единой валютой, куда вошла и Германия, казалось бы, подтверждают правоту Гейне, но наряду с этим действуют угрожающие миру центробежные националистические силы. Опасность, идущую с Востока от радикального ислама, даже такой ум, как Гейне, не смог предвидеть. Но он твёрдо верил в то, что познал на своём горьком опыте: *«Везде, где великий дух высказывает свои мысли, есть Голгофа».*

Мы начали с «жалоб сердца» Генриха Гейне. Кто-то их не слышал, кто-то им не верил: Париж – циферблат Европы, с чего бы это жаловаться поэту?! Но нашлась одна душа в далёкой России, которая в год смерти Гейне откликнулась на его жалобы. Видимо, безоглядная любовь поэта-еврея к немецкой родине оказалась близка страдавшемуся сердцу Афанасия Фета.

Под небом Франции, среди столицы света,
Где так изменчива народная волна,
Не знаю, отчего грустна душа поэта
И тайной скорбию душа его полна.
Каким-то чуждым сном весь блеск несётся мимо,
Под шум ей грезится иной, далёкий край;
Так древле дикий скиф средь праздничного Рима
Со вздохом вспоминал свой северный Дунай.
О, Боже, перед кем везде страданья наши,
Как звёзды по небу полному горят,
Не дай моим устам испить из горькой чаши
Изгнанья мрачного по капле жгучий яд.



профессор физики факультета математики и естественных наук Хайфского университета, публицист, автор большого числа статей. Живет в Израиле.

ВСТРЕЧИ С ГЕНРИХОМ ГЕЙНЕ

1. Киев – Москва, 1949

В сентябре 1998 года я подвёл своего сына к дому на Болькерштрассе в Дюссельдорфе и, указав ему на дверь дома, сказал: «Здесь родился и вырос человек, который разрушил семейную жизнь моих родителей и лишил меня отца». Гарри Гейне (имя Генрих он получил при крещении в возрасте 27 лет) родился 13 декабря 1797 года. Мой отец родился 14 июня 1913 года. Наши с отцом пути разошлись после того, как он стал жертвой преследований по делу космополитов в 1949 году. Его объявили агентом иностранной разведки (не было указано какой), уволили с работы и фактически выслали из Киева. В начале 90-х годов я издал автобиографию отца «Исповедь агента иностранной разведки». Он вёл двойную жизнь как еврей, желающий быть как все, но не могущий это сделать. Но и независимо мыслящий, один из самых остроумных людей Европы, Генрих Гейне вёл двойную жизнь немца и еврея.

У Гейне было своё понимание истории. Он считал, что Германия и немцы вырождаются. В то время как Гегель считал Пруссию идеалом государства, Гейне полагал, что вся Германия – отсталая и реакционная страна. По Гегелю, евреи должны исчезнуть, ибо новая религия универсальная и более разумная, чем иудейская. Наполеон был кумиром Гейне, хотя он и знал, что евреи не признают кумиров. Оккупированный французами Дюссельдорф Гейне воспринимал как город, освобождённый от германского примитивного национализма и интеллектуальной отсталости. Приезд Наполеона в Дюссельдорф он сравнивал с приездом Иисуса в Иерусалим. Наполеон уравнивал евреев в правах с местным населением всюду, где он правил, в том

числе и в Дюссельдорфе. Во время французской оккупации в Дюссельдорфе царил обстановка терпимости, чуждая Германии того времени. Позже именно во Франции Гейне, опасавшийся ареста, нашёл убежище до конца своей жизни.

У моего отца было своё понимание истории. Перестройку в СССР в первые годы он считал эмансипацией евреев. Лишь в 90-х годах он изменил своё мнение. Тогда же он поменял и своё отношение к евреям, к которым относился, подобно английскому историку Тойнби, как к окаменелости.

Какая связь между Гейне и моим отцом? В конце 40-х годов отец напечатал ряд статей и защитил диссертацию о влиянии Гейне на поэзию Леси Украинки. И хотя Леся Украинка сама писала об этом влиянии, отца объявили безродным космополитом за то, что он утверждал наличие влияния иностранного, мелкобуржуазного поэта Гейне на великую национальную поэтессу Лесю Украинку. Его уволили из университета, из редакций двух киевских литературных журналов и оставили нас без куска хлеба.

Власти не ошиблись, уличив отца в космополитизме. Он и был космополитом и гордился этим. Несмотря на то, что отец знал, что он космополит, он бросился доказывать властям обратное. От окончательного уничтожения его спас тот же человек, который стал невольным виновником его несчастий – Гейне. Генрих Гейне, бывший космополитом, был мобилизован на то, чтобы снять с моего отца-космополита обвинение в космополитизме. Маркс был другом Гейне, а Ленин – почитателем его чуть ли не революционной поэзии. В 1844 году, в день сорокасемилетия Гейне, Энгельс опубликовал в английской газете следующее сообщение: «Великий поэт Генрих Гейне присоединился к нам и опубликовал сборник политической поэзии, проповедующей социализм». Причисление Гейне к революционерам-социалистам было преувеличением двадцатичетырёхлетнего Энгельса. Гейне, поэт, журналист, сатирик, никогда не присоединялся ни к какому политическому течению. В те годы, однако, делались попытки представить Гейне, слушавшего лекции Гегеля в Берлинском университете, «посредником» между Гегелем и Марксом, старались сделать его Иоанном Крестителем Иисуса Маркса. Гейне был слишком тонкой натурой и глубокой личностью для того, чтобы можно было покрасить его в один, причём красный, цвет. Однако моему отцу удалось с помощью цитат из Маркса, Энгельса и Ленина доказать, что Гейне – великий революционный поэт, могущий влиять и на национальных поэтов советских республик. После многомесячного обивания московских высоких порогов отец получил справку о том, что он не космополит.

Отец получил эту необыкновенную справку, скрыв от властей отношение Гейне к коммунистам. В 1855 году в предисловии к французскому изданию книги «Лютеция» Гейне писал: «Если уж республиканцы представляли для корреспондента "Аугсбургской газеты" (самого Гейне. – А. Г.) тему весьма щекотливую, то ещё более щекотливую тему представляли социалисты, или назовём чудовище его настоящим именем – коммунисты... Это

признание, что будущее принадлежит коммунистам, я сделал с бесконечным страхом и с тоской... Действительно, только с отвращением и ужасом думаю я о том времени, когда эти мрачные иконоборцы достигнут власти...» Справка казалась чудом, и пошли слухи о том, что чудотворцем был писатель Илья Эренбург, с которым отец встретился в Москве летом 1949 года. Из автобиографической книги отца ясно, что Эренбург даже не дал ему рассказать историю этих преследований.

Эта, наверное, единственная в своём роде справка вернула отца в Киев. И тут оказалось, что его не хотят восстанавливать на работе. Дело было не в космополитизме, от которого отец открестился с помощью с трудом добытой справки. Он привёз из Москвы справку о том, что он не космополит. Однако он не привёз справку о том, что он не еврей, справку, которая была у Гейне после крещения. Поэтому в Киеве его не реабилитировали. Это была уже местная инициатива, а не директива из Москвы. Вскоре он оказался в Средней Азии, ставшей для него обителью свободы, терпимости и интернационализма, что-то вроде Франции для его любимого Гейне. Но мусульманская революция в Таджикистане разрушила его восточную сказку и привела в Москву. Отец написал ряд книг о Гейне, некоторые из них были изданы в Западной Германии и Японии. Одна из них была опубликована в родном городе Гейне Дюссельдорфе на его родном языке. Мой отец умер 17 февраля, в тот же день, что и Гейне.

2. Париж, 1843 год

В моём детстве во время больших советских праздников над Киевом реял дирижабль, на огромном теле которого было четыре портрета. Один из изображаемых на портретах людей превосходил трёх других по количеству волос на голове и в бороде. Он изображал большеголового основоположника коммунизма Карла Маркса. Налицо было низкопоклонство перед Западом: на дирижабле прославлялись два немца, Маркс и Энгельс, и утверждалось их влияние на двух отечественных вождей – Ленина и Сталина. И никто не репрессировал преемников Ленина и Сталина за их низкопоклонство перед Западом в виде двух иноземцев, один из которых был капиталистом (Энгельс), и за насаждаемый ими культ иностранцев в советской идеологии.

В декабре 1843 года в Париже встретились высланный из Германии двадцатипятилетний доктор философии Карл Маркс и сорокашестилетний опальный немецкий поэт, доктор права Генрих Гейне. Это знакомство привело к интенсивному, почти ежедневному общению и большой дружбе между двумя изгнанниками. Встречи между ними продолжались до высылки Маркса из Франции в январе 1845 года – по приказу премьер-министра Гизо при полной поддержке короля Франции Луи-Филиппа. Содержание бесед Гейне и Маркса неизвестно. Однако поскольку в период их общения

они оба писали о еврейской проблеме, можно предположить, что они и на эту тему говорили. Выкрест Маркс скрывал свое еврейское происхождение. Выкрест Гейне его не только не скрывал, но всячески критиковал выкрестов-антисемитов: «Среди евреев-выкрестов есть многие, которые из трусливого лицемерия преступно говорят о еврействе. Они ведут себя хуже, чем евреи-ненавистники от рождения... Известные писатели, для того, чтобы им не вспомнили их еврейского происхождения, наносят вред евреям или замалчивают их. Это известное, печальное и смехотворное явление». Если бы эти слова не были написаны за три года до знакомства с Марксом, можно было бы подумать, что Гейне имеет в виду основоположника «научного коммунизма».

Влияние Гейне на Маркса было велико. Любители творчества Гейне и люди, внимательно изучавшие марксизм, как, например, пишущий эти строки, могли легко заметить это влияние. Присутствие Гейне ощущалось в писаниях Маркса, в его полемике, иронии, сарказме, в игре слов, парадоксах, лозунгах, в риторике антитезисов, в образах из классической литературы, греческой мифологии и даже Библии. Однако влияние Гейне на Маркса было также и идейным. В Париже Маркс узнал от Гейне о болезнях общества, охваченного материализацией. Задолго до Маркса он утверждал, что буржуазия потерпит поражение от новой силы – пролетариата, но, в отличие от Маркса, он считал, что «в самом принципе такой (пролетарской. – А. Г.) республики уже таится зародыш её смерти» («Лютетия», 1840). Гейне предостерегал от левых революционных партий, которые «заражены искусным коварством и политическим иезуитством, в которых якобинцы порой превосходили учеников Лойоля». В 1823 году, задолго до Маркса, Гейне выдвинул идею классовой борьбы в «Трагедии "Вильям Ратклиф"». Понятие «классовая борьба» появилось у Гейне в «Лютетии» за четыре года до публикации Маркса. Выражение «Религия – опиум народа» Маркс заимствовал из книги Гейне «Людвиг Берне». Некоторые выпады Маркса против евреев взяты из произведений Гейне и являются результатом его двойной жизни немца и еврея, его запутанной и утонченной раздвоенности. Именно в период их парижских встреч была опубликована статья Маркса «К еврейскому вопросу». Например, цитата «Деньги – ревнивый Бог евреев» напоминает выпад Гейне против равнодушия французских евреев во времена кровавого навета против евреев Дамаска: «У французских евреев, как и у других французов, золото – Бог, а промышленность – религия» или «Деньги – Бог современности, а Ротшильд – его пророк». Однако Гейне нападает только на капитализм. Маркс нападает на капитализм и на евреев как на олицетворение капитализма. Статья Маркса с нападками на евреев вышла 7 марта 1844 года, а 22 апреля того же года Гейне написал статью в защиту евреев. Обе статьи вышли в период их интенсивного общения. Если Маркс был за эмансипацию евреев ради их исчезновения, Гейне выступил за эмансипацию как за путь к освобождению евреев. Он призывал европейские правительства сохранить еврейскую

религию и после эмансипации евреев: «Ускорьте эмансипацию, иначе вы опоздаете и не найдете евреев в мире». Маркс, происходивший из старинного рода раввинов, утверждал, что Бог евреев – деньги, Гейне, происходивший из рода торговцев, гордился своей принадлежностью к нации, которая «дала миру Бога и мораль». У Маркса и Гейне были комплексы вины перед оставленным ими еврейством. Маркс не мог простить евреям то, что он их покинул. Гейне постоянно возвращался к еврейской теме. Он был насмешником, скептиком и сентиментальным человеком, любил и умел иронизировать над своим крещением. В противоположность Марксу, он был полон симпатии и сострадания к евреям: «Я всегда питал пристрастие к евреям, хотя они сейчас распинают моё доброе имя».

Гейне писал о ненависти, которую возбуждает в нём партия немецких националистов, потомков тевтоманов, «патриотизм которых состоит в отвращении ко всему иноземному и соседним народам». За сто лет до Хрустальной ночи Гейне предчувствовал катастрофу немецких евреев. В 1838 году в работе «Женщины Шекспира» он писал: «Если придёт день и победит сатана, – обрушится на головы несчастных евреев буря преследований, по сравнению с которой их предыдущие страдания ничто... Дрожь пробирает меня при этой мысли и бесконечная жалость переворачивает моё сердце». В Хрустальную ночь книги Маркса и Гейне встретились в нацистских кострах.

ДАЛЕКОЕ
БЛИЗКОЕ

писатель, публицист, литературовед, доктор филологических наук, автор работ по истории русской литературы конца XIX – начала XX в. и русско-белорусским литературным связям, художественно-документальных, а также публицистических книг «Хроника суверенного болота», «Белорусская трагедия», «Тайная свобода». Живет в Белоруссии.

ЕВРЕЙСКАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ ВЛАСА ДОРОШЕВИЧА

Знаменитый русский журналист, «король фельетонистов», Влас Михайлович Дорошевич (1865–1922) не раз обращался к «еврейской теме», что отмечено, кстати, и в современной «Краткой еврейской энциклопедии»¹. Обращения эти, как правило, были исполнены восхищения и даже преклонения перед великим трагизмом еврейской истории, захваченностью красотой и мудростью талмудических легенд, неподдельным сочувствием к судьбе евреев.

Но... Я пишу это «но» и думаю: вот сейчас читатель вздрогнет и скажет про себя: ну, конечно, и этот замечательный писатель, видимо, не оказался без антисемитского грешка. Поэтому объяснюсь сразу и напрямую. Как историк русской литературы и журналистики я не приемлю тех «вычислителей», которые подсчитывают и старательно укладывают в особую копилку «антисемитское» у Достоевского, Пушкина, Гоголя, Чехова и кого там еще... И потом издают соответствующие труды под названием «Антисемитизм в русской литературе» или вроде того.

Да как же так? – скажут мне. – Да разве не было про жидов и у Достоевского и у Гоголя?

Да, было, было! Не отрицаю. Но именно как историк литературы и журналистики русской я знаю, что есть антисемитизм неискоренимый, созна-

¹ Вечный жид // Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1. Иерусалим, 1976. С. 662; Русская литература // Краткая еврейская энциклопедия. Т. 7. Иерусалим, 1994. С. 456.

тельный и целеустремленный, и есть подходы к национальной, в том числе еврейской проблематике, обусловленные в творчестве того или иного писателя историческим временем, общественной атмосферой, особенностями формирования личности, различными влияниями, прежде всего религиозными. Есть, наконец, преодолеваемые национальные предрассудки и заблуждения. Именно поэтому я предпочитаю то или иное высказывание писателя рассматривать в историческом контексте.

Не усложняйте, скажет мой оппонент, не все ли равно, чем руководствовался автор? В итоге-то вышла злобная карикатура на еврея в рассказе или повести... А уж если прямо высказался писатель в письме или дневнике... Следовательно, антисемитизм налицо.

Но усложнять нужно, необходимо. И чем глубже – тем лучше. В этом смысле мне близок Леонид Гроссман, утверждавший, что «уважение к этической мысли еврейства при неприязни к создавшему ее народу не должно поражать нас в Достоевском»². При других подходах мы обязательно снивелируем и личность, и творчество писателя. И, соответственно, сами – как исследователи – будем выглядеть достаточно примитивно. Нам будет трудно осмыслить разнообразие еврейских типов в произведениях Чехова – от сардонической Сусанны Моисеевны в «Тине» до закаменевшего в своей философской гордыне Соломона из «Степи». Мы никогда не поймем сочетание буквально коленопреклоненного филосемитизма с антисемитскими инвективами в творчестве Василия Розанова. Подчеркну особо: речь идет не об оправдании, а о понимании, именно в тех случаях, когда последнее просто необходимо.

Вот и в случае с Власом Дорошевичем... Давний исследователь его жизни и творчества (моя о нем монография «Судьба фельетониста» вышла в 1975 г.), я сейчас впервые рассказываю о неизвестном эпизоде из его биографии. Весной 1894 г. Дорошевич, тогда сотрудник популярной «Петербургской газеты», уже журналист с именем, прошедший школу московской полубульварной (газеты «Московский листок» и «Новости дня») и юмористической прессы (журналы «Будильник» и «Развлечение»), недавно вынужденный покинуть солидную провинциальную газету «Одесский листок» из-за конфликта с градоначальником Южной Пальмиры, известным самодуром адмиралом П. А. Зеленым, опубликовал небольшую статью под выразительным названием «Употребляют ли евреи христианскую кровь?» Автор считает, что на судебных разбирательствах «все запутывается», но «несомненно, что секта, доходящая в своем изуверстве до употребления христианской крови, существует. Для этого слишком много доказательств, начиная доносими евреям на евреев и, конечно, их признаниями на суде, признаниями, которые делали добровольно в те времена, когда еще не было адвокатов, готовых за крупные гонорары запутывать и затемнять самые ясные дела»³.

² Гроссман Л. Исповедь одного еврея. М., 2000. С. 188.

³ Петербургская газета. 1894. № 99.

А в предыдущем номере той же газеты он опубликовал стихотворный фельетон «Пейсаховый шабаш», имеющий подзаголовок «Вольное подражание "Шабашу ведьм", написанное еврейскими стихами». Среди «действующих лиц» этой фельетонной пьески «Иосель Кисилевич О'Квич, философ из колена Иудина, Нухим Лейбович Вольтинский, философ из колена Гадова, Гершка Клоп, банкир из "Невского пришепекту", Абрум, Ицек, Мошка, Залман – русские адвокаты, Мордке, Сруль, Иосель, Лейба – русские беллетристы и поэты, Гершка, Кисиль и Шмуль – русские художники и скульпторы»⁴.

Последняя публикация – это, конечно же, отклик на пресловутое «еврейское засилье» в русской культуре, банковском деле, адвокатуре, отражающий достаточно распространенный взгляд даже в либеральной среде, вызванный небывалым наплывом «еврейского элемента» в эти сферы жизни в конце XIX века. Здесь не столько очевиден антисемитизм, сколько вылившаяся в сатирические тона уязвленность национального самолюбия. Дорошевич был очень русский и, кстати, что, на первый взгляд, как-то не вяжется с даром остроумного, постоянно склонного к насмешке фельетониста, религиозный человек. Он был подлинным патриотом России, т. е. далеким от квасного понимания этого слова. Более того: предметом его постоянных насмешек были так называемые «"истинно" русские люди», попросту именно так именовавшие себя черносотенцы из «Союза русского народа». Собирательный образ такого «общественного деятеля», «инспектирующего» даже самого губернатора и его жену «насчет принадлежности к иудейству», выведен в его фельетоне «Истинно русский Емельян». Сатирические стрелы Дорошевича летели и в особенно старавшихся подчеркнуть свою «русскость» патриотов, условно говоря, «окраинного происхождения». В фельетоне «Бессарабцы» он пишет:

«"Истинно русские" люди нужны? А молдаване на что?

– Этакой-то минутой воспользоваться? Себя показать! О-го-го!

И вот...

В Москве русский человек – г. Грингмут. В Петербурге – г. Синадино.

Нам, Власам, остается объявить себя китайцами»⁵.

Эту тему «истинно русского патриотизма», знамя которого выше всех поднимают такие черносотенцы, как выходец из прибалтийских немцев, редактор «Московских ведомостей» В. А. Грингмут или бывший городской голова Кишинева, член Государственной Думы П. В. Синадино, Дорошевич развивает в опубликованном на следующий день фельетоне «Крушеван»:

«Цыган всегда патриот...

Небольшая цыганская капелла в Государственной Думе... Настоящая цыганская капелла, прибывшая из Бессарабии! – как объявляют о себе капеллы.

⁴ Петербургская газета. 1894. № 98.

⁵ Русское слово. 1907. № 87.

Цыганская капелла в Государственной Думе действует также».

И далее, рассказывая о лидере этой капеллы, известном антисемите Крушеване и касаясь поры, когда тот издавал газету «Бессарабец», Дорошевич пишет:

«В те "доисторические" времена Паволакий Крушеваном еще не был.

Г-н Шмаков, читая его газету, сказал бы:

– Жидов мало ругает. Должно быть, сам жид.

Г-н Крушеван находил, что бывают нации и лучше.

Но, в общем, как говорил летописец:

– К евреям относился достожджно.

Т.е. брал у них взаймы»⁶.

В 1916 г. в фельетоне «Черносотенцы» Дорошевич дал убийственную характеристику прессе «Союза русского народа»:

«Черная сотня имеет две организации:

– Боевую и клеветническую.

Боевая группируется около "Русского знамени".

Клеветническая – вокруг "Земщины".

Как цинично определял один очень умный руководитель:

– Волкодавы и вонючки...

Те и другие бывают необходимы»⁷.

Тогда же он назовет «Союз русского народа» «преступным сообществом убийц и грабителей» и потребует от правосудия «открыть до конца этот гнойник»⁸.

Но вернемся в 1894 год... Что касается конкретных причин появления стихотворного фельетона «Пейсаховый шабаш», то я не исключаю и мотива чисто газетных «разборок». Дорошевичу немало доставалось от коллег по цеху. Где-то, может быть, его задел и критик Аким Вольтинский (Флексер), прямо упомянутый в фельетоне.

А вот тема «кровавого навета»... Как мог Дорошевич, хотя и не получивший не только высшего образования, но и гимназического курса не закончивший и, тем не менее, сумевший стать образованнейшим журналистом своего времени, как мог он, человек несомненных либеральных взглядов и очевидной национальной терпимости и широты, допустить в своих рассуждениях существование секты, «доходящей в своем изуверстве до употребления христианской крови»? Отвечая на этот вопрос, я стремлюсь, прежде всего, не упустить из виду следующих обстоятельств.

Первое. Дорошевичу в это время 29 лет. Не так мало, скажет кто-то. И все-таки следует иметь в виду, что формирование личности еще не закончено, еще идет процесс самообразования, поражавший своей глубиной и упорством его коллегу и друга юности А. В. Амфитеатрова. Дорошевич

⁶ Русское слово. 1907. № 88.

⁷ Там же. 1916. № 278.

⁸ Там же. № 286.

еще ни разу не был за границей, в Западной Европе, впереди были и так много давшие ему путешествия по Востоку, в том числе по Палестине.

Второе. Истый сын Москвы, ее «низового» газетно-журнального лона, из которого вышел и Чехов, он был далек от еврейской национально-религиозной среды, которая, в свою очередь, была достаточно закрытой. Поэтому настоящего знания о евреях как народе у него еще не было. Оно придет позже вместе с человеческим и профессиональным интересом к еврейской теме.

Третье. Вал антисемитских процессов, ужесточение антисемитской политики и пропаганды со стороны властей в начале 90-х годов – все это, несомненно, оказывало свое воздействие даже на людей, которым были чужды ксенофобские настроения. Здесь стоит особенное внимание обратить на слова Дорошевича о «донасах евреев на евреев, их признаниях на суде». Под доносами, скорее всего, имеется в виду небезызвестная «Книга кагала» Я. Брафмана и подобные ей сочинения. Они, как видим, имели свое воздействие, как и «путаные» судебные следствия, которые, даже заканчиваясь оправдательными приговорами, как правило, оставляли впечатление какой-то недосказанности, того самого намека на существование ритуальных убийств, который Дорошевич обнажил спустя 19 лет в статье «Тяжкое оправдание», посвященной делу Бейлиса:

«Кошмар перешел в сумбур.

Кошмарное дело закончилось сумбурным приговором...

Но приговор должен быть приговором.

Ясным, определенным.

А не "таинственными намеками"...

А перед нами приговор, в котором звучит уклончивый ответ обывателей.

Невиновного человека им жаль погубить, а что они кидают подозрение, из-за которого придется, быть может, страдать еще не одному такому же Бейлису, как этот, по их убеждению, ни в чем не повинный человек, – до этого они возвыситься не могут...

Все дело, где в обвинительном акте говорилось подробно обо всем, кроме подсудимого, где обвиняемый был привлечен без всяких оснований, где предварительное следствие производилось на суде, дело, куда внесли столько противоречий, истерических выкриков, кликушества, где говорилось столько лишнего, ненужного, вздорного, – все это превратилось в такой сумбур, что и вывод из этого дела получился сумбурный.

В этом деле получилось то, к чему все время и стремились.

С самого начала гг. правые, которые вели это дело, объявляли прямо:

– Пусть оправдают Бейлиса, – нам нужно, чтобы присяжные подтвердили ритуальные убийства.

Получился какой-то робкий намек на существование ритуальных убийств»⁹.

История же с публикацией 1894 года, где Дорошевич склонился к при-

⁹ Русское слово. 1916. № 278. 29 окт.

знанию существования «изуверской секты», имела для него отчасти неприятные, хотя и до конца не выясненные последствия. А. Р. Кугель пишет в своих воспоминаниях, что «кратковременное сотрудничество» Дорошевича в «Петербургской газете» оборвалось «вследствие вынужденного отъезда» его из Петербурга «за статью об употреблении евреями христианской крови»¹⁰. На это обстоятельство намекает и А. С. Суворин в письме Дорошевичу начала июля 1904 г., в котором упоминает о его высылке из столицы «после статьи в "Петербургской газете"»¹¹. Вполне вероятно, что статья вызвала скандал, возможно, еврейская община Петербурга обратилась с соответствующей жалобой к властям. Но вот подробности этого скандала и высылки журналиста не сохранились. Вообще эта история прошла, как бы и не причинив Дорошевичу особого вреда, прежде всего потому, что она не получила широкой огласки. Во всяком случае, в прессе тогдашней нет ее следов, как и указаний на то, что Дорошевич был именно выслан из Петербурга. Скорее всего, сама общественная ситуация была такова, что издатель «Петербургской газеты» С. Худеков и набиравший известность фельетонист посчитали за благо расстаться, тем более что у Дорошевича сохранялся договор с издателем «Одесского листка», куда он сразу же и вернулся.

Публикация в «Петербургской газете» никогда не вспоминалась в прессе и не ставилась Дорошевичу в вину. Что же касается таких профессиональных антисемитов, как присяжный поверенный А. С. Шамаков, то он считал, что еще задолго до этой истории (о которой он, кстати, никогда не припоминал как о «заслуге» Дорошевича) в московской газете «Новости дня» ее издатель А. Я. Липскеров «воспитал» «двух таких бриллиантов Израиля как Дорошевич и Амфитеатров»¹². Называя Дорошевича «бриллиантом Израиля» в 1906 г., Шамаков, конечно же, имел в виду его вполне очевидное к этому времени отношение к еврейскому вопросу.

Несомненно, формированию этого отношения способствовали пять лет жизни в Одессе (1894–1899), где он мог близко наблюдать жизнь еврейского населения большого портового города. В эти годы он сближается с такими деятелями местной интеллигенции, как популярный журналист С. Т. Герцо-Виноградский (Барон Икс), адвокат, будущий член Государственной Думы О. Я. Пергамент. Еврейская тема в этот период так или иначе возникает в его некрологе А. Г. Рубинштейну, с которым у него были дружеские отношения и которого не любили одесские «поклонники золотого тельца»¹³, в отклике на десятилетнюю годовщину смерти С. Я. Надсона, «этого Гамлета русской поэзии»¹⁴ (спустя три года в фельетоне «Старый палач» он рассчитается с В. П. Бурениным за издевательства над по-

¹⁰ Кугель А. Р. Литературные воспоминания (1882–1896 гг.). Пг.–М., 1923. С. 100.

¹¹ РГАЛИ. Ф. 459, оп.2, ед. хр. 221.

¹² Шамаков А. С. Свобода и евреи. Таллин, 2000. С. 189.

¹³ Одесский листок. 1898. № 365.

¹⁴ Там же. 1897. № 29.

этом), в театральном рассказе «Уриель Акоста»¹⁵. Герой знаменитой драмы К. Гуцкова, как признается он позже в очерке, посвященном ее переводчику П. И. Вейнбергу, «отрекающийся от отречения, в разодранной одежде, с пылающими прекрасными глазами, – это солнце моей молодости»¹⁶. Будучи юным актером-любителем, Дорошевич мечтал сыграть Акосту и однажды не выдержал: играя его брата Рувима, он произнес-таки знаменитый монолог главного героя «Спадите груды камней с моей груди!», чем вызвал страшное замешательство на сцене и в публике, когда бездарный исполнитель главной роли начал произносить тот же текст во второй раз.

В 1898 г. на волне большого читательского успеха, вызванного очерками о сахалинской каторге (они появились в результате его путешествия на Сахалин в 1897 г.), Дорошевич – как корреспондент «Одесского листка» – предпринимает поездку в Палестину. Цикл очерков под общим названием «Палестина» печатался в газете с апреля по сентябрь того же года. В 1900 г. они вышли отдельной книгой в издательстве И. Д. Сытина. Это не модные тогда зарисовки путешественника по Святой земле. Журналистская привычка докапываться до сути вещей заставляет автора внимательно вглядываться в завязавшийся здесь сложнейший узел национально-религиозных проблем. Впервые он сталкивается с проблемой еврейского возвращения на землю предков, встречается и беседует с репатриантами. Эти впечатления нашли отражение и в его очерке «Сионизм», опубликованном в петербургской газете «Россия» в 1900 г. (№ 473) и с тех пор ни разу не перепечатывавшемся. О том, как виделась Дорошевичу еврейская проблематика на пороге XX века, читатель «Nota Bene» может судить по воспроизводимой в этом номере журнала републикации очерка спустя 106 лет после его появления в газете «Россия». Я считаю лишь необходимым добавить, что схожие мысли его автор высказал и три года спустя в очерке «Макс Нордау». В нем, как и в «Сионизме», еврейский народ отождествляется с уставшим и мечтающим о своем угле вечным странником Агасфером. И хотя самому Дорошевичу трудно уверовать в то, что евреи смогут выстроить свой очаг на Сионе, застроенном христианскими храмами, в древнем Иерусалиме, где высится мечеть Омара, «вторая после Мекки святыня магометанского мира», он отдает должное двухтысячелетней мольбе еврейского народа, призыву Теодора Герцля, «словами сказавшего то, о чем стучали сердца». Поэтому скептик-рационалист Макс Нордау, разбудивший видевшего сладкий сон старого Агасфера, удостаивается сапога, запущенного в него странником: «Не буди, когда снится хороший сон!»¹⁷

Образ Агасфера давно привлекал Дорошевича. Свою первую легенду, посвященную Вечному Жиду, он опубликовал еще в 1893 г. в «Московском ли-

¹⁵ Одесский листок. 1896. № 80.

¹⁶ *Дорошевич В. М.* Собр. соч.: В 9 т. Т. IV. Литераторы и общественные деятели. М., 1905. С. 82.

¹⁷ Русское слово. 1903. № 338.

стке»¹⁸. Вместе с «Портретом Моисея» и «Видением Моисея» она вошла в его книгу «Легенды и сказки Востока», выпущенную И. Д. Сытиным в 1902 г. Кстати, именно то обстоятельство, что в подзаголовке «Портрета Моисея» стоит «Легенда из Талмуда», было причиной того, что издательство Белорусской Академии наук, в котором в 1983 г. вышел подготовленный мною солидный том Дорошевича «Сказки и легенды», исключило ее из состава сборника. Заодно «не прошло» и «Видение Моисея», хотя в его подзаголовке стоит «Сирийская легенда». Несомненно, руководство издательства понимало, что все, связанное с Талмудом, – это опасные сионистские штуки, даже если их порой выдают за сирийскую легенду. Ну и само собой «не прошли» и легенды об Агасфере, этом очевидном агенте мирового сионизма.

Сейчас я готовлю новое, полное издание «Сказок и легенд» Дорошевича, в которое включено и все «сионистское». Для тех, кто незнаком с этой стороной его творчества, скажу, что это, конечно, не буквальное воспроизведение древних и средневековых сказаний, а главным образом литературное переложение и переосмысление известных сюжетов – традиция, характерная как для русской, так и для западных литератур. И еще точнее: в этом переложении для Дорошевича как газетного писателя очень важен акцент, придающий легенде современное звучание.

В завершение упомяну еще о трех выступлениях Дорошевича на еврейскую тему. В 1899 г. он в большом очерке рассказал о состоявшемся 20–22 апреля погроме в Николаеве. В нем нет возмущенной патетики – только точно зафиксированная хронология и фактография событий, и они-то, прежде всего, свидетельствуют об обыденности явления, в котором «больше издевательства, чем злобы», естественно, при полном безразличии властей – казаки и полиция проявили себя только на третий день погрома. Это был удивительно «мирный погром» по сравнению с состоявшимся спустя четыре года кишиневским. Да, разгромлено множество еврейских лавок и домов, но убит-то был всего один и «около двадцати человек получили тяжелые раны камнями»¹⁹. Сравнивая «Еврейский погром в Николаеве» Дорошевича с очерком В. Г. Короленко «Дом № 13», видишь отчетливо, что Николаев 1899 года был репетицией перед Кишиневом 1903-го...

Накануне премьеры в Суворинском театре антисемитской пьесы С. К. Литвина-Эфрона «Контрабандисты», состоявшейся 23 ноября 1900 г., Дорошевич выступил с фельетоном «Герои дня», в котором писал, «что русскому обществу претит эта пьеса. Русское общество возмущено. Русское общество протестует:

"Довольно грязи! Доносов! Клеветы! Мы не хотим, чтобы и сцену превращали в кафедру гнусности!"»²⁰.

¹⁸ Московский листок. 1893. № 85.

¹⁹ *Дорошевич В. М.* Собр. соч.: В 9 т. Т. II. Безвременье. С. 49.

²⁰ Театральная критика Власа Дорошевича / Сост., вступ. статья и коммент. С. В. Букчина. М., 2004. С. 601.

Спустя год он с удовлетворением отметил по поводу постановки этой же пьесы в московском театре Ш. Омона: «Провокаторская затея, продиктованная кассовыми соображениями, не удалась. Те, на кого рассчитывали, на провокацию не поддались. Выехать на молодежи не удалось...»²¹

И, наконец, дело Дрейфуса. Конечно же, оно привлекло внимание Дорошевича еще и позицией «Золя в роли Дон Кихота» – сюжет, всегда высоко ценимый им в истории, начиная с Вольтера, вступившего за безвинного гугенота Каласа, и кончая Короленко как защитника в деле о Мултанском жертвоприношении. Вольтер «восстал против таких великанов, таких злых волшебников человечества как предрассудки, изуверство, ханжество. Боролся и победил». И вот Золя в деле Дрейфуса...

«Виноват или ни в чем неповинен Дрейфус?

Мы этого не знаем.

Мы будем это знать, когда состоится суд над Дрейфусом.

Суда над ним не было. То, что было, не было судом...

От Золя отказались друзья.

Редактор той газеты, где он печатает свой роман, где столько лет он был первым из сотрудников, поспешил отречься от Золя.

Журнал поспешил назвать его письмо (знаменитое «Я обвиняю!» – С. Б.) не то безобразной, не то возмутительной выходкой.

Журнал, который еще недавно прославлял его имя»²².

В фойе театра «Комеди Франсез» стоял бюст гудоновского Вольтера. Дорошевич не раз подолгу стоял подле него, размышлял, вглядываясь в неуловимо саркастическую улыбку автора «Кандида». Он даже написал фельетон «Улыбка Вольтера», в котором есть такие строки:

«Вольтер... Золя... Короленко...

Они разного роста, но они одной и той же расы.

Они из одного и того же теста, потому что поднимаются от одних и тех же дрожжей»²³.

От тех же дрожжей поднимался и Влас Дорошевич.

Потому и стал великим журналистом.

²¹ Там же. С. 838.

²² Одесский листок. 1898. № 26.

²³ *Дорошевич В. М.* Собр. соч.: В 9 т. Т. IV. Литераторы и общественные деятели. С. 150.

СИОНИЗМ

I

– Где начало сионизма? – спросил я одного молодого еврея, и он ответил мне голосом, дрожащим от волнения:

– На реках Вавилонских там мы сидели и плакали.

Так стар сионизм.

Каждый новый год по лицу всего земного шара евреи встречают молитвой:

– Пусть следующий год встретит нас в Иерусалиме.

И то восторженное приветствие, которым заканчивают сионисты каждый свой конгресс: «До свидания в следующем году в Иерусалиме» – только перефразированная молитва, которую каждый год повторяет весь еврейский народ.

Каждую пятницу, когда солнце склоняется к западу, у древней стены Соломонова храма, в Иерусалиме, сходятся покрытые белыми талесами, похожие на привидения, – сефардины и ашкеназины, евреи испанские и восточные, евреи из Германии, Турции, России, Польши, Литвы.

Словно души еврейского народа слетаются сюда, чтобы плакать, рыдать, молиться и надеяться.

В розовых лучах заходящего солнца, словно вся из червонного золота, поднимается старая стена, – похожая на запертые двери рая.

И в вечернем воздухе, тихом и чистом, льется высокий тенор кантора.

– Опустошен великолепный дворец! – поет этот голос, дрожа от слез, – и рыдающий хор сефардинов отвечает ему:

– Потому мы стоим здесь, одинокие, и плачем.

– О храме разрушенном, одинокие, стоим мы и плачем. О стенах, поверженных в прах, мы стоим здесь и плачем. О величии нашем минувшем – мы стоим здесь и плачем. О людях великих погибших своих, – мы стоим здесь и плачем. О камнях драгоценных, превратившихся в слезы, – плачем мы, одинокий народ. Из-за грехов, заблуждений первосвященников наших мы плачем. Из-за древних царей, презревших Того, Чье Имя не дерзает произнести язык наш, – мы стоим здесь и плачем.

И эта песнь отчаянья и скорби переходит в страстную, горячую мольбу.

– Молим, молим Тебя! Сжался, о сжался над Сионом! – рыдает кантор.

– Соедини детей Иерусалима! – рыдает хор.

– О, поспеши, поспеши, Освободитель Сиона!

– Скажи слово радости сердцу Иерусалима!

– Да увенчают Сион красота и величие!

– О, будь милосерден к Иерусалиму!

- Да восстановится скорей царство Сиона!
- О, утешь, утешь тех, кто плачет о Иерусалиме!
- Мир и счастье пусть снова процветут на Сионе!
- И пусть вновь радостно поднимет свои ветви плакучая ива Иерусалима!

У еврейского народа есть поверье, что кости каждого еврея, где бы он ни умер, под землей пробираются в Иерусалим, чтоб лечь на отдых там, в родной земле, в долине Иосафата, на которую кидает в час заката свою тень священный Сион. В силу этого поверья, в гроб еврея кладутся обыкновенно маленькие палочки, – костыли, чтоб легче было идти старику Агасферу.

В узеньких улицах еврейского квартала Иерусалима, унылых и мрачных, которые оживляют только крики бесчисленных детей, – вы увидите на солнечной стороне неподвижно и молча сидящих стариков, седых как лунь. Всю жизнь они прожили на чужбине и теперь перед смертью греют свои кости на солнце родной земли. Они приехали умирать домой, чтобы избавить наболевшие кости от тяжкого путешествия под землей.

Как святые, в еврейских семьях хранятся щепотки земли Палестины. И несколько песчинок родимой земли, сыплется в гроб умершего еврея.

Так помнят, так плачут евреи о Сионе.

Так рыдали они, томясь под гнетом в Египте.

Когда пришел Моисей.

II

Доктор Теодор Герцль.

Из двух литераторов, воплотивших в слово и воплощавших в дело заветную многовековую, вечную мечту всего еврейского народа, – русской публике нет надобности представлять «Иисуса Навина сионистского движения» Макса Нордау. Патриарх по внешности, убеленной сединами, автор «Вырождения» очень популярен среди нашей публики.

Теодор Герцль – блестящий журналист, редактор фельетонного отдела «Neue Freie Presse», драматург, автор пьесы «Новое Гетто».

Пьеса наделала большого шума в Австрии и Германии, разрешена к печати, но не к представлению на сцене, – в России.

Гетто, еврейского квартала, цепями запираемого на ночь, не существует, – хотя последнее гетто, в Италии, было уничтожено всего в «свободнейшем из годов» 1848-м.

Но «гетто» существует. И на нем висит и день, и ночь железная цепь из четырех букв: «жидь». И куда бы вы ни пошли, куда бы вас ни повлек ваш дух, куда бы ни стремились ваши помыслы, – везде на пути эта цепь, везде вы наталкиваетесь на глухую стену, – стену «нового гетто». Стену нравственного гетто, в котором обречен жить еврейский народ.

Так говорит в своей пьесе Теодор Герцль.

– Да, – улыбается еврейская плутократия, – конечно, доктор Теодор

Герцль напоминает Моисея, хотя он и не найден какой-нибудь австрийской эрцгерцогиней на берегу Дуная. Но мы согласны зачесть за это его представление императору Вильгельму. Он родился в Египте, – в очень милом, надо заметить, Египте, где мы строим не пирамиды, а великолепные дома-дворцы, и торгуем в банкирских конторах, – в Вене. Он обучился египетской мудрости, – доктор прав. Но между ним и Моисеем есть небольшая разница. Моисей, увидав горевший и не сгоравший куст, снял обувь и подошел, чтоб говорить с Богом. Моисей–Герцль, прежде чем вывести свой народ из Египта, снял в передней галоши и пошел в кабинет, чтоб поговорить с банкирами. Так как без плутократии и Моисей в наш век ничего не может сделать. Из камней источали воду, но еще никто не источал из камней золота. И мы, плутократия, мы не на стороне Герцля.

Почему?

Быть может, потому что это создает «осложнения». А плутократия осложнений не любит.

– Мы целые века твердили, что евреев нет, что есть русские, немцы, французы иудейского вероисповедания. Что нет никаких особых еврейских идеалов, стремлений – кроме идеалов и стремлений, которыми живет вся страна. И вдруг теперь объявляют, что евреи – особый народ, что у них есть особые интересы, свои идеалы, свои стремления. Скандал! Совсем вразрез с тем, что говорили и говорим мы, и что нам нужно для наших дел.

Быть может, по этим соображениям, но еврейская крупная буржуазия, еврейские миллионеры, еврейские банкиры, еврейские большие промышленники, крупные собственники против сионизма:

– Мы предпочитаем «терпеть» здесь.

Зато те, кому приходится своими боками расплачиваться за них – еврейское простонародье и еврейская интеллигенция за Теодора Герцля.

Теперешний сионизм родился в головах двух писателей, он увлек за собою мыслителей, художников, поэтов, интеллигентный пролетариат, глупоким сочувствием отозвался в простонародной массе.

И чем более еврейская плутократия посмеивается над Моисеем–Герцлем, тем более и более имя Моисея утверждается за Теодором Герцлем среди еврейского народа.

Герцль не идеализирует своего народа, он не закрывает глаз на его недостатки, и если своими полными слез глазами смотрит через головы народа на восток, – то потому, что ждет, что оттуда взойдет солнце, которое согреет и осветит Израиль.

– Века рабства, века унижения, века притеснений извратили наш народ, привили ему массу недостатков, извратили его ум, его идеалы. Чтобы исправить это, надо воскресить его дух. Надо, чтоб у евреев было то, что есть у всех народов, живых и сильных, – свой дом. И этим домом не может быть какая-нибудь Аргентина. Аргентина или другое место – это всегда будет «колония», а не отечество. А нам нужно отечество, которое жило бы в сердцах наших, – и этим отечеством, живущим всегда в сердцах нашего наро-

да, может быть только одна страна, наша страна – Палестина. Мы не думаем, но мечтаем о переселении всех евреев в Палестину. Но пусть, находясь на чужбине, всякий еврей знает, что есть у него уголок земли, где он у себя дома – уголок земли, который носит такое же животворное для национального развития, для национального прогресса имя – отчизна. Когда мы будем народом, государством, – к нам будут относиться иначе. И этим маленьким, бесконечно дорогим нам, родным кусочком земли, которая будет процветать, благодаря нашему труду, нашим стараниям, нашей работе, – мы заткнем рот всякому, кто кричит о нас, как о нации тунеядцев, о нации, неспособной к плодотворному труду. Пусть каждый еврей знает, в минуту обид, притеснений, гонений, что у него есть, где преклонить усталую и измученную голову, есть куда идти.

И в этих страстных призывах слышится полный тоски и муки вопрос Мармеладова:

– А знаете ли, милостивый государь мой, что значит, когда человеку некуда идти?

III

Суждено ли сбыться этим горячим мечтам народа, которые говорят устами «Моисея», – оставим за ним это «ироническое» прозвище: оно принадлежит ему по праву: он заслужил это почетное имя, – Моисей Герцля.

Мне не хотелось бы брызнуть каплей холодной воды на эти горячие мечты народа. Не потому, чтобы я боялся злобного шипения. О, нет! К этому журналисту надо привыкнуть! А потому что мне милы, бесконечно милы эти молодые мечты старика-народа. Кто способен еще на молодые мечты, – у того еще молодое сердце. А у кого молодое сердце, тот заслуживает лучшей будущности и добьется ее, рано или поздно.

И все же, на вопрос, суждено ли сбыться этому «исходу», – приходится ответить:

– Нет.

Говорят, и теперь очень настойчиво, решительно как о факте, что турецкий султан не прочь продать евреям Палестину:

– Устраивайте там вассальное государство.

Этому можно поверить. Блистательный юбиляр не прочь продать, что угодно: таковы финансы.

Надежды на покупку так велики, что являются даже опасения за то, что будет завтра после покупки. В Турции ведь престранная экономическая политика. Там лечат экономические язвы хирургическим путем. Когда население приходит в сверхъестественную уж бедность, ему говорят:

– Чего ж вы? А рядом-то, – армяне! Очень зажиточный народ. Валяйте, а мы уж как-нибудь от Европы отпишемся.

И вдруг, в один прекрасный для финансов день, в Палестине будет со-

вершена такая «операция». И нищие окружающие народы поправятся на счет зажиточной еврейской провинции.

Но я думаю, что, к счастью, до этой новой беды еврейский народ не доживет.

Несмотря на все желание, – его величеству султану не удастся продать Палестины евреям.

На пути станет религиозный вопрос.

В Палестине не только первые святыни еврейского и христианского мира, – там вторая святыня магометанского мира, – голубая мечеть Омара, вторая после Мекки.

Мечеть, закрывающая серую таинственную скалу, вершину горы Мория, где Авраам хотел принести в жертву Исаака, где стоял ангел с пылающим мечом, обращенным к Иерусалиму, когда Давид вышел утром на кровлю своего дворца, – скала, на которой восседает Аллах в последний день мира, чтоб судить живых и мертвых, скала, под которой находится колодезь душ, где стонут, летая во мраке, бледные призраки и где они слетаются раз в неделю, в пятницу вечером, чтоб простонать их общую мольбу к Милосердному.

Мечеть, куда, как говорит книга Сур, Всевышний перенес смиренного слугу Своего, Магомета, чтобы показать ему чудеса Свои, мечеть, чрез открытый купол которой вознесся на белом коне на небо пророк.

Это мечеть построена на самом священном месте для евреев, – на месте Соломонова храма.

И на Сионе, о котором рыдают и плачут веками евреи, в Сионе, где была Тайная Вечера, дом первосвященника Анны, дом первосвященника Каиафы, где, по мусульманскому преданию, гробницы Давида и Соломона, – армянские монастыри и патриархия, христианские кладбища, мечеть и монастырь дервишей.

А могила Рахили, бесконечно дорогой матери еврейского народа, – как вы коснетесь этой еврейской святыни, когда кругом магометанское кладбище, и могила Рахили – одна из величайших святынь магометанского мира?

Что ж это будет за «дом», где хозяева не смеют тронуть самых дорогих для них предметов? Где самые дорогие предметы принадлежат другим. Будут ли, при таких условиях, евреи чувствовать себя в Палестине «дома»?

– Мы, конечно, не будем трогать христианских святынь.

Но кроме христианства есть еще и духовенство.

У христианства сравнительно немного святынь, церковью признанных и точно установленных реликвий в Палестине. Но у духовенства, – духовенства греческого, которое, к сожалению, представляет в Палестине, и очень недостойно представляет, всю восточную церковь, у духовенства католического, у духовенства армяно-григорианского масса святынь, святынь апокрифических, святынь, не признаваемых церковью.

И эти-то святыни особенно дороги палестинскому духовенству, потому что эти святыни доставляют ему наибольший доход.

Всякий сам найдет, сам придет и сам поклонится признанной церковью святыне, – деньги берутся за то, чтобы показать такое место, где слышно, как плачут грешники в аду.

– Вот дерево, на котором повесился Иуда, вот та самая смоковница, которая была проклята, вот поле, усеянное мелкими камешками, «каменным горохом», которое (по апокрифическим сказаниям) было проклято Христом, вот именно то самое место, где крестил Иоанн, вот гостиница доброго самарянина, о котором говорится в притче, вот та самая кровля, на которой молился апостол, когда увидел спускающийся с неба плат, наполненный гадами.

Вся Палестина состоит из таких священных мест.

Попробуйте тронуть какую-нибудь из этих апокрифических, выдуманных, но наиболее поражающих наивного поклонника, а потому и наиболее выгодных святынь.

– Здесь вам нельзя! Здесь вам нельзя! Сюда нельзя подходить!

И вы не найдете себе места, чтоб жить.

А что будет, когда увидят святые места во власти «врагов Христовых»?

Невольно режет глаз турецкая стража в храме Воскресения, турецкий часовой со штыком в вертепе Рождества. Невольно рождается чувство возмущения.

Оно проходит только потом, когда вы знакомитесь с нравами и взаимными отношениями духовенства различных вероисповеданий.

Конечно, когда я видел побоище между коптским, армянским и греческим духовенством в храме Воскресения на торжестве священного огня, и турецкую стражу, которая спокойно и хладнокровно, осыпаемая ударами, разминала дерущихся, – мои симпатии были на стороне турок.

«Нейтральный» турецкий часовой в вертепе Рождества поставлен с тех самых пор, когда там произошла перестрелка, из револьверов, между католическими монахами и черногорцами-проводниками, и было убито несколько человек.

При такой розни, фактически кровавой вражде духовенства различных вероисповеданий, – самое лучшее, – это то, что святые места принадлежат туркам. Туркам, которые с удивительным, делающим им величайшую честь почтением относятся к чужим святыням, и не отдают предпочтения ни одному вероисповеданию, потому что все эти вопросы для них безразличны.

И имея даже такого верного и сдержанного стража, дипломатия все же обречена на бесконечную переписку, на бесконечный разбор жалоб из-за вечных очень острых столкновений различных духовенств.

Можно себе представить, что начнется в Палестине тогда! Какое поле для фанатизма!

Вряд ли правительства решатся так сильно затронуть религиозные чувства своих народов. Вряд ли Европа захочет иметь в Палестине непрерывную фанатическую поножовщину, способную глубоко волновать те народные чувства, которых лучше не касаться.

IV

Я думаю, что мечты сионизма не сбудутся еще и по причине чисто экономической.

Можно посылать людей на труд, – но зачем же их посылать на каторжные работы?

Изумительная бедность жителей Палестины, невероятная нищета, не имеющая ничего себе равного в мире, – объясняется не одной ленью, страстью к праздности.

Эта праздность вынуждена тем, что непосильный труд так бесплоден.

Палестина! Проезжайте ее от Яффы до Мертвого моря, – это клочок зелени – долина Иудеи, бесконечная каменистая пустыня и снова клочок зелени – долина Иордана.

Она казалась землей, текущей млеком и медом. Моисей просил ввести его на вершину горы, чтоб хоть издали взглянуть на землю обетованную и, взглянув, полный восторга, счастья, умер, благословляя небо. Палестина всегда привлекала к себе варваров из-за Иордана.

Да, поднимитесь на заиорданские высоты, откуда смотрел Моисей, и откуда смотрели варвары, совершавшие набеги на страну, текущую молоком и медом.

Направо уходит вдаль чудная зеленая долина Иордана. Налево – блещет гладью сдавленное горами Мертвое море.

Перед вами пышный, цветущий сад, и крошечный городок, построенный на месте грозного Иерихона, кажется куртиной цветов.

Какая пышная, какая чудная природа. Отсюда эта страна, действительно, могла казаться «землей обетованной», – она могла, должна была соблазнять глаз соседних народов, смотревших на нее отсюда, манить, обещать чудеса, – и жители страны недаром должны были поставить здесь, на берегу милой и маленькой реки Иордан, грозную и неприступную крепость – Иерихон.

Но посмотрим на Палестину с вершины Элеонской горы. С одной стороны вдали блещет Средиземное море, с другой – сверкает узенькая полоска Мертвого моря. Страна вся как на ладони.

Узенькая зеленая полоска Иудейских долин и узенькая зеленая полоска долины Иордана, словно полоски зеленого дерна. А между ними кое-где проросшие зелеными ниточками, серые, пепельные горы Иудеи, – словно большая могильная плита, старая, проросшая и растрескавшаяся, – над великим прошлым.

И здесь должно совершиться обновление народа, возвращение его к труду?

Прислушайтесь, как звучит слово «труд» в древних книгах, которые вы получили из Палестины.

Оно везде звучит как проклятие.

– Повинны будете труду!

Потому что здесь труд, непосильный, неблагодарный, именно похож на проклятие.

V

Я бывал в еврейских колониях в Палестине. Видел медовый месяц евреев и их родимой земли.

– Я дома! – говорил мне один еврей. – Мои младшие дети родились здесь и не знают ничего, кроме этих картин. Это для них родные картины. И только двое старших смутно помнят Америку, как сон, приснившийся в детстве. Когда мать рассказывает младшим сказки и говорит о волшебных дворцах, – старшие объявляют младшим: «Мы знаем эти большие дворцы. Высокие-высокие, как эти горы. Они все из железа и стекла, – и горят на солнце так, что больно смотреть. Они находятся там, по ту сторону бурь». Мы живем здесь – около этого колодца, к которому наши предки сгоняли с гор свои стада. И каждое утро, проснувшись, я думаю: «Я дома!» И эта фраза кажется мне странной. Я слушаю ее, как музыку. Не правда ли, вам должно казаться это странным: такая простая, такая обыкновенная фраза: «Я дома». Но вы ее произносите с детства, а я стал произносить только с сорока пяти лет.

Какие славные картины я видел.

Мое приветствие:

– Я объехал свет, и везде видел евреев только в гостях. И вот, в первый раз я вижу евреев у них дома.

Это приветствие открывало мне двери и сердца, вызывало дружеские улыбки и горячие пожатия руки.

Я видел древних стариков, которые, сидя на завалинках, слушали, как музыку, щебет игравших около детей, говоривших на древнееврейском языке.

– Мы учим наших детей нашему древнему, нашему славному, нашему великому языку! – с радостью говорили мне.

Мне с гордостью показывали нивы, сады, виноградники:

– Вот что дает наша земля.

Я видел, с каким усердием, с какой любовью трудились люди, обрабатывая свою, родную землю, погружая заступ там, где погружали их деды!

Я видел, что труд, – ужасный труд в этих болотистых, с дурным климатом, долинах Иудеи, – кажется не трудным для работников, пьянеющих от радости обрабатывать свою, свою, родную землю.

Но послушайте! Ведь все эти колонии существуют иждивением Ротшильда. Существуют потому, что он покупает у них весь виноград, который родится, по хорошим для них ценам, – не по рыночным, а по благотворительным. Эти колонии существуют потому, что чрезмерные урожаи и неурожаи не влияют на их процветание. Потому что Ротшильд не понижает цен, когда цены падают, вследствие избытка урожая, и повышает цены, когда урожай плох.

Это не свободно выросший, – это тепличный цветок. Это оранжерейные колонии.

Тут рассчитывают не на свой труд, а на благотворительность, верят не в труд, а в доброе сердце щедрого миллионера.

Этого ли хочет для обновления родимого народа Моисей Герцль?

VI

Я думаю...

Нет, я не думаю, я боюсь. Боюсь потому, что из всех националистских движений это для меня единственно симпатичное: оно мечтает не об угнетении других народностей, а только о воскрешении своей.

Я боюсь за то, что теперешний сионизм не выживет долго.

И его погубит внутренний разлад.

«Моисею» пришлось услышать ропот народный, когда еще не перешли через Черное море.

Только первый конгресс был полон духа удивительного единения, общего горячего и страстного восторга.

Все было ново: и бело-голубой национальный флаг, и речи, и мечты.

Уже на втором конгрессе почувствовалась рознь. Пошли партии, личности. Началось недовольством Герцлем:

– Уж слишком он играет в дипломаты: то тайна, это его дела, ни о чем не говорит. Самые важные вещи хочет делать один, по своему. При чем же мы-то тут?

И с каждым и каждым конгрессом затруднения и рознь все растут и растут.

Последний лондонский конгресс, – пока оратор говорит о физическом перевоспитании народа, о том, что его надо сделать сильным, чтобы сделать способным к физическому труду, что необходимо учреждение еврейских гимнастических обществ, – гром аплодисментов, общее согласие.

Но вот переходят к важнейшему вопросу:

– Какое образование давать в сионистских школах: общее или так называемое религиозное? В чьи руки отдать еврейскую молодежь, – следовательно, и завтрашний день еврейского народа?

И вспыхивает не плодотворный спор, а рознь.

Чтобы пересоздать еврейский народ, надо пересоздать воспитание, образование юношества. Ведь все знают, что раввины, мелаamedы, цадики учат народ тысячам суеверий, предрассудков, сковывают ум молодежи, лишают его свободы.

Но цадики, мелаamedы пользуются таким влиянием на простонародье. Если их удалить из школы обновленного народа, они примутся распространять в народе убеждение, что сионисты враги религии и народа, оттолкнут от сионизма народные симпатии.

И так всегда.

Пока речь идет о мечтаниях, восторженные аплодисменты.

Как только речь заходит о насущном вопросе: «Что ж делать теперь, сейчас, сегодня?» – рознь.

VII

Мы уже не говорим о розни между еврейской плутократией с одной стороны и еврейской трудящейся интеллигенцией и народом с другой, которую породил сионизм.

Быть может, это лучшее, что он сделал, и за это его надо любить и благодарить.

Это в значительной степени спасет еврейство от поклонения миллионерам и миллионам.

И, может быть, в эту минуту и в этом деле Герцль, неожиданно для себя, действительно напоминает Моисея. Когда Моисей сошел с горы, его народ поклонялся золотому тельцу. И Моисей разбил золотого тельца.

Впервые еще, кажется, так круто, лицом к лицу, поставлены еврейская плутократия и еврейский народ, и видят, до какой степени они разные люди.

И впервые весь остальной мир видит, как диаметрально расходятся между собой во взглядах, идеалах, мечтах, надеждах еврейская богатая буржуазия и еврейский народ.

Что между ними нет общего, как нет ничего общего между плутократией и тружениками других народов.

Их смешивали, и они смешивали сами себя в один народ по недоразумению.

Говорят:

– Ни у одного народа богачи так же помогают бедным, как у евреев.

Да, но и нигде богачи так много не должны своему народу. Ведь завидуют Ротшильдам, ненавидят Брейхредеров, а бьют и преследуют Ицек и Мошек, едва тяжким трудом зарабатывающих себе кусок хлеба.

И сколько бы ни дали «на бедных» еврейские плутократы, – это только маленькая часть того, что они должны своему народу.

Ицеку дают 20 копеек, когда он стар, болен, неспособен к труду. Но это, право, немного, если принять во внимание, что Ицек всю свою жизнь несет ответственность за Ротшильда! Ротшильд еще очень, очень много должен бедному Ицеку.

Этим культом миллионеров поддерживался культ денег.

– Они наши лучшие люди! – думал бедный еврейский народ.

И сионизм впервые самим евреям разъяснил, что еврейская плутократия и еврейский народ – два разные народа.

– Фантазия! Утопия! Несбыточные, непозволительные мечты! Глупости! Об этом не следует даже мечтать! – так обозвала плутократия заветные грезы и мечты народа. – Вам никогда не возродиться. Вы должны жить так, как вы живете, преследуемые, гонимые, а нам до этого нет дела: нам хорошо. Наши с вами интересы различны.

И оскорбленный, и прозревший народ ответил:

– Много говорили дурного про Израиль, – но одного никто не мог сказать: что мы отреклись от Сиона. Вы теперь сделали это!

И пусть даже сионизм, – это восторженное движение интеллигенции и народа – и не добьется того, о чем он мечтает, – все же это историческое движение пройдет недаром.

Оно создало религию труда и подорвало обаяние плутократии в глазах еврейского народа.

VIII

Усталому, измученному от долгого пути, упавшему на жесткий камень при дороге, Агасферу приснился чудный, дивный сон.

Ему снилась родная земля, вся в цветах, вся в величии, в блеске.

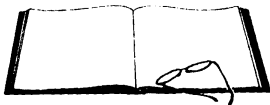
Пусть этот сон прибавит ему бодрости духа на долгий тяжкий путь.

Пусть это только сон.

Когда бы не было на свете снов, какой ужасною казалась бы действительность.

И как бы тяжело было рабство, если бы хотя во сне мы иногда не видели себя королями.

Публикация С. В. Бужчина



моряк, юрист, бывший партийный работник. Автор повестей «Кадима», «Происшествие в Бредбери», «Экипаж Святого Лаврентия», «Тайна затонувшего фрегата», «Отряд особого назначения», «Майор НКВД» и «Побег». Живет в Израиле.

КАК МЫ БОРОЛИСЬ С «КОНТРПРОПАГАНДОЙ»...

Эта история случилась на исходе «золотого века», в котором пребывали все виды советской номенклатуры, начиная от партийной, кончая хозяйственной, военной, дипломатической и так далее и тому подобное...

После потрясений, перетрясок и шараханий в годы правления «нашего дорогого Никиты Сергеевича» и последующего прихода «дорогого Леонида Ильича» установился некий статус-кво, где каждый знал свое место, свою нишу и свою главную задачу по защите этой самой ниши.

Чужаков в эту среду не пускали. Обходились самовоспроизведением, да еще заключением клановых союзов, как правило, путем бракосочетаний. Разночинная интеллигенция, которая не могла преодолеть этот барьер, отводила душу в анекдотах, сплетнях и кухонных посиделках.

Кстати, многие из них еще и сегодня рассказывают, как «боролись» против загнившего режима, пересказывая информацию из передач «голосов из-за бугра», добытую с тяжелейшими моральными трудностями, из-за мощнейших «глушилок».

Но, в общем-то, благоденствовали все и тревог по поводу завтрашнего дня не испытывали. Разве что происходило какое-то шевеление внизу, в темной массе человек, определяемых как простой советский народ, в особенности, когда в дома этой массы начали приходить похоронки из Афганистана и иных «горячих точек», а прилавки магазинов все больше и больше пустели. Но эти пустяки в голову, как говорится, не брали.

Работа с массами была возложена на партийные форпосты – райкомы и горкомы партии, да еще на «вооруженный отряд партии» – славных чекистов, которые, наконец, пришли в себя после испуга и хрущевских потрясе-

ний и занялись тем, чем занимались всегда, конечно, с поправкой на время. Этими силами и ограничились, мало интересуясь, как и что там, на низах, происходит.

Именно в этот период, после окончания Высшей партийной школы, я был назначен заведующим отделом пропаганды и агитации одного из периферийных горкомов партии. Надо сказать, что до поступления в ВПШ я проработал четыре года первым секретарем горкома комсомола и, хотя дневал и ночевал в кабинетах старших товарищей из горкома партии, поскольку без них не решалось ни одного вопроса комсомольской жизни, внутреннюю аппаратную жизнь знал плохо. Ко мне присматривались и в святая святых пока не допускали.

А святая святых в нашем горкоме были «ленинские пятницы», которые в конце недели имели место быть в кабинете заведующего общим отделом Николая Александровича Белявского. После рабочего дня туда собирались заведующие отделами горкома, и, по очереди, один-два руководителя городских предприятий, которые заранее, через доверенного инструктора промышленно-транспортного отдела Володю Головацкого, обеспечивали собравшихся закуской и выпивкой.

Попасть на «ленинские пятницы» считалось большой удачей и честью. Это было признанием и своеобразным пропуском в неофициальный клуб городской элиты, и каждый приглашенный понимал, что именно сейчас, а не после утверждения в должности на бюро горкома или на коллегии своего министерства он обретает настоящий статус руководителя и становится одним из городских небожителей.

Стержнем этого клуба являлась личность его руководителя Николая Александровича Белявского – заведующего общим отделом горкома. Надо сказать, что к этому времени, благодаря усилиям главного канцеляриста партии, заведующего общим отделом ЦК КПСС Константина Устиновича Черненко, личного друга и верного соратника Генерального секретаря ЦК Леонида Ильича Брежнева, значение общих отделов в партийно-бюрократической машине выросло невероятно.

Они стали чуть ли не вровень с самыми важными в структурах горкомов и райкомов подразделениями, отделами организационно-партийной работы, или, попросту, орготделами. Занимались эти орготделы вовсе не организационной или партийной работой, а элементарным подбором и расстановкой кадров, как партийных, так и хозяйственных, а, как известно, кадры решают все.

Вчерашние серенькие мышки, заведующие общими отделами, денно и ночью занятые подшивкой «входящих» и «исходящих», вдруг превратились из незначительных шестеренок бюрократической машины в цельный маховик, без которого, как оказалось, вся партийная, а с нею и государственная деятельность буксовала на месте.

Вышло соответствующее постановление ЦК КПСС о работе с партийными документами и месте в этой работе общих отделов, как в центре, так

и на местах. В горкомах и райкомах партии им прибавили по второму кабинету для хранения документов (в котором, кстати, мы и проводили наши «ленинские пятницы»), и вчерашние делопроизводители, вознося осанну своему царственному благодетелю со Старой площади, стали вровень по силе и влиянию с другими отделами, к вшему неудовольствию последних.

А чтобы на корню пресечь недовольство, Константин Устинович провел предметную порку родному Красноярскому крайкому партии по вопросу работы с документами, и все первые секретари страны, от мала и до велика, окончательно поняли, откуда и куда дует ветер, и немедленно провели такие слушания у себя со всеми вытекающими последствиями.

Если сказать честно, то делу такая реформистская деятельность Черненко пошла только на пользу. Прохождение бумаг и выполнение ранее принятых решений своих и вышестоящих, ответы на жалобы и заявления трудящихся были поставлены под такой жесткий контроль, что аппарат работал через «не могу», но точно и в срок решал все вопросы, без обычной тягучей бюрократической волюнки. Роль же заведующих общими отделами выросла необычайно. От них стали зависимы не только работники аппарата, но и секретари парткомов, и руководители предприятий и организаций.

Что касается нашего заведующего общим отделом, то этого ему и не требовалось. Николай Александрович Белявский был и до этого в аппарате горкома фигурой номер один. В прошлом военный флотский политработник в звании капитана второго ранга и участник войны, он уже в зрелом возрасте закончил философский факультет МГУ, конечно, заочно.

Как каждый уважающий себя философ Николай Александрович периодически «принимал на грудь», что иногда выливалось в элементарные запои. Но мужик был мудрый, а как идеологический боец непревзойденный, особенно на фоне своих сереньких коллег, которые, как в известной поговорке, бытовавшей в нашей среде, не могли отличить «Гоголя от Гегеля и кобеля от кабеля».

Но главной причиной его силы и могущества была твердая уверенность первых секретарей, которые периодически сменяли друг друга, что Белявский вовремя подскажет выход из труднейших аппаратных ситуаций, а главное поможет осмыслить политическую линию, которая закручивалась в верхах, и твердо обоснует, когда надо гавкнуть, а когда лизнуть. И у него это получалось. И его прогнозы, как правило, сбывались.

И первые секретари, по его наущению, вовремя гавкали или лизали, чтобы потом уйти с повышением в вышестоящий партийный аппарат. А потому хранили Николая Александровича как зеницу ока, и на его запои, которые становились все чаще и чаще, не обращали внимания.

Обращала на это внимание лишь его собственная жена, которая регулярно возила его на всевозможные лечения, преимущественно к народным целителям. Белявский безропотно подчинялся ей, но после лечения пил еще крепче, наверстывая временное воздержание.

Правда, после очередного крупного запоя со скандалом в городском масштабе, когда оскорбленные идейные товарищи по партии потребовали на пленуме изгнать из аппарата запойного заведующего отделом пропаганды и агитации, кем тогда являлся Белявский, один из тогдашних первых секретарей сделал рокировку и перевел его в заведующие общим отделом, выведя его, таким образом, из-под удара.

Авторитет Николая Александровича от этого перемещения нисколько не пошатнулся, а среди работников аппарата даже усилился. Все окончательно поняли «кто есть кто» в горкоме. Ко мне у Белявского было особое отношение. Присматривался он ко мне еще с комсомольских времен, и я это чувствовал, но внешне это никак не проявлялось. Лишь при направлении на учебу в Высшую партийную школу он сказал, зазвав меня в свой кабинет:

– Из тебя выйдет хороший идеолог. Не теряй там времени зря. Хочу, чтобы меня сменил такой, как ты. Время «училок Марьван» на посту секретарей по идеологии давно прошло, а наверху этого не понимают и не чувствуют приближения, не побоюсь сказать, катастрофы, а я это чувствую нутром. Давай! Желаю! И жду здесь, в горкоме! Только язык свой придержи. Свои же и заложат.

Насчет «училок Марьван» Белявский сказал сущую правду. Это была всеобщая беда райкомов и горкомов. В силу полной недооценки идеологической работы и, как правило, от дремучей серости кадровики в ЦК решили одним махом повысить процент участия женщин в выборных органах партии. И, поскольку идеология считалась делом второстепенным, обязали обкомы выдвигать в городах и районах на должности секретарей по идеологии исключительно женщин.

Там взяли под козырек и, не мудрствуя лукаво, решили двигать женщин-учителей. Добро бы учителей истории, а то кого придется, лишь бы пол выдерживался и цифра была справная. И это длилось годами. Сколько талантливых мужиков застопорила эта дурость – одному Богу известно. Но поскольку мы все были безбожниками, во всяком случае, внешне, то на него не уповали, а материли втихомолку своих недалёковидных вождей в центре и на местах.

Наша доморощенная «Марьвана» в прошлом была учителем младших классов и секретарем парторганизации школы. Она родилась в селе и науку в местном пединституте одолела упорством и крепким задом. Кроме того, все институтские годы она активно занималась комсомольской работой, была секретарем комитета комсомола института и членом горкома.

В село она возвращаться не собиралась, хотя институт был создан исключительно для подготовки сельских учителей, и на последнем курсе удачно выскочила замуж за городского жителя с квартирой. Голос для народного трибуна у нее был подходящий, политику любого первого секретаря она воспринимала правильно, так и оказалась в секретарях.

Поскольку в ведении секретаря-идеолога были и учебные заведения го-

рода, то она ими и занималась, как говорится, на полную катушку. Разбор склок в женских педколлективах, перемещения заведующих горно, директоров и завучей занимали все ее время. Она была в своей стихии и в этом видела суть идеологической работы.

Во всем ином она полагалась на заведующих отделом пропаганды и агитации, вначале на Белявского, потом на некоего Гречаного, который так и не смог за время своей деятельности узнать разницу между пропагандой и агитацией. Да и не стремился к этому. Для Белявского это было спасением от вмешательства некомпетентной дуры, а для Гречаного раем, в котором он блаженствовал и бездельничал.

И вот наступила «ленинская пятница», когда мы обмывали мое утверждение в должности заведующего отделом пропаганды и агитации. Обиженный Гречаный, которого «кинули» на городской архив, на это мероприятие не прибыл, хотя и получил приглашение от Белявского, причем в первый раз за все время его работы в аппарате. Николай Александрович хотел, по-человечески, смягчить ему боль от обиды. Думаю, что в этот раз Гречаный сделал правильно. Выпив, Белявский вряд ли удержался бы от уничтожающей характеристики этого «идеолога», а это было сейчас, наверное, уже совсем ни к чему.

Так что героем дня оказался один я. И первый тост Белявский, начав со своего обычного: «Хочу выпить за хорошего человека», то есть за меня, быстро скатился на обличение всех присутствующих, а в их лице на таких же недалеконвидных и несведущих в вопросах идеологии руководителей партии, которых, конечно, он прямо не называл. В заключение он все же вспомнил о моей личности и сообщил, что вся его надежда на таких, как я и подобных мне. И что, если новое поколение аппаратчиков пойдет прежним путем, беды нам всем не миновать.

После подогрева беседа приняла дискуссионный характер, и разобиженные представители отделов пытались доказать полезность и правильность своего живого дела, а не пустопорожнее начетничество и цитирование на политзанятиях. Николай Александрович с грустью смотрел и слушал технарей от партийной работы, а потом, обратившись ко мне, сказал:

– Наверное, в ВПШ ты видел то же самое?

Я согласно кивнул головой.

– Помнишь, ты показывал мне свой реферат о необходимости кардинального изменения контрпропагандистской работы и наступательности нашей пропаганды?

– Помню. Досталось мне за него тогда.

– Ну, это как водится, когда с дураками дело имеешь. Но твои соображения, кажется, попали в струю. Во всяком случае, завтра получишь от меня постановление ЦК по этому вопросу. Не все же там дураки сидят, прости Господи, оказывается, есть кое-кто и с головой.

Утром я был первым в кабинете у Белявского. Расписавшись за постановление ЦК и получив энергичное напутствие Белявского, я тут же засел

за его изучение. Мысли были те же, что и в моем курсовом реферате, но вот о практической реализации одного документа говорилось глухо и вскользь.

Позвонили из отдела пропаганды обкома партии и сходу предложили составить план мероприятий по выполнению постановления с учетом специфики портового города как наиболее подверженного воздействию идеологического противника. На мой вопрос, какие конкретные меры они могут порекомендовать, ответили, что нам на месте виднее, а отреагировать надо незамедлительно, поскольку кампания набирает обороты и надо отчитываться перед ЦК чуть ли не ежедневно.

Наученный опытом комсомольской работы, когда в первый же день моей секретарской деятельности с меня потребовали данные о субботнике, который еще и не начинался, я не возражал и начал думать. Думал долго, а потом пошел к Белявскому.

– Николай Александрович! – начал я. – Хочу посоветоваться. Общепринятую туфту для обкома я набросал. Тут и семинары с пропагандистами и первыми помощниками капитанов, и усиление агитационной работы в трудовых коллективах, включая темы политинформаций на ближайший период, выступление первого секретаря на партийно-хозяйственном активе, подготовка бюро горкома по этому вопросу, ну и все такое прочее. Вы все прекрасно знаете и так.

– А ты что хочешь? Внести нечто новое? – заинтересованно спросил Белявский.

– Еще как хочу! Поэтому и пришел.

– Ну, ну! Излагай. Только коротко и внятно.

– Излагаю. Думаете, только мы с вами слушаем «голоса из-за бугра»? Вопросы, которые задают пропагандисты на городских семинарах, говорят сами за себя. А пропагандистам приходится отвечать на них своим слушателям. От нас же они вместо четких ответов получают обычные отговорки и серятину. Контрпропагандой тут и не пахнет.

– Ха-ха-ха! – расхохотался Белявский. – Сегодня мне звонили из парткома пароходства. Там на семинаре первых помощников капитана один из них, типа нашего Гречаного, произнес пламенную речь о том, что нужно бросить все силы на борьбу с контрпропагандой, которую запускают в нашу страну идеологические противники. И это политработник! Смех, да и только!

– Смешно, конечно. Но смех этот сквозь слезы. Ума не приложу, что делать с этими горе-политработниками. Как был этот институт прибежищем «блатняков», так и остался. Недавно один из таких, бывший начальник областной тюрьмы, умудрился объявить по трансляции при подходе к порту, что для проведения досмотра экипажу необходимо разойтись по камерам... Моряки ржут, а ему трын-трава. Как политработник – полный нуль. Этот еще похуже Гречаного, тот хотя бы не вредил.

– Слушай! Давай-ка размножим твой реферат, конечно, с корректировкой на сегодняшний день, с учетом этого постановления. Глядишь, у акти-

ва что-то и прояснится в голове. Решено. Завтра тащи свой реферат. Надеюсь, что ты его еще не выбросил?

– Нет. Черновик сохранил. Завтра и принесу. Откорректируем вместе?

– А как же! Инициатива всегда была наказуема, – рассмеялся Белявский. – А если серьезно – люблю дело, а не его имитацию. И еще одно. У многих само понятие «контрпропаганда» вызывает некие ассоциации, связанные с «контрой», «контриками» и «контрреволюцией». Сами приучили народ к этому через кино и книги. Так вот мой тебе совет. Объясняй посредством военной терминологии. Есть разведка, а есть контрразведка, которая ей противодействует. Вот и весь сказ. Быстрее поймут. Так, а теперь давай свои предложения.

– А предложения мои такие. Первое. Регулярно обобщать вопросы, задаваемые слушателями на занятиях и в сети политпросвещения, экономической и комсомольской учебы. Кстати, у комсомольцев вопросы бывают самые крутые. Ответы на вопросы готовим у себя. По возможности, откровенные и доступные пониманию. На городском семинаре пропагандистов доводим эти ответы до их сведения. Делаем это силами моего отдела.

– Ты думаешь, тебе и твоим работникам дадут информацию, о чем, в действительности, спрашивают пропагандистов?

– А этого и не требуется. Эти данные будут дымовой завесой. Что говорят и о чем спрашивают, мы знаем и сами, прежде всего, из тех вопросов, которые поднимают пропагандисты на семинарах и в личных беседах. А они мало чем отличаются от того, что говорят «вражьи голоса».

– Так ты предлагаешь реагировать на материалы «Радио Свободы» и ей подобных под видом ответов на вопросы озабоченных трудящихся?

– Причем оперативно и не ожидая никаких разъяснений сверху, которые, как правило, если и бывают, то тогда, когда материал потерял всякую актуальность.

– Мысль хорошая, – Белявский долго молчал, а потом спросил: – А ты задумывался, чем это грозит тебе лично?

– Так ведь кому-то надо начинать. Или сидеть сложа руки и дожидаться, как вы сами говорите, катастрофы?

– Вот тебе моя рука! – Белявский, не вставая из-за стола, протянул свою руку. – Только об этом знаем ты и я. И материал готовим вместе. Добро?

– Добро! – радостно ответил я.

– Что у тебя еще?

– Есть еще одно предложение. В постановлении упоминаются зарубежные антисоветские издания: журналы «Грани», «Континент», «Посев» и так далее и тому подобное. Предлагается вести с ними бескомпромиссную борьбу всеми средствами пропаганды и контрпропаганды. Хорошо. Но ведь для этого надо знать, что эти вражьи журналы пишут?

– Ты многого хочешь! Но уровень у тебя не тот, чтобы допустили хотя бы полистать эти журналы.

– Значит, надо бескомпромиссно воевать с тем, чего не видел и не ведаешь?

– Так уж повелось, мой молодой друг. Так воевали и воюем. А у тебя на этот счет есть иные предложения?

– Есть.

– Излагай!

– Через одного из помполитов приобрести хотя бы один из таких журналов. Прочитать, проанализировать и дать квалифицированный отлуп вражьей силе, к примеру, на научно-практической конференции актива идеологических работников города. С моей точки зрения, это и будет действенная контрпропаганда.

– За такие предложения тебя даже в послевоенные годы, не говоря уже о тридцать седьмом, поставили бы к стенке. Сегодня, конечно, не поставят, а просто выпрут из наших монолитных рядов. А может, и не выпрут? – в раздумье сказал Белявский. – Может, как раз попадешь в струю... Кто знает?

– Ну, что же! Семь бед – один ответ...

– Ты уже что-нибудь предпринял?

– А как же! Володя Лебеденко, помполит с теплохода «Кახетия», мой старый приятель по комсомолу, согласился. Его судно идет во Францию, там он и купит один из этих журналов.

– Смелый парень. Стукачей на судах заграничавания – море...

– Характер у Володи – еще тот! Этот не дрейфит.

– Ох, молодежь, молодежь... Втягиваете меня, старика, в авантюру. Ну, ладно. Бог не выдаст – свинья не съест! Начинай, закручивай!

И мы закрутили. На очередном городском семинаре пропагандистов вместо обычной серятины из бюллетеня «Агитатор» мы, по очереди с Николаем Александровичем, дали обзор вопросов, «задаваемых» пропагандистам на занятиях, и подробные ответы на них. Естественно, по самым актуальным темам, которые поднимались в передачах «Радио Свобода», «Голоса Америки», «Свободной Европы».

Работники моего отдела, собиравшие сведения, только таращили глаза, слушая перечень «вопросов», о которых они ни сном, ни духом не слыхивали. А от наших ответов у них вообще поотвисали челюсти.

Надо сказать, что ответы были квалифицированные, зачастую с местными примерами. В общем, семинар вместо обычного часа перевалил за два, и еще час мы отвечали на вопросы самих пропагандистов. Досрочно не покинул семинар ни один человек. Немыслимый рекорд по тем временам.

Конечно, в пропагандистских рядах прошел слух об этом семинаре, и постоянные сачки, отсутствующие на таких мероприятиях, пошли добывать его материалы к тем, кто там побывал. Несомненный успех. И мы радовались. И старый, и малый. И грезили о научно-практической конференции по материалам журнала «Континент».

Именно этот журнал, выпускаемый во Франции под редакцией неведомого нам доселе Максимова, привез Володя Лебеденко из очередного рейса в эту страну. Первым журнал начал читать Белявский. И по праву стар-

шинства, и моего уважения к нему. Так я сам решил. Договорились, что обменяемся мыслями, когда прочтет каждый.

Конечно, мыслями мы обменялись. Когда я прочел номер от корки до корки, пришел в кабинет Белявского. Помолчали. Потом он спросил:

– Прочел?

– Прочел.

– Ну, и?..

– Нечего и некого развенчивать. Гнать надо в три шеи наших звонарей, делающих врагами интеллектуальный цвет общества.

– Думаю, что в три шеи погонят нас. И очень даже скоро, – как-то обреченно сказал Белявский. – А с твоей оценкой согласен.

И ведь как в воду смотрел. Вскоре нас обоих вызвали к первому секретарю горкома. В его кабинете сидел начальник горотдела КГБ подполковник Трюхин. Первый секретарь что-то читал, переворачивая листы в серой кагебешной папке. Трюхин кивнул нам, не подавая руки, хотя я знал, что с Белявским у них были определенные отношения, которые иногда заканчивались хорошим возлиянием. Сегодня лицо Трюхина было холодным и отчужденным. Первый сделал молчаливый знак рукой, приглашая присесть к приставному столику. Мы присели и переглянулись. Все было ясно.

Закончив читать, он поднял глаза и посмотрел на нас. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего и, как мне показалось, было даже растерянным. Он помолчал, потом, уже не глядя на нас, начал говорить в пространство.

– Значит так. Сергей Прокофьевич, – Первый кивнул в сторону Трюхина, – являясь членом бюро нашего горкома, проинформировал меня о следующем. По имеющимся данным горотдела госбезопасности, заведующий отделом пропаганды и агитации горкома партии и заведующий общим отделом, выполняя свои служебные обязанности, стали на путь пропаганды идей и измышлений наших идеологических врагов. Из материалов дела, – Первый прихлопнул рукой по папке, лежащей перед ним, – вытекает, что последний семинар пропагандистов проходил исключительно по темам, которые пропагандируют вражеские радиостанции. Иными словами, два заведующих отделами горкома занимались распространением антисоветских измышлений, с которыми они как раз призваны бороться. Это так? – И Первый посмотрел на меня.

– Отвечаю, – я собрал волю в кулак и призвал себя к спокойствию. У меня была своя метода, апробированная во многих стрессовых ситуациях. Да и к такому повороту я был давно готов. Знал, что рано или поздно, такой разговор состоится. – Отвечаю, – повторил я. – Выполняя постановление ЦК КПСС об усилении пропагандистской и контрпропагандистской работы среди населения...

– Ты нам лапшу на уши не вешай! – взорвался сидевший как на иголках Трюхин. – И постановление ЦК к делу не пришивай!

– Постановления ЦК, товарищ Трюхин, не пришивают, а изучают и ис-

полняют, что мы и сделали вместе с товарищем Белявским, который к тому же еще является и директором вечернего института марксизма-ленинизма при горкоме партии. Это первое. А второе, извольте избрать для общения со мной иную форму поведения и называть меня на «вы», как принято в обществе цивилизованных и воспитанных людей.

Я подумал, что Трюхина хватит удар. Его лицо налилось кровью, а выпученные глаза с бешенством уставились на меня. Первый налил ему воды и протянул стакан. Трюхин машинально выпил и с треском грохнул дном стакана о столешницу. Я специально пошел на обострение ситуации, а не только с целью обуздания хама. Разозлится – больше выболтает из того, что знает...

– Спокойно, товарищи! Спокойно! Без лишних эмоций, – Первый посмотрел на Трюхина, потом на меня и вновь кивнул головой в мою сторону. – Продолжайте.

– Так вот. С учетом вопросов, задаваемых на политзанятиях, а также в сети экономического и комсомольского просвещения, на которые пропагандисты зачастую не могут ответить квалифицированно, а материалы, прибывающие к нам из обкома или опубликованные в журналах, не успевают за постоянно изменяющейся обстановкой, мы решили оказать реальную помощь пропагандистским кадрам, подготавливая ответы на вопросы, которые интересуют слушателей, с учетом контрпропагандистской направленности, собственно, к чему нас и обязывает последнее постановление ЦК.

– Говорит красиво! – вновь взорвался Трюхин. – А на деле слушают они с Белявским западные радиостанции и рассказывают о том, что услышали, прямо с городской трибуны. Вот и вся их контрпропаганда! Мы это проверили. Ну, добро бы этот, – тут Трюхин запнулся, наверное, на языке крутилось «пацан». – Но как ты, Николай Александрович, попался на эту удочку? Мы же с тобой в одинаковых званиях, ты старый политработник, участник войны. Не понимаю?! Мы же должны делать общее дело!

– В званиях мы с тобой, Сергей Прокофьевич, действительно равны. И партбилеты у нас одинаковые, разве что свой я ношу в кармане еще с сорок первого года, но вот общего дела у нас никак не получается. И знаешь почему?

– Ну-ну! Просвети!

– Ты из другого времени, Сергей Прокофьевич. И методы твои прежние, а для сегодняшнего дня просто вредные.

– Вот так повернул! Меня вредителем сделал! Скажи прямо, что я враг народа!

– Вот видишь! У тебя и ярлыки готовы на любой случай жизни, но все они из нафталина. Другого языка ты не знаешь. И это не только твоя беда. Эта беда нашей партии, где таких, как ты, еще немало.

– Очень рад такому признанию! Так чем же мы не угодили вам, шагающим в ногу со временем?

– К гибели ведете нас. К дискредитации коммунистической идеи, где можно и как только можно, извращая саму ее суть.

– Алексей Георгиевич! – обратился к Первому дрожащий от ярости и удивления Трюхин. – Будете свидетелем этого разговора! А ты продолжай, продолжай!

– Вот видишь, – усмехнулся Белявский, – ты весь как на ладони. Уже готовишь дело. Да что с тебя возьмешь! Вряд ли ты поймешь суть нашего спора. Не дано. А дело ведь простое. Ты и такие, как ты, закостеневшие в панцире тридцатых годов, никак не могут взять в толк, что изменилось не только время, но и люди. Они не хотят жить по цитатникам Мао, а хотят понять природу нашего бытия.

– Вот как? Цитатники Мао – это произведения товарища Брежнева?

– Господи! Да уймись ты со своими провокациями. Ты считаешь, что стоишь на страже безопасности страны? Я думаю, что ты и подобные тебе страну разваливают и вместо союзников в лице Галичей, Высоцких, Солженицыных получают врагов. Перед ними надо снимать шляпу за то, что помогают избавиться от ржавчины, которая разъедает нашу систему. И вместе с ними исправлять, что еще можно исправить, и срочно латать дырки. Срочно! Понимаешь ли ты это?

– Алексей Георгиевич! – вновь обратился к Первому Трюхин. – Вы слышали сами. В горкоме партии антисоветское гнездо. По моей линии сообщения уже пошло. Жду команды. И еще одно. Нами задержан первый помощник капитана теплохода «Кахетия» Лебеденко. Он приобрел во время стоянки судна во Франции антисоветский журнал «Континент». По оперативным данным, он это сделал по указанию заведующего отделом пропаганды и агитации горкома партии. Следствие ведется.

– Лебеденко сообщил, для кого он приобретал этот журнал? И где сам журнал? – спросил первый секретарь.

– К сожалению, журнал не обнаружен, а Лебеденко все отрицает.

– Тогда какие у вас основания в возбуждении против него дела?

– Оперативные данные.

– А это означает, что его стукачи, недовольные деятельностью требуемого политработника, настучали на Лебеденко, – обращаясь к первому секретарю, сказал Белявский. – Это значит, что нашему чекисту нейдет вновь развернуть террор против партработников. Один раз партия указала место своему вооруженному отряду в нашей общей борьбе, надеюсь, укажет еще.

Трюхин побелел. Он повернулся к первому секретарю и развел руками, но выдать из себя так ничего и не смог. Я подумал, что его сейчас хватит удар. Но Первый, увидев, куда зашло дело, тут же его и прекратил.

– Значит, так! – сказал он в своей обычной манере. – Мне звонили из обкома. К нам собирается комиссия во главе с секретарем по идеологии товарищем Червяченко. До окончания работы комиссии никаких решений принимать не будем. Все свободны.

Мы молча поднялись и так же молча разошлись по кабинетам. Через час я заглянул к Белявскому. Кроме его инструктора, в кабинете никого не было.

– Николая Александровича не будет, – сообщил он мне. – Он ушел домой.

– Это конец, – сразу же подумал я. – Ушел в запой. Это конец...

А потом события развивались по фантастическому сценарию. Приехала комиссия обкома. К Трюхину приехали чины из областного КГБ и начали трясти меня и Володю Лебеденко. Белявского найти не могли, хотя члены комиссии побывали у него дома. Никто не знал, где он. Первый, если и знал, вида не подавал.

А потом внезапно появился Белявский и уж никак не из запоя. Свежий и жизнерадостный. И тут же последовал звонок из обкома. Комиссию без объяснения причин отозвали, чинов из областного КГБ тоже. Первому последовал приказ: все разговоры на эту тему прекратить, а Володя Лебеденко ушел в рейс.

Я ходил, образно говоря, с открытым ртом и ничего не понимал, пока Николай Александрович вечером не зазвал меня в кабинет и, выставив бутылку «Столичной», не рассказал всю историю. По договоренности с Первым, который дал ему неделю за свой счет, он выехал в Москву. Прорваться в ЦК без вызова даже работникам партийных аппаратов тогда возможности не было, но Белявский вышел в частном порядке на инструктора общего отдела ЦК, с которым шапочно познакомился когда-то на одном из семинаров, и рассказал всю историю.

Будучи хорошим аналитиком, Белявский знал о подкованной борьбе в ЦК между партиями Черненко и набирающего силу председателя КГБ Андропова. А борьба эта разгорелась не на шутку, и перевес в ней явно склонялся в пользу сторонников Андропова. С учетом всего этого Белявский и преподнес нашу эпопею.

Показал, как на местах приверженцы Андропова берут в свои руки контроль над партийным аппаратом. Пример своего шельмования, работника общего отдела, отдела структуры партийного аппарата, который возглавляет товарищ Черненко, преподнес как пример открытого вызова ему самому. И сработало.

Инструктор оказался сообразительным. Доложил своему завсектором, тот – замзавотделом, и пошло-поехало... В мгновение ока информация стала достоянием Черненко. Реакция у того тоже была молниеносной, да и Леонид Ильич начал уже не на шутку опасаться своего молчаливого протезе в отряде стражей революции. Что было там, на самом ковре, не знаю. Для нас же это окончилось следующим образом.

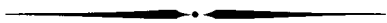
Трюхина внезапно перевели в другой город и даже в другую республику, причем с повышением. К нам в горком приехал инструктор общего отдела ЦК и провел тщательную ревизию работы общего отдела, после чего на совещании в присутствии всего аппарата и секретарей парткомов расто-

чал столько комплиментов Белявскому за его блистательную постановку работы, что впору было награждать того орденом. Сказал он, что все это будет отмечено в бюллетене ЦК КПСС. И не соврал. Отметили. И андроповцы, конечно, прочитали и своего «кадра» тоже отметили.

Меня отправили в ссылку... Правда, почетную и материально выгодную. Послали за рубеж, работать в морском агентстве, что по тем временам ценилось выше награждения орденом. Володя Лебеденко тоже перешел на береговую работу по своей специальности электромеханика и остался очень доволен.

А журнал «Континент» я так и храню до сих пор. Как память о несбывшихся надеждах, как память о таких партийцах, каким был Николай Александрович Белявский, чьи прогнозы, к сожалению, сбылись. Пусть будет земля ему пухом...

Не дожил он до времен, когда местные «демократы» во главе с борцом против «контрпропаганды» пришли опечатывать горком. Когда работники партийных аппаратов, включая ЦК, как испуганные мыши, без боя разбежались по своим норам. И, наверное, это справедливо...





почетный профессор права Торонтского университета, соредактор «Bulletin on Current Research in Russian and East European Law». Живет в Канаде.

О СМЕРШЕ И ОСОБИСТАХ

В 1940 году в 10-м классе школы номер 2 имени Максима Горького города Дзержинска (ныне снова Нижегородской области) учились (имена условные) Наталия Д., Вольдемар С. и Юлий Л.

Ушлый читатель сразу сообразит, что дело пахнет «романтическим треугольником» (термин драматургов).

Как это нередко бывает в старших классах, между Наталией Д. (ныне покойной) и до сих пор беспокойным Юлием Л. начался бурный «роман». По окончании уроков они встречались в заранее оговоренном месте и... целовались.

В 1940 году Юлий Л. покинул Дзержинск, после чего время от времени целовался с рядом других лиц противоположного пола. Имен которых он не может вспомнить даже под угрозой повторного обрезания.

Он был в действующей армии, когда в 1943 году скончалась его мать. Ему разрешили «побывку» на 10 дней. В Дзержинске он встретился с рядом одноклассников. В том числе и с Наталией Д. Лететь обратно в часть надо было из Нижнего Новгорода. Настроение у Юлия Л. было довольно подавленным. Наталия Д. провожала его до Нижнего. По дороге они остановились в какой-то деревне, в доме, принадлежавшем ее родственникам. Легли спать на сеновале. И тут, как говорят, в самый патетический момент, она предупредила его, что она уже «не девушка». И объяснила, что её «изнасиловал» Вольдемар С. До рассуждений ли было тут, уважаемый читатель от двадцати до шестидесятилетнего возраста? Мой покойный одноклассник Толя Гришин как-то рассказал анекдот о строгом муже и жене, которую этот муж наказывал за любую промашку. А тут она, бедная, топорище сломала. Как ему сказать об

этом?.. Легли они спать. Он начал осуществлять свои супружеские привилегии. И в самый патетический момент она ему говорит: «Вася, я топором сломила». «Хрен с ним, с топором!» – был ответ.

В общем, Наталия Д. и Юлий Л. приехали в Нижний Новгород и в первом попавшемся ЗАГСе зарегистрировали свою близость. Каждый сохранил свою добрачную фамилию. Затем Юлий Л. возвратился к месту службы, откуда выслал Наталии Д. аттестат. А после демобилизации он возвратился в Дзержинск, и Наталия Д. перешла жить к нему.

Вскоре он заметил, что она получает письма «до востребования», которых ему не показывает. Не показывает и конверта. На котором были имя и адрес отправителя. Это было бы достаточным для развода. Но покойный отец учил его, что женщину «джентльмены» не оставляют. Что мужчинам легче перенести ситуацию оставленности. Так они и продолжали жить. До возвращения этого «насильника» Вольдемар С. Он позвонил. И Наталия Д. стала немедленно собирать свои вещи. Юлий Л. не удерживал её. Он вышел на улицу. Давая ей возможность собирать свои пожитки без его контроля. Там, ожидая её, стоял Вольдемар С. Юлий Л. знал, что Вольдемар С. был в армии особистом. Первыми словами особиста в отставке были: «Если бы я встретил тебя на фронте, застрелил бы». Юлий Л. хотел было осведомиться, как велик его опыт стрельбы по своим. Но, помня, что такое СМЕРШ и «особняки» в советской армии, он ограничился тем, что беспечно ответил: «Это ещё неизвестно, кто кого бы застрелил». На что Вольдемар С. широко (и не без основания) улыбнулся. Он был прав. СМЕРШ и его «особняки» работали, как вся советская система. Ведь легче было заставить невинного признаться под пыткой во всех смертных грехах, чем обнаружить действительного врага.

У Юлия Л. на этот счет уже был кое-какой опыт. Расскажу об этом «от первого лица». В подразделении, где я начал служить, была врач по фамилии Весулас. Её муж работал в Медицинском отделе Центрального Комитета ВКПб. Однажды утром у склада, где, среди других горючих материалов, хранился спирт, был обнаружен в бессознательном состоянии часовый, охранявший этот склад.

Доктор Весулас и я, фельдшер, делали всё возможное, чтобы спасти несчастного. Но он напился метилового (древесного) спирта. В большом количестве. И, по-видимому, в самом начале смены. В общем, он умер.

Огорченный и усталый, я возвращался к себе, как вдруг кто-то грубо схватил меня за плечо. Это был наш особист. От него разлило водкой. Вот его буквальное обращение ко мне. «Что, жидовская морда, не захотел спасти русского солдата»? Он повёл меня в камеру гарнизонной гауптвахты и приказал держать меня там до его возвращения.

В то время особисты были наделены следующей властью: 1. Единично расследовать дела; 2. Единично выносить «приговоры» без права обжалования; 3. Самим исполнять свои приговоры. Особист этот

понимал, что он делает. Ведь фактически это была его обязанность следить за надёжным хранением опасных материалов. Я понял, что мне угрожает. Необходимо было немедленно действовать. Обратился к начальнику караула: «Вы видите, что особняк пьян. Может случиться что-нибудь непоправимое. Разрешите мне поехать к его начальнику. Я оставляю свой револьвер с кобурой и пояс. Клянусь, что вернусь, что бы там ни было». И он отпустил меня под честное слово. Я доехал до начальника СМЕРШа корпуса и доложил ему о происшедшем. Ответ был: «Возвращайтесь в свою часть и приступайте к своим обязанностям». Так я и сделал. Возвратился. Получил свою «амуницию». Приступил к своим обязанностям. И никогда больше не встречал того особняка.

Вскоре появился другой. А они уважают тех, кто сумел выскользнуть из их лап. И он рассказал мне, что, оставив меня на «губе», этот тип (вспомнил его фамилию: Зарицкий) сел в машину и, будучи пьяным, задавил старушку. А она оказалась матерью какого-то большого начальника. В течение часа этот особист был разжалован и отправлен в штрафбат.

Не следует, однако, думать, что рассказанное мною представляет собой исключение из правил. Вот другой пример. Из жизни моего дяди Сергея Лямина. Сергей был женат на родной сестре моего тестя. Сергей и его жена закончили Ленинградский горный институт. Их дочь и сейчас жива. Не буду рассказывать об издевательствах собеса над женой Сергея. В связи неясностью, жив или умер её муж и где он. Но вот, что произошло.

Когда началась война, Сергея призвали. Его рота попала в окружение. Сергей бежал из плена и возвратился в свою часть. На следующий день его вызвал к себе особист. Первый вопрос: «Шпионить возвратился?» Вынул лист бумаги, пять минут писал, затем встал и прочитал (цитирую суть со слов Сергея): «Я... нашел, что Лямин перебежал на сторону врага, после чего возвратился с заданием шпионить... Постановляю... расстрелять... приговор обжалованию не подлежит... исполнить немедленно». И он повел Сергея для исполнения этого чудовищного, хоть далеко не редкого приговора. Сергей решил бежать и ринулся в сторону леса. Особист стал стрелять не сразу. Видимо, кобура не сразу открылась. Да и пером этот негодяй владел, наверно, лучше, чем револьвером.

В общем, Сергей убежал. Он примкнул к другой воинской части. Назвавшись другим именем и сочинив историю о потере документов. Там он воевал дальше. Был ранен. Награжден орденом.

А по окончании войны сам рассказал обо всём происшедшем. После чего был осуждён на 10 лет лагерей. И лишь после отбытия этого срока вернулся к своей семье. Он стал работать прорабом в строительном тресте. Там произошел несчастный случай с рабочим. В таких делах всегда «виноваты» прорабы.

Я к тому времени уже был адвокатом. Сергей пришел ко мне. Он ска-

зал мне, что больше тюремного заключения не выдержит. И просил меня быть его защитником. В принципе, защищать родственников опасно. Волнуешься сильнее и можешь наделать ошибок, причинив подзащитному родственнику больше вреда, чем пользы. Но в этом случае я не мог отказать.

Вместо этого, я пришел к судье и сказал, что хочу рассказать ей то, о чем в судебном заседании говорить не буду.

И судья Вереницына, отличавшаяся тем, что выносила строгие приговоры, присудила Сергея всего к шести месяцам исправительных работ по месту службы с вычетом 10% из его заработка. Дело в том, что она не могла помешать нам рассказать на суде о всех испытаниях, выпавших на долю Сергея. Но это было бы чистой антисоветской (на партийном сленге – «идеологически неправильной») пропагандой. Мой приход к ней, по сути дела, избавил её от этой опасности. Интересно, что после этого случая Вереницына иногда рекомендовала меня как адвоката. Разумеется, она рекомендовала меня не в делах, которые сама должна была рассматривать.



ЦАРСКАЯ МИЛОСТЬ*

Его все нет. Мобильник выключен. Мог бы и сам позвонить. Нет, давно уже не звонит. Почему я должна вот так лежать в темноте и ждать его? Или он думает, я сплю? Ну, где он? Лучше не думать, все равно не придумаю. Позвонить Скворцовым? Может разозлится, решит, что я его проверяю. Муж редко берет меня с собой: у нас ведь ребенок. Сперва няню хотели пригласить. Девка молодая пришла. Саша начал с ней шуточки свои шутить, она ржала, как дура. Я решила, сама как-нибудь справлюсь. Тем более Машке особое питание нужно, диатез у нее. Доченька. Любимая... Дочка спит...

Ну, где же он? Может, у него женщина? Да нет, кто его выдержит с таким характером! Он, когда не хочет говорить, молчит. Может неделями молчать – проверено. Я ужин приготовлю, жду его, а он приходит – не ест. И молчит.

Почему не ест? Ужинает в другом месте? С мужиками в кабаке? Или все-таки у бабы? Лифт щелкает на ходу. По вечерам мало ездят, я слышу. Нет, не он...

Утром денег не дал, забыл, наверное. Или воспитывает. Я вчера пакет оставила в супермаркете. Пришла домой, вижу, нет пакета. Саша не в духе был, он в выходные точно с цепи срывается, не может «в кругу семьи» долго находиться: «Я тебя за сыром посылал! Я что, на сыр не зарабатываю? Я на завтрак твои тампаксы должен жрать?» Злитесь, что они дорогие, чуть что – тампаксами попрекает. Поташилась обратно, мне говорят: «Какой пакет? Мы ничего не знаем». «Да я полчаса назад у вас покупала, вот чек», – говорю кассирше. Она обычно улыбочивая такая, а тут вдруг как завизжит: «Вы что, меня в воровстве обвиняете?!»

Хотелось просто на... послать их всех с этим сыром. Но нельзя – без сы-

* Нева. 2006. № 1.

ра муж бы меня в порошок стер. Пришлось еще раз покупать, еле-еле наскребла мелочь.

В общем, денег утром нет, и, как назло, сигареты кончились. Пошла к матери, она рядом живет и, хорошо, дома оказалась, на больничном сидела. Отсыпала мне полпачки своей «Явы». Гадость ужасная. Надо было денег у нее занять, но постеснялась.

Ну, где он? Я все время одна. Ну не одна, с дочкой. С ней не поговоришь, она маленькая еще. Какая тоска! Все мысли вертятся вокруг него: как посмотрел, что сказал. Когда мы в ссоре – просто ад, я ни о чем другом думать не могу. Целыми днями, неделями.

Мать говорит: «Терпеть надо». Еще говорит: «Другие что, лучше? Этот хоть обеспечивает». Не знаю. Танька, например, своего Андрея все время пилит, а он оправдывается, угодить пытается. Дубленку вот у меня купил для Таньки, ей она очень нравилась. Я так не могу. Саша что, сам понять не может? Взрослый человек!

Может, работать пойти? Но куда? Я ничего не умею. Не курьером же опять...

Раньше муж хоть иногда по вечерам дома сидел. Потом «BMW» этот свой купил. Со мной даже не посоветовался. Я так распахивалась, чувствовала, вообще его теперь дома не увижу. Заплакала. А он подумал, я из зависти. Шубу пообещал купить, а дубленку велел продать Таньке.

Сначала без прав ездил, я нервничала. А с правами совсем обнаглел – пьяный за руль садится. Когда возвращаемся из гостей откуда-нибудь, я просто холодным потом покрываюсь при виде гаишников. А Саше хоть бы что, жвачку в рот – и они ничего не замечают. Я сама не всегда вижу. Ну, точнее, не сразу. Утром-то все ясно становится, в туалете после него сладковатый такой запах бывает. Токсины, наверно, выходят. Если много накануне выпил, так его вообще просто тошнит от зубной щетки.

Лифт. Кажется, он.

– Саша, ты есть хочешь?

– Я сыт. Спать иди.

Задел косяк. Все понятно... На кухню пошел – не разулся. Молоко пьет. Небось, опять прямо из пакета. Вот ведь ходит-ходит, а домой приходит. Значит, я ему нужна.

Хотя я иногда думаю, не любит он меня. Не разлюбил, а просто не любил никогда. Чужой. Свекровь говорит: «Ну он же с тобой живет. Не любил бы, не жил». И мать так считает. А я не знаю... И про себя не знаю. Я уже не чувствую ничего. Столько было мучений, даже не помню, как без них. В детстве хорошо было, пожалуешься взрослым – тебя пожалеют. А теперь только говорят: «Терпи».

Хотя нет, в детстве свое было: родители ссорились, комплексы всякие, джинсов вот не было. А тогда: есть джинсы – все, ты человек, нет – ты половина человека. Или даже вовсе не человек. Папа считал, что я красивая и умная – этого достаточно, а кто этого не понимает – тот не достоин. И все, получается, были недостойны. А любить хотелось... И чтобы меня...

Один раз парень из нашей компании спросил: «Почему ты джинсы не но-

сишь?» А он мне нравился. Я тогда чуть от стыда не умерла! Ответить, что у меня их нет?!! Я себя просто ничтожеством чувствовала! До сих пор помню...

Только я никогда виду не подавала, что меня унижают, а то еще хуже может быть. Ведь если человек поймет, что он тебе плохо сделал, ему же страшно станет! Может еще больше разозлиться. Я всегда терпела, не показывала, даже когда меня во дворе избили...

Раздевается. Сейчас ему «любви» захочется. Его просто клинит на этом, когда он пьяный. Точно... Это надолго...

Главное, пьяный он не может. Не понимаю я. Когда там все готово – тогда да, хочет мужик. А так что?.. Помогаю. Помогаю уже. Нет, так ничего не получится... А он, когда в таком состоянии, не чувствует, что меня тошнит. Вообще меня не чувствует. Нет! Не могу...

Если не стану, у него комплекс будет. Несколько раз не получится – решит, что импотент. Побегит, наверно, проверять в другом месте...

...Ладно, вроде получилось. Лишь бы только все побыстрее закончилось. Если не успеет, придется заново начинать. Когда я не хочу, именно так и бывает. А я не хочу, когда он пьяный!.. Ну вот, так и есть. Что, опять?!!

– Саш, давай лучше утром. Ты устал.

– Я хочу сейчас!

Нет, ну, главное, хочу! Ну, если хочешь, почему тогда не можешь? Наверно, это я виновата. Со мной что-то не так, я уже давно поняла. Наверно, плохая я баба, раз не могу собственного мужа удовлетворить...

...Это просто каторга какая-то. Интересно, что проститутки делают в таких случаях? Говорят, наверно: «Гуд бай, парниша!» Нет, моему повезло с женой. Кто бы еще так старался?

Все, можно по новой начинать. Лишь бы сейчас до конца довести!..

Я ведь и трезвого давно его не хочу. Чего хотеть-то ни с того ни с сего, мы уже пять лет женаты! Любой может надоест... Больно... Надо терпеть, а то это надолго затянется... Ой, как больно...

Я так на сохранение попала, он меня до шести утра мурыжил, кровь пошла. Чуть ребенка не потеряла. Потом выписывать, гады, не хотели. Говорят: «Да он тебя опять доведет, выкидыш будет!» Месяц продержали, сволочи. Там так тоскливо было!

Надо еще немного потерпеть, а потом все, спать!.. Сил уже нет!.. Интересно, что если ему сказать: «Надоел ты мне, отвали». Попробуй скажи! Это будет все, конец, бросит он меня... Одной плохо... Алименты даст, какие захочет, сейчас это никак не поймает, в суд любую справку можно принести. Квартиру придется менять... Ха! И шубу не купит!..

И какой идиот это придумал, что чем дольше, тем лучше?!! Чем лучше-то? Мне нравится только конец. Вот он стонет, и он в моей власти. Это я дала ему этот стон! Подарила. Просто так подарила. А могла и не подарить...





студентка Санкт-Петербургской театральной академии (факультет театра кукол). Печаталась в журнале «Октябрь». Живет в России.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ*

Бывают в жизни ситуации, разобраться в которых сам человек не в силах. В таких случаях человек решает просить совета у любимого журнала и пишет письмо в редакцию. Например, такое:

«Здравствуй, дорогая редакция! Пишет тебе Алёна. На прошлой неделе я на всю жизнь полюбила молодого человека, но он не нравится моей маме, потому что он поэт, а еще он абсолютно все ворует. Скажите, что мне делать, я не могу без него жить, а он у нас с мамой уже полквартиры вынес, в том числе набор серебряных ложек, и нам теперь нечем размешивать сахар в чае. Заранее спасибо, Алёна».

Штутница редакция отвечает в таком духе: дескать, ты, Алёна, не расстраивайся, это вечная проблема отцов и детей, а чай можно пить и без сахара, для стройности и экономии. Поначалу невкусно, но скоро привыкаешь.

Редакция таким образом поддерживает своих читателей и не дает им пасть духом, потому как на собственном опыте знает, что за каждым коротеньким письмом может стоять сложная жизненная драма. Такая, например.

Воскресным утром дочка тети Гали Алёна спустилась с пятого этажа к почтовым ящикам, чтобы взять корреспонденцию, там впервые увидела поэта Женю и полюбила его на всю жизнь. Что он поэт, было видно сразу, так как Женя весь зарос густыми рыжими усами и густой рыжей бородой, а то, что он Женя, выяснилось чуть позднее. В момент зарождения Алениного чувства Женя как раз воровал газеты из Алениного ящика, поэтому она совсем близко увидела его прекрасные глаза, демонически сверкающие из бороды, и сразу поняла, что не может без него жить. Чтобы завязать непринужденный светский

* Нева. 2006. № 1.

разговор, влюбленная Алёна робко спросила: «Простите, почему вы воруете наши газеты, извините, не знаю вашего имени?» Женя улыбнулся, пожал плечами, помотал головой и из глубины бороды бархатисто отрекомендовался: «Женя», щелкнув каблуками и целуя Алёне руку. Алёна, убедившаяся за это время в стойкости своих чувств, повела Женю знакомиться с мамой.

Аленина мама тетя Галя была несколько удивлена, тем более что у Алены уже был правильно избранный жизненный путь, который два раза в неделю кормил Алёну в ресторанах, без жилищно-материальных проблем и детей от расторгнутого первого брака. Но Алёна объяснила маме, что теперь она Жене отдана и будет век ему верна, и тут у матери с дочерью случился затяжной семейный конфликт, так как тетя Галя почему-то сразу заподозрила в Жене проходимца, особенно когда после его ухода недосчитались икебаны в коридоре. Этот конфликт с течением времени становился все глубже, к тому же за три следующих Жениных визита пропали соответственно: статуэтка из серванта, ЛФЗ, портрет балерины Галины Улановой, гладильная доска и Аленина похвальная грамота за третий класс школы вместе с рамкой и гвоздиком. И хотя Алёна кричала со слезами, что это просто роковое совпадение, мало ли кто мог украсть, подумаешь – «никто больше не приходил», сейчас в форточки лазят и в вентиляцию, я по радио слышала, и я не позволю возводить поклепы на моего будущего спутника жизни, да, именно так, у тети Гали все-таки остались некоторые сомнения. Тетя Галя, разумеется, желала дочери только счастья и пыталась перебороть себя и отбросить беспочвенные подозрения, но все равно никак не могла отделаться от безотчетной неприязни к Жене и даже блюдо с пирожными передавала ему без всякой сердечности. Однажды у них чуть не произошел настоящий скандал, когда тетя Галя буквально поймала Женю за руку: «Женя, что вы делаете?», а Женя в тот момент крал из комнаты книжный шкаф с двадцатитомным собранием сочинений Льва Толстого. В общем, если бы не вмешалась Алёна, тетя Галя успела бы наговорить Жене грубостей, но, слава Богу, удалось как-то превратить все в шутку. После этого случая тетя Галя немного успокоилась и даже исчезновение доставшегося от бабушки концертного рояля перенесла стоически. Правда, к Жене она так и продолжала относиться почти без всякой душевной теплоты и даже периодически пыталась намекать Алёне: мол, доченька, все же у него какие-то странные наклонности, ты не находишь? Но Алёна сразу пресекала все эти разговорчики: мама, прекрати, я люблю его, сиделась на пол, так как кресла тоже необъяснимым образом куда-то пропали, и звонила Жене по телефону, милый, я так соскучилась. Звонила, пока был телефон. Когда телефон тоже исчез, Алёне пришлось купить мобильный, а лишившись в свою очередь и мобильного, бегать звонить к соседям.

Вернувшись однажды вечером с работы, тетя Галя не обнаружила в квартире вообще ничего, даже своей зубной щетки и кафельной плитки в ванной, лишь посреди комнаты под голой лампочкой стояла счастливая Алёна в единственном уцелевшем платье. Она причесывалась растопыренной пятерней, глядя на свое отражение в оконном стекле, и сообщила тете Гале дату своего бракосочетания.

Тетя Галя расчувствовалась и всплакнула над быстротечностью жизни, вот уже и доченька совсем взрослая выросла, скоро, глядишь, и внуки появятся, и пошла к соседям одалживать деньги на праздничный ужин в ресторане.

На свадьбе молодой муж был очень оживлен, сверкал из бороды демоническими взорами и украл ковровую дорожку с лестницы Дворца бракосочетаний.

Дальше Алёна с Женей зажили очень счастливо, так что тетя Галя сильно раскаивалась в своей совершенно безосновательной неприязни к Жене, тем более что тот оказался мужем внимательным и необычайно хозяйственным, все в дом, и чего только он в дом не приносил. И мебель, и картины, и комплект журнала «Звезда» за 1985 год, и автомобильные покрышки, а бронзовых чижи-ков-пыжиков приносил даже два раза.

Таким образом, Алёна и Женя целый год были эйфорически счастливы в браке, пока Женя трагически не погиб, утонув в Неве, когда пытался украсть мост Лейтенанта Шмидта.

Безутешная вдова решила в память о Жене опубликовать в журнале его стихи, но ей сказали, что они все украдены у Лермонтова. Но тех, кто готов бороться за свое счастье, судьба всегда вознаграждает: пока оскорбленная Алёна рыдала в приемной, ее заметил главный редактор, влюбился, женился и сделал своей заместительницей. Так что теперь Алёна уже сама дает дурацкие ответы на дурацкие вопросы читателей, призывает не отчаиваться и приводит в пример собственную судьбу и свое трудное счастье, созданное буквально своими руками. И миллионы читателей спят спокойно, зная: вот сильная женщина Алёна, которая боролась за свою любовь и теперь счастлива в браке, и все у нее получилось, а значит – получится и у нас, помрет Женя – выйдем замуж за Петю, какая разница, ведь главное – это настоящее сильное чувство, а чай можно пить и без сахара, для стройности и экономии.



Аркадий Белинков

(1921, Москва – 1970, Нью-Хейвен, США)
писатель, литературный критик, публицист.

СТРАНА РАБОВ, СТРАНА ГОСПОД...*

В 1944 г. Белинков был арестован органами госбезопасности и приговорен к 8 годам лагерей за «контрреволюционную агитацию». В 1950-51 гг., находясь в заключении, написал ряд резких антикоммунистических памфлетов («Россия и Чорт», «Человечье мясо», «Роль труда»), которые скрывал, зарывая в землю. Это обнаружилось, и в 1951 г. Б. был приговорен к 25 годам лагерей «за контрреволюционную пропаганду и призывы к террористическим действиям». В 1956 г. амнистирован.

В 1960 г. опубликовал свою первую книгу «Юрий Тынянов». В самиздате циркулировал черновой вариант статьи Б. о декабристах «Страна рабов, страна господ...», написанной в 1967 г. по заказу журнала «Театр» и не принятой к печати.

В начале 1968 г. Б. сумел опубликовать в провинциальном журнале «Байкал» (№ 1–2, Улан-Удэ) две главы из своей книги «Юрий Олеша. Сдача и гибель советского интеллигента». Редколлегию «Байкала» разогнали, номера со статьей Б. были изъяты из обращения, в советской печати появились статьи с резкими политическими обвинениями в адрес автора.

В июне 1968 г. Б., получив разрешение на поездку в Венгрию для лечения, бежал с женой в США через Югославию.

Б. стал одним из первых представителей так называемой «третьей волны» русской эмиграции на Западе. Среди получивших наибольшую известность произведений Б. периода эмиграции – «Письмо конгрессу ПЕН-клуба» (сентябрь 1969), в котором он обвинил западную либеральную интеллигенцию в пособничестве коммунистическому режиму в СССР. Жил в США, преподавал в Йельском и Индианском университетах.

* Новый колокол. Лондон, 1972.

В эмиграции Б. попытался осуществить идею, задуманную им, по-видимому, еще до бегства из СССР и, возможно, послужившую одним из стимулов к бегству, — он начал собирать материалы для альманаха «Новый колокол» и успел частично подготовить его к изданию. Однако историческая концепция Б. и, прежде всего, резко негативная оценка дореволюционной российской государственности, ярко выраженная в статье «Страна рабов, страна господ...», встретила неприятие у старой русской эмиграции, что затруднило работу над «Новым колоколом».

Умер от инфаркта, похоронен на кладбище в г. Нью-Хейвене (Коннектикут).

После его смерти «Новый колокол» был издан под редакцией вдовы Белинкова.

Так было и так будет впредь.

Из речи министра внутренних дел и шефа жандармов А. А. Макарова. Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты 1912 г., стр. 1953

В России власть побеждает легко. В России, чтобы победить, нужно только поймать. Суд в России не судит, он все знает и так. Поэтому в России суд лишь осуждает. Но для того чтобы осудить не только того, кого поймали, но еще и тех, которых пока не поймали, нужно, чтобы ловила не одна полиция, а все общество. И общество в России всегда охотно, готовно и стремительно шло навстречу. Поэтому в эпохи, когда свобода, достоинство и мысль людей уже до конца сожраны государством, общество всей душой начинает заверять победителей в том, что его не во всем правильно поняли и что оно всегда в мыслях своих было со своими душителями.

Декабристы начали писать первые страницы раскаяний и верноподданнических заверений. Потомки этими раскаяниями и заверениями залили российскую общественную историю, особенно в эпоху, которая объявила себя прямой наследницей декабристов.

Вот что думали, писали и говорили о себе люди, замахнувшиеся на российскую власть, окруженные враждебностью и отвращением не одних лишь мундиров гвардии, юстиции, двора, жандармерии и народного просвещения, а общества, к которому они принадлежали сами, и не только по рождению, но и по мыслям. Они осудили себя, и их осудили самые лучшие, самые прогрессивные, самые либеральные, самые радикальные люди эпохи.

Что же думали сами декабристы о том, что они сделали?

А вот что:

«Я желал обнаружить перед его величеством всю искренность нынешних моих чувств. Это – единственный способ, которым я смог доказать ту жгучую и глубокую скорбь, которую испытываю я в том, что принадлежал к тайному обществу. Верьте, ваше превосходительство, сия скорбь не-

прерывно сокрушает мое сердце горем и страданием; я счастлив по крайней мере тем, что не принимал участия ни в каких действиях... Каждый миг моей жизни будет посвящен признательности и безграничной преданности его (царя. – А. Б.) священной особе и его августейшей фамилии...»¹

Это написано через пять недель после восстания – 21 января 1826 года автором «Русской правды», вождем самого радикального крыла декабризма П. И. Пестелем.

Приговоренный к смертной казни, замененной пожизненной каторгой, другой декабрист писал:

«Я хотел революции? Я, который говорил, что если есть в России что-либо похожее на элемент революции, то сей элемент есть единственно крепостное состояние нескольких миллионов. Желанием, целью моею было: отстранить сей элемент революции – и я мог хотеть революции!..

Рапорт Следственной комиссии представил все адское дело во всей полноте, со всеми подробностями беспримерного разврата и бешеной кровожадности... Душа моя содрогнулась, ужасные ощущения ее терзали. Тогда я увидел, что совещания, на коих я некогда присутствовал, превратились, наконец, в настоящее скопище разбойников, я увидел, что люди, с которыми я некогда говаривал, явили себя истинными злодеями и что в то самое время, когда я с ними говорил, мысль злодейства уже таилась в их сердце развращенном».

В отличие от предшествующего письма это было написано не в Петропавловской одиночке, человеком, закованным в железо, а в Лондоне действительным статским советником Н. И. Тургеневым, которому решительно ничего не угрожало и который мог писать все, что хотел, в том числе и обличительные инвективы. Ни один из создателей и вождей «Союза благоденствия» и в Лондоне, где через 29 лет Герцен начнет издавать «Полярную звезду», на знаменитой обложке которой будут изображены пять казненных декабристов, не захотел писать обличительных инвектив и не пытался представить в благородном свете дело, за которое твоих близких повесили, а тебя самого приговорили к вечной каторге.

В тетради 1828 года, где Пушкин писал «Полтаву», несколько раз повторен рисунок виселицы с пятью телами. Эти рисунки опубликованы в 1908 году, и вокруг них не раз бушевала полемика и до сих пор стоит недоумение. В полемике выяснилось, что рисунки сделаны не в 1828 году и относятся не к подавленной попытке освобождения Украины, а в 1826 году и относятся к подавленной попытке освобождения России от тиранической власти. Что же касается недоумения, то оно было вызвано тем, что один из рисунков находится под строкой «И я бы мог как шут на...». Рисунок и подпись оказались в соседстве

¹ Значительная часть документов, которые я цитирую, собраны в публикации Н. К. Пиксанова «Дворянская реакция на декабризм». В кн.: Звенья: Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли. Т. П. М.–Л.: Academia, 1933.

с потрясшим Пушкина известием: «услыхал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева, Каховского, Бестужева...» Повешены друзья, погибло дело, которому они служили и в которое он, по-своему, верил, сгорели надежды, кончилась молодость. Его миновала страшная чаша сия, и слава Богу, а ведь в деле много было такого... и он бы мог как шут...

Как шут, то есть как декабристы. Декабристы – люди, с которыми он учился в лицее, дружил в Петербурге, Москве, Каменке, которым посвящал стихи – Пущин, Кюхельбекер, Рылеев, Пестель, В. Давыдов, И. Якушкин, Никита Муравьев – шуты? Все это странно, трудно объяснимо. Несмотря на то, что издан академический «Словарь языка Пушкина», смысловая особенность и оттенок слова «шут» в этом контексте неясны. «Словарь» устанавливает, что Пушкин в своих произведениях 27 раз употребил это слово. Его значение было изменчиво, но чаще всего оно было связано с тем, «...кто своим видом или поведением вызывает насмешку, является общим посмешищем»...

Сразу же вслед за пушками выпалил в декабристов еще совсем молоденький, но уже сильно последовательный Федор Иванович Тютчев.

Вас развратило Самовластье,
И меч его вас поразил, –
И в неподкупном беспристрастье
Сей приговор Закон скрепил.
Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена –
И ваша память для потомства,
Как труп в земле, схоронена.
О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной.
Чтоб вечный полюс растопить!
Едва, дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула –
И не осталось и следов.

Это одно из самых трагических, точных и несправедливых стихотворений в русской лирике.

Существенно, что в нем отмечено обстоятельство, на котором стеснительные историки избегают останавливаться: «народ», лучшими проверенными идеологиями почитающийся за хранителя истины и чистоты, и поэтому чуждый в высшей степени отвратительного ему «вероломства», «поносит» имена людей, погибших за свою свободу, доля которой, несомненно, была бы уделена и ему.

О том, что не хватит этой скудной крови, твердили (и не без основания) все оставшиеся на свободе друзья и не уставали твердить сосланные, высланные,

заключенные, разжалованные. Вечный полюс, громада льдов, железная зима... Все это слишком хорошо известно русской истории.

Так думал молодой поэт.

А вот как думал старый историк:

«Я был во дворце с дочерьми, выходил и на Исаакиевскую площадь, видел ужасные лица, слышал ужасные слова, и камней пять-шесть упало к моим ногам. Новый император оказал неустрашимость и твердость. Первые два выстрела рассеяли безумцев с Полярною Звездой, Бестужевым, Рылеевым и достойными их клеветрами...»

Это писал через пять дней после восстания великий писатель Николай Михайлович Карамзин писателю Ивану Ивановичу Дмитриеву.

А вот что писал через день после восстания В. А. Жуковский (арзамасская «Светлана»):

«Какая сволочь! Чего хотела эта шайка разбойников?.. Можно сказать, что вся эта сволочь составлена из подлецов малодушных. Они только имели дух возбудить кровопролитие, но ни один из них не ранен, ни один не предпочел смерть ужасу быть схваченным и приведенным на суд с завязанными на спину руками. Презренные злодеи, которые хотели с такой безумной свирепостью зарезать Россию. Изменники или, лучше сказать, разбойники-возмутители, были одни офицеры, которые имели свой план, не хотели ни Константина, ни Николая, а просто пролития крови и убийства, которого цели понять невозможно. Тут видно удивительно бесцельное зверство. И какой дух низкий, разбойничий! Какими бандитами они действовали! Даже не видно и фанатизма, а просто зверская жажда крови, безо всякой, даже химерической цели.»

По свежим следам, 26 декабря, еще один писатель – А. Ф. Воейков – сообщил княгине Е. А. Волконской:

«Все, что избрал Ад, французские якобинцы, гишпанские и итальянские карбонары и английские радикалы, было придумано нашими перемчивыми на злодейство Пугачевыми. Обольщение, деньги, вино, обещание дозволить солдатам три дня грабить город, покушение захватить сенаторов и учредить временное правительство, умысел овладеть крепостью и захватить казенные деньги, убийство, гнуснейшая клевета – вот орудия, достойные извергов, отрекшихся от Бога, царя, отечества, от матерей, жен, детей и от доброго имени.»

Либеральный деятель в высшей степени пристойного «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» известный поэт-баснописец А. Е. Измайлов неистовствует:

«Ах, скоты, скоты, мерзавцы! Представь себе, сочинили конституцию (верно хороша) и назначили кандидатов в сановники Республики, например, завирашку Бестужева хотели сделать третьим консулом, Кюхельбе-

кера цензором... Выйдет в свет подробное описание этого злодейского и вздорного заговора.

...князь Трубецкой... о подлец! божился перед государем, что он ни в чем не виноват, но когда уличили его собственным рукописанием, то он упал на колени и просил о сохранении ему живота. Как животолубивы подлецы.

Еще говорят, будто стонет Финский залив от того, что бросили в него с 14 на 15 число декабря всех праведно и неправедно убиенных. Верись ли, что есть скоты, которые говорят: да, конечно, лучше было бы похоронить хоть не бунтовщиков. Время было рыть могилы и отвозить по кладбищам».

Интеллектуальная элита России отнеслась к декабризму сурово, испуганно и мстительно.

Примерное поведение российских любителей словесности, наук и художеств производило вполне выгодное впечатление на строгое, но справедливое и умеющее ценить по заслугам начальство. Строгое, но справедливое начальство с глубоким удовлетворением отзывалось о поведении писателей, еще недавно считавшихся отменными шалунами. Управляющий III отделением собственной его величества канцелярии Максим Яковлевич фон-Фок писал Александру Христофоровичу Бенкендорфу:

«Дух здешних литераторов лучше всего обнаружился на вечеринке, данной Сомовым (взятого наилучшим образом по делу 14 декабря, но выпущенного с «очистительным аттестатом»). – А. Б.) 31 августа 1827 по случаю новоселья. Здесь было немного людей, но все, что, так сказать, напутствует мнению литераторов: журналисты, издатели альманахов и несколько лучших поэтов... За ужином, при рюмке вина вспыхнула веселость, пели куплеты, читали стихи Пушкина, пропущенные государем к напечатанию. Барон Дельвиг подобрал музыку к стансам Пушкина, в коих государь сравнивается с Петром. Начали говорить о ненависти государя к злоупотреблениям и взяточникам, об откровенности его характера, о желании дать России законы, и, наконец, литераторы до того воспламенились, что как бы порывом вскочили со стульев с рюмками шампанского и выпили за здоровье государя. Один из них весьма деликатно предложил здоровье цензора Пушкина, чтобы провозглашение имени государя не показалось лестью, – все выпили до дна, обмакивая стансы Пушкина в вино. "Если бы дурак Рылеев жил и не вздумал беситься, – сказал один, – то, клянусь, что он полюбил бы государя и написал бы ему стихи". "Молодец, дай Бог ему здоровье, лихой", – вот что повторяли со всех сторон. Весьма замечательно, что ныне при частных увеселениях вспоминают о государе произвольно, как бы по вдохновению».

Так думали, говорили и поступали писатели, лучшие умы, друзья повешенных и распотанных, люди, которые не могли не понимать, что чем больше они

будут помогать государю императору и III отделению его канцелярии, тем больше эта самая канцелярия будет показывать им, что такое власть, которую они обожают.

А вот что думали, писали и утверждали те, кого мы по справедливости не считаем лучшими умами, а также надеждой России.

Петербургская аристократия:

«Я часто спрашиваю себя, не сплю ли я и неужели же у нас, в России, могли быть задуманы все эти ужасы, которые с минуты на минуту могли произойти! Перо мое не в состоянии описать вам все то, что чудовища замыслили в адских своих планах... возбуждение против них так велико, что никто не пожалел бы их, если бы они были приговорены к смерти... Говорят, что все будет опубликовано: и их планы государственного правления, и самый их заговор. Это необходимо сделать, чтобы показать обществу, до чего доходила их чудовищность и глупость... Еще более сложная работа – направить в иную сторону стремления этих молодых до крайности развращенных умов»².

«...они (заговорщики? – А. Б.) везде, да поможет Господь их всех переловить... Здесь, слава Богу, открывают новых и спешат их отправить в крепость, в которой скоро не хватит места для помещения»³.

«Этот столь зловещий заговор, эти преступления, задуманные исподтишка и с видом хладнокровия, и теперь еще наполняют меня леденящим ужасом! Какие новички на этом страшном поприще: они начали тем, чем наиболее преступные кончают»⁴.

«И эти варвары льстили себя управлять Россией! Но не до конца прогневался на нас Господь, не дал им восторжествовать»⁵.

«О безумие! О злодейство! Я говорю: злодейство, потому что если бы этим, просто сказать, разбойникам удалось сделать переворот, то они бы погрузили Россию в потоки крови на 40 лет»⁶.

«...надобно казнить убийц и бунтовщиков. Как, братец, проливать кровь русскую!.. Надобно сделать пример: никто не будет жалеть о бездельниках, искавших вовлечь Россию в несчастье, подобное французской революции...»⁷.

«...надеюсь, что это не кончится без виселицы и что государь, который

² Графиня М. Д. Нессельроде, жена министра иностранных дел – М. Д. Гурьевой, жене видного дипломата Н. Д. Гурьева.

³ В. П. Шереметева. Дневник В. П. Шереметевой, урожденной Алмазовой. 1825–1826 годы. М., 1916. Запись от 18 декабря 1825 года.

⁴ С. П. Свечина из Парижа – М. Д. Нессельроде, начало 1826 года.

⁵ Е. М. Оленина, жена статс-секретаря и президента Академии художеств А. Н. Оленина – своей дочери В. А. Олениной, 24 декабря 1825 года.

⁶ А. Н. Оленин – В. А. Олениной, 24 декабря 1825 года.

⁷ Московский почт-директор А. Я. Булгаков – своему брату, Петербургскому почт-директору К. Я. Булгакову, 22 декабря 1825 года.

столько собой рисковал и столько уже прошал, хотя ради нас будет теперь и себя беречь и мерзавцев наказывать»⁸.

Это переговаривается между собой исполненная рыцарских доблестей и патрицианских добродетелей аристократия обеих столиц.

А вот как без затей, по-простому, по-хорошему просят оторвать всем, кому следует, головы провинциальные хари.

Семинарист Владимирской-на-Клязьме семинарии:

«Слышал вот какие вести: в С.-Петербурге воспоследовал бунт... Впрочем, бунтовщики не остались без наказаний: артиллерия заставила их раскаяться в дерзости...

Их намерение было возродить всеобщую революцию... Страшное чудовище; неужели чистые недра твои, о Россия, могли скрывать в себе адские семена?»

Провинциальное дворянство:

«Все напуганные масоны и не масоны, тогдашние либералы, вследствие крутых мер правительства, приникли, притихли, быстро превратились в ультраконсерваторов, даже шовинистов – иные искренно, другие надели маски. Но при всяком случае, когда и не нужно заявляли о своей преданности "престолу и отечеству".

Все пошли себе мундиры; недавние атеисты являлись в торжественные дни на молебствие в собор, а потом с поздравлением к губернатору. Перед каждым, даже заезжим лицом крупного чина, снимали шляпу, делали ему визиты»⁹.

Купечество:

«Купеческое сословие проникнуто энтузиазмом к настоящему правительству.

Ходившие по городу более недели дурные слухи не произвели ни малейшего впечатления на купеческое сословие, проникнутое самым лучшим духом»¹⁰.

А вот доблестное российское духовенство, которое всегда обожало свою паству, особенно если она была в министерских чинах и генеральских званиях. Все прочие почитались за грешников и значения не имели:

«...священник, исповедуя умирающую девяностолетнюю купчиху, между прочим спрашивает, "не принадлежит ли она к тайному обществу"»¹¹.

«Да гремит немолчное проклятие из уст ваших на соблазнительей, адом на погибель вашу изверженных и ныне правосудием небесным паки во ад

⁸ Новороссийский генерал-губернатор и наместник Бессарабии граф М. С. Воронцов – финляндскому генерал-губернатору А. А. Закревскому, 7 февраля 1826 года.

⁹ И. А. Гончаров. Воспоминания. Часть II. На родине. В кн.: Собрание сочинений в восьми томах. 1952–1955, т. 7. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1954, стр. 247.

¹⁰ М. Я. фон-Фок – А. Х. Бенкендорфу, 3 августа 1826 года.

¹¹ И. А. Гончаров. На родине. Стр. 520.

низвергаемых! Да будут руки ваши готовы изыскать и карать тех, которые, может быть, еще во тьме и прахе пресмыкаются. Преследуйте их немолимо»¹².

Великие поэты и кавалерственные дамы, крепостные крестьяне и наместник края, почт-директор и католическая истеричка, придворный историограф и владимирский семинарист, президент Академии художеств и симбирский воспитатель, отставной министр юстиции и костромское купечество, артист имперских театров и жена вице-канцлера, финляндский генерал-губернатор и военный священник, знаменитый партизан 12-го года и прославленный сыщик, профессора университетов, редакторы журналов, дипломаты, помещики, чиновники, журналисты, баснописцы с визгом торжествовали победу над людьми, которые стремились к свободе.

И они не зря, не зря вешали и визжали, пороли и улюлюкали.

Пушки на Петровской площади в четыре часа пополудни прочистили уши русского общества, и оно тотчас обнаружило, что решительно ошибалось в старых своих мнениях. Так прежде оно думало, что Рылеев и Бестужев суть истинные и обещающие таланты, Якубович – храбрец и brigand (браво!), князь Сергей Трубецкой, ходивший под ядрами Бородина, Люцена и Кульма, – герой, Николай Тургенев – высокий ум, а оказалось, что это шайка бездельников, вероломных убийц, карбонаров, мошенников, трусов и безмозглых глупцов. А вот Николай Павлович решительно всех восхитил своим геройством и поистине ни с чем не сравнимым великодушием. Недавно же, еще в три часа пополудни, все думали, что Николай Павлович, «бывший бригадный и дивизионный начальник», известный «неприятностью сурового... нрава», вызвавший «неудовольствие гвардии за учения и экзекуции», «за жестокое обращение с офицерами и солдатами», «был ненавидим, особенно войском», «пристрастный к фрунту, строгий за все мелочи и нрава мстительного», «зол, мстителен, скуп»¹³. «Скажем всю правду, – с тяжелым вздохом произнес Ф. Ф. Вигель, – он совсем не был любим». А что оказалось на самом деле? На самом деле оказалось, что «если мы, жены и дети наши не зарезаны, алтари не осквернены, престол не опровергнут, столица не в пепле и Россия стоит еще, то всем этим обязаны мы единственно присутствию духа и геройской храбрости молодого императора нашего Николая Павловича, который между кинжалами убийц и пулями бунтовщиков распоряжался и повелевал с таким же хладнокровием, с такою же решимостью, как будто бы во дворце своем в спокойное время»¹⁴.

Вот каким оказался Николай Павлович. А некоторые уже поняли, что даже еще лучше. А ведь как недалёковидны люди и как не понимают они, что всякий мерзавец может стать великим политическим деятелем и корифеем науки

¹² Протоиерей Григорий Мансчетов. Слово к православным русским воинам на 1826 год.

¹³ Из письма А. Кучанова, показаний на следствии и воспоминаний декабристов М. А. Фон-визина, Д. И. Завалишина, Г. С. Батенькова, А. М. Булатова.

¹⁴ Л. Ф. Воейков – княгине Е. А. Волконской, 26 декабря 1825 года.

чуть только он волей судьбы или безволием людей получит возможность убивать, выгонять, уничтожать, сажать в тюрьмы миллионы людей, резать книги, спускать с цепи цензуру, выкручивать руки, отрывать головы, заплевывать национальную культуру. У нас любят героев. У нас героем является любой, особенно такой, который устанавливает порядок, борется за дальнейшее искоренение сельского хозяйства и укрепляет неокрепшие умы. В связи с этим все, кто был по-настоящему заинтересован в дальнейшем улучшении дальнейшего исторического процесса нашей родины, захлебнулся от счастья, поняв наконец, как прекрасен Николай Павлович:

«В день своего восшествия на престол император Николай спас Россию. Эти слова включают в себе также ту любовь и преклонение перед ним, которые испытывают к нему все его подданные. Он был восхитителен»¹⁵.

«...каждый рассказывал какие-нибудь смешные анекдоты и злоупотребления, всегда прибавляя: "при этом государе все это кончится. На него вся надежда, он все знает, он все видит, всем занимается, при нем не посмеют угнести невинного, он без суда не погубит, при нем не оклеветают понапрасну, он только не любит взятчиков и злодеев, а смиренного и доброго при нем не посмеют тронуть"»¹⁶.

Вот как в нашей могучей стране, населенной нашим великим народом, создавшим своими героическими руками самую лучшую в мире историю и в рекордно короткие сроки самые выдающиеся электростанции, обожают душителей, особенно с того дня, когда они окончательно обретают власть, от которой укрыться нельзя.

А зачем укрываться? Кто же станет укрываться от милостей, которыми тебя осыпают за заслуги перед родиной и народом? Только злодеи. Именно злодеи. Такие, как Рылеев, Каховский, Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Исаак Бабель. А преданные родине и народу люди никогда не станут укрываться. Напротив, они испытывают чувство искренней и трогательной благодарности. Вот послушайте:

«Папенька на этих днях несказанно был обрадован пожалованным новым членом в Совет...»¹⁷.

«Милостей пропасть. Поздравляю тебя с двумя фельдмаршалами: Саکنем и Витгенштейном, 8 андреевских лент, 16 полных генералов, бездна других орденов и такая же генерал-лейтенантов и генерал-майоров. Три дюжины фрейлин, с дюжину камергеров и камер-юнкеров и четыре графа: бар. Строганов, Курута, Чернышев и Татищев»¹⁸.

«Вчера, в первый день Рождества, московскому губернатору князю Голицыну и графу Толстому посланы ордена св. Андрея Первозванного; Бенкендорфу и Комаровскому... ордена св. Александра. Алексею Орлову пожаловано графское достоинство, что меня очень радует. Все очарованы

¹⁵ М. Д. Нессельроде – П. Н. Гурьевой, 19 декабря 1825 года.

¹⁶ М. Я. фон-Фок – А. Х. Бенкендорфу, декабрь 1827 года.

¹⁷ Е. М. Оленина – В. А. Олениной, 24 декабря 1825 года.

¹⁸ В. И. Туманский – жене, 24 августа 1826 года.

государем, он продолжает восхитительно держать себя, роль же его, конечно, очень трудна»¹⁹.

А в это время перед высочайше утвержденным Комитетом для следственных изысканий о злоумышленных обществах арестованные отвечали так:

«Займствовал я сей нелепый, противозаконный и на одних безмозглых мечтаниях основанный образ мыслей от сообщества Бестужева и Рылеева не более как с год. Родители же мои дали мне воспитание, приличное дворянину русскому, устраняя от меня как либеральные, так вообще и противные нравственности сочинения. Единственно Бестужев и Рылеев (а более последний) совратили меня с прямого пути. До их же знакомства я гнушался сими мыслями».

Так чернил себя и своих ближайших друзей князь Александр Иванович Одоевский, человек чести, аристократ, превосходный поэт, друг и родственник Грибоедова, через год пришедший в себя и написавший:

...цепями.
Своей судьбой гордимся мы,
И за решетками тюрьмы
В душе смеемся над царями...

Один из самых решительных деятелей Общества соединенных славян, сторонник народной революции, человек, давший клятву убить императора и готовившийся для «нанесения удара государю», во время восстания Черниговского полка пытавшийся поднять окрестные войска, Иван Иванович Горбачевский, приведенный к Левашову, забормотал:

«Так как я обязан своим несчастьем братьям Борисовым, то они, больше никто (при этом он в первом же своем письменном показании выдал шестнадцать человек. – А. Б.) мне сии преступные мысли вложили... они совершенно знали мои мысли, мою преданность к государю и к своему долгу, они знали, чем я занимаюсь, как я воспитан и что я знаю, следовательно, имели ли они Бога в душе так жестоко, так обманчиво поступить с человеком, который никакого зла им не сделал и не желал?»

Ваше превосходительство, всего того, что они говорили и делали, перо мое не в состоянии выразить, даже трудно пересказать; одним словом, ежели бы не сии злонамеренные люди, то бы сего ничего не было».

И разгоряченные, с пылающими от радостного возбуждения щеками победители, потирая от удовольствия руки и перебирая ногами, тут же стали тыкать пальцем в подловатые признания поверженного врага. Победители нахохлились, напыжились от собственного благородства, укрепились в сознании своей храбрости, а в трусости, ничтожестве и мизерности своих врагов утвердились.

А их враги заложили тягчайшую традицию русских политических процессов,

¹⁹ М. Д. Нессельроде – П. Н. Гурьевой, 26 декабря 1825 года.

полных саморазоблачений, выдач, предательств, раскаяний, измен и отступничества. Люди, не раз встававшие перед судьями в длинном и тягостном списке русских политических процессов (особенно после юбилея восстания), не сохранили душевных сил и не поняли, что самые героические поступки до суда немедленно теряют значение, забываются и компрометируются жалким поведением на суде. Декабристы и те, кто впоследствии стал называть себя их наследниками, отвратительным, презренным поведением на следствии и суде опорочили великое дело, на которое они шли и за которое претерпели кару, не меньшую, чем та, которая постигла бы их, если бы на суде они продолжали бы дело, начатое до суда.

Нет ничего слаще обществу, всегда дрожащему от страха, увидеть поверженного врага, но во сто крат слаще увидеть врага, который поносит себя сам. И таких врагов это ничтожное общество рабов, потомков рабов и прашуров рабов увидело перед собой.

Вот над чем торжествовали обомлевшие от страха и едва пришедшие в себя победители:

«...эти негодяи, при составлении заговора считавшие себя римлянами, оказались ничтожествами: будучи схвачены, они без конца говорят и пишут, есть надежда, что все удастся раскрыть...»²⁰

«Подлец этот (С. Трубецкой. – А. Б.) открыл все имена сообщников своих.

Многие из них показали гадкую слабость души, многие друг друга обличали и сказывали имена тех, которых еще не знали за их сообщников; кажется, фанатик Рылеев в числе этих подлецов»²¹.

«Более всех трусили из них Рылеев, Сомов и князь Трубецкой!»²²

Русское общество, обнаружив «гадную слабость души» своих врагов, торжествовало и требовало расправы, а власть, в России всегда являющаяся тем же обществом, только таким, на которое напялили мундиры и наляпали погоны, охотно кивала обществу во фраках, а когда возникла необходимость, то и в поддевках, и в пиджаках, и в зипунах, и в робах.

Но бывали минуты, когда эта самая российская власть пыталась немножко сдержать это самое общество дрожащих от страха и злобы скотов. Вот, чего хотело русское, как всегда дрожащее от страха и злобы, общество:

«По сравнению с этими извергами приходится и смерть находить чем-то очень мягким...»²³

«...когда подумаешь о том, что они получают то, что готовили другим, теряется жалость, и желание видеть их всех в крепости – единственное успокоение... да поможет Бог всех их собрать...»²⁴

²⁰ М. Д. Нессельроде – Н. Д. Гурьеву, 30 декабря 1826 года.

²¹ Ф. С. Хомяков – А. С. Хомякову, 24 декабря 1826 года.

²² А. Е. Измайлов – П. Л. Яковлеву, 4 января 1826 года.

²³ М. Д. Нессельроде – М. Д. Гурьевой, 30 декабря 1825 года.

²⁴ В. П. Шереметева. Дневник В. П. Шереметевой, урожденной Алмазовой, 1825–1826 годы. М., 1916. Запись от 18 декабря 1825 года.

«...все безумцы, начинщики и производители сего возмущения схвачены, кроме двух, коих шинели найдены у прорубей и кои, вероятно, попали на пристанище самое для них приличное, не надеясь более найти оно-го на земле. Туда им и дорога, этим злодеям!»²⁵.

«Дать прощение таким чудовищам – значит пренебречь правосудием, первым долгом монархов»²⁶.

Русское правительство просто не может себе позволить такой кровожадности, которой требует от него общество. Оно чувствует себя несколько неловко и считает нужным как-то оправдаться, стараясь хоть немного успокоить пылающий энтузиазм лучших своих сынов.

«Мнение всех благомыслящих людей сильно клонится в пользу правительства, его действий и его направления. Даже больше: находят, что следовало бы строже наказывать, чтобы зажать рты сочинителям разных вестей и тем, которые распускают слухи, лишённые всякого основания»²⁷.

«Можно положительно сказать, что большинство из них (ссылаемых. – А. Б.) не выдержало бы трудностей пути и не добралось бы до места назначения, если бы с ними поступали со всей строгостью законов. Многие осуждают это снисхождение, так как, говорят, "оно никогда не проявляется в отношении людей простых, хотя и менее виновных, чем заговорщики. Нет никакого основания быть снисходительным к этим последним, объясняя это снисхождение уважением к тому положению, какое они занимали в свете, и к тем семьям, к которым они принадлежали по рождению: связи человека, осужденного на гражданскую смерть, навсегда порваны, и он должен до конца испить справедливо заслуженную им чашу позора". Управляющего тайной полицией немного коробит такая, ну, несколько неумеренная кровожадность, он считает, что это негуманно. Со вздохом, хорошо зная русское общество, в котором он живет и для которого трудится, управляющий добавляет: "Надо было, конечно, ожидать этих толков... но все же не следует говорить это людям, близко стоящим к семействам осужденных, а между тем многие из них высказывали подобные мнения"»²⁸.

А общество клокочет от гнева. Нет предела его возмущению. Оно положительно взбешено.

«Где была полиция? – трясаясь от негодования, срывающимся голосом визжит общество, – что делали градоправители наши и военные начальники? У них под носом составилась и приведен в действие заговор обширный, губительный! Почти явно на площадях, в казармах, на улицах проповедовали бунт, зачинщики давали друг другу ночные пиры, готовили пе-

²⁵ Петербургский почт-директор К. Н. Булгаков – московскому почт-директору А. Я. Булгакову, 17 декабря 1825 года.

²⁶ С. Р. Воронцов – М. С. Воронцову, 7 февраля 1826 года.

²⁷ М. Я. фон-Фок – А. Х. Бенкендорфу, 11 августа 1827 года.

²⁸ М. Я. фон-Фок – А. Х. Бенкендорфу, 29 июля 1827 года.

реодевание, чистили оружие, набивали боевые патроны, полиция крепко почивала и ничего или почти ничего не видела!»²⁹

Правда, все правда. Куда глядели? Где был с ночи 13 декабря да утром 14 военный губернатор столицы? А? Где был? Не знаете? А я скажу вам. У Катеньки Телешовой, танцорки. Да еще явился перед императором близ строя бунтовщиков, застегивая пуговицы. Хорошо это? Эх, Россия, Россия, и бунт упредить не умеют, и вешают то не тех, то не так, и всегда мало. Лучшие умы советуют: «Мы имеем нужду в медиках, химиках, технологах, но весьма сомнительно, чтобы проявление в отечестве нашем русских Кантов и Фихте принесло какую-либо оному пользу» (А. Леровский-Погорельский). «Кадетские корпуса, рассадник офицеров русской армии, требуют физического преобразования, большого присмотра за правами, кои находятся в самом гнусном запущении. Для сего нужна полиция, составленная из лучших воспитанников» (А. Пушкин). А полиция, хотя ее все время направляют, видите ли, никак не может поспеть: «Деятельность надзора растет с каждым днем, и у меня едва хватает времени для принятия и записывания всех заявлений»³⁰. Не хватает дня? Сиди ночью. А не справишься, найдем другого. Незаменимых нет. Самое ценное это люди, кадры.

Правительство иногда поправляло общество, общество, как это всегда органически свойственно истинной, а не фальшивой демократии, восхищалось мудростью правительства, и все шло как нельзя лучше. От победы к победе. Потому что главное это единство правительства и народа. Это единство строилось на крепком фундаменте: общество восхищалось правительством, правительство тем, кто это делал, не жалея себя, объявляло благодарность.

Тут сошлись все: члены Государственного совета и девицы с веселой набережной реки Охты, пристально и неумоимо изучающие жизнь писатели и становые приставы, дамы, чарующие своей неотразимой красотой, и густопородистые кобылы Клейдесдальского завода, сильфиды из балета «Пламя Парижа» и вросшие в свои чугунные бороды нигилисты. И все прокляли их. И правильно сделали. Потому что они хотели свободы. А это для нашей родины хуже, чем жрать битое стекло. Хочешь свободу? Поезжай на острова Капингаманги в Океании. Только мы тебя немножко проверим на станции Чоп.

В крепости «Санк-Питербурх», заложенной царем Петром в устье реки Невы на Заячьем острове, по которой – крепости – потом был именован зачатый здесь город, в этой крепости, прозванной, спустя время, по святым апостолам Петру и Павлу, общественная мысль России навсегда определила свое течение и свое свойство, лишь изредка – в 40-е, 60-е и 80-е годы – нарушавшиеся. В той крепости и в те дни началось осмысленное, хорошо и навсегда задуманное тесное и искреннее единение правительства и общества, православия, самодержавия и народности, веры, царя и отечества, под разными названиями в разное время навсегда в этой стране обретшими несокрушимую силу, неприкосновенность, непререкаемость, неприкасаемость и власть.

²⁹ А. Ф. Воейков – княгине Е. А. Волконской, 26 декабря 1825 года.

³⁰ М. Я. фон-Фок – А. Х. Бенкендорфу, 14 августа 1826 года.

«Благодаря провидению и Господу, мы теперь совершенно спокойны, лишь бы Бог помог доброму государю истребить, так сказать, корень заговорщиков»³¹.

Общество с облегчением вздохнуло.

«Сами рассудите, эти мальчишки в отношении к государственному управлению разве имели право переменять форму правления? Это может сбыться от времени и действием самого правителя»³².

Николай Павлович посылает великого князя Михаила Павловича к старому Шереметеву выразить сочувствие по поводу ареста сына. Великий князь присутствует при такой сцене: «Старик плачет и говорит ему: "Если сын мой в этом заговоре, я не могу более его видеть, и даже я первый вас прошу его не щадить. Я бы и сам пошел смотреть, как его будут наказывать. С тех пор, что я существую, я был верным подданным моему государю и всему его семейству, никогда ни в какой истории не участвовал против моего государя и законов. Этот ребенок меня убивает!"»³³ Перед этапом сына привели к отцу проститься. Отец-герой не хочет пускать сына на порог. Все семейство рыдает, Николай Павлович смахивает слезу. В связи с последним обстоятельством папенька маленько приходит в себя и все-таки обнимает сына. Здесь мы присутствуем при зарождении героической традиции, впоследствии приобретшей более совершенную форму перехода на другую сторону улицы при встрече с кем-либо из родных арестованных.

Итог сердечному единению общества и правительства подвел сам Николай Павлович:

«Здесь все усердно помогают мне в этой ужасной работе, – пишет он усталой рукой, – отцы приводят ко мне своих сыновей³⁴, все желают показать пример и, главное, хотят видеть свои семьи очищенными от подобных личностей и даже от подозрений этого рода»³⁵.

А закованные в железо и заключенные в одиночки каялись, сдавались, клеветали друг на друга, плакали, проклинали, клялись в верности государю-императору, доносили на своих товарищей, божились, продавали, лгали.

Я где-то слышал, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Нас пытаются уверить (разными способами, среди которых преобладают тюрьмы, цензура, гонения, клевета, голод, убийство), что никак нельзя. Это вам нельзя, тем, кому это общество до смерти нравится, кто вместе с ним участвовал в злодействах, кто дрожит от страха перед этим обществом, у кого нет желания, нет сил, не хватает смелости освободиться, у кого нет уверенности в своей правоте. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества? Никак нельзя? Но из какого же общества пришли те, кто его разрушал? Из какого общества прибы-

³¹ В. П. Шереметьева. Дневник. Запись от 18 декабря 1825 года.

³² А. Кучанов – Я. Скарятину, 1826 год.

³³ Великий князь Михаил Павлович. Дневниковая запись от 20 декабря 1825 года.

³⁴ В другие эпохи сыновья приводят своих отцов и особенно часто – жены своих мужей. Первый мотив разрабатывается преимущественно в поэзии, второй в драматургии.

³⁵ Письмо великому князю Константину Павловичу, 23 декабря 1824 года.

ли братья Гракхи? Откуда взялся Лютер? С кем рядышком были Вольтер, Руссо, Бомарше? Откуда явились Робеспьер и Оуэн, Гейне и Жорж Занд? В каком обществе жили и от какого общества были свободны Герцен, Толстой, Бакунин, Мандельштам? Все значительные личности, протестанты, истинные художники, мыслители и духовные вожди были свободны от общества, а кто свободен от общества, тот враждебен ему. Даже если эти протестанты, художники и вожди, как Гете, Бальзак, Гоголь, Гончаров, Достоевский, разделяли мнение общества, в своих произведениях они всегда выступали его разрушителями.

А декабристы? И декабристы, кающиеся, проклинаящие, рыдающие, тоже были свободны от общества. Не очень долго – девять лет, с 1816 по декабрь 1825 года, – но ведь создавая Союз спасения и Союз благоденствия, Общество соединенных славян, Северное и Южное общества, они, очевидно, были свободны от мнения графини Марии Дмитриевны Нессельроде и княгини Дарьи Христофоровны Ливен, от суждений начальника артиллерии и смотрителя императорской коношни, от миропонимания кавалергардов и мировоззрения начальника караула.

От того, что все-таки декабристы вели себя на следствии омерзительно, от того, что Пушкин написал обесчестившие его стихи «Клеветникам России», за которые его горько осуждал Вяземский, ставший через двадцать пять лет после этого поганым царским цензором, от того, что Боккаччо, перепуганный насмерть монахом картезианцем, стал усердно каяться и почти перестал писать, струсивший Некрасов кланялся и писал оду Муравьеву-вешателю, Радищев, попав в руки Шешковского, вел себя мерзко, Галилей испуганно отрекся, совершенно не следует, что нельзя быть свободным от общества. Ибо, когда декабристы создавали тайные организации и выводили солдат, Пушкин писал «Вольность» и «Поэт и толпа», Боккаччо «Декамерон» и Галилей «Диалог о двух главнейших системах мира», они были свободны. Одни и те же люди в разных обстоятельствах бывают свободными или схвачены железом. Историческое значение имеет только независимость от общества.

Но в обществе, даже русском, не всегда, нет, не всегда все бывает так благополучно, как этого бы хотелось. Особенно лучшим представителям нации. И поэтому среди всеобщего злобного клокотания и злорадного взвизгивания вдруг чье-нибудь чуткое (полицейское) ухо услышит чье-либо неудовольствие.

Можно жить в обществе и быть свободным от общества, если ты видишь, что это общество гнусно, и у тебя хватает чести и смелости сказать об этом.

И было несколько случаев в России, а не на островах Капингамаранги, Океания ($1^{\circ}14'$ северной широты, $155^{\circ}17'$ восточной долготы), когда действительно сказали.

Князь Петр Андреевич Вяземский вот что сказал:

«И после того ты дивишься, что я сострадаю жертвам и гнушаюсь даже помышлением быть соучастником их палачей? Как не быть у нас потрясениям и порывам бешенства, когда держат нас в таких тисках... Я охотно верю, что ужаснейшие злодеяния, безрассуднейшие замыслы должны рождаться в головах людей, насильственно и мучительно задержанных. Разве наше положение не насильственное? Разве не согнуты мы в

крик? Откройте не безграничное, но просторное попрание для деятельности ума, и ему не нужно будет бросаться в заговоры, чтобы восстановить в себе свободное кровообращение, без коего делаются в нем судороги...»³⁶

Не пресеченной оказалась чисто декабристская поэтическая традиция. Стихи профессиональных и непрофессиональных поэтов, не перебежавших к победителю, написаны людьми, внимательно читавшими запрещенные стихи Пушкина и незапрещенные стихи Рылеева и Кюхельбекера:

Придет ли сей великий день.
Когда для русского народа
Исчезнет деспотизма тень
И встанет гордая свобода?
Но трепещи, страшись. Деспот,
Придет день общего волнения...³⁷

Знаменитые языковские стихи:

Рылеев умер как злодей! –
О вспомяни о нем, Россия,
Когда восстанешь от цепей
И силы двинешь громовые
На самовластие царей!³⁸

А вот что пишет женщина из круга графини М. Д. Нессельроде В. П. Шереметевой, С. П. Свечиной – Е. П. Сушкова (в замужестве графиня Ростопчина):

Удел ваш не позор, но – слава, уваженье
Благословение правдивых сограждан...
Быть может... вам и нам ударит час блаженный
Паденья варварства, деспотства и царей.
И нам торжествовать придется мир священный
Спасенья россиян и мщенья за друзей!

Это написано после восстания, разгрома, арестов, допросов, суда, сразу же после казни.

³⁶ П. А. Вяземский – В. А. Жуковскому, март 1826 года.

³⁷ Стихотворение юнкера А. Зубова. Автор вскоре был посажен в дом умалишенных, в числе прочего и за то, что «он с другими товарищами рубил бюст государя императора, приговаривая словами: "Так рубить будем тиранов отечества, всех царей русских"» («Отголоски декабристского восстания 1825 года». Красный архив, 1926, № 16, стр. 193).

³⁸ Стихи А. Зубова и Н. Языкова, написанные 1826 году, то есть после пушкинского стихотворения «К Чаадаеву» и до «Во глубине сибирских руд».

А вот что было написано в пору, когда страсти уже улеглись:

«Скоро настанет время, когда дворяне, сии гнусные сластолюбцы, жаждущие и сосущие кровь своих несчастных подданных, будут истреблены самым жестоким образом и погибнут смертью тиранов. 1829 – 10. Один из сообщников повешенных и ссыльных в Сибирь. Второй Рылеев.

Внизу добавлено:

«Ах! если бы это свершилось. Дай, Господи! Я первый возьму нож».

Это было написано не в петербургском кабинете на велени, а карандашом на двери заездного двора села Рахманова Московской губернии.

В 1831 году появилось воззвание, подписанное А. Н. Ермоловым (фальсификация). В воззвании было сказано:

«Вспомни, каким родом казни, доселе неизвестным в России, Николай Павлович истребил в 1826 г. первых героев свободы нашей.

Он обольщен гнусными советниками, предпочел царствовать беззаконно, обagrив площади и стогны Петровой столицы кровью жителей и украсив Петропавловскую крепость виселицами!»

В 1826 году студент Харьковского университета В. Розалион-Сошальский написал прозаический монолог «Рылеев в темнице», за что был привлечен к дознанию.

В том же году в Москве был создан кружок братьев Критских, через полгода разогнанный. Кружок был радикальный. Его члены собирались «действовать к учреждению конституции». А так как в России это дело немыслимое, то в их планы входило «и покушение на жизнь государя императора». По повелению государя императора члены кружка были заключены в крепости на разные сроки. «Прикосновенные» сосланы и уволены от службы.

В 1831 году был уничтожен кружок Сунгурова, который вербовал единомышленников «в такое общество, которое, по словам его, было остаток от общества 14 декабря 1825 г. и имело целью конституцию». По утвержденному государем императором приговору члены кружка были определены в солдаты и высланы в Оренбург. Н. П. Сунгуров был отправлен в Сибирь, пытался бежать, был пойман, перерезал себе горло, остался жив, умер в Нерчинском руднике.

В те годы еще не все народонаселение России состояло из рабов, льстецов, дрожащих от страха прохвостов и звероподобных душителей, хотя уже многое свидетельствовало о том, что в процессе вековой эволюции народонаселение под благотворным воздействием абсолютистской идеи превратится в стадо предателей, доносчиков, палачей и свободоненавистников. Но в те годы еще не все было совершенно благополучно. Вот что позволяли себе неокрепшие умы:

«Мы, молодежь, менее страдали, чем волновались и даже почти желали быть взятыми и тем стяжать и известность и мученический венец»³⁹.

Другой молодой человек не только страдал и желал быть взятым, но имел значительные идеи.

³⁹ А. И. Кошелев. Записки. Изданы после его смерти в 1884 году.

Этим молодым человеком был Герцен. Он сказал:

«Мальчиком 14 лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии (по случаю коронации Николая Павловича. – А. Б.) и тут, перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить за казненных и обрекал себя на борьбу с этим тронem, с этим алтарем, с этими пушками».

Начиная с 1827 года в столичных журналах, альманахах и даже отдельными изданиями стали печататься стихи и проза Рыльева, А. Одоевского, А. Бестужева, Кюхельбекера. Конечно, без имени или подписанные инициалами авторов. (Одна из немногих, может быть, уникальных гуманных традиций русской литературной жизни: так печатали Чернышевского.)

Этим, или почти только этим, исчерпывается сочувствие страны к декабристам и особенно к их делу. Русское общество приплясывало на плахе и, кланяясь, облизываясь, приседая и рабствуя, подносило оды, дифирамбы, гимны, величания и песнопения на все восемь гласов августейшей фамилии, III отделению, флигель-адъютанту, целовальнику, действительному статскому советнику, коменданту крепости, палачам и тюремщикам, доносчикам и предателям, знатым педерастам и влиятельным метрескам, члену Государственного совета и собаке дворника, спасшим отечество от самого страшного несчастья, которое только могло выпасть на долю нашего любимого, столь выстрадавшего отечества, от моровой язвы, труса, мора и глада, саранчи и татар, от потопа и засухи, пожара и дыбы – от свободы.

Во все времена все политические неудачи вызывают к себе одинаковое отношение: общество презрительно осуждает неудачников. Для того чтобы осуждение не очень заметно совпадало с официальным, которое даже интеллигентному человеку часто бывает противно, искали и, вспотев, находили серьезные недостатки у тех, кто потерпел неудачу. Хари пигмеев перекашивались от ненависти и страха. Они – хари – дули прямой кишкой, содрогаясь при мысли о возможных последствиях на основании глубокого изучения русской истории. Облизывая пересохшие губы, припоминали, не сказано ли чего-нибудь лишнего, и, чтобы не было уж совсем стыдно, торопливо придумывали, за что бы укорить мерзавцев, которые не дрожали. Аристофана они осуждали за то, что у него нет ничего святого. Пастернака за то, что его стихи абсолютно непонятны народу. А Герцена за то, что он печатался за границей. Вот если б он печатался в России... Но, помилуйте, как же он может печататься в России?! Да, конечно, но в то же время печататься за границей... в этом есть что-то безнравственное... выносить сор из избы...

Так жила, думала, радовалась, маялась, злобствовала и умирала страна. А в этой стране, которая никогда не знала и никогда не узнала, что такое свобода, и которой свобода никогда была не нужна, бродили какие-то «странные господа», узнавшие, что человек имеет право думать, что хочет, говорить, что хочет, писать, что хочет, то есть думать, говорить и писать то, что он считает нужным, полезным и важным, что он имеет право бороться с произволом и несправедливостью и утверждать – по русским понятиям, совершенно ни с чем не сооб-

разное, – что правительство невежественно и жестоко, что оно захватило прерогативу решать, что полезно и что вредно отечеству и своим подданным, ввергать свою и чужую страны в войны и разбойничьи дипломатические заговоры, что самые способные вчат жалкое существование, а тупицы, негодяи, прохвосты и наглецы, уничтожавшие миллионы людей, сначала жандармы Европы, а потом и Азии, торжествуют победу.

Общество с такой жадной жестокостью осуждает людей, погибающих за свободу, потому что ему в иные времена нужна не свобода, а хоть какая-нибудь уверенность в том, что не оторвут руки-ноги. Люди, боровшиеся за свободу, замахнулись на власть, а власть в России не только душила, но и сторожила общество, чтобы его, упаси Бог, не утащили либералы.

Победа и поражение всегда связаны с состоянием общества и приходят в зависимости от того, что обществу нужно. Поэтому, когда восставших постигает неудача, общество начинает плевать их за измену родине и предательство, а вот когда приходит победа, тогда общество с искренним восторгом приветствует восставших, потому что они спасли родину от тирании и упадка сельского хозяйства. Но так как победы редки, то большую часть времени русское общество благодарно холопствует перед государством, а в трудную годину братья и сестры и вовсе связывают себя с государством неразрывной веревкой. Единение общества с государством всегда было и навсегда останется зловещим симптомом распада, разложения, испуга, подкупности, продажности общества и всевластности государства. Если общество осуждает людей, борющихся за свободу, это значит, что оно уже неисправимо испорчено рабством рабов и рабством господ.

При всем этом и те, и другие рабы могут иной раз шепнуть, оглянувшись, что-нибудь такое этакое, почти полулиберальное, четвертьпрогрессивное.

Никогда нельзя обольщаться ропотом, шепотом и ворчаньем общества. Да, да, общество ужасно возмущено тем, что нигде нет качественных галстуков и даже гречневой крупы или, еще хуже того, – не печатают некоторые очень хорошие стихи, которые еще больше укрепили бы могущество родины. Но попробуйте сказать этому обществу об устоях, о каменных плитах, на которых оно стоит, и это общество сразу забудет и про галстуки, и про стишки, и даже про гречневую кашу. Оно сразу же вспомнит о том, что – это его родимое государство, которое его защищает от пакостников, от внешних и внутренних врагов, что вместе с этим родимым государством оно выигрывало войны, одерживало победы, участвовало в одних преступлениях и плясало на одних фестивалях.

Нет, когда восставшие терпят поражение, общество всегда считает, что вешают мало, охраняют плохо и что нет подлинной заботы.

«Не только никто не старался в своих суждениях оправдать по возможности деятелей тайных обществ, но все их осуждали, и кара правительственная, конечно, не превосходила той кары, которая на них налагалась мнением общества... чему явным доказательством может служить то, что известия о наказаниях, к которым были приговорены члены бывших

тайных обществ и которые были неоднократно перечитаны, не вызвали сострадания»⁴⁰.

А, вместе с тем, общество, если бы оно более внимательно изучало окружающую действительность, увидело бы, что власть не клюет носом, а, поплевав на ладони, занимается делом. Дело было серьезное.

«Рассказы из Петербурга о том, кого там брали и сажали в крепость, как содержали и допрашивали арестованных и пр., еще более увеличивали всеобщую тревогу. Матушка очень за меня боялась... ей постоянно чудилось, что за мной ночью приехали, и потому на всякий случай она приготовила в моей комнате теплую фуфайку, теплые сапоги, дорожную шубу и пр.»⁴¹

Русское интеллигентное общество так струсило и так старалось показать, что оно струсило и поэтому заслуживает самой высокой похвалы, что это вызвало недоумение, даже озабоченность III отделения:

«После несчастного происшествия 14 декабря, в котором замешаны были некоторые люди, занимавшиеся словесностью, петербургские литераторы не только перестали собираться в дружеские круги, как то было прежде, но и не стали ходить в привилегированные литературные общества, уничтожившиеся без всякого повеления правительства»⁴².

Общество неистовствовало от злорадства, отвращения и страха. Страх был русский: увязывали теплые вещи и ждали стука в дверь.

Страх надо было как-то прятать, и его прятали, прикрываясь верой. Клялись, что верят в сообщение о «маловажном происшествии», напечатанном в «Прибавлении» к «Санкт-Петербургским ведомостям», в царский манифест, в то, что «изверги решились... открыть гроб императорский, закричать, что это не его тело, что государя убили или заключили, начать убийства, бунт и воспламенить – за вымышленный ими предлог – мшнение солдат и буйной черни, пьяной, слепой, нищей и готовой на всякие неистовства»⁴³. Потому что, если во все это верить, то надо или сказать, что ты тоже с клеветниками и вешателями, или восстать и погибнуть. Здесь правительство помогло обществу: оно лишь несколько месяцев побуждало его клеймить преступников, а потом перестало само о них говорить и велело помолчать до особого распоряжения (1826–1855).

Это был один из самых умных, самых верных, ставший классическим прием борьбы русского правительства со своими врагами, прием, к которому в будущем стали прибегать все чаще и успешнее, – замалчивание.

Постепенно совершенствуясь, классический прием приобрел канонический норматив: газетная травля, официальное заявление, гневные обличения академиков, слесарей, колхозного крестьянства, полковников в отставке, творческой интеллигенции, пенсионеров, дорогих коллег (особенно), искреннее раскаяние ошельмованного, поношение самого себя и признание им своих зло-

⁴⁰ Барон А. И. Дельвиг. Мои воспоминания. 1912.

⁴¹ А. И. Кошелев. Записки.

⁴² М. Я. фон-Фок. 1827 год.

⁴³ А. Ф. Воейков – княгине Е. А. Волконской, 26 декабря 1825 года.

дейских ошибок, исключение (варианты: снятие, разжалование, объявление сумасшедшим, арест), восторженные аплодисменты трудящихся, молчание.

Это молчание никогда не было только глупостью, презрением или трусостью. Оно всегда было хорошо рассчитано и начиналось в заранее выбранное время. Было понято, что лучше врага забыть, чем поносить, потому что, когда долго поносят, то люди начинают задумываться и, глядишь, кому-нибудь и покажется, что в газетной травле, официальном заявлении, негодующем осуждении полковника в отставке, самооплевывании ошельмованного и его уничтожении, а также в одобрении трудящихся некоторые моменты не кажутся абсолютно убедительными. А если замолчать, то и дело сделано, и урок показан, и оставлено впечатление, созданное таким могучим инструментом истины, как вопли уязвленных, рев толпы, палка власти, битие в барабан и треск невиданных успехов, на фоне которых совершается гнусное злодеяние.

Испытанное умение общества превратить страх в веру и соучастие многое определило в позиции тех, кто сам боролся с этой удрушающей властью и знал, что нужно готовить шубу и сапоги.

Страх, безоговорочная уверенность в справедливости расправы, мастерство, с которым было скомпрометировано освободительное движение правительством и гораздо лучше самими декабристами, клевета и замалчивание создали впечатление, что с декабризмом покончено. И многие люди, продолжая декабристское дело, думали, что они делают нечто совсем другое.

Белинскому было 13 лет, когда вспыхнуло и погисло восстание. Все его творчество прошло в полтора последекабрьских десятилетия. Ни разу ни в одной из своих работ он не упомянул декабризма. Всякий раз, когда ему приходилось писать о Бестужева-Марлинском или о Кюхельбекере, он старательно обходил их связь с декабризмом. Нигде, написав сотни страниц о Пушкине и Грибоедове, он ни словом не обмолвился об их роли в декабризме и о роли декабризма в их жизни. Никаких оснований подозревать автора «Письма к Гоголю», за которое он мог попасть на каторгу, в трусости у нас нет. Это было отношением к декабризму. У Белинского отношение это с 1837 года становится враждебным. Через 11 лет после приговора Верховного уголовного суда Белинский пишет: «Дать России в теперешнем ее состоянии конституцию – значит погубить Россию. В понятии нашего народа свобода есть воля⁴⁴, а воля... – озорничество. Не в парламент пошел бы освобожденный русский народ, а в кабак побежал бы он пить вино, бить стекла и вешать дворян, то есть людей, которые бреют бороду и ходят в сюртуках, а не в зипунах...». Однако после того как он «проклинаят свое гнусное стремление к примирению с гнусной действительностью», ничего похожего на такие умозаключения в его статьях не встречается. Но отношение к декабризму остается неизменным. Быть может, это произошло потому, что в эпоху «примирения» с гнусной действительностью

⁴⁴ Характерно, что так же свободу определяет и Никита Муравьев: «Что есть Свобода?... Жизнь по Воле» («Любопытный разговор». В кн.: Декабристы. Стр. 249). Разница лишь в том, что Муравьеву такая свобода нравится, а Белинскому нет.

тью, то есть с гнусным обществом, Белинский относился к деятельности декабристов так же, как и общество, а когда «примирение» проклял, прошло уже двадцать лет после восстания, и было уже не до того. Пришли другие события, другие программы, идеи, намерения, цели и люди.

...Издавая материалы об отношении русского общества к декабризму, Н. К. Пиксанов был озабочен не только полнотой и тщательностью публикаций, но и тем, чтобы убедительно показать, как вело себя это общество в нашей рабской стране.

Так как меня интересует история беспросветной, сохранившейся навсегда и неизменной при всех исторических обстоятельствах традиционной подлости русского интеллигентного общества, то я с большим вниманием отнесся к его публикации. (Написав о беспросветной, сохранившейся навсегда и неизменной при всех исторических обстоятельствах традиционной подлости русского интеллигентного общества, я не спешу с оговоркой, приписанной специально для вас: «некоторая часть» или даже «большая часть», или «значительная», или «преобладающая часть» этого общества. Я не делаю этого не для того только, чтобы показаться вам совершенно невыносимым, и не для того, чтобы еще раз показать вам свое презрение, но главным образом потому, что судьбу всего русского общества определяет именно эта «большая» или «значительная», или «преобладающая часть», а «меньшая» или «незначительная», или «убывающая часть» не имеет никакого значения. При таком решающем обстоятельстве точный счет теряет какой бы то ни было практический смысл»).

Решающие выводы Н. К. Пиксанова таковы:

«Декабристы могли отрицать существующие порядки и бороться с личной властью, но в пределах своего родного класса.

Этим объясняется многое в возникновении, ходе и исходе их борьбы с правительством, и без этого многое было бы загадочным и необъяснимым.

Для понимания и декабристского восстания, и последовавшей реакции важно установить, что исход восстания мог бы оказаться иным, если бы декабристы-дворяне захотели опереться на солдат, рабочих и крепостных крестьян»⁴⁵.

Здесь начинается марксизм, который при неудачах, постигающих его, называется уже не «марксизм», а «вульгарный социологизм» или «ревизионизм», или «догматизм», или Бог весть еще как. Не знаю. Никто не знает, как он называется, и я не знаю. Убедился в невежестве после того, как лучшие годы жизни отдал изучению этой науки. По истечении лучших лет начал заниматься другими науками и чувствую, что стал образованнее.

Все эти публикации и все размышления над ними публикатора с быстротой рассеивающегося дыма утрачивают какое-либо значение, когда таким спосо-

⁴⁵ Н. Пиксанов. Дворянская реакция на декабризм. В кн.: Звенья: Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли. Т. П. М.—Л.: Academia, 1933. Стр. 187, 193–194.

бом нас стараются убедить в том, что революция это только форма классовой борьбы и все дело исключительно в неразрешимых противоречиях между производительными силами и производственными отношениями, а интеллигенция, прости Господи, не то прослойка, не то подстилка.

Всю жизнь изучая научные труды, большая часть которых посвящена доказательству лживых идей... я ни в одном из этих научных трудов не обнаружил того, что помогло бы мне понять, почему главной задачей русской истории всегда были попытки задушить свободу и почему русская интеллигенция всегда охотно этому помогала.

Это я понял, читая совсем другие книги и черпая образованность на протяжении тринадцати лет из иных кладезей мудрости, нежели 125-я школа города Москвы, искусствоведческий факультет МГУ, Литературный институт им. А. М. Горького Союза писателей СССР и других заведений, учреждений, предприятий и организаций, лучшими из которых были Культурно-воспитательные части (КВЧ) 19-го Долинского Комендантского отделения, 3-го Сарептского, Лечебно-санитарного отделения, 26-го Ишень-Гельдинского, 4-го Самарского, 7-го Катурского, 18-го Карабасского отделений Управления Карлага МВД СССР, а также 8-го Ново-Майкудукского и 9-го Спасского отделений Управления Песчаного лагеря МВД СССР.

Многомесячным и многолетним следствием, голодом, пытками, карцерами и одиночками, ночными допросами и дневным бдением, стоянием на коленях, стоянием на цыпочках, стоянием навзятжку, стоянием по стойке смирно, стоянием перегнутой под прямым углом поясницей, уныло и бесконечно воняющей парашей, светом тысячеваттной лампы, сжигающим глаза, и воем, разрывающим уши, холодом и жарой, арестом родных и изобличениями недавних друзей, десятисуточными конвейерными допросами, изменой, ложью, лицемерием, клеветой, перлюстрацией писем и записями подслушанных телефонных разговоров, поиском пятого угла и камерными стукачами, принудительным лечением и запрещением оказывать медицинскую помощь, плесенью на стенах камеры и бронзой в генеральских кабинетах, неотступной тоской по женщине и лишением книг, лязганьем ключей надзирателей и папироской следователя, потушенной в ухе, очными ставками и черными воронами, нарами с прогнившей соломой и голыми электрическими проводами, вдавленными в рот, боксами, в которых можно только висеть на соседях, мокрым цементным полом и склизким деревянным намордником на окне, клопом и вошью, лишением передач, запрещением курить, пересылками и этапами, неизвестностью, искушениями и соблазнами, доносом любимой женщины, доносами близких, доносами соседей, доносом дворника, доносами друзей и доносами врагов, доносами знакомых и доносами незнакомых, доносами старух и доносами детей, доносом профессора, у которого ты был любимым студентом, и доносом факультетского швейцара, который любил тебя за то, что ты вежливо раскланивался с ним, доносом водопроводчика, которого ты в темноте не заметил, и доносом монтера, которому ты заплатил больше, чем следовало, доносом молодого поэта, робко постучавшего к тебе, которого ты похвалил, и доносом пожилого прозаика, которого ты разру-

гал, доносом неудачника, живущего в квартире слева, и доносом счастливого, живущего в квартире справа, доносом курьера, доносом карьериста, доносом лентяя и доносом энтузиаста, доносом холерика и доносом сангвиника, доносом меланхолика и доносом флегматика, доносом труса и доносом храбреца, доносом слепца и доносом ясновидца, доносом блондина и доносом брюнета, доносом дурака и доносом умника, доносом любимого писателя и доносами любящих сослуживцев, доносом актрисы, которая тебе нравилась, и доносом ее любовника, которому ты не нравился, доносом актера, которого ты любил, и доносом его любовницы, которая не любила тебя, доносом жены твоего приятеля, которая боялась твоего разлагающего влияния, и доносом приятеля, который боялся твоего влияния на его жену, доносами пожарников, летчиков, астрономов, агрономов, жуликов, министров, кинозвезд, могильщиков, литературоведов, клоунов, кораблестроителей, пионеров и октябрят, стрелочников и живописцев, футболистов и энтомологов, венерологов, социологов, паразитологов, палеонтологов и отоларингологов, доносами добродетельными и доносами подневольными, доносами друг на друга, доносами на самих себя, доносами всей страны на тебя и на всех, доносами, доносами, доносами, доносами, четырьмя стенами тюрьмы и тюремной решеткой власти, которая судит, часто удается убедить подсудимого в том, что она лучше знает, что именно полезно отечеству.

Конечно, когда декабриста ставят перед тысячеваттной электрической лампой, а за его спиной, развалиясь, сидят торжествующие враги, то ему это снести труднее, чем ходить под ядрами по Бородинскому полю, зная, что сзади стоят восхизающиеся друзья.

Я приводил материалы, извлеченные из публикации Н. К. Пиксанова не для того, чтобы убедить любезного читателя в том, что декабристы были разгромлены, потому что, будучи представителями своего класса, в высшей степени неуместно выступили против него в то время как по августейше начертанной концепции должны были выступить против другого. Если это соображение (борьба классов, прости Господи) кажется так им убедительным, то зачем же останавливаться и распространять его только на поражение? Итак, вперед: декабристы на площади были разгромлены, а на суде посрамлены, потому что принадлежали к тому же обществу, против которого восстали. Но ведь восстание декабристов не было стихийным крестьянским бунтом, и к нему (или к другой форме изменения существующего порядка вещей) готовились 10 лет. То есть 10 лет готовились выступить против своего класса, а, выступив, поняли, что ошиблись и что на самом деле нужно было выступать против другого класса? Такая концепция производит сильное впечатление и возбуждает острое любопытство. Хочется узнать, почему аристократ Герцен выступил против своих и не раскаялся в этом? Или почему родовитый дворянин Писарев в борьбе 60-х годов оказался не со своим дружкой по классу Тургеневым, а с сыном протоиерея семинаристом Чернышевским? Или почему А. И. Солженицын, рожденный не во дворце султана, стал защищать Ивана Денисовича и Матрену от своего же генералиссимуса и его злодеев?

Полная монументального благородства стоит русская историография половины столетия перед неразрешимым вопросом: как это одни и те же люди мог-

ли с гордо поднятой головой ходить под ядрами и ползать на коленях перед императором. Потом догадалась: одно дело за своего родного государя идти на вражеский редут, другое дело против своего государя идти на его дворец.

Днями и ночами русская историография, охватив руками голову, размышляла над вопросом: как случилось, что люди, готовившие в течение десяти лет государственное переустройство, в самую удобную для такого предприятия минуту оказались растерянными и не знающими за что взяться. Потом догадались: борьба разных течений в самом декабризме была настолько сильна, что парализовала все серьезные попытки предпринять что-либо радикальное.

Среди особенно выдающихся концепций существует и такая: декабристы были так чисты и прекрасны, что не могли лгать даже высочайше утвержденному Тайному комитету, не говоря уже о самом государе императоре. Но если они не могли лгать, то есть не говорить правду Тайному комитету, то почему же они могли лгать, то есть говорить неправду о своих друзьях, единомышленниках, братьях?

Декабристы так охотно осудили сами себя и так готовно разрешили себя уничтожить, потому что еще до поражения они подозревали, что их дело, кроме них самих, никому не нужно. И они были правы. В такой стране, как Россия, где образованное общество и народ испорчены и развращены потомственным рабством и рабовладением, страхом, национальной традицией и исторической наследственностью, свобода никогда не была нужна. Образованное общество, то есть рабовладельцы, пользовались необходимой ему свободой, а народу нужна была свобода не в форме бесцензурного книгопечатания, а в форме хлеба. Образ правления – абсолютная монархия, конституционная монархия, демократическая республика, республиканская диктатура – его не интересовал.

Декабристы были разгромлены, потому что боролись за свободу в стране, которая всегда ненавидела эту свободу во всех классах, потому что в этой стране должен погибнуть всякий, борющийся за свободу. Но всегда надо помнить о том, что если в этой обреченной стране перестанут бороться за свободу, то будет уничтожено, сожрано, вытоптано, заплевано все, что веками создавалось теми, кто оставался свободным.

Общество, не игравшее в России никакой роли, и, таким образом, как бы не существующее (общество осознается как социальная организация, когда оно кому-нибудь противопоставлено), позволило абсолютизму захватить безудержную, неограниченную не то что конституцией, но просто разумностью власть, оказалось само втянутым в преступления диктатуры. Декабристам не на кого было опереться в борьбе и не с кем было делить победу. Победе грозило достаться только победителям, то есть тем, кто захватил власть. Другим людям, живущим в этой стране, для которых будто бы добывалась победа, пришлось бы довольствоваться лишь ливнем поднимающих на новые ратные и трудовые подвиги фраз. И поэтому декабризм мог кончиться или поражением, или военным бунтом, после которого к власти пришла бы горстка людей, вынужденная защищаться от огромного количества поверженных и, защищаясь, применять беспощадные методы подавления, вернувшись, таким образом, к тому, против чего начиналась борьба – к самовластию и диктатуре. Пестель мог обещать все что угодно, но ничего дру-

гого, кроме самовластия и диктатуры, из его концепции получиться бы не могло.

Другие люди, живущие в этой стране, касательства к тем, кто для них добывал победу, не имели. Да и они, эти люди, и не играли бы особенно серьезной роли после победы. Поэтому далеки были декабристы от народа или близки ему, может быть, и представляет какой-то интерес, но только в связи с вопросом о победе и поражении. Все остальное к народу отношения не имеет. Все остальное связано с одним вопросом: во имя чего нужна была победа?

Революции совершаются для тех, кто их совершает, и поэтому восстание Разина нужно было донским казакам, мордовским, марийским, чувашским, русским и татарским крестьянам.

Декабристы вышли на Петровскую площадь не для защиты интересов донских казаков и татарских крестьян. Они были небольшой группой людей – единственной в русском обществе 20-х годов, – которой была нужна свобода, потому что они уже были интеллигенцией. Интеллигенция всегда была и навсегда останется единственной общественной группой, которая не может существовать без свободы духа. Всем остальным людям нужна другая свобода: свобода власти, богатства, хлеба, войны. Абсолютистское государство может дать людям богатство, хлеб, власть, войну, может не дать, может дать одним и не дать другим. Но свободу духа абсолютистское государство не может дать никому. И поэтому интеллигенция в самовластной стране существовать не может: она или уничтожается, или растревается, или – реже всего – хранит гордое терпенье.

Революция интеллигентов была раздавлена, потому что в России интеллигенты всегда были ненавистны властителям и отвратительны вековым отвращением народу.

14 декабря 1825 года на Петровской площади в Петербурге произошла первая из двух⁴⁶ европейских революций в России. Ничего общего с привычным для этой страны крестьянским бунтом она не имела. Но декабристы вышли на площадь в то время, когда еще были живы люди, которые шли с Пугачевым, и те, кто этих людей судил. Судьи декабристов родились при матушке Екатерине Алексеевне, няньки с малолетства пугали их Пугачем да башкирцами. Всю жизнь они боялись черной бороды, красного петуха да дядьки с ружьем.

Альтернатива Пугачев–Аракчеев, которой так долго пугали историков, абсолютно естественна по психологическим мотивам и совершенно несостоятельна по историческим. По историческим мотивам она для декабризма малосущественна.

Несмотря на то, что вся деятельность тайных обществ должна была завершиться военным бунтом и завершилась им, решающими в этой деятельности были идеологические и политические темы, а не военные. Альтернатива же Пугачев–Аракчеев – только военная. В ее пределах помещается лишь вопрос о том, как победить: захватить власть с помощью или без помощи народа. Ничего другого в этой альтернативе нет, а если бы каким-нибудь образом и оказалось, то сравнение программ несомненно обнаружило бы существенные отличия двух восстаний.

Члены тайных обществ, иногда даже такие, как Пестель, задумывались о

⁴⁶ Вторая – в феврале 1917 года.

современном европейском демократическом государстве с конституцией, парламентом, гласным судом, без цензуры и удушения свободы, независимо от того, было бы новое государство республикой или конституционной монархией. Что же касается Пугачева, то, вероятно, он мало размышлял о свободе печати, равно как и о парламентских прениях. Общность декабристов с Пугачевым ограничивается вопросом, связанным с крепостным владением крестьянами. Можно с большой долей уверенности сказать, что декабристы не предполагали осуществить идеологическую программу Пугачева после победы. Петербургские и даже тульчинские интеллигенты не без основания боялись пугачевщины, и это, по-видимому, было единственным, что их с пугачевщиной связывало.

Декабризм был первым радикальным движением интеллигентной России, и поэтому его главным назначением было завоевание личной свободы. Именно это обстоятельство и вывело программу Пестеля за пределы истинного назначения декабризма, ибо Пестель думал не о свободе, а о победе. Что же касается свободы, то поскольку завоевать ее трудно, да и вообще неизвестно, что из нее может получиться, самое верное это установить временное (на 10 лет) неограниченное правление, то есть диктатуру. В случае если десяти лет окажется мало, то особые обстоятельства позволят ее продлить. Особые обстоятельства могут быть разными. Об одном сообщает А. В. Поджио в своих показаниях:

«...я полагаю, что временное правление не продлится более года, а много-много два". На сие он (Пестель. – А. Б.) мне возразил: "О нет, не менее десяти лет – разделение земель одно возьмет много времени". Тогда я ему сказал, что коль скоро так, то бесспорно многие устроятся сего продолжительного времени господства. На это мне сказал:

– Что ж делать! А впрочем, между тем, можно будет обратить внимание общее на внешнюю какую-нибудь меру, как-то: объявить войну Порте и восстановить Восточную республику в пользу греков; таким образом явимся на поприще политическое с самыми благонадежнейшими видами для прочих народов Европы»⁴⁷.

Как видим, диктатуру установить ничего не стоит: всегда может что-нибудь случиться или можно найти, что случилось, или устроить, чтобы случилось.

Декабризм был общественным движением, стремившимся свергнуть абсолютизм, то есть диктатуру. И поэтому, когда Никита Муравьев говорит о том, что насилие родит насилие, то это не церковно-приходская банальность, а важнейший пункт спора с Пестелем о целях и способах изменения общественного строя. Муравьев думал, что изменение общественного строя должно принести людям свободу, то есть счастье. Пестель полагал, что изменение общественного строя должно принести людям имущественное равенство. И, вероятно, недоумевал: о каком еще беспокоиться счастье, когда оно – вот, пожалуйста – имущественное равенство.

В отличие от европейского общества, которое влияет на государство, русское общество всегда само себе государство. Оно всегда было и навсегда осталось обществом генералов, сановников, вельмож, ученых-генералов, поэтов-сановни-

⁴⁷ Декабристы. Стр. 201.

ков, клерикалов-вельмож. И никакая свобода этим генералам, сановникам и вельможам была не нужна, потому что та свобода, которая им требовалась, была у них в полной мере. Им было за что обожать свою власть, своего монарха, своего жандарма, свое отечество, свою верноподданническую литературу.

Декабристы, естественно, собирались выдвинуть совсем иной слой, и они так же, как предшественники, стали бы добиваться, чтобы этот слой служил их государству, и добились бы. Только генералом бы стал подпоручик Лапа, сановником прапорщик Бесчанов, вельможей штаб-лекарь Вольф. И Пестель предусмотрительно уже принимал кое-какие меры, чтобы не пробрался кто-нибудь из чужих, и оговаривал это специально: «...никто, не поступив предварительно в оное (тайное общество. – А. Б.), не должен быть облечен (после победы. – А. Б.) никакою гражданскою или военною властью». И партии бы непременно запретил, потому что знал, как они меняют старых властителей. Да и вообще, если не приглядывать, то «легко родиться могут партии и разные козни»⁴⁸. Это глубоко наша, родная, русская идея стоит у него на первом месте.

До победы было совершенно ясно, что общество, которое заняло бы место ушедшего, никак на прежнее не похоже, потому что Пушкин это не Дмитриев, Корнилович не Магницкий, а Пестель не Аракчеев. Но все это было ясно в годы, когда к победе еще стремились. А если бы победили? Установили бы временное правление, и на смену диктатуре alexандровских генералов, сановников и вельмож пришла бы пестелевская диктатура генералов, сановников и вельмож. В обоих случаях подлежащее концепции – диктатура – остается. Подлежащее – главный член предложения, концепции, и оно подаывает все второстепенные члены. Люди приходят и уходят. Диктатура остается. И пестелевская диктатура подавляла бы Пушкина с неменьшей энергией, чем alexандровская, и диктатуре Пестеля, быть может, поэт, который не клонит гордой головы, был бы еще более отвратителен, чем диктатуре Александра. Все это неминуемо, потому что обстоятельства, возникающие после государственного переворота в абсолютистской стране, требуют (или люди, совершающие переворот, думают, что требуют, или, зная, что другие так думают, пользуются этим) поступиться такими не являющимися жизненно необходимыми вещами, как демократия, искусство во имя интересов народа, то есть государства, которое все делает для блага народа. И тогда после нескольких месяцев или нескольких дней единодушия государства и общества начинается новое социальное расслоение, и снова одна часть общества яростно защищает свою власть, а другая – как всегда, меньшая и, как всегда, лучшая – борется с нею. Победа декабризма была бы прекрасна и имела бы смысл лишь в одном случае: если бы она не отняла возможности бороться с ним. И эту возможность даже в России пытался предусмотреть Никита Муравьев и решительно отвергал Пестель. И он, конечно, был прав: таких диктатур, которые позволяют бороться с ними, не бывает. Нет ничего отвратительнее и страшнее диктатуры, независимо от побуждений, которыми она вызвана, и от целей, которые она ставит.

⁴⁸ Декабристы. Стр. 198.



выпускник Ленинградской консерватории, скрипач, прозаик – автор романов «Обменные головы» (1992), «Бременские музыканты» (1998), «Прайс» (1999, шорт-лист Букеровской премии), «Суббота навсегда» (2001), «Вий» (2005). Живет в Германии.

К ПАРИЖСКОЙ ПРЕМЬЕРЕ ОПЕРЫ ШОСТАКОВИЧА «НОС»*

Я не исследователь музыки Шостаковича, я ее слушатель. Притом болезненно заинтересованный в ней, поскольку она для меня – инструмент самопознания. Рожденный в чреве советского образа жизни, я выстрадал свое происхождение через Шостаковича. В далекой юности я написал вещь под названием «Боль в стране инфузорий». Шостакович – певец этой боли, ее Орфей.

Позволю себе несколько общих соображений. Если поэзия это действительно падшая музыка – слово притягивает к себе мысль, а мысль тянет слово книзу, – то, начиная с Вагнера, музыка оккупирована словом, подверглась смысловой интервенции. Ошибка считать, что музыка и слово слиты в гармоническое единство, дополняют друг друга и т. п. В силу своей природы они непримиримые враги, ведущие нескончаемый бой за гегемонию. Русская опера, как и русская музыка, как и русская культура в целом, при всей своей значительности явление молодое. Она сложилась в то время, когда текст, либретто, драматургия оценивались наравне с музыкой. Насвистывания, напевания популярных мелодий слушателями – всего этого русская опера уже не знала.

Изменения, которые претерпел гоголевский текст в либретто оперы «Нос», обусловлены сценическими и музыкальными задачами, которые ставил перед собой композитор. Немой кинематограф, строчивший изображение с пулеметной скоростью (молодой Шостакович работал тапером в кино), театр Мейерхольда с его шокирующей обывателя эксцентричностью и немислимым количеством действующих лиц, а в музыкальном отношении немецкий экспрес-

* Ligne 8 // Le Journal de L'Opera National de Paris. № 7.

сионизм вообще и «Воцек» Берга в частности – вот генезис этой оперы. Неудивительно, что при изготовлении столь насыщенного либретто в дело пошли и другие произведения Гоголя – а также Достоевский.

Всю жизнь работавший с текстами, Шостакович придавал им большое значение. Либретто «Носа» он писал не один, обычно фигурируют еще три имени: это умерший двадцати одного года отроду режиссер Ионин, это Прейс, будущий автор либретто «Леди Макбет», если я не ошибаюсь, сгинувший в ГУЛАГе, и это ни больше ни меньше как Замятин, писатель огромного калибра, в двадцатые годы близкий к семье Шостаковичей. Впрочем, его участие в написании либретто композитор отрицал, говоря лишь о «литературных консультациях». Но это могло объясняться политическими причинами. Замятин уже подвергался всю критику и вскоре эмигрировал из СССР – редкая привилегия по тогдашним временам. В той мере, в какой «Нос» является сатирой на коммунистический режим, он может считаться детищем замятинских «консультаций». Но даже представляя собой сатиру на современность, а при желании таковую можно усмотреть в чем угодно, опера никак не подрывала устои. Она скорее хулиганская, «анархистская бомба», что не считалось криминалом – артистической богеме еще не было предписано остепениться. Поэтому если замысел оперы и содержал в себе какие-то намеки на злободневность, они тонули в эпатаже именно той самой части публики, которая на официальном языке именовалась классовым врагом. Эти люди ни за что бы не согласились узнать себя в майоре Ковалеве, который отличается от гоголевского персонажа тем, что внушает сострадание. Кстати сказать, и Катерина («Леди Макбет»), в отличие от героини повести Лескова, образ трагический.

Поставленный в Ленинграде, «Нос» не имел успеха ни у завсегдатаев театра Малегот, где обычно шли оперетты, ни у музыкальной критики, стоявшей на позициях пролетарского «опрошенчества» и считавшей – вероятно, справедливо, – что рабочим эта опера не нужна. Поддержки влиятельных деятелей культуры, по достоинству оценивших создание молодого композитора, оказалось недостаточно. Глава ленинградской партийной организации Киров, некогда подвизавшийся в провинциальной газете в качестве театрального рецензента, после премьеры только пожал плечами. И все же опера «Нос» была обречена на неуспех не по злой воле тогдашних правителей, а общей культурно-политической ситуацией, которая в этот переходный момент (1930) не была однозначной: прежний социальный заказ себя исчерпал, а новый еще не был четко сформулирован.

По той же причине – острой социальной востребованности – опера «Нос» имела в московском Музыкальном Камерном театре грандиозный успех (1974). Шостаковичу еще оставался год жизни, он еще успел порадоваться возвращению блудного сына по прошествии сорока четырех лет. На премьеру съехалась вся Москва. Учитывая ярко выраженную гротескность произведения, сцена и зрительный зал в тот вечер находились между собой в конкурентных отношениях. Давний друг Шостаковича и адресат многих его писем Исаак Гликман рассказывает, что дирижер еще не поднял руки, как в зале уже что-то

заиграло, явно «из другой оперы». Оказывается, это Давид Ойстрах, пришедший с кассетником, по ошибке нажал не ту кнопку.

Шостакович – автор всего лишь двух опер. Это очень мало в масштабе созданного им. Тем более что человеческий голос, хор, положенное на музыку слово постоянно его манят. Можно, конечно, сослаться на Малера, предтечу Шостаковича, который и вовсе не написал ни одной оперы, хотя половина его симфоний включает в себя вокальную партию, не говоря о знаменитых песнях. Однако не следует забывать: обе оперы Шостаковича, и «Нос», и «Леди Макбет Мценского уезда», были запрещены к исполнению, что в условиях сталинской инквизиции равнялось обвинению в ереси со всеми вытекающими из этого последствиями. Возможно, дважды обжегшись на опере, Шостакович с тех пор избегал этого жанра, который и впредь продолжал оставаться удобным объектом для идеологических нападков. Так, послевоенным чисткам, известным под названием борьбы с космополитизмом, предшествовало постановление ЦК партии об опере «Великая дружба» композитора Мурадели. В понимании властей оперный жанр находился на передней линии культурно-идеологического фронта.

На вопрос, какое место опера «Нос» занимает в творчестве Шостаковича, логичней всего было бы ответить: она занимает место «Носа», то самое, которое ей отведено самой природой. Лично я убежден: если бы Шостакович ничего, кроме нее, не написал, она бы все равно ставилась сегодня в Парижской опере. И, наоборот: не досчитайся мы в творческом наследии Шостаковича этой оперы, лицо культуры сегодня было бы иным.





историк, ответственный редактор тематических программ Русской службы радио «Свобода». Живет в Чехии.

РЕПАТРИАЦИЯ ГРОБОВ И АРХИВОВ*

Автор и ведущий Владимир Тольц

Владимир Тольц: 3 октября 2005 года привезенный из США гроб с телом Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России генерала Антона Ивановича Деникина, а также доставленные из Швейцарии останки другого русского изгнанника – философа Ивана Александровича Ильина были торжественно перезахоронены в Донском монастыре. Все это лишь последние детали давно уже идущей адаптации современной Россией культурного и идеологического багажа эмиграции.

Перезахоронения эмигрантов – Федора Шаляпина, Ивана Шмелева, адмирала Ивана Григоровича, генерала Николая Батюшина, теперь вот Деникина и Ильина, а еще – запланированное на сентябрь 2006 года перезахоронение императрицы Марии Федоровны, матери последнего российского царя, – давно уже стали знаком времени. Помимо воли покойных и стремления потомков и наследников исполнить ее, помимо нашего естественного и никогда до конца не реализуемого желания «исторической справедливости», во всех этих акциях легко прослеживается и некий государственно-политический аспект. На разных уровнях приобщенности к «репатриации» гробов она воспринимается по-своему.

К примеру, патриарх Алексий увязывает перезахоронения русских эмигрантов и переговоры Московского патриархата с Русской Зарубежной церковью и говорит о них, как о «части процесса восстановления единства России». Перезахоронение адмирала Григоровича рассматривается командова-

* Радио Свобода.

нием ВМФ как одно из мероприятий военно-патриотического воспитания моряков. Чекисты, организовавшие перевоз из Бельгии в Россию гроба неудачно боровшегося с немецким шпионажем и Распутиным царского контрразведчика Батюшина, хотели бы подправить свою мрачную корпоративную родословную. Один из них, Станислав Лекарев, являющийся ныне вице-президентом Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, утверждает: *«Это весьма своевременная попытка восстановить утерянную нашими органами безопасности преемственность, дающая право в будущем говорить о том, что наши контрразведчики стоят на плечах своих великих предков»*. Наиболее радикальные чекистские головы, например полковник Олег Максимович Нечипоренко, немало сил своих отдавший не только шпионажу, но и борьбе с «Радио Свобода/Свободная Европа» (теперь он иногда выступает в наших передачах), предлагает фезсбешникам даже отказаться от имени «чекист» и гебешной эмблемы (щит и меч). И хотя многие труженики Лубянки и Ясенева считают, что Батюшин – неадекватная замена железному Феликсу, заседающий ныне в Совете по внешней и оборонной политике их коллега из ГРУ Виталий Шлыков утверждает, что *«спецслужбы должны менять своих кумиров и восстановить непрерывность исторических связей, характерных для России»*. А в МИДе РФ рассматривают запланированное перезахоронение в Петербурге праха императрицы Марии Федоровны (его санкционировал сам президент Путин) как действенную меру для улучшения российско-датских отношений.

В рамках этой государственно-политической прагматики, унаследованной еще из советского прошлого, можно рассмотреть и недавние перезахоронения выдающихся русских изгнанников Деникина и Ильина.

– Как это происходило? – спрашиваю я профессора МГИМО Андрея Борисовича Зубова.

Андрей Зубов: Было удивительно по-советски. Дело в том, что я приехал в Донской монастырь, не имея никакого приглашения, думая, что любой русский человек, испытывающий какие-то чувства к тем людям, которых предполагали похоронить на территории Донского монастыря, может присутствовать на богослужении, естественно, на панихиде и потом на захоронении. Ничего подобного. При входе в монастырь меня и моего двоюродного брата, генерала, не пропустили, потому что у нас не было специального приглашения. Так не бывает. Так не было ни в старой России, так нет в зарубежье, чтобы в церковь не пускали. Непонятно, почему не пускают? И когда президент там находится, глупо не пускать в церковь.

Владимир Тольц: Профессору МГИМО Зубову повезло: удалось-таки получить от выходящих с кладбища пригласительный билет! А ведь многие так и остались у входа в монастырь...

Об увиденном на траурной церемонии Андрей Борисович рассказывает так:

Андрей Зубов: В целом было все весьма прилично, хотя, конечно, не обошлось без странностей. Думаю, что не очень приятно было и покойным, и их потомкам слышать, например, музыку советского гимна «Союз нерушимый», который исполнялся в один из моментов этого события. Но все остальное – и

воинские почести Деникину, и слова патриарха были вполне достойны. Правда, была еще одна не очень симпатичная вещь, на мой взгляд: многие в своих выступлениях государственные деятели делали акцент на том, что это пора согласия и примирения между красным и белым. Как говорил Михалков, у каждого была своя правда, была правда красных, была правда белых. И в итоге, высшая истина – это мир между ними. Но, мне кажется, что это примерно то же самое, что говорить, что была своя правда у нацистов, убивавших евреев, была своя правда у евреев, которых убивали нацисты. Но есть какая-то «высшая правда», которая должна нацистов и евреев примирить. Это, естественно, неприемлемая позиция.

Владимир Тольц: Вот это – стремление «поженить», «примирить» советское и антисоветское, белое и красное – очень характерная черта нынешнего процесса российского государственного освоения наследия эмиграции былых времен. Вспомним хотя бы недавнее, под звуки советского гимна, открытие в Иркутске памятника Колчаку. Для дополнительной легитимизации действия бессудно казенного адмирала решено было реабилитировать. Чему, кстати, долгие годы противились различные судебные инстанции. Противились вовсе не по причине юридической ничтожности и нелепости такой реабилитации, а в силу собственного (и начальства!) понимания «политической целесообразности».

Теперь вот признано целесообразным «примирять». И в том же Донском монастыре уже готовят Мемориал национального согласия и примирения. И уже (в который раз!) распространяются зондирующие слухи, что скоро-скоро захоронят там не только белых генералов, но и их красных противников по гражданской войне.

У потомков старой эмиграции на такого рода разговоры, особенно когда они затеваются полпредом президента генералом госбезопасности Георгием Полтавченко, реакция двойственная. С одной стороны, несколько коробит, что твои предки и кумиры будут покоиться рядом с прахом их палачей и победителей; с другой, Полтавченко – олицетворение Путина, а Путин – почти как Государь Император... России. Следовательно, «Россия признает нас, нашу победу...»

Но что движет Путиным?

Андрей Zubov: Мне кажется, что с точки зрения власти – это правило хорошего тона. Тот же Путин хочет, чтобы русская эмиграция принимала его как своего, принимала с симпатией, с любовью... То есть это попытка быть респектабельным не только в глазах, скажем, Запада, западных политиков, западных президентов и премьер-министров, но и в глазах иной России. По большому счету, это стремление стать тем, чем ты не был. Ты был обычный мальчик, обычный офицер обычного советского КГБ, и вдруг ты становишься президентом России. Президентом какой России – советской или всей России, то есть и русского зарубежья? И хочется президенту быть президентом всей России. Отсюда и помощь в воссоединении двух церквей, и так далее. То есть, мне кажется, это желание получить респект, получить это реноме.

Владимир Тольц: Владимир Владимирович – человек государственный и чекистский. Недавно в наших передачах выступал бывший коллега российско-

го президента по шпионской работе подполковник КГБ Константин Преображенский. Он сказал в частности:

Константин Преображенский: Путин перестроил свою разведку. Сейчас главным орудием агентуры российской являются российские эмигранты, то есть те русские, которые живут за рубежом. Их настолько много, ни одна контрразведка за ними не уследит. Путин создал новое направление деятельности российской разведки. Раньше это были традиционные – научно-техническая, политическая, нелегальная и так далее. Сейчас появилась новая линия, называется «линия ЭМ» – эмиграция. Это значит, что у каждого резидента российской разведки во всех странах мира появился зам по линии «ЭМ». А у этого зама есть в распоряжении один, два, три, четыре, а может и больше, оперработника, которые занимаются только эмигрантами.

Путин хочет взять русскую эмиграцию под контроль. И с точки зрения получения информации разведывательной, политического влияния в странах всего мира – это одно. А вторая цель – нейтрализовать возможные протесты эмиграции против политики Путина, поскольку Россия идет в тупик, отходит от стран Запада, и поэтому нужно уничтожить центр возможного духовного protivодействия.

Владимир Тольц: Профессор Андрей Zubов относится к такого рода расуждениям скептически.

Андрей Zubов: Конечно, здесь очень много придуманного. Видна именно родимая печать этой нашей печально известной организации – о постоянных заговорах, постоянных планах, разведках и так далее. Во-первых, русская эмиграция весьма невлиятельна в крупных странах Запада. И поэтому думать, что, расположив к себе русских эмигрантов, остатки «недобитого» сословия, можно изменить к себе отношение президентов и премьер-министров ведущих стран Запада, наивно. Безусловно, Путин об этом серьезно не может и думать. Второе – какую разведку, какие агентурные данные сейчас будут собирать?

Владимир Тольц: Ну, кроме политических секретов есть технические – банковские, к примеру...

Андрей Zubов: Дело в том, что мой опыт общения с эмиграцией говорит о том, что то поколение, которое может владеть этими секретами, поколение, скажем, моих ровесников, оно как раз совершенно равнодушно ко всем этим поклонам и реверансам со стороны Путина. А в основном на него реагируют старики, которые выросли при Советах, воспитаны в желании послужить России и хотят хотя бы на склоне лет увидеть, что они востребованы, нужны, о них вспомнили. Но понятно, что никаких секретов они не имеют и их дети им ничего важного ни в банковской, ни в технической сфере не расскажут.

Другое дело, что в какой-то степени русская эмиграция может быть агентом влияния, то есть она может содействовать созданию на Западе положительно-го образа России. Вот это явление, действительно, имеет место быть.

Владимир Тольц: Так считает Zubов. На Западе эту точку зрения разделяют многие из тех, кто так или иначе интересуется российской политикой в отношении русской зарубежной диаспоры.

Для сегодняшней темы существенно отметить, что одним из следствий возвращения на родину останков знаменитых эмигрантов является культивация в коллективном эмигрантском сознании двойной лояльности, которая, в свою очередь, как показывают некоторые исследователи, например, знаменитый американский политолог Сэмюэл Хантингтон, являются питательным бульоном для разного рода политических и агентурных комбинаций.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ И РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ*

Программу ведет Андрей Шарый.

Принимают участие корреспондент Радио Свобода Аллан Давыдов, священник Яков Кротов.

Андрей Шарый: В поселке Вельяминово Московской области действует подворье Русской православной Зарубежной церкви. На фоне робкого начала межцерковного диалога между Русской православной церковью Московского патриархата и десятилетиями находившейся вне закона в России Зарубежной церкви эта новость, обнародованная одним из бывших сотрудников КГБ, теперь живущим на Западе, звучит как сенсация. Бывший подполковник советской разведки и ее резидент в Японии Константин Преображенский утверждает, что на процесс православного диалога активно влияют российские спецслужбы, деятельность которых в этом направлении существенно активизировалась после прихода к власти Владимира Путина. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Аллан Давыдов.

Аллан Давыдов: Константин Преображенский являлся сотрудником научно-технической разведки Первого главного управления КГБ СССР в чине подполковника. Много лет работал в Японии под прикрытием корреспондента ТАСС. Автор не только книг о Японии, но и многочисленных публикаций о работе разведки и контрразведки в религиозных организациях. В настоящее время Константин Преображенский живет в Соединенных Штатах.

Константин, вы много пишете о связях руководящего звена Русской православной церкви с КГБ и с нынешними его преемниками. Почему вы считаете эту тему актуальной?

Константин Преображенский: Почему Церковь? Путин хочет взять русскую эмиграцию под контроль – и для получения разведывательной информации, и для политического влияния во всем мире. Это одно. Вторая цель – нейтрализовать возможные протесты эмиграции против политики Путина,

поскольку Россия идет в тупик. Поэтому нужно уничтожить центр возможного духовного противодействия – это Русская Зарубежная церковь. И вот как часть кампании по уничтожению зарубежной церкви активизировалась работа путинской разведки по использованию Московской патриархии в целях шпионажа, и в первую очередь в целях развала Зарубежной церкви. Поэтому я обращаю на это внимание.

Аллан Давыдов: На чем основаны ваши утверждения?

Константин Преображенский: Я как-никак бывший референт начальника научно-технической разведки, заместителя начальника советской разведки генерал-майора Леонида Сергеевича Зайцева. Близость к этому высокопоставленному работнику давала мне возможность общаться с представителями всех подразделений КГБ, в том числе управления «РТ» (разведка с территории). Этому управлению «РТ» подчиняется, в частности, работа «по церкви» в целях использования ее для разведки. И там я часто беседовал с начальником церковного направления, который рассказывал много интересного. Наконец, каждый советский разведчик, отправлявшийся за границу, должен был ознакомиться с огромным количеством документов, в том числе и по церковной линии. Я лично держал в руках план работы по разложению Зарубежной церкви, когда отправлялся работать в Японию в 1980 году. Этот план практически уже близок к завершению.

Аллан Давыдов: Константин, как выглядит механизм установления и осуществления контроля спецслужб над церковью?

Константин Преображенский: Он выглядит следующим образом. Церковь была создана НКВД. Никогда в России не было такого понятия, как Московская патриархия, оно было придумано Сталиным во время войны. Не было понятия Русская православная церковь – до революции она называлась российской, или греко-российская православная церковь. Это все термины чекистские. Сталин создал Московскую патриархию из политических соображений. Кем были первые слушатели Московской духовной академии? Священники, отозванные с фронта. А какое ведомство имело право отзывать людей с фронта, да еще в критический год войны, в 1943 году, когда на фронт отправляли всех – в том числе больных и немощных? Конечно, НКВД. Кого он будет выбирать в первую очередь? Кому он даст привилегию, спасающую от смерти? Эта привилегия дается только надежной, проверенной агентуре. Все священнослужители, отозванные с фронта, все агенты КГБ. Если бы они не были агентами, их бы не отозвали.

Мне приходилось встречаться с некоторыми стариками, которые были в первом выпуске этой духовной академии, они так и говорили: «Мы называем себя беспартийными коммунистами». Патриархия – это советское учреждение. Как осуществлялся контроль над армией, посредством особых отделов КГБ, так же и над патриархией.

Аллан Давыдов: Претерпели ли взаимоотношения РПЦ и спецслужб какую-то эволюцию за все эти десятилетия?

Константин Преображенский: Должны были бы, но не смогли. Это видно по поведению нынешнего патриарха Алексия (агентурная кличка – Дроздов). Когда какой-нибудь корреспондент спрашивает о былой связи церкви с

КГБ, он категорически отказывается эту тему обсуждать. По идее, они должны были бы покаяться, сказать, что они сотрудничали с НКВД и работали на государство, но они не могут покаяться и никогда не покаются, потому что все они и сейчас агенты КГБ. А что это значит? Это значит, что на каждого имеется компромат, это у нас называется «закреплением оперативного сотрудничества».

Вот тот же Алексей скажет, например: «Да, я каюсь», про него быстро статья появится где-нибудь – что он, допустим, был женат. Такая же биография почти у всех епископов, все они были назначены на свои посты КГБ.

Сейчас главная задача – поглощение Зарубежной церкви, чтобы отобрать ее собственность. Потому что у нас зарубежная собственность, недвижимость принадлежит администрации президента. Ну и – усиление внешнеполитического влияния. После этого бастион российского влияния на Западе утвердится навечно.

Аллан Давыдов: Что вы можете сказать о связях спецслужб и церкви на внутренней арене? Зачем вообще это нужно спецслужбам?

Константин Преображенский: Сейчас обстановка в стране неспокойная. Предполагается, что священники должны внушать прихожанам, что все нынешние трудности это временное явление, как это всегда священники и в старой России разъясняли бедному народу. Кроме того, контроль над церковью – это политическое влияние. Например, в ходе недавних выборов на Украине все тамошние священники Русской православной церкви активно призывали голодовать за Януковича – ставленника Москвы.

Андрей Шарый: О влиянии спецслужб на политику Русской православной церкви я говорю с автором и ведущим программы Радио Свобода «С христианской точки зрения» священником Яковом Кротовым.

Яков Кротов: Надо отметить, что... материалы о святейшем патриархе, о его сотрудничестве с органами были обнаружены в Эстонии безо всякой помощи бывших или действующих сотрудников Лубянки, они хорошо известны.

Андрей Шарый: Насколько актуальна сейчас для Русской православной церкви как института российского общества проблема связи клира с российскими спецслужбами? Это, действительно, такая язва, которая разъедает тело церкви?

Яков Кротов: Это язва, которая разъедает тело не только церкви, но и тело российского гражданского общества. 15 лет назад святейший патриарх от имени церкви извинился за сотрудничество с коммунистической властью, это было мимолетом – всего два абзаца в «Известиях», но формально это все-таки были извинения, о которых теперь стараются не вспоминать. За 15 лет ситуация изменилась настолько, что недавно московский дьякон Кураев выступил с заявлением в Екатеринбурге, что если бы он жил и был верующим в 70-е годы, то он бы считал нормальным сотрудничество с Лубянкой, потому что это помогло крепить единство СССР.

Если так пойдет и дальше, то через 15 лет надо ожидать, что будут отлучать от церкви тех, кто не скажет, что праведно ведет себя тот, кто сотрудничает с Лубянкой, и плох тот православный, который не был стукачом.

Что касается попыток влиять на эмиграцию... Видимо, на Лубянке есть желание порулить русской эмиграцией. Другое дело, что делается это, как и все

в советской действительности, коряво. Но вряд ли секрет, что и НТС, и Русская православная церковь за рубежом действительно были насыщены людьми, сотрудничавшими с Лубянкой. Потому что была изначальная слабость, изначальное родство между наиболее консервативной частью контрреволюционной эмиграции и Лубянкой. И это родство именно в согласии делать праведное дело неправедными средствами, это родство революционеров и контрреволюционеров в презрении к свободе, в ставке на силу, в национализме, переходящем в нацизм. И вот это действительно делает эмиграцию, в том числе церковную, очень и очень уязвимой для манипуляций.

Андрей Шарый: Если попытаться посмотреть на проблему отношений между Русской православной церковью и спецслужбами, как на часть общей картины того, что происходит сейчас в России, есть ли, на ваш взгляд, какие-то пути изменения этой ситуации?

Яков Кротов: Следует помнить, что не только православная церковь пронизана влиянием Лубянки. С 1922 года, когда большевики стали трудиться над созданием лояльных властям верующих, они дрессировали всех – и православных, и протестантов, и католиков. Как историк я думаю, что сопротивление властям изнутри церкви обычно оказывается бесполезным или, во всяком случае, социально незначительным. Главная проблема в том, чтобы изменить жизнь в России целиком. То есть церковный человек не должен ставить своей задачей спасти церковь, он должен ставить своей задачей быть гражданином, который лоялен к правде, лоялен к свободе, лоялен к чести, лоялен к добру. И спасать нужно страну, в которой ты живешь. Если страна возродится, она освободится от наследия коммунистического, от наследия материализма, цинизма и вот этих манипуляций в подходе к миру и человеку, тогда и в церкви будет хорошо. Но это всегда следствие, а не цель. Церковь как мистический организм в спасении не нуждается. Церковь как социальный организм спасется вслед за спасением социума, общества.

Андрей Шарый: Яков, то есть вы можете предложить только моральный, духовный путь обновления общества и церкви, верующих в том числе, а инструментов политических, политологических, на ваш взгляд, не существует?

Яков Кротов: Верующий человек любой конфессии должен идти на митинг, должен идти на выборы не с мыслью о том, чтобы помочь церкви. Он должен идти на митинг, защищая неверующего бизнесмена, защищая иноверца, которому дубинкой ребра переломали в милиции. То есть он должен быть, говоря языком Аристотеля, человеком политическим. Он должен заботиться о мире в обществе, о соблюдении прав, о соблюдении законов, а не отдельно о том, чтобы хорошо было для церкви. Это все равно был бы эгоизм, только на религиозной почве. А политическая деятельность включает в себя широкий спектр средств – митинги, голосование, просветительская деятельность, в конце концов, просто разговоры с близкими, потому что именно отсюда рождается настоящее политическое общество.



артист театра и кино, писатель. Живет в России.

ТЕНЬ*

Ощущения после ужина у товарища Сталина и размышления вокруг них

Самолет опоздал на два часа. Да еще на два часа вперед скакнуло местное время – летели-то на восток. На часах 5.20. Мороз под тридцать градусов. Не-проглядное утро. Столица Урала. Кого жалко, так это встречающих: каково торчать в аэропорту полночи?!

Но люди тут крепкие. Улыбаются.

Группу погрузили в наемный автобус, а нас – начальников и «звезд» – в милицейскую машину. Круто рванули с места, и понеслись за стеклами слабо освещенные лунной снежные пустоты, заштрихованные беспорядочным мельканием черных стволов и мелких неразличимых строений. Ну и скорость! И водитель хорош, и колеса, видать, хорошо держат, льда не боятся. Дорога почти пуста. Почти. Иногда плетется по ночному морозу какая-то полуторка или совсем уже неуместный «жигуленок». Скорости несопоставимы – обогнать эти утлые транспорты ничего не стоит, и встречная полоса пуста. Но наша машина демонстрирует свои добавочные возможности: сперва раздается в ночи громовой радиоголос: «22–76, принять вправо, остановиться!!!», а встык с текстом взывает грозная, заполняющая все пространство сирена. И дрогнул «жигуленок», и затряслась по кочкам, скривилась на обочину полуторка. Ух, как мы рванули!

Вот и город. Просыпается уже – город трудовой. Первый трамвай. Окна в домах окраины засветились кое-где. Скрюченные морозом прохожие. Толпа на остановке – ждут. «Пропустить колонну!» – гремит наша машина. Шарахают-

* Континент. 2006. № 126.

ся люди. Застыл трамвай. Не осмелился завернуть по скрипучим рельсам. «Пропустить колонну!» Какую колонну? Автобус наш давно отстал. Мы одни, мы летим по трудно просыпающемуся городу. Куда мы летим? Почему мы проскакиваем перекрестки на красный свет? Почему заставляем остановиться все вокруг себя и пугаем темноту воем sireны?

– А это так у нас гостей встречают! – широко улыбается офицер за рулем. – Это вам подарок по приказу начальника.

– Э-э... слушайте, не надо бы так... Чего народ пугать? Мы же не опаздываем...

Ответ:

– Андрей Андреич очень вас уважает. Сказал, чтоб по первому классу.

Я с этим сталкивался не раз. Андрей Андреич, Алексей Алексеич, Прокофий Прокофьич, вообще любой местный начальник оказывает почетному гостю уважение не тем, что показывает достопримечательности, обычаи, местный уклад жизни, устав, так сказать, «своего монастыря». Нет! Он радостно демонстрирует, что ничего здесь нет, кроме нарушения обычаев, законов, устава, логики. Есть ВЛАСТЬ. Его ВЛАСТЬ. Есть ВСЕвластие на вверенной ему территории. И на данное время твоего пребывания на данной территории Его власть – твоя власть, и тебе предлагается это испытать и восхититься. Только заикнись...

– Эх, жаль, что еще закрыто...

– А мы откроем!

– Он уже ушел.

– А мы догоним!

– Она спать легла, поздно...

– А мы разбудим!

– Здесь природоохранная зона, чего же мы с ружьями...

– Ничего, нам можно.

Варвар! (он). Гунны. Скифы (мы вместе с ним).



Ехали с водителем радиостудии. В жаркой автомобильной пробке застряв, разговорились. Его повышенного качества речь – удивила. Литературная осведомленность, тонкий веселый юмор... – интеллигент?! Оказалось, два высших образования.

– А почему шоферите?

– Биография такая.

Глубже в душу влезать неделекатно. А шофером он был и у одного из наших премьер-министров, очень знаменитого и долгого. Пошли рассказы про него, про премьера. Тот вообще с трудом слова складывал в фразы, больше восклицал и матерился. Шофера своего ценил, потому что мог посоветовать, как что называется и где в слове ударение ставить.

Я спросил:

– А как же он, по-вашему, с такими речами такой вершины власти, а потом и вершины богатства достиг?

Вот какой ответ шофера был:

– Он, знаете ли, тем силен, что для него все люди, то есть АБСОЛЮТНО ВСЕ, – быдло! Он это сам так говорил, и в данном случае четко формулировал. А? Интересные у нас местные цари-батюшки и верховные слуги народа?! Вот такое было предисловие. А теперь к теме.

1. В теле Вождя

Никогда и во сне не могло мне присниться, что я буду играть И. В. и что будет это мне крайне интересно.

Быть властью мне в жизни не довелось. Варианты были, но сторонился я всегда этого. А вот играть власть на сцене приходилось – и немало. И должен признаться, это совсем особое ощущение. Играл я режиссеров, от которых зависит труппа. А режиссер это большая власть, почти абсолютная. Играл Мольера («Мольер» М. Булгакова), Директора театра («Два театра» Е. Шанявского), Фоглера («После репетиции» И. Бергмана). Эти люди распоряжались судьбами своих подчиненных не только на сцене, но и в жизни. Но это власть художественная, можно сказать, власть гениев.

Совсем другое дело верховные правители. Играл министра идеологии и пропаганды Дживолу (Геббельса) в «Карьере Артуро Уи» Б. Брехта, главного военачальника – заглавную роль в «Кориолане» У. Шекспира. Играл и королей – фантастического Беранже I («Король умирает» Э. Ионеско) и реального исторического Генриха IV («Генрих IV» Шекспира). Побывал в шкуре современного диктатора – Рамона Онофре, прототипом которого был Пиночет (фильм С. Р. Аларкона «Падение кондора»).

Большее или меньшее количество раз я жил в телах этих людей – повелителей, правителей, тиранов. Повторю: я ощущал себя совсем иначе, нежели когда во мне воплощались жертвы, борцы, художники, артисты, рабы, подчиненные. Этих, последних, было в моей жизни больше. Естественно – один диктатор на десятки, сотни и тысячи подданных.

...И вот на закате моих дней (не правда ли, красиво звучит: «на закате»?) в зимний метельный вечер я подъехал на большой машине ЗИС, насквозь миновав многочисленные посты охраны, к «моей» Ближней даче, не снимая тяжелую шинель и фуражку, вошел в гостиную, и дежурный офицер принял под козырек и доложил, что «все в порядке, Иосиф Виссарионович!»

21 декабря 2004 года, в день 125-летия со дня рождения Сталина, я сыграл диктатора полумира в пьесе Иона Друцэ «Вечерний звон (Ужин у товарища Сталина)».



Восемнадцать лет своей жизни, то есть до полного совершеннолетия, я прожил при власти Сталина – припомним, при абсолютной власти. Он для меня не неведомый, чисто художественный, говорящий стихами Генрих IV, а

реальность – грозная, безмерно опасная и (в силу пионерского воспитания) – притягательная.

Потом он умер. Потом его внесли в Мавзолей, нарушив одиночество другого абсолюта – Ленина. Потом его вынесли из Мавзолея. Его стали разоблачать, свергать и проклинать (посмертно!). Он – оттуда! – терпел. А потом... Потом он стал снова проявляться из небытия, как фотографическое изображение при проявке, и слово «сталинизм» стало реальностью, с неправдоподобной скоростью меняя знак минус на знак плюс и обратно.

Репетируя роль, я думал о природе власти. О предназначенности данного человека быть носителем власти. Когда в зрительный зал пришла публика, я вслушивался в реакции сидящих в темноте – в их покорное оцепенение, в их попытки осмеять свою покорность. Осмеять и саму власть в лице актера. Я давал им возможность почувствовать свободу от этой власти – это все, дескать, игра, театр, это все уже в прошлом, вы можете насмешничать, не бойтесь, сам он не страшный, это актер, кукла... А потом – переменной внешности, приближением к натуральности, сменой интонации, снова заставить зал ЗАМИРАТЬ, потому что, даже игрушечная, даже загримированная, РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ опасна и беспощадна.

Я вслушивался в себя – как откликается мой внутренний мир на возможность проводить пальцем по школьной географической карте и намечать пути движения мира. Расчленять проблемы развития жизни, которые затронут миллионы судеб. Как шутить, чтобы люди через пятьдесят и через сто лет повторяли с ужасом (и восторгом!) эти жестокие шутки. А ведь так и происходит, и афоризмы Сталина (или апокрифы? – но это неважно) и сейчас цитируются и передаются в устных преданиях, как в дописьменные варварские времена. И жестокая смертельная графичность его формул противопоставляется размытости и вялости речей нынешних правителей.

Я ходил по сцене его походкой. Я легко научился чувствовать сухой и неподвижной большую левую руку. Я полюбил странную игру в звонки НА ТОТ СВЕТ по аппарату спецсвязи. Шутка и угроза. Юмор и пророчество. Страх и преодоление страха. Я припоминал других тиранов, в телах которых я жил. Хромой Геббельс, Генрих с пылающими внутренностями, Рамон с чудовишной головной болью, разрывающей пустую черепную коробку. И я ощутил, а потом и понял – ВЛАСТЬ (настоящая, абсолютная) не имеет обратного хода. Она не имеет границ, стремится к бесконечному расширению. У нее есть только один предел. Этого предела она страшится, с ним она сшибается, во имя победы над ним укрепляет себя безостановочно. И этот предел – единственный и ужасный, неизменно висящий над властью и опровергающий ее, этот предел – СМЕРТЬ.



Когда власть ускользает из рук, идет борьба, царит азарт реальной битвы. В ход идут любые средства. Древний византийский двор мало чем отличается от средневекового Ватикана и жутких хитросплетений русской истории вре-

мен Ивана Грозного, Годунова и Лжедмитриев. Но вот ВРАГИ устранены. Все!!!! ...или... не все??? Исчезают ВРАГИ... – и необходимы ВРАЧИ. Чертово колесо. Остались змеинные яйца. Заговор зреет! Подозрительность – профессиональная болезнь диктаторов. От обилия заседаний – геморрой, от переизбытка власти – паранойя.

Когда профессор Бехтерев поставил Сталину этот диагноз, вождь обиделся. Обида вождя страшнее гнева. Гнев может и пройти, обида – никогда! Я со стороны вижу, какой я был, когда меня обидели. Это и есть паранойя – расщепление сознания, раздвоение личности.

2. Взгляд снаружи

Раздвоение? Личности? Значит, личность ЕСТЬ? Или была? Может ли ничтожество взойти на трон или на вершину власти? На трон – случилось – в порядке наследования. А на вершину – снизу вверх? Из грязи в князи, а??? До каких пор своей жизни властелин selfmade двадцать раз на дню думает: «Неужели это я, битый, униженный, всеми отвергнутый, неужели это я одним словом, одним движением руки могу каждого и всех сразу двинуть, остановить, поднять, опустить, позволить или ликвидировать?!»

Или это детские мысли? Мысли, которые приходят в снах, когда грезится возможность мести всем обидчикам, а потом, в реальности уже, забываются. И тогда кажется, что ты вовсе не мстишь, а действуешь абсолютно рационально, во благо всей ИМПЕРИИ, потому что только император знает благо ВСЕЙ империи. Все остальные – это частные лица, а он единственное собирательное лицо. И потому он не может ошибаться. Все могут, а он не может! ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ ЗАХОТЕЛ, ОН НЕ МОЖЕТ ОШИБИТЬСЯ!!!

Для наследника престола такое самоощущение есть подтверждение его божественного благословения. А для поднявшегося на вершину от подножия, снизу – ослепительное впадение в безумие: я не только сам себя создал, я ВСЕ ЭТО создал, я отец всему, я альфа и омега и, значит, я... творец, я? ..!!!!!!

Все стало ясно! Стало видно во все стороны до бесконечности! И лишь одна преграда – ТЕЛО! Оно болеет. Оно болит. В нем дефект. Оно нашептывает забытую ужасную отраву жизни: ты – смертен!

3. Взгляд изнутри

Такое простое желание у вождя – провести домашний вечер. Побывать одному (ну, разумеется, с охраной и обслуживающим персоналом), поужинать, не перегружаясь напитками и закусками, подумать в тишине. А чтобы тишина не давила, послушать хорошую (и хорошенькую) молодую певицу под аккомпанемент струнных. Надоели рожи соратников, надоели бесконечные их византийские интриги. Пусть будет просто тихий культурный вечер. Может, и дуэтом споем (у вождя неплохой слух)...

Так нет же! Не получился дуэт. Чертовщина какая-то! Двести миллионов че-

людей в любой час суток ждут его слова, его приказа. Полмира с тревогой и страхом приглядывается к каждому его поступку. А тут девчонка, обученная, профессиональная, не может справиться со своей колоратурой. Чего она пугается? Людоед он, что ли?! Он ей Сталинскую премию дал, а она трясется... то ли от почтения, то ли от восхищения, то ли еще от чего. Что такое, в самом деле?! Кричат «Ура-а!», с портретами его ходят, клянутся в любви и верности, поют хором: «Мы все как один...» Не надо все! Пусть один... одна... не клянется в любви, а любит! Нормально пусть ведет себя. Так нет, не получается! Взбеситься можно. Хочется прямо со света сжить таких неблагодарных, таких фальшивых. Вся страна из таких состоит, никому верить нельзя. Предадут при первом удобном случае... А вот мы их опередим! Чтобы не ошибиться в политике, надо смотреть вперед, а не назад. В замысле все правильно, но что-то разладилось в механизме. Надо найти виновных и примерно наказать! Чтоб неповадно было!

(Это я рассказал канву сюжета нашего спектакля.)

4. В стране и в мире

От жилого квартала до автобусной остановки – прямо, после налево – километр. А если срезать по пустырь, через мостки по грязи, а потом отодвинуть доску в заборе и напрямик, то почти вдвое короче. Так все и идут. Летом по траве, зимой по снегу протоптали тропу, поверх мостков еще и кирпичи наложили, доску в заборе вовсе оторвали. И наконец, полыхнуло в сознании: нам здесь нужна дорога!

Узнали, чей пустырь, чей забор, чья грязь. Сложились, нажали на администрацию через выборного муниципального советника, выкупили дорогу и сделали тут асфальтовый проезд. Тогда и остановку перенесли. Стала она рядом с домами. Это называется местное самоуправление. И еще это называется – демократическое сознание. Это бывает там, в каких-то других странах, называемых длинным словом *цивилизированные*.

Не очень верится, но говорят, что так бывает. Там!

Теперь, что у нас. Та же ситуация: квартал многоэтажек, километр до автобуса, пустырь, мостки, дыра в заборе.

Наши действия. Раз в неделю, год за годом, оторванную доску находить и прибивать обратно. Это раз! Второе – мостки из грязи выволакивать, чтобы было непроходимо. Пустырь перекрыть колючей проволокой.

Ответные поступки. Под колючку подлезать, не жалея одежды и кожи, по грязи идти вброд, от забора оторвать две доски.

Действия. На пустыре поставить будку с охраной, на месте забора построить кирпичную стену.

Ответ. Охрану смазывать мелкими взятками, в стене проделать пролом.

И так далее...

К чему это я? К тому, что на протяжении всей истории реформы в России шли только сверху. Реформа снизу ВНЕ СОЗНАНИЯ – как верхов, так и низов.

В противостоянии власти (в данном случае – местной) и народа (в данном

случае жителей многоэтажек) постепенно образуется довольно прочная взаимозаинтересованность. Ведь люди, которые доску обратно прибавляют, они из этих же домов. Да и сторожа в будке – они из местных. Однако они уже вроде при должности, они уже вписались в пирамиду. Они тоже власть. Очень малая, но власть. Они кормятся с этих своих должностей. А потом еще надзирающие органы появляются – надо же следить, кто и когда под колючку лазит, нарушает запрет. Тут и приглашенные, сторонние люди появляются. Но чтобы разобраться в обстановке, сторонние набирают себе явный и тайный штат помощников из местных – без местных не разберешься.

Вот и структура, где уже ПО ЛИЧНЫМ причинам или ИЗ СТРАХА (соседи, которые при власти, всегда опаснее) БОЛЬШИНСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ борьбу с попытками проложить новую дорогу через пустырь. У нас своя дорога! Она длиннее, но она наша! Вопрос: а кто же все-таки ночами ломает кирпичную стену, кирпичами же пытается наметить путь через грязь и даже, бывало, колючку в клочья рвал? Ответ: а черт его знает! Такой народ! А может, это и не наши? Может, со стороны враги какие? Все может быть, но факт есть факт: вовсе мы не дураки, понимаем, что пустырем путь ближе, и в мороз, и в слякоть имеет это большое значение, мало того, каждый поодиночке мы стараемся именно так и ходить, но все вместе мы боремся и будем бороться с этим вредным направлением, и борьба скрепит ряды наши, и вся-то наша жизнь есть борьба!

Эта бессмыслица взаимоотношений густеет, каменеет, уже не булькает, как манная каша, а твердеет и становится полностью несъедобной. И все же она существует. И материал, из которого она сделана, не крупа и вода, а множество человеческих жизней с их судьбами, с их душами, с их потомством, с их бедами и небом над головой.

Это притча, сказочка. А в государственном масштабе бывает все не так просто и примитивно, но зато и не «пирамидка» образуется, а несдвигимая гранитная ПИРАМИДА, в которую ВСЕ СВОИ вмонтированы, а чужие только издали смотрят и глазами моргают – то ли от удивления, то ли от страха.

5. POWER

Сталин в нашем спектакле после ухода певицы Надежды Блаженной, сделав намек понимающим его людям, что, видимо, скоро с этой слишком самостоятельной молодой женщиной должно случиться несчастье, помолчав, пошав в зад-вперед по кабинету, вдруг взрывается криком: «Никогда! Никогда не построим мы великое государство. Если не сумеем проникнуть внутрь этой... ягодки!» – и отбрасывает виноградину, которую держал в пальцах.

Это так! Это правильная фраза. Это хорошая фраза!

Душа бессмертна. Душа открыта. И при этом она – непроницаема.

Непроницаема! Отсюда гнев Сталина.

Власть стремится к увеличению самой себя. Любая власть – государственная, власть денег, духовная власть, власть авторитета... Любая. В некоторых обществах (такая у них наследственность) стремлению власти к безгранично-

му расширению ставят границы, находят противовесы. Там, где этого нет, образуется диктатура, тирания, тоталитаризм. Диктатура начинается с требования подчинения. Но обязательно переходит ко второму этапу – требованию ее (диктатуры) прославления. Любить надо диктатуру! Процесс углубляется – нужны не знаки любви, а искренняя любовь. За этим надо следить! Возникает служба проверки на лояльность. Да, мы знаем, что ты говоришь правильные слова, но!.. Надо проверить, ВЕЗДЕ ЛИ ты их говоришь и ВСЕГДА ЛИ? Наконец, ОТ ДУШИ ЛИ ты так говоришь? Есть ходячее выражение: «Не лезьте ко мне в душу!» О-о! Еще чего! Именно в душу к тебе и лезем. Именно за этим создаются дорогостоящие спецотделы, структуры наблюдения, органы слежения, институты психологического контроля.

«Никогда не сможем построить мы великое государство, если не проникнем ВНУТРЬ этой ягодки!»

Противостояние двух несопоставимых сил – мощь государства и то зернышко внутри человека, которое делает его существом по образу и подобию Божию...

6. Вкратце о безразмерном

Что вначале: яйцо или курица?

Человек великолепно и разнообразно научился уничтожать жизнь и сейчас стоит на пороге рукотворного сотворения жизни (генетика, клонирование, роботы, виртуальное пространство и прочее). Свершится ли это? Возможно ли это?

Это не схоластика. Это вопросы сегодняшнего дня. Вопросы для тех, кто думает не только о времяпрепровождении в сегодняшний вечер, но и о завтрашнем утре.

Что раньше и что сильнее – СТАЛИН или СТАЛИНИЗМ?

И это тоже не вчерашний, это сегодняшний вопрос. Откуда он взялся, сталинизм? Из воли и коварства одного человека, бывшего семинариста, сына грузинского сапожника?

Мы уже подзабыли былую эмблему времени – четырехголовый портрет: Маркс–Энгельс–Ленин–Сталин. В нем было прочерчено происхождение нашего социализма. Марксизм – мощное теоретическое ИНОСТРАННОЕ, переведенное в том числе и на русский язык, учение. Ленинизм – практика бунта в мировом масштабе, главный принцип которого – интернационал. Сталинизм – могучий российско-имперский общественный строй, распространившийся на громадной территории с очень жестко замкнутыми при этом границами и, в силу своих размеров и возможностей, имеющий огромное международное влияние – и как пугало, и как остережение, и для определенных кругов – как светоч.

В пьесе «Вечерний звон» реальный Иосиф Виссарионович Сталин в расцвете своего могущества и своих возможностей хочет на пару часов организовать НОРМАЛЬНЫЙ вечер для себя. Надоели заседания, хитросплетения международной и внутренней политики. «Надоели их рожи», – говорит он о своих соратниках по вечной борьбе. «Как грузин, обожающий вокальное ис-

куство» (так он себя называет), он хочет организовать маленький классный концерт с единственной солисткой. Пусть будет маленькая сцена, будет маленькая арфа и струнное трио. Пусть, как положено, объявят солистку, пусть ее наградят Сталинской премией со всеми вытекающими благами. И пусть поет! А? Простое дело?! Благое дело?! Душевное дело?! А?

НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! Получается «балаган, цирк!» (как кричит в гнев вождь). И заканчивается все опять-таки созывом политбюро, списками врагов народа, взрывом подозрительности, параноидальным ощущением, что «сама земля саботирует». На вершине своей власти Сталин **НЕ МОЖЕТ** создать ничего человеческого. Он может создавать **ТОЛЬКО СТАЛИНИЗМ** как угнетение, давление, уничтожение. Сталинизм **СИЛЬНЕЕ** Сталина.

Этот парадокс – внутренний смысл спектакля.

Так на чем же держится эта сила? Вопрос! И куда девалась эта сила? Исчезла со смертью вождя? Вопрос! Ведь и при жизни его она существовала отдельно и превыше него. Где она? Сталинизм – когда он родился? И **УМЕР ЛИ ОН?** Большой вопрос!

Вот слепая позиция, которая весьма прижилась в нынешнее время.

Была великая, благополучная страна, которая кормила себя и полмира и вот-вот должна была перегнуть по всем показателям все страны и при этом принести им благодать. Страну эту мы потеряли. Пришли чужие дядьки, большей частью евреи и другие инородцы, на немецкие деньги купили они несознательных русских солдатиков и матросиков. На те же деньги убили русского царя, порушили церкви, и семьдесят лет эти душегубы разбойничали на русской земле. Теперь кончилась их власть. Трудно, но стараемся восстановить то бывшее, имперское благоденствие и, если не помешают злые внешние силы, опять будем великой державой и если не пупом, то, во всяком случае, одним из полюсов мира.

На мой взгляд, это позиция слепых, глухих, лишенных памяти, но весьма говорливых людей.

Высказавшись столь категорично, я вынужден далее формулировать свои мысли в виде прямых утверждений. Я не буду каждый раз оговариваться, что, дескать, это мое личное мнение, что возможны другие точки зрения, что, с одной стороны, это так, но с другой – может быть совершенно иначе. Пожив некоторое количество часов в теле Вождя, я хотел бы взять себе право, сохраняя собственные убеждения, воспользоваться его манерой абсолютной безапелляционности. Прошу поверить, что позволяю себе это заимствование только в целях ясности и краткости изложения.

Итак! Один из коренных вопросов: Россия страна нормальная, как другие европейские страны, как, скажем, Франция, Швеция, Португалия, или она все-таки особенная?

Ответ. Нет, она не как все европейские страны, она особенная. Она отличается (и всегда отличалась) даже от своих бывших окраин – Финляндии, Польши, Прибалтики.

Вопрос. Это хорошо или плохо?

Ответ. Это так есть. Я вовсе не собираюсь умалять достоинств моей родины и низкопоклонствовать перед всем иностранным, но это факт: Россия – другая. ВСЕ ОНИ психологически ближе друг к другу, чем к нам.

Почему???

Потому что буквы разные. У всех у *них* латинский алфавит. С некоторыми отклонениями, но все же единый – латинский.

Второе, и важнейшее, – религия как внутренняя генетическая традиция шкалы ценностей, как тайный код смысла жизни. И опять заметим – католицизм и протестантизм со всеми ответвлениями вроде англиканской церкви – ВСЕ ОНИ ближе друг к другу, чем к нам.

Великий наш современник папа Иоанн Павел II сказал, что католицизм и православие – два легких, которыми дышит единый организм Европы. Прекрасная мысль. Если речь идет о поддержании мира и равновесия в мире, то так и есть. Можно бы то же сказать о двух полушариях мозга – оба необходимы, оба божественны. Но! Соединиться им не дано! И всегда одно полушарие будет порождать образы, а другое логику. И различие здесь не Византии и Рима – это слишком древнее, а России и Европы. Потому что, скажем, Греция по происхождению более Византия, чем мы. Но Греция – Европа, а мы – Россия.

И третье – исторические несовпадения.

Языческая культура Древнего Рима и Древней Греции с их законами, с их идеалами играла образующую роль при создании европейских наций. Христианство пришло из Иудеи, распространилось, как пламя, и стало второй образующей. В противоречиях этой смеси шли взлеты и упадки разных частей Европы.

Языческая Русь приняла христианство в его византийском варианте. В одной упаковке пришло все сразу – константинопольская тень римской культуры, Ветхий Завет и Христово Евангелие.

Тогда и началось несовпадение циклов.

По многим источникам, Киевская Русь была могущественным и культурным государством. В это время большая часть Европы погрязла в упадке и распрах.

Далее, скакнув через несколько веков, – в Европе началось нечто, именуемое эпохой Возрождения. Расцвет искусств, создание университетов как центров свободной мысли. Именно в это время Россия несла на себе тяжесть татаро-монгольского ига и дичала.

Рабами в Европе были побежденные и захваченные в плен иноплеменики. Так же, видимо, было и в Древней Руси. Но к тому времени как в Европе образовались нации, с рабством было покончено. А в России в это же время постепенным закрепощением превратили в рабов СОБСТВЕННЫХ, ПРЕЖДЕ СВОБОДНЫХ, КРЕСТЬЯН. И длилось это рабство 500 (пятьсот!) лет – аж до нового времени, когда в Европе была разработана теория и осуществлена практика свободы личности.

Смена верховной власти всегда и везде была серьезной проблемой. В Европе власть колебалась от монархий до республик, от единодержавного до коллективного и даже народного правления. В России всегда князь, царь – безого-

ворочно верховный правитель. (Краткие исключения – Новгородская республика и смуты междоусобия.) Более того, в России всегда власть была близка к обожествлению.

В Европе император Константин крестился, когда значительная часть населения его страны были уже христианами. Путь христианства СНИЗУ ВВЕРХ. В России великий князь выбрал религию и крестил своих подданных. А начиная с Петра Великого и формально главой церкви и предстоятелем перед Богом стал император. Путь христианства СВЕРХУ ВНИЗ по вертикали.

(«Православие, самодержавие, народность» – на этом триединстве прочно стало правление в России в XIX веке, когда Европа, независимо от форм правления, окончательно разделила светскую и духовную власти. Нынешнее фундаменталистское крыло православия прямо возводит убиенного большевиками царя не только в святые, но почти в распятого Христа, как и саму революцию в жидовский синедрион.)

А теперь взглянем на русскую историю глазами светлых умов, составивших мировую славу России и именуемых классиками. Отнесемся к ним просто как к частным, честным свидетелям и увидим, что к этому времени сочетание слов «самодержавие и православие» превратилось в полицейскую удавку, а говорить о «народности» в стране, где высший класс даже изъяснялся на другом языке и где откровенное рабство большей части населения было законом, – кощунственно. «Россия, которую мы потеряли» явлена нам не только умилением перед царем, купцами-благотворителями и крестьянами, любящими своих господ, но свидетельствами и оценками Пушкина, Герцена, Белинского, Гоголя, Достоевского, Толстого, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Горького, Короленко. И это Россия, изнемогающая под гнетом несправедливости, муки, страданий, голода.

Социальная революция набухла во всех странах. Но чудовищным обвалом рванула она в России, потому что здесь неестественность жизнеустройства дошла до последнего края. И только на этой волне могли большевики найти поддержку чудовищному перевороту жизни. Поддержку! Она была! Потому что ни на какие деньги, будь их хоть триллионы, нельзя купить все население гигантской страны. И никаких евреев не хватило бы, чтобы одурочить и закабалить 150 000 000 неевреев.

Был переворот, бунт, революция. Жесточайший взрыв уничтожения прошлого. Энергия, подобная атомной, сметающая всё и вся. Но сильнее даже этой энергии злобы, мести, надежды был тысячелетиями созданный КОД СОЗНАНИЯ. Эта особенность страны, где рабами было собственное население, где богом был царь, где свет и истина шли только сверху, где вместо креста – пересечения вертикали и горизонтали – была одна только вертикаль – палка, которой грозят и бьют.

Царя свергли и убили, Бога нет, и храмы разорены. Но генетический код требует вертикали власти и вертикали безоговорочной веры. Только поэтому в кратчайший срок из пустоты, из полного незнания возникла сходная система, только в вывороченном виде. И уже казалось – сбылось речение Откровения Иоанна Богослова и явился антихрист – сразу со всем воинством.

Может быть, вовсе неосознанно, но случилась для русского человека подмена. И борода Карла Маркса совершенно сгодилась для бога-отца, а бог-сын – Ленин. И потому уже в 24-м году (всего 7 лет после великого обвала!) прощались с ним как с богом и тайно ждали воскресения. Воскресения не последовало. И тогда – точно следуя логике нового культа и так сходно с древним фараонским культом Египта – его забальзамировали в ожидании восстания из мертвых. Бессмертие было объявлено в лозунгах и стихах. И десятки лет ходило население стотысячными очередями глядеть: не ожил ли?

Был и третий сочлен антихристовой триады (чтобы не сказать – троицы) – святой дух Армагеддона – тот самый «непорочный, неприкасаемый», исходящий от отца и сына, но в результате САМ ВСЕ творящий и НАД ВСЕМ витающий. И это был Сталин.



В последнем акте нашего спектакля Вождь размышляет вслух и поучает своего загробного оппонента психиатра Бехтерева: «Много веков Россия хотела стать Третьим Римом. И не стала, потому что русские цари плохо учили историю. Из знаменитого латинского постулата "Разделяй и властвуй!" они умудрились усвоить только вторую часть – "Властвуй!" А надо было учить первую – "Разделяй!" Тогда вторая придет сама собой».

Сталин прекрасно умел разделять для того, чтобы властвовать, и властвовать для того, чтобы разделять. Одних барски наградить, других арестовать. А потом еще взять и поменять местами. Поставить на людей клеймо классовой принадлежности и противопоставить один класс другому. Диктатура пролетариата должна уничтожить прежде господствовавший класс и все его производные. А сомнительное крестьянство – бывших недавних рабов – разделить на кулаков, середняков, бедняков и всех натравить друг на друга. Выселять целые нации и помещать их внутрь других, с которыми они несовместимы.

А лозунгами этой общности, стоящей на насилии, сделать – «Народ и партия едины», «Партия и Ленин – близнецы-братья», «Сталин это Ленин сегодня». И вот простой силлогизм дает сумму: «Сталин это народ» и «Народ это Сталин».

«За Родину, за Сталина!» – поднимали командиры солдат в атаку. Сегодняшние скептики говорят, что это была пустая пропаганда, в которую никто не верил. Это неправда. Лозунг был внятен людям и вместе со «ста граммами» помогал преодолевать страх смерти. Была неосознанная религия – социализм, был бог – Сталин, и был загробный рай для потомков – коммунизм.

Конечно, не все в это верили. Естественно, существовала прослойка самостоятельно мыслящих, были люди, по разным причинам не приемлющие и строй, и его лозунги. Но ведь и в православной России Романовых тоже жили среди других и богоотступники, и богоборцы, и цареубийцы. И была огромная масса, которая, как при любом строе, жила, чтобы выжить, погруженная в ежедневные тяготы; формально выполняла требуемые обряды, а сама маленько хитрила, маленько веселилась, размножалась – и все, и только! Но особый пси-

хологический код, вне их воли и разума, заряжен был в них столетиями неподвижного рабства. И при этом тоже был объявленный монолит – тот самый, тройственный – «Православие, самодержавие, народность!» И тоже было сознательное (которое строго блюли!) РАЗДЕЛЕНИЕ. Название было другое – делили не на классы, а на сословия. Державная философия того времени тоже говорила: именно сословное разделение – опора самодержавия, рабы должны оставаться рабами, инородцы должны оставаться инородцами. И даже великий Гоголь в полубезумии своих последних лет восславил крепостное право как благо для господ и для крестьян, ибо «так Господь установил». Таков взгляд сверху – от господ.

А чеховский Фирс из «Вишневого сада» говорит: «Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь. – Перед каким несчастьем? – Перед волей». Это взгляд снизу – от крепостных.

Чехов скорбел и смеялся над этим, но писал правду – Фирс-то говорил не для смеха. Он так думал. А потомки его и по сию пору так чувствуют. Воля – это беда! Потому что «от людей». А крепостное состояние – от Бога. Надо терпеть. Терпением и свята Русь.

Подмена Христа на антихриста иногда была принята даже жертвами этой подмены. В кругах эмиграции после ужасов Гражданской войны и первых лет советской власти, вызвавших решительное отрицание, позднее решительность поуменилась. А еще позднее некоторые стали в позицию «нового великодержавия»: коли есть держава и сильна империя, то даже без креста, даже с застенками – это наша Русь. Только поэтому ГПУ и КГБ могли столь успешно вербовать сотрудников в среде, казалось бы, враждебной. И в непостижимых покаяниях и самооговорах бывших соратников – Бухарина и других – на чудовищных процессах, кроме страха, был еще и религиозный момент – восторг самобичевания в вывернутой наизнанку вере в высшее существо. И в прославляющих власть речах Мейерхольда, Немировича-Данченко, в поэмах Маяковского (людей, несомненно, великих) был не только и даже не столько страх, сколько вера или попытка веры в новую религию.

7. Многоotchие...

В финале нашего спектакля нет поклонов. Мужской хор поет строки православного хора Альфреда Шнитке, опускается серая сетка, и за ней исчезают очертания кабинета Сталина. Все. Если публика настаивает и продолжает аплодировать, кланяются все персонажи, кроме Сталина. Если же аплодисменты еще продолжают, Вождь является в проеме тайной двери в стене и приветственно поднимает руку, благословляя восторг своих подданных.

И снова поставим вопрос: Сталин умер более полувека назад. Умерло ли с ним явление, которое мы называем сталинизмом? Когда родилось оно? Чуждо ли оно генетическому коду нашего народа? Или сталинизм эксплуатировал некоторые психологические черты, органически нам присущие?

Почему еще недавно портрет Сталина можно было видеть на лобовых стек-

лах многих грузовиков? Почему старые люди с красными флагами толкуются на площади и раздают листовки с портретом Сталина? Мне скажут: не обращайтесь внимания! Это дураки, выжившие из ума, или им заплатили гроши за эту суету вокруг пустоты.

Может быть. А может, стоит вслушаться в эти голоса? И поговорить с этими людьми? А? Они ведь тоже наш народ, и тоже потомки двух империй – той, дальней, романовской, и этой, недавней, сталинской. Это потомки рабов и надсмотрщиков, которые в генах несут тяготение к хлысту, правящему жизнью, которые готовы все стерпеть и непрерывно призывать других терпеть и смиряться. С ними надо говорить не для того, чтобы набраться их духа, нет! Для того чтобы понять: пока раздаются эти голоса (и это «пока» будет длиться довольно долго), демократия и свободное волеизъявление народа будут давать поразительный результат. Народ вроде голосует, чтобы ему же было хуже. Мы потерпим, лишь бы государству вреда не было. Да, бедствуют, да, недовольны, да, говорят – обижают нас чиновники. А особо всякие чужаки гадят, от них все. Надо бы такого крепкого Большого хозяина, чтобы погнал их всех. За такого мы горой, вот за такого мы все стерпим, всех порешим... и при этом мухи не обидим. Господи! Что это? Интеллигентам только и остается восклицать: «Россия, ты сошла с ума!»

И правильно ли вычеркивать из учебников истории 70 лет советской власти как черный пропуск? Так нас, школьников 40-х годов, обязывали заливать чернилами в учебнике портрет очередного арестованного бывшего вождя.

Мы ищем идейную опору для нашего народа, для себя. Мы хотим воспитать в народе и в себе патриотизм. Слова эти стерлись до полной невесомости. Нельзя быть патриотом страны, в истории которой просто залиты черной тушью несколько поколений – жизнь отцов, дедов и прадедов тех, кто начинает жизнь сейчас. То, что было в те годы, не тогда началось и не тогда кончилось.

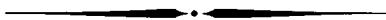
В эту жизнь нужно взглядеться и попытаться понять ее. Никуда не деться – это часть нашей истории. И не злые ветры занесли эти семена. Корни надо искать в нашей земле, чтобы понять самих себя.

Мне скажут: а вот другие нации... вот немцы... вот японцы... там тоже был тоталитаризм, так они...

Немцы и японцы, наверное, тоже думают о себе – ищут, находят, ошибаются, снова ищут. И мы подумаем о них – не вредно. Но в другой раз.

А сейчас разговор о нас, о нашем сегодняшнем дне и о том, как отчитаться нам перед внуками за XX век, в котором прожили мы большую часть нашей жизни.

Многоточие...





«ЧЕРНЫЕ ДЕВЫ»: ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЧЕНСКИХ ТЕРРОРИСТОК-СМЕРТНИЦ*

Вступать в войну с терроризмом, не зная его природу, корни, – значит, обресть себя на поражение. Корни эти разнообразны: они в политике, экономике, общественных отношениях, религии. И в психологии. Странным, но закономерным оказалось, что у террористической войны в России часто бывает женское лицо, лицо чеченки – несчастной жертвы обстоятельств, навсегда потерявшей в жизни чёткие ориентиры, перспективы, родственников и мирное небо над родиной.

Чеченские террористки, которым западно-европейская пресса дала название «чёрные вдовы», – явление уникальное. Да и в Чечне самоубийство всегда считалось большим грехом. Самоубийца недостоин там хорошей памяти и почитания, не только он сам, а и вся его семья – на многие десятилетия. Чеченец всегда и во всём должен быть Победителем. Такова важнейшая особенность вайнахского (чечено-ингушского) этноса. А самоубийца – не победитель. Слово «шахид» не чеченское – арабское. Оно переводится как «свидетель» и означает приверженца высокой задаче – служению Богу, то есть джихаду. Джихад – это не обязательно «священная война», это – священное усилие. Например, строительство дома на высокой горе – джихад. Или написание трактата на сложнейшую тему – тоже. Это, конечно, и военное усилие в борьбе с иноверцами и, тем более, с вероотступниками от «истинного» Ислама.

На телеэкранах и на газетных фотографиях чеченские террористки – женщины с закрытым лицом. Но горская женщина никогда не закрывает лицо. Иначе она не увидит тропу, камень, склон... Как спуститься к реке, поймать козу, подоить корову?

* INTELLIGENT.ru

На женщину-самоубийцу чеченцы смотрят косо. Женщины, вступившие на путь войны, в Чечне называются «джеро», что означает вдова (даже если она и не вдова). Быть «джеро» предосудительно. Потому что женщина должна заниматься женским делом, а не воевать. Если она вступила в мужской коллектив, пусть даже мстя за родственников, будучи последней в роду, она уже не благопристойная женщина. Не только всех террористок, но и снайперш называют «джеро». Они – культурно чуждое для Северного Кавказа явление. Шахидки – изобретение современных ваххабитских политтехнологов. Почему они выбрали женщин? Потому что им, женщинам, до последнего времени легче было пройти куда угодно. Их реже, чем мужчин, останавливала милиция.

Так называемые чеченские войны конца XX – начала XXI веков создали неблагоприятные изменения психологического состояния чеченского этноса. Причинами стали:

1) Многолетнее чувство беспомощности перед несчастьями, испытываемое всеми чеченцами. Благополучное завершение военного положения жителям Чечни много лет обещали и их сепаратисты, и российские власти, и боевики, и экстремальные исламисты («ваххабиты»). Но обстановка в этом регионе становилась всё хуже – обстрелы, убийства, похищения, казни создают ощущение безысходности.

2) Многочисленные «зачистки» с преследованием, главным образом чеченцев-мужчин, вынуждали их скрываться, оставляя своих женщин и детей и теряя самосознание воина-победителя, мужчины. Из-за этого нарушалось равновесие патриархальных взаимодействий, свойственных горским народам, а потому возник жестокий гендерный кризис. Он стал причиной противоестественного «всплытия» женщин на роли патриархов-мужчин. Так возникали и «шахидки» – феминизированные «боевые патриархи».

3) Из-за последней войны сейчас в Чечне тысячи людей стали изгоями в чеченском обществе. Для него они «низкие люди» и живут очень трудно: им не помогут, не предоставят работу, не дадут пищи. Это люди, у которых в семье произошло что-то позорное, например, кого-то изнасиловали. Или, например, была «зачистка» или ваххабитский налёт на чеченский дом, а бывший в нём мужчина повёл себя недостойно – спрятался или убежал, и кто-то оказался убит. Эта семья, а не только один человек, становится в чеченском обществе изгоем. Таких изгоев, как свидетельствует профессор Джебраил Гакаев, сегодня в Чечне десятки тысяч. Эти люди тоже могут быть резервом и для боевых отрядов, и для формирования «шахидов» и «шахидок».

4) Важной причиной деформирования чеченского социума стал развал ещё в 1993 году системы среднего и высшего образований, до того весьма успешных. Сотни тысяч молодых людей лишились приобщения к европейской культуре. Попытки арабизации и исламизации обучения вели к утрате традиционной горской культуры чеченцев. Молодёжь, воспитываясь войной, становилась сырьём для боевого «ваххабизма» и «шахидизма».

Чеченские психологи и психиатры свидетельствуют, что около 90% (возможно, что эта цифра преувеличена) чеченцев находятся в особом состоянии,

которое иногда называют «чеченской депрессией». Из чего складывается это психическое состояние?

Во-первых, это **отчаяние** от многолетней безысходности чеченских войн.

Второе – это **горе**, ведь в каждой семье несколько убитых, а ещё хуже – есть непохороненные, то есть неуспокоенные души. По убеждениям чеченцев, душа непохороненного мучается от неприкаянности, и это для всей семьи очень плохо.

Третье – **тоска**. Не абстрактная «душевная боль», а тоска как физическая боль во всём теле после тяжёлой работы с непривычки, только во много раз большая... Если человек «в чеченской тоске», то и его дом становится источником боли – там что-то украдено, кто-то убит. Чеченец выходит за пределы дома, у него земля «горит» под ногами, причём не образно: ему кажется, что на самом деле она жжёт ноги, потому что он видел, как горели дома, сараи, посева. И это незабываемо. Небо давит сверху, ведь оттуда падали снаряды, бомбы, ракеты. Это чувство знают практически все чеченцы. Вырваться из этого чувства, уйти от психологической боли-тоски хотят многие. И когда им предлагают месть как выход из этого состояния, уход в боевики, в «шахиды» – это им кажется спасением. Внутреннее состояние принявших решение стать мстителями-самоубийцами не имеет ничего общего с так называемым зомбированием.

Состояние «шахидок» – **предсмертный транс** – характеризуется, во-первых, чувством приятнейшего **экстаза**, необычайной радости жизни. Если рассуждать с психоаналитической точки зрения, то их человеческое «Я» освобождается от давления «Сверх-Я». Все составляющие его психологические силы: традиции, социальные и моральные нормы, обязательства перед семьёй, даже перед самим собой – становятся уже малозначимыми, ничтожными. И человек вдруг раскрывается в своём природном, личном естестве как цветок, пусть и некрасивый, но это он – такой, какой уж есть. Такой мститель-убийца знает, что у него будущего нет, и поэтому он никому ничего не должен. Не нужно искать задачу для самореализации, она уже есть – это мщение. Когда смертница-«шахидка» идёт по улице, ещё за день, за два до теракта, ей приятно, что это она сама лично идёт, а не та, кого всю жизнь родители, семья, общественное мнение загоняли в нормы горских обычаев.

В романе Достоевского «Идиот» есть рассказ приговорённого к смерти. Он описывает последние его минуты, секунды, какие они были яркие, радостные. В 1849 году Фёдор Михайлович сам был приговорён к смертной казни, в последний момент заменённой каторгой. Его описания предсмертного состояния автобиографичны. Мы цитируем их в полном объёме, предлагая читателю самостоятельно проанализировать сложнейшую нюансировку предсмертных мыслей и чувств.

«Этот человек был раз взведён, вместе с другими, на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни расстрелянием, за политическое преступление. Минут через двадцать прочтено было и помилование и назначена другая степень наказания; но, однако же, в промежутке между двумя приговорами, двадцать минут, или по крайней мере четверть часа, он прожил под несомнен-

ным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрёт. Мне ужасно хотелось слушать, когда он иногда припоминал свои тогдашние впечатления, и я несколько раз начинал его вновь расспрашивать. Он помнил всё с необыкновенною ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет. Шагах в двадцати от эшафота, около которого стоял народ и солдаты, были врыты три столба, так как преступников было несколько человек. Трех первых повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм (белые длинные балахоны), а на глаза надвинули им белые колпаки, чтобы не видно было ружей; затем против каждого столба выстроилась команда из нескольких человек-солдат. Мой знакомый стоял восьмым по очереди, стало быть, ему пришлось идти к столбам в третью очередь. Священник обошёл всех с крестом. Выходило, что остаётся жить минут пять, не больше. Он говорил, что эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством; ему казалось, что в эти пять минут он проживёт столько жизней, что ещё сейчас нечего и думать о последнем мгновении, так что он ещё распоряжения разные сделал: рассчитал время, чтобы проститься с товарищами, на это положил минуты две, потом две минуты ещё положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть. Он очень хорошо помнил, что сделал именно эти три распоряжения и именно так рассчитал. Он умирал двадцати семи лет, здоровый и сильный; прощаясь с товарищами, он помнил, что одному из них задал довольно посторонний вопрос и даже очень заинтересовался ответом. Потом, когда он простился с товарищами, настали те две минуты, которые он отсчитал, чтобы думать про себя; он знал заранее, о чём он будет думать: ему всё хотелось представить себе, как можно скорее и ярче, что вот как же это так: он теперь есть и живёт, а через три минуты будет уже нечто, кто-то или что-то, – так кто же? Где же? Всё это он думал в эти две минуты решить! Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченною крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от неё сверкавшие; оторваться не мог от лучей: ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он чрез три минуты как-нибудь сольётся с ними... Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны; но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, как непрерывная мысль: "Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь, – какая бесконечность! И всё это было бы моё! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счётом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!" Он говорил, что эта мысль у него, наконец, в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтобы его поскорей застрелили».

Вторая особенность предсмертного транса «шахидки» в том, что для нее **всё вокруг становится необычайно ярким**. Краски, детали предметов – всё выпукло, приятно и красиво. Чем ближе смерть, тем ярче мир. И никакой «чеченской депрессии». И время (минуты, секунды) становится необычайно ёмким. В него вмещаются и становятся очень сочными и значимыми все мелкие случайности и предметы окружающего пространства. Возможно, течение вре-

мени изменяется, измеряясь психикой более мелкими, но более значимыми «квантами». Остановить смертницу уже невозможно. Ей даже нельзя сказать, как обычному человеку: что ты делаешь, сохрани свою жизнь. Зачем ей она?

Третье, что свойственно чеченским и другим «шахидам», – **упоение властью**. Вот ходят вокруг беспечные люди, а они – во власти человека, обречённого на смерть и готового взорвать себя и их. И «шахидка» может даже с неким радостным переживанием дарить им ещё и ещё часы, минуты, секунды.

Четвёртое – **упоение мстостью** за убитых, замученных родственников и соплеменников, за разорённые дома, родовые гнезда, за несправедливость и бесчеловечность.

И ещё, пятое – ласкающая **вера в блаженство** упокоения в райских кущах Аллаха.

Наконец есть и **шестое**, но о нём ниже.

Человек в предсмертном трансе может не нуждаться в наркотиках, стимуляторах, он и так эйфоризирован. Наркотики на Северном Кавказе не были и сейчас не являются элементом массовой культуры, опять же из-за суровой опасности гор. Наркотики в горах – это гибель. Однако в Центральной Азии и на Ближнем Востоке во время суфийских ритуалов с древнейших времён, ещё до Пророка Мухаммеда, применяли и в мирное время, и перед боями сложнейшие смеси трав и минералов для создания изменённого сознания. При подготовке шахидов использовались вещества, концентрирующие внимание на внушённом задании. Есть и суфийские тренинги, один из них – «зикр». Его многократно показывали на экранах телевизоров, особенно часто в «первую чеченскую войну». Мужские и женские хороводы, когда чеченцы кружатся с выкриками цитат из Корана, – это своеобразная молитва суфийского ордена кадыритов, которых много не только на Кавказе, но и в Боснии и Герцеговине. Известно, что подобного рода техники использовали во французском Иностранном легионе и немецких зондеркомандах для введения в состояние «боевого транса».

Когда говорят о трансе как о гипнотическом состоянии, то «кастрируют» действительность. Транс – сложное изменённое состояние сознания. В нём происходит трансформация личности, человек становится как бы другим. На Северный Кавказ мистические тренинги и психотропные «коктейли» приходят с Ближнего Востока, где суфийская традиция жива и не прерывалась никогда.

Как готовят «шахидок» в России? В маленькой квартирке в городе Грозном или в неприметном домике в ингушском селе, или даже в неприметной московской, Санкт-Петербургской квартире размещают женщин, потерявших родных, жертв «чеченской депрессии». С ними работают хорошие психологи, которые выясняют, чего им не хватало в детстве. Если они были обделены вниманием матери, к ним в качестве «наставницы» приставляют женщину – пожилую, властную, якобы добрую. Тем, кому не хватает сексуальной реализации, дают в «наставники» мужчину, который одновременно является их сожителем и учителем. Этот «наставник» сопровождает их на протяжении всего времени обучения, да и во время совершения теракта находится поблизости. Женщины

идут на смерть, в частности, и для того, чтобы ему доставить удовольствие. Это ещё одно, шестое, переживание «шахидок» во время предсмертного транса – **сексуальное**.

Можно ли убедить террористов не совершать теракт? На этот вопрос следует ответить утвердительно. В последнее время произошла палестинизация чеченских боевиков, к чему приложили руку и некоторые структуры российской администрации, и иностранные инструкторы боевиков. Но кавказская молодёжь, которая пополняет ряды террористов, – не все религиозные фанатики. Их детство, отрочество пришлось на времена, когда ещё помнились нормы межнационального общения, хотя и «советского», но единства народов. Молодые люди ещё ощущают культурную связь с Россией, с ними можно и нужно разговаривать. Не случайно несостоявшаяся «шахидка» Зарема Мужахоева так и не совершила ни одного теракта. Сначала на Северном Кавказе она два часа просидела в автобусе и так и не привела в действие взрыватель. Потом с сумкой взрывчатки гуляла по Москве и, наконец, сдалась властям. Да и затем активно сотрудничала со спецслужбами, выдала им тайники с взрывчаткой, помогла задержать боевиков, предотвратила другие теракты.

Почему ей вынесли такой жестокий приговор? С неё надо было бы пылинки сдувать, чтобы другие «шахидки» поняли, что у них есть шанс на нормальную жизнь, и не торопились на тот свет. Неадекватные действия власти лишний раз убеждают «шахидок» в том, что сотрудничать с российскими спецслужбами нельзя, рассчитывать на гражданское общество в лице суда приносящих не приходится, им остаётся одно – убивать.

Определить «шахидку» в толпе чрезвычайно трудно, потому что её реакции обострены до предела. Интеллект «шахидки» направлен на одно: совершить заданное действие, не сбиться с заданного алгоритма. Других людей она воспринимает как чуждых ей существ, судьбами которых она владеет. Идя на теракт, она уже не думает о том, кто прав, кто виноват.

Предсмертный транс – это своего рода мания. Что такое мания, если отбросить моральные ярлыки? Это устремлённость во что-то одно, с игнорированием всего, что этому мешает. Даже глупый человек в маниакальном состоянии так концентрирует остатки своего ума, что делает подчас необычайно умные дела. А если он умный и маниакальный, то становится гением – добрым или злым. Терроризм смертников – это концентрированность мысли и воли на чрезвычайной цели – нести Смерть.



доктор филологических наук, член Союза писателей России, научный сотрудник Института мировой литературы РАН, автор дюжины книг, а также сотен статей о русской классической и современной литературе. Работы В. И. Сахарова публиковались в США, Франции, Германии, Италии, Японии, Чехии. Живет в России.

АРХИВЫ ЗАГОВОРИЛИ*

Международный фонд «Демократия», созданный ныне покойным общественным деятелем, академиком РАН Александром Николаевичем Яковлевым, известен своей научно-исследовательской и издательской деятельностью. Фондом и издательством «Материк» с помощью наших учёных подготовлены и выпущены капитальные сборники ранее сверхсекретных архивных документов из самых «закрытых» хранилищ бывшего СССР. Работа эта продолжается. Новое издание фонда «Демократия» столь же весомо и актуально, к тому же тема его чрезвычайно остра, болезненна, на протяжении десятилетий служила предметом и поводом для самых различных гипотез, дискуссий, различного рода взаимных истерических обвинений и политических спекуляций. Тема эта чётко обозначена в самом эффектном названии сборника: «Государственный антисемитизм в СССР. От начала до кульминации. 1938–1953» (М.: Изд-во «Материк», 2005).

Задача этого солидного научного издания не в простом продолжении научных споров и политических дискуссий вокруг обозначенной в его названии острой темы, а в возможно полной публикации прежде «закрытых», сверхсекретных архивных материалов и примечаний к ним. Ведь многое в освещении государственного антисемитизма черпалось прежде из слухов, сплетен, политической борьбы, доносов, взаимных обвинений, а подлинная историческая наука на таких основаниях не создаётся, её источники должны быть точны и выверены, а выводы объективны и далеки от любой политической конъюнктуры и групповых интересов.

Эта наука не может служить власти, общественному мнению, а точнее, какой-либо из враждующих сторон, нации, лагерю или группе. Цель её – истина, которая рождается не в споре (старый софизм), а после его разумного и спо-

* INTELLIGENT.ru

койного завершения. На науку нельзя давить политической истерией, умело организованным международным гвалтом. Тем более что разговор этот касается миллионов судеб, трагедий, революций, мировых и локальных войн, величайших преступлений (в том числе и государственных) и несправедливостей, его продолжают взволнованно вести целые народы (причём не только русские и евреи) и страны (и не только Россия и Израиль).

Поэтому так важен капитальный сборник сверхсекретных архивных документов, подготовленный фондом «Демократия». Здесь, слава Богу, нет никаких «концепций», хотя субъективный подбор документов и скрытая тенденция имеются. Эти канцелярские советские тексты страшны именно своей обыденностью, простодушной «деловой» жестокостью, беспощадно реальными подробностями, государственным уровнем преступлений и гонений. Власть, правящая номенклатура изначально преступна, патологические «органы» её преступны, страшные методы их незаконны и бесчеловечны.

Да, выдающийся актёр и духовный лидер советской еврейской общины Соломон Михайлович Михозлс (Вовси) был убит в Минске московскими чекистами, да, по личному устному приказу Сталина. Подробности жуткие в своей обыденности: Михозлса и сопровождавшего его агента МГБ обманом завезли на дачу местного министра госбезопасности, насильно напоили водкой, тут же задавили автомобилем (да, спокойно убили и своего слишком много знавшего сотрудника), изуродованные трупы подбросили на шоссе. Причём наивная минская милиция сразу же нашла этот служебный автомобиль в гараже МГБ. Но выясняется, что бездарные, непрофессиональные убийцы сначала были награждены орденами, потом их лишены и тоже осуждены. Поразительна роль в этой перемене министра внутренних дел Л. П. Берии, вопреки своей людоедской репутации смело потребовавшего и добившегося разоблачения убийц и реабилитации жертв.

Мы по документам видим, как тоталитарная власть мечется, как она разобщена, правая её рука не ведаёт, что творит левая, никто не может быть спокоен в этой ежедневной борьбе за свою жизнь. Идеология тут бессильна, реальность ею не объясняется и не контролируется. Никакой Маркс–Энгельс не смог бы предсказать такую роковую историческую ситуацию. Власть Сталина абсолютна, самодержавна, «органы» (11 миллионов информаторов только одного знаменитого 5-го управления МГБ–МВД–КГБ!) и партгосаппарат всемогущи, а поделаться ничем не могут с вечной проблемой «еврейского вопроса», которую так решительно и неосторожно взялись закрыть раз и навсегда.

Документы говорят, и, в отличие от теперешних непрерывно меняющихся «вехи» и «концепции» историков, говорят *всю* правду, поэтому их так долго прятали от общественности. Не только в разоблачении таких государственных преступлений и злоупотреблений, пыток и провокаций тут дело. Оказавшись рядом, будучи выстроены хронологически и тематически, научно подготовленные и прокомментированные тексты сборника показывают направление советской истории, узлы проблем, внутреннюю логику и динамику рождения государственного антисемитизма в СССР. Невольно думаешь: да существовал ли таковой в реальности? Не миф ли это, чрезвычайно удобный и эффективный,

способный мгновенно приводить множество людей, целые организации и государства в состояние массовой истерии?

В большевистской официальной доктрине никакого антисемитизма, тем более государственного, нет, там имеется только пролетарский интернационализм, тоже, кстати, мифический, ибо еврейскими погромами более всего знаменита красная конармия Будённого, воспетая гибким романтиком Бабелем. Разжигание национальной розни было запрещено сталинской конституцией и советским Уголовным кодексом. Власть больше всего боялась именно обвинений в антисемитизме, прекрасно понимая силу протестов международной общественности и их политические и, главное, экономические последствия. Кадровый вопрос, простой анализ биографий советской высшей номенклатуры не дают оснований для таких решительных выводов и формулировок.

В высшем государственном и партийном руководстве мы видим Свердлова, Троцкого, Зиновьева и Каменева, липового «болгарина» Раковского, Карахана, Йоффе, гуманнейшую Землячку, липового «венгра» Белу Куна, Литвинова, Радека, Ягоду, Кагановича – именам таким и нерусским лицам в советском номенклатурном иконостасе несть числа, об этом уже слишком много писалось и говорилось. Возьмите списки ВЧК, ОГПУ, НКВД, ЦК, наркоматов, армии, руководства Соловков и всего ГУЛАГа – множество еврейских фамилий. Откуда тут взяться мощному государственному антисемитизму как официальной идеологии? Неужели все эти неглупые люди боролись сами с собой? Разговоры о бытовом антисемитизме Сталина мало что объясняют, мы о совсем другом сейчас говорим, к тому же стоит пристальнее взглянуть на семью вождя, на жён его сыновей, на мужей и любовников дочери, на Розу Каганович, чтобы внести в эту неную мысль существенные поправки.

И в начале сборника документов о реальных проявлениях антисемитизма в СССР очень мало, да и сами проявления бытовые, грубые, мелочные и какие-то по-русски нелепые, они явно идут снизу, а не от власти. Авторы сборника говорят о постепенном росте в обществе, а проще говоря, в народе стихийной бытовой юдофобии. А вот это очень интересно и важно, одно вытекает из другого и многое объясняет. Репрессии 1930-х годов, в данном случае вполне обоснованные, не случайно выбили почти всю властную еврейскую элиту, «детей Арбата». Это не вульгарный антисемитизм, а циничная борьба за власть в верхах с образованными и даровитыми чужаками (они могли быть хоть китайцами), которых ловко использовали, а потом убрали, притом иногда их собственными руками. Народная бытовая юдофобия умело направлялась сверху. А началось всё с загадочных смертей Свердлова и Дзержинского.

На смену Генриху Ягоде пришёл Николай Иванович Ежов. Власть вынуждена была «юдофобию масс» учитывать, и это последовательно делает созданное в 1939 году Управление кадров ЦК во главе с бывшим русским дворянином и будущим реформатором Г. М. Маленковым, чья роль «серого кардинала» партии выяснена не до конца. Ясно, что и другая сторона после диких массовых репрессий сделала свой выбор. Советская власть самонадеянно продолжала считать их мифическими «советскими людьми», однако эти люди прежде всего ощущали се-

бя евреями, древним великим (несмотря на малочисленность) народом с достойной их историей и культурой, языком, со своей исторической родиной. Не говорили тысячу лет на древнем иврите – ничего, выучили мёртвый язык и заговорили, на что были затрачены огромные деньги и культурные силы, к тому же эти «лингвистические» кружки стали политической школой советского еврейства. Нет уже тысячу лет своего государства, родной земли – ничего, организовали мощное сионистское движение, надавили на Запад и только что созданную ООН, вернули, отвоевали историческую родину, создали сильное религиозно-военное государство. Советские евреи или участвовали в этом, или знали и сочувствовали борьбе за их и их детей будущее. Вот истинное начало раскола в интеллигенции, приведшее после войны к созданию Еврейского антифашистского комитета, чьё вполне светское, не шибко верующее руководство неизбежно вошло в «двадцатку» – духовно-религиозную верхушку, управлявшую московской синагогой.

Документы сборника говорят о резком росте в советском обществе, особенно в его низах, юдофобии в 1942–1943 годах. Явление непонятное уже в своей очевидной несвоевременности. В чём тут дело? Зачем тоталитарной власти, занятой великой войной с могучим её и советских евреев врагом, раздувать в стране такое опасное настроение, как антисемитизм? Что произошло в результате вынужденного появления в СССР миллионов евреев из Польши, Бессарабии, Прибалтики? Каковы были политические последствия массовой эвакуации (точнее, бегства) госаппарата, промышленности, учреждений культуры в глубь страны, тотальной текучести кадров, едва не приключившейся сдачи Москвы и многолетней страшной блокады Ленинграда? В публикуемых документах власть всё время в своих весьма примитивных «идеологических» выводах и бестрепетных решениях опирается на статистику, которую мы раньше не знали и не анализировали. Да, государственная статистика (теперь она называется социологией) много и часто лжёт по заказу. Эти цифры не лучше, но и не хуже других. Теперь и нам следует об этих цифрах задуматься. Если это ложь, подтасовка, то зачем она, кому нужна и выгодна, о чём она говорит? У государственной лжи своя логика. Одними эмоциями тут не обойтись.

Весь конфликт разворачивается после войны. Михозлс и его гибель, Еврейский антифашистский комитет и его расстрел, странное «дело» жены Молотова и наркома рыбной промышленности П. С. Жемчужиной и её поспешная реабилитация Берией, неуклюжая и поспешная фабрикация дубоватого «дела врачей» и множества других явно нелепых, наскоро и плохо придуманных «дел», однообразные провокации и пытки чекистов, готовившееся Сталиным переселение всех евреев в Сибирь (здесь документы упорно молчат) – мы узнаём множество новых подробностей, имён и фактов. Их предстоит сопоставить и осмыслить.

Но уже сейчас видно по документам, что «государственный антисемитизм» – это только одна сторона сложнейшей политической проблемы, явно не укладывающаяся в удобную формулу «гонители и гонимые». Это грубая, неумная и неизбежно жестокая борьба насторожённой тоталитарной власти с чем-то очень опасным, достаточно сильным и упорным. Другая сторона отнюдь не пассивна. В смертельной (ибо она завершилась не очень естественной смер-

тью Сталина) борьбе участвуют могучие мировые силы, за Михозлсом и Еврейским антифашистским комитетом стоят миллионы людей, не только советских и не только евреев, немалые деньги (им помогают еврейские организации всего мира, а потом и Израиль, созданный не без советской поддержки), сильные общественные настроения, вылившиеся в подспудную политическую борьбу. Сталин впервые столкнулся с подлинной, а не фиктивной «троцкистской» оппозицией. Ни один народ многонациональной Советской страны не имел такого «комитета», с беззаветной храбростью и удивительной политической сметкой защищавшего интересы своих соплеменников.

В 1948 году никакого фашизма уже нет, а Еврейский антифашистский комитет усиливает свою организационную деятельность, всё сильнее давит на власть, находит там сторонников и влиятельных помощников вроде той же Жемчужиной, партийного деятеля С. Лозовского и фантастически осторожно и беспринципного журналиста Эренбурга. В ЕАК по велению еврейского сердца, а потом уже по поручению родного МВД состоял крупный юрист и следователь Л. Р. Шейнин, связанный с верхушкой генеральной прокуратуры и «органов». На стороне «гонимых» явно был самый всемогущий «гонитель» Л. П. Берия, своевременное и эффективное вмешательство которого остановило карающую руку Сталина. Не случайно другой, куда более искренний гонитель евреев генерал КГБ Е. П. Питоветов, умный и просвещённый («зам» Берии по разведке, «вдруг» не без помощи своего шефа оказался на нарах в Лефортово и ждал расстрела – спасла его жена, родственница Маленкова).

Удивительны сами парадоксы, превратности судеб, «случайные» совпадения. И дело тут не только во вполне исполнимом сильном желании ЕАК создать автономное еврейское государство в очищенном от татар Крыму во главе с тем же Михозлсом. И не в понятном стремлении сотен тысяч советских евреев уехать из родного, но неласкового СССР в известную им лишь по Библии мифическую Палестину, сформировать для этого еврейскую дивизию во главе с героем войны Драгунским (эта идея была успешно реализована, и советские боевые офицеры умело и храбро командовали еврейскими войсками во всех победоносных войнах Израиля и даже кадрово укрепили Мосад).

Мир изменился, сам СССР изменился, победившие люди не хотели жить так плохо и рабски, как прежде. Начинается раскол в обществе, и прежде всего в интеллигенции, где появляются «русская» и «еврейская» партии. У них свои журналы и газеты, издательства, поделённые надвое творческие союзы. А значит, перестаёт работать официальная коммунистическая идеология. Всемогущая КПСС уже суетится между этими двумя реальными политическими силами, поддерживает то ту, то другую, ловко их стравливает. Мы помним эти разные директивные указания и звонки из разных кабинетов одного здания на Старой площади. Рождение государства Израиль и приезд в Москву его мудрого и опытного посланника Голды Меир всколыхнули всё советское еврейство.

А разве русские не хотели жить лучше, не хотели перестать лгать и унижаться? Началось сумбурное, эмоциональное движение «снизу», объединяющее людей в общество. А потом последовали забытый бунт в ГДР, восстание в Венгрии,

чешские и польские события, арабо-израильские войны, движение диссидентов и «отказников». Стена коммунизма дала трещину и потом рухнула в Берлине.

Власть в 1940-е годы видит всю невозможность решить эту нарастающую стратегическую проблему, в пресловутый «еврейский вопрос» не укладывающуюся, своими привычными силовыми методами и коммунистической демагогией. Этим лично занимается идеолог партии Сулов, его советники и помощники идут на непривычные, рискованные шаги, допуская «неформальные» общественные объединения вроде Русского клуба, различных «семинаров», дискуссии в МГУ и Союзе писателей и т. п. Закулисная деятельность КГБ принимает небывалый размах, «органы» всюду стремятся иметь своих людей, используют проверенный метод их «подсадки» для контроля над любой зарождающейся оппозицией. Потом, десятилетия спустя, эти отобранные люди, став благороднейшими «прорабами перестройки», неизбежно появляются во главе «неформальных» объединений и «независимых» общественных организаций, журналов и газет, радио и телевидения, в окружении Горбачёва и Ельцина, в Верховном Совете и Думе.

На этой почве исторического компромисса либеральной интеллигенции с вилляющей властью расцветают «Новый мир» Твардовского и пресловутое «шестидесятничество», вышедшее, как и нынешняя номенклатура, из парткомов и комитетов комсомола и пыгавшееся дать тоталитарной власти невозможное «человеческое лицо». Начинается оттепель. «Русский лагерь», с его полукультурностью, корыстолюбием, грубой работой и вечными приседаниями перед властью, только помогает оформлению компромисса. Всё это неизбежно завершилось диссидентством, запоздалым ростом репрессий, массовым исходом евреев на историческую родину после арабо-израильских войн, зародившейся в чекистских головах А. Шелепина и Ю. Андропова иезуитской идеей «перестройки сверху», для чего осовевшая власть советских геронтократов и её склеротическая идеология были окончательно дискредитированы умелым использованием впавшего в маразм после соответствующего «лечения» Л. Брежнева и ловко спровоцированной губительной афганской авантюры, потом продолжившейся в Чечне.

Но всё это будет потом, всё это далеко зашедшие и сегодня всюду ощутимые последствия того сложного явления, которое послужило броским названием для рецензируемого сборника. А ведь это далеко не все документы по данной, прежде «закрытой», а теперь лишь умело приоткрытой теме, будут другие публикации, и картина изменится. Но главное видно и сейчас. Известно, что некоторые проблемы вечны, они, как гвозди – чем сильнее по ним бьёшь, тем глубже они входят в нашу жизнь. Плохо то, что разоблачение Сталина и реабилитация его жертв сегодня поручены «сверху» тем людям власти и номенклатуры, чья успешная партийная и гэбэшная карьера начиналась при этом тиране. И делается всё это на пресловутые деньги партии, других пока никто честно не заработал. Ну, это всё нам ещё предстоит понять. А пока надо прочитать и осмыслить подлинные архивные документы, извлечённые фондом «Демократия» из недр спецхрана и рассказавшие нам о целой эпохе русской истории, которая и сегодня продолжает оказывать немалое воздействие на всю нашу жизнь.



журналист, политолог, председатель комитета гражданской инициативы «Мы голосуем против всех», участник оргкомитета «Партии народного протеста». Живет в России.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ И. СТАЛИНА С БУДУЩИМ*

Мне хочется рассказать об одной исторической тайне, к раскрытию которой в силу стечения обстоятельств мне довелось быть причастным. Речь идёт о секретном письме, отправленном И. Сталиным 24 июня 1951 года Генеральному секретарю Коммунистической партии Чехословакии Клементу Готвальду в связи с подготовкой судебного процесса над Рудольфом Сланским, которого, собственно, Готвальд и сменил на посту руководителя партии. Сланского обвиняли в буржуазном национализме и связях с империалистическими разведками. В ту пору такие процессы прокатились и по другим социалистическим странам, в том числе Венгрии, Болгарии, Польше.

Случилось так, что примерно лет двадцать кряду моя личная и профессиональная жизнь была связана с Чехословакией. В 1967 году, будучи приглашённым на работу в отдел социалистических стран внешнеполитического еженедельника «Новое время», я получил под свой информационно-аналитический патронат именно эту страну. Затем дважды, в самые бурные для неё годы, с 1969 по 1974-й и с 1985 по 1990-й, я просто работал в Праге. Первый раз в качестве ответственного редактора советско-чехословацкого еженедельника «Новости», который выпускало АПН совместно с Обществом советско-чехословацкой дружбы. Второй раз я тоже занимался журналистской работой, теперь уже в качестве консультанта шеф-редактора журнала «Проблемы мира и социализма». В обоих случаях я был очень тесно связан с представителями так называемой оппозиции – в 1969–1974 гг. с активистами Пражской весны, а в 1985–1990 – с ними же, но теперь уже ставшими лидерами «бархатной революции». Моим руководством – как в АПН, так и в ЦК

* INTELLIGENT.ru

КПСС – мои дружеские контакты с оппозиционерами не поощрялись, но я на это старался не реагировать.

Теперь, думаю, читателям ясно, что к каким-то советско-чехословацким тайнам, о которых, если и говорят, то в очень узком кругу, доступ у меня был. Одна из таких тайн – секретная записка Сталина Готвальду, в которой будто бы советский вождь дал понять, что репрессии против бывших соратников дело «нехорошее», что с этим надо заканчивать, что это, мол, пережиток прежних времён, когда внутрипартийные отношения были пронизаны не только подозрительностью, но и взаимной враждебностью. Получалось, что Сталин вроде бы незадолго перед смертью пересмотрел свои политические воззрения, раскаялся в преступлениях, совершённых против собственных соратников и единомышленников, призывал последовать этому примеру других коммунистических лидеров, которых сам же до этого привёл к руководству партиями через репрессии и казни.

Понятно, что такая история не могла не заинтересовать, но только поверить в неё было очень трудно. Уж больно всё это походило на политический апокриф, в который вкладывался желательный, а не действительный смысл. И всё-таки в память эта история запала. Поэтому, когда представился случай – а это произошло в 1989 году, когда я работал в Праге, в журнале «Проблемы мира и социализма», – приложил все силы, чтобы «подкопаться» к тайне «сталинского политического раскаяния».

Обстоятельства тому способствовали. Решением секретариата ЦК КПСС публикация материалов рассекреченных архивов Коминтерна была возложена на редакцию «ПМС», а внутри редакции – непосредственно на меня. Так что у меня появился доступ в самую «святая партийных святых» – к документам международного коммунистического движения, к протоколам заседаний Коминтерна, его секций и комиссий и, что меня обрадовало больше всего, к личной переписке между партийными лидерами.

Вот, подумалось, здесь-то я и докопаюсь до истины. Но надежды оказались напрасными. Никакого письма Сталина Готвальду в архиве не оказалось, и никто из сотрудников архива, включая его директора академика Смирнова, вообще существования такого документа не подтверждал. На этом бы, наверное, мои поиски и окончились, если бы не одна зацепка – в Москве именно в те дни, одним из которых датирована записка, находился с официальным визитом министр обороны Чехословакии генерал Чепичка, зять Готвальда. У него со Сталиным была личная встреча. А что, если записка ушла в Прагу не по официальным каналам, а с политическим нарочным? Быть может, искать-то нужно не в архивах ЦК КПСС, а КП Чехословакии?

Лично для меня это облегчало дело. Так сложилось, что я был давно и хорошо знаком со вторым человеком в партии Василём Биляком, которого в Праге называли «чехословацким Суловым». Правда, в отличие от Михаила Андреевича, он любил весёлые компании, не прочь был крепко выпить и страсть как любил российские анекдоты. Кстати, и сам их недурно рассказывал. Мне не раз в таких компаниях приходилось бывать и вставить к случаю

пару анекдотов, понравившихся Василию Биляку. Так я стал вхож в его ближайшее окружение.

Во время одной из таких вечеринок, когда Биляк был в особенно приятельском расположении, я спросил: «А правда ли, Василь Васильевич, что Сталин в ходе подготовки к процессу над Рудольфом Сланским написал письмо, в котором предостерегал от "перегибов"?» Биляк как-то сразу сбросил с себя хмельной настрой, взглянул на меня абсолютно трезвым глазом и спросил серьёзно, даже жёстко: «А тебе это зачем знать?» «Да, так, интересно, – говорю, – я как-никак историк. Вдруг удастся докопаться до истины, как фанатичному археологу до шейного позвонка ископаемого динозавра. Гордыни хватило бы на всю оставшуюся жизнь. Не всякому же удаётся внести личный "вклад в профессию"». Не знаю, ответ ли его удовлетворил, или у Биляка на этот счёт были свои соображения, но он мне сказал: «Есть такой документ. Когда появится возможность с ним познакомиться, тебе от моего имени позвонят». На том и расстались.

Дней через десять–двенадцать мне действительно позвонили, пригласили в урочный час посетить Биляка в здании ЦК КПЧ. Я прибыл на встречу тютелька в тютельку. В партийных органах преждевременные визиты не любили ещё больше, чем опоздания. Меня тут же проводили в кабинет. Биляк встал из-за стола, сдержанно, но вполне дружелюбно пожал руку. Предложил сесть в кресло возле рабочего стола.

– Ты интересовался сталинской запиской? Вот она. Я тебя с её содержанием познакомлю, но только с теми местами, которые сам зачитаю.

И он начал читать выдержки, причём в переводе на чешский. Я, торопясь, записывал. В эту минуту в дверь заглянул помощник Биляка и подал какой-то знак. Биляк извинился и сказал, что минуты на две-три вынужден отлучиться. И оставил меня одного в кабинете. Листок, который до этого Биляк держал в руках, остался лежать на столе.

Наверное, я поступил дурно, но как только дверь за Биляком затворилась, я в момент включил диктофон, схватил со стола текст и зачитал всё, что там было написано сталинским почерком: «Совершенно очевидно, что полагаться на показания уже арестованных преступников нельзя. Их показания необходимо проверять и подтверждать фактами. Мы в Советском Союзе имеем опыт, когда арестованные в своих показаниях оговаривали других людей с целью посеять в партии взаимное недоверие. Оговаривая честных людей, некоторые пытались таким образом бороться с партией. Прага правильно поступает, что не доверяет показаниям уже арестованных, которые пытаются всю вину свалить на Сланского. Сланский допустил много ошибок в кадровой политике, был слишком доверчив, выдвигая некоторых ненадёжных людей на ответственные посты, откуда они бы могли вредить партии. Это большой недостаток для Генерального секретаря, поэтому советую Вам его от этого поста освободить».

Когда Биляк через обещанные две-три минуты вернулся, дело, что называется, уже было в шляпе, то есть в диктофоне. Мне показалось, точнее, теперь я даже уверен, что Биляк специально оставил меня наедине с текстом, полагая,

что журналистская прыть сделает своё дело. Вернувшись, он сугубо формально перевёл мне на чешский ещё пару сталинских фраз. Я поблагодарил и уже хотел попрощаться, как Биляк пригласил помощника и отдал распоряжение дать мне возможность ознакомиться с информационной запиской Чепички, который сталинскую записку в Прагу доставил.

Этот документ мне дали прочитать самому. Теперь я его уже тоже воспроизведу, в обратном переводе с чешского на русский. Вот этот текст: «Сталин обратил внимание на то, что в Советском Союзе есть опыт, когда арестованные оговаривали честных членов партии. Поэтому нужно действовать очень осторожно, обратить серьёзное внимание на следственные органы, которые готовы подозревать каждого. Чтобы деятельность чекистов не играла на руку врагу, её необходимо строго контролировать. Нельзя допустить, чтобы таким способом в руководстве партии, в её высших органах распространялось недоверие».

Мне уже тогда стало ясно, что мне попали в руки весьма странные документы, и, по правде говоря, я не знал, как к ним относиться. По сути дела, у меня в руках оказался последний автограф И. Сталина, содержащий оценку им самим того, что происходило в 30-х годах и позже, в начале 50-х. Что это? Прозрение, запоздалое раскаяние или, быть может, надежда вмешаться в процесс будущих исторических оценок и переоценок и от первого лица заявить о сложности и противоречивости как пережитого времени, так и собственной личности? Или это изощрённая политическая интрига, попытка реабилитировать себя в глазах потомков, повлиять на будущее?

Смелости самому дать ответ на эти вопросы мне тогда не хватило. Помог случай. Летом 1989 года по журналистским делам я оказался в Москве, по счастливой оказии в гостях на даче общих знакомых встретился с писателем А. Рыбаковым, автором прогремевшего в ту пору не только на всю страну, но и на весь мир романа «Дети Арбата». Я рассказал Анатолию Наумовичу о «сталинском покаянии», поинтересовался, что Рыбаков думает об этом документе. Вновь помог диктофон – ответ писателя я записал. Теперь воспроизвожу.

«Я впервые слышу о существовании такого документа. Как исторический факт он, безусловно, интересен, но в смысле исторической правды к тому, что я знаю о Сталине, он ничего не добавляет. Он лишь укрепляет моё убеждение в том, что Сталин был циничным и изощрённым мистификатором, человеком без совести и чести. Бывало, вечером он обнимал и целовал человека, награждал его, а под утро благодетельствованного хватал НКВД, и больше о нём уже никто ничего не слышал. А сколько раз он сваливал ответственность за собственные преступления на других! Сначала "козлом отпущения" за массовые репрессии 30-х годов стал Ягода, затем Ежов.

Одной рукой он писал отповеди не в меру ретивым апологетам собственной персоны, а другой вписывал в "Краткий курс ВКП(б)" такие высокопарные оценки своего личного вклада в дело развития социализма, что в это трудно было поверить, если бы не сохранились рукописные оригиналы сделанных им вставок. Или возьмите его статью "Головокружение от успехов", в которой он всю вину за перегибы в деле коллективизации сваливает на рядовых исполни-

телей собственной воли. Разве это не свидетельство вопиющего политического лицемерия?!

Что же касается непосредственно письма Сталина Готвальду, то я глубоко убеждён: оно преследовало цель замаскировать на время подготовку новой кровавой бани. Если бы Сталин, действительно, хотел защитить Сланского, если бы он хоть чуточку раскаивался в совершённых им злодеяниях, то зачем же тогда вдогонку за письмом он посылает в Прагу для участия в следствии и подготовке процесса над Сланским «советников» из ведомства Берии, которые изрядно потрудились, чтобы привести процесс именно к тому концу, которым он и завершился – казни подсудимых?

Совершенно очевидно, что это было только началом. Готовился новый цикл репрессий, причём в международном масштабе. Не случайно и в Москве был инспирирован процесс врачей-вредителей, которые, как тогда говорилось, оказались якобы связаны с международной сионистской организацией "Джойнт", агентом которой нарекли и Сланского.

Ясно, что только смерть помешала Сталину осуществить свой преступный замысел. Он хотел, чтобы не только в Советском Союзе, но и в других странах, оказавшихся в сфере его влияния, царила атмосфера "охоты на ведьм". Того требовала его стратегия насаждения страха. Неважно, кого бьют: правых, левых, троцкистов, бухаринцев, зиновьевцев, националистов, космополитов, евреев, крымских татар, чеченцев, поволжских немцев или кого-либо ещё. Лишь бы заставить людей верить, что враг притаился среди них, а ещё лучше – в них самих. Ведь это была его, Сталина, идея развернуть в партии и в стране кампанию "самокритики", точнее саморазоблачения, заставлявшую людей усомниться в собственной честности, порядочности, преданности идеалам справедливости и гуманизма. В мечтах ему, наверное, виделся народ, который был готов по первому сигналу настроить донос на самого себя».

Полагаю, я правильно поступил, воздержавшись от авторских комментариев к сталинской записке. Во-первых, с точки зрения исторической науки у меня не было на это права. Ведь оригинал документа или хотя бы его достоверную копию я всё равно предъявить не мог. А, во-вторых, что, на мой взгляд, гораздо важнее, речь идёт вообще не об историческом архивном документе, а о человеческом, судить о котором, действительно, лучше не кабинетным учёным, а «инженерам человеческих душ» – писателям.



РОБЕРТ БЭР: «ЦРУ ПАЛО ДУХОМ»*

Фильм «Сириана», обличающий методы ЦРУ на Ближнем Востоке, вышел в российский прокат в конце февраля. В названии фильма положен собирательный геополитический термин, которым обозначаются такие страны, как Сирия, Ливан, Иордания. В США этот политический триллер уже стал важнейшей частью кампании против жестоких и бессмысленных действий ЦРУ в этом регионе.

Остроту этой кампании придает то, что офицер ЦРУ (его играет Джордж Клуни) сам принимает активное участие в критике своего бывшего работодателя. Роберт Бэр, а именно он и стал прототипом героя Клуни, которого в фильме зовут Роберт Барнс, много лет был полевым агентом Оперативного департамента.

Роберт Бэр отслужил в ЦРУ 21 год, работал почти во всех странах Ближнего Востока, а также во Франции, Индии и Таджикистане. Знаток арабского языка, он участвовал в планировании многих операций, в том числе и неудавшейся попытке устранения Саддама Хусейна в 1995 году в ходе курдского восстания. Покушение сорвалось по вине бюрократов из руководства разведуправления, а самого Бэра чуть не засудили за «пересечение госграницы с преступными целями» и намерение убить лидера другого государства. В 1997 году Бэр уволился из ЦРУ.

Недовольство деятельностью Центрального разведуправления подтолкнуло его написать автобиографичную книгу «Не вижу зла». Эта книга стала основой фильма «Сириана».

Главная идея фильма состоит в том, что американские нефтяные корпорации используют ЦРУ для реализации своих целей в Персидском заливе. В кон-

* Agentura.Ru

це концов, с помощью ЦРУ они убивают арабского принца, который собирался проводить независимую от этих корпораций политику.

Не первый раз Голливуд отзывается на злобу дня, критикуя американские спецслужбы: в 70-х после Уотергейта появились «Принцип домино» и «Три дня Кондора», а в 1998-м, на фоне скандала с системой глобального прослушивания «Эшелон», – фильм «Враг государства», где разоблачались методы Агентства национальной безопасности.

«Сириана» уже получила премию «Золотой глобус», кроме того, фильм представлен на «Оскар» в нескольких номинациях. Характерно, что фильм номинирован в том числе за сценарий, то есть за те факты, которые Бэр представил для фильма, снятого в нарочито документальной манере.

Сегодня Роберт Бэр, пожалуй, один из немногих ветеранов ЦРУ с ближневосточным опытом, который готов к откровенному разговору. В телефонном интервью руководителю Agentura.Ru Андрею Солдатову Бэр говорит о том, что сегодня происходит с американскими и российскими спецслужбами на Ближнем Востоке:

– **Был ли какой-то реальный прототип у арабского принца, убитого ЦРУ в фильме?**

– Да, такой человек был. Это принц из Залива, но я не хотел бы называть его. На самом деле он был убит не в машине с помощью ракеты, как в фильме, ему впрыснули наркотики.

– **Вы, наверное, знаете, что российские спецслужбы тоже стали использовать ликвидации за рубежом. Я имею в виду убийство вице-президента Чечни Яндарбиева, взорванного в Катаре летом 2004 года. Насколько такая тактика эффективна в борьбе с терроризмом?**

– Ну, это эффективно, если у вас хорошая разведка, и если уничтожается только тот человек, который нужен. А не так, как это было сделано в Пакистане. (13 января 2001 года в результате американского ракетного обстрела, целью которого был заместитель Бин-Ладена Айман аль-Завахири, был разрушен дом в пакистанской деревне Дамадола, погибли 18 мирных жителей. Но террориста среди них не оказалось. – А. С.). Вы знаете, израильтяне это умеют делать.

Проблема в том, что, если вы убиваете террориста, который виноват в чертовой куче кровавых преступлений, и вы убили только его, это превентивная акция. Но если вы убили сотню людей, в том числе невиновных, вы просто получаете еще больше террористов. Израильтяне убивают отдельных террористов в Газе, и это ожидаемая реакция на теракты. Но если для этого взорван весь дом, включая женщин и детей, это очень плохо. Одно дело, уничтожить одного человека, другое – подорвать вместе с ним целый отель, это большая разница.

– **Существует мнение, что российские спецслужбы традиционно сильны на Ближнем Востоке. До 2000 года все руководство службы внешней разведки имело опыт работы на Востоке – от Примакова до Трубникова. Вы работали в этом регионе, как вы оцениваете эффективность российской разведки?**

– Русские очень хороши в тех странах, которые их интересуют. Это Египет,

Сирия, Ливан, Ирак. Но в странах, которые для них менее важны, как Саудовская Аравия, они работают хуже. Даже в Израиле. Вы должны иметь в виду, что русская разведка в принципе всегда была лучше, чем западная, потому что люди, которые служат в русской разведке, имеют более высокий уровень образования, чем их коллеги в Штатах. Это более престижно, служить в русской разведке. Если ты был умным в Советском Союзе, ты шел в разведку, если ты умный в Штатах, ты идешь в бизнес.

– Но сейчас-то ситуация изменилась. Последние 15 лет были не лучшими для наших спецслужб. Вы контактируете с действующими офицерами ЦРУ... Как сейчас изменилась российская разведка?

– Конечно, очень многие офицеры вашей разведки ушли в бизнес. Они стали очень успешными бизнесменами. Я видел многих таких бизнесменов в Лондоне, Южной Африке. Очень многие из них пошли в частные службы безопасности, и все, о чем они думают, это то, как делать деньги. Многие, например, из бывших русских разведчиков работают в Анголе, и они не думают о России, а думают только о деньгах. Это уж точно проблема.

– Как вы можете оценить позиции российской разведки в Ираке сегодня?

– Русские смотрят на то, что происходит в Ираке, из Дамаска. Потому что большая часть групп сопротивления, бывших офицеров саддамовской армии и тому подобного народа сидят в Дамаске. Русские пытаются оценивать, что происходит, со слов бывших баасовцев (БААС – бывшая правящая партия Саддама Хусейна. – А. С.). Это хороший подход, но внутри Ирака у них те же проблемы, что и у американцев. Потому что каждый западный человек там может быть убит или похищен.

– Вы говорили, что у ЦРУ большие проблемы с агентурной разведкой в Ираке, это правда?

– Конечно, это правда. У них нет источников. Последний источник в Ираке у ЦРУ был в начале 90-х. В конце 90-х у ЦРУ никого не было в Багдаде, а те, кто курировал работу в Ираке, не говорили по-арабски и никогда не были за границей. Все знали это, и я в том числе, поэтому я и выступал против вторжения. Ведь мы не имеем никакого понятия о том, что мы делаем.

– То есть в ЦРУ нет достаточного количества людей, говорящих по-арабски?..

– Нет, конечно. А в Багдаде ситуация ухудшается тем, что 400 сотрудников резидентуры ЦРУ никогда не покидают «зеленую зону» (зона максимальной безопасности. – А. С.). Что они могут знать об Ираке? Ничего. Вы не можете сидеть в своих кампусах, смотреть телевизор и понимать такую страну, как Ирак.

– У ФСБ такие же проблемы. Во время захвата заложников в «Норд-Осте» в ФСБ не хватало людей, знающих чеченский язык, для оперативного перевода переговоров террористов. У нас это происходит из-за того, что спецслужбы не доверяют представителям этнических меньшинств. А у вас?

– Моральный дух в ЦРУ сейчас очень низок. Большая текучка кадров – около 20% сотрудников уходит каждый год. Организация, которая теряет 20% персонала каждый год, не может выжить. Кроме того – ставка на технику. У нас

есть все эти шифровальные алгоритмы и суперкоды, есть оптоволоконные кабели, и все это делает практически невозможным работу в таких странах, как Пакистан и Саудовская Аравия. Плюс проблемы с внутренней безопасностью. ЦРУ так и не оправилось после дела Олдрича Эймса («крот» российской разведки, разоблаченный в 1994 году. – А. С.). Это подорвало моральный дух ЦРУ. А те правила безопасности, которые создали, чтобы такое больше не повторилось, максимально затруднили вербовку людей на службу в ЦРУ.

– **Можно ли сейчас попасть на работу в ЦРУ, будучи саудовцем по рождению?**

– Это невозможно. Ты не получишь работу в ЦРУ, если у тебя есть родственники в таких странах, как Саудовская Аравия. Тебя всегда будут подозревать. И именно поэтому совершается так много бездарных операций – из-за плохой развединформации.

– **Вы работали в Таджикистане в начале 90-х....**

– Да, я работал там в 1992–1994 гг.

– **Как вы можете оценить позиции американской разведки в этом регионе?**

– Сейчас все, что интересует США там, это базы. Но у США нет по большому счету шансов получить большое влияние в Центральной Азии. Это слишком далеко от нас, слишком дорого, плюс языковые проблемы. Когда я был в Таджикистане, единственными людьми, которые что-то знали, были представители российской разведки. Там шла гражданская война, и если вы хотели узнать, что происходит в Таджикистане, то вам нужны были российские военные.

– **Я хочу спросить вас как эксперта по терроризму. Как вы думаете, чеченские группы являются сегодня частью глобального движения джихад?**

– Конечно, большая часть денег для чеченцев идет из Саудовской Аравии.

– **Я имею в виду не финансирование, а обмен боевым опытом.**

– В Ираке много чеченцев. Даже бойцы Талибана приезжают в Ирак повоювать. Чеченцы из Грузии тоже приезжают для получения опыта, и если мы покончим с ними в Ираке, они поедут в Чечню.

– **Однако мы не видим, чтобы тактика «Аль-Каеды» использовалась в России, а захват заложников, как в Беслане, практиковался в Ираке.**

– В Ираке это очень сложно осуществить. В России объекты открыты, а в Ираке все объекты охраняются американскими военными. Кроме того, тактика для Ирака разрабатывается в Саудовской Аравии, и поэтому там так много шахидов. То есть существует прямой ваххабитский контроль над тем, что происходит в Ираке. А в Чечне присутствуют только отдельные саудиты, которые просто посылают деньги, но у них нет влияния на тактику чеченских командиров.

– **Роберт, а почему все-таки вы уволились из ЦРУ?**

– Я не уволился, я ушел из ЦРУ в декабре 1997 года, потому что ЦРУ стало слишком политизированной и совершенно неэффективной структурой.



главный редактор газеты «Спецназ России» Ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа». Живет в России.

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ ИЗ ГРУППЫ «АЛЬФА»*

В любом обществе существуют определённые стереотипы, связанные с тем, кто является интеллигентом, а кто нет. Это в полной мере относится не только к отдельным личностям, но к социальным и профессиональным группам. И если, скажем, в России вынести в заголовок статьи утверждение, что в спецназе служат интеллигентные люди, то оно наверняка вызовет недоумение или даже активный протест. Очевидно, люди в масках, разбивающие о свои головы кирпичи, мастера стрельбы и рукопашного боя, – такие люди, скажут нам, не могут быть интеллигентами по определению. Я же хочу рассказать о тех офицерах, которые «вопреки избранной стезе» были интеллигентами.

Легендарная группа «Альфа», созданная КГБ в 1974 году после известных террористических актов по образцу британской SAS и американской «Дельты» и не без тайной оглядки на действия израильских командос в Энтеббе, ныне широко известна по всему миру. Она не нуждается в особом представлении, поскольку её дела – это наилучшая визитная карточка. И если брать коллективный портрет её бойцов (200 профессионалов, получивших уникальную физическую и психологическую подготовку), то в 70-х годах они явили неповторимый, интеллигентный, если угодно, почерк своего подразделения. Да может ли быть такое? Оказывается, да. И для этого не всегда нужно быть записным интеллигентом, считать себя таковым и громко информировать об этом общественность.

В данном случае мы имеем несомненный феномен: люди made in KGB, которые не являлись деятелями культуры, земскими врачами или, скажем, учителями, эти суровые асы борьбы с терроризмом стали чем-то большим, нежели элит-

* INTELLIGENT.ru

ный отряд спецназа. Это дало основание историку Михаилу Гефтеру в разговоре с критиком Львом Аннинским сказать: «Равняйтесь на группу "Альфа". На людей, которые октябрь видели двойным знаком отличия: они, как никто, носили знание смерти, они же отказались выполнять приказ убивать. Равняйтесь на группу "Альфа"! – это суммирует и делает историческим опыт тех, кто выбором действия, своим офицерским отказом убивать открыл вход в центральную проблему русского сознания, закрытую суесловием и политиканству: мыслящий иначе – не враг, подлежащий уничтожению, он – согражданин и брат».

Остаётся добавить, что эти слова были произнесены летом 1994 года. Последняя телевизионная съёмка замечательного историка и интеллигента. Вскоре Михаила Гефтера не стало...

Именно «двойной знак отличия» не дал старшим офицерам «Альфы» в хмельном и мятежном августе 1991 года пойти на обильное жертвоприношение. Отказ идти на штурм Белого дома во многом предопределил дальнейшее развитие событий. Я хорошо помню, как в те дни мы, защитники российского парламента, собирали и передавали друг другу малейшие изустные сведения, относящиеся к возможным действиям группы «А». Мы ждали штурма и очень опасались этих ребят.

Если брать систему КГБ в целом, то именно «Альфа» оказалась наименее всего подвержена идеологическому влиянию коммунистической идеологии. Нет, конечно, идейных противников советской власти в рядах элитного подразделения не наблюдалось. На то был свой кадровый отбор. Однако сама специфика работы спецназа оставляла за бортом любителей использовать партийный молот для удовлетворения своих амбиций и реализации комплекса неполноценности. Таким людям в «Альфе» было делать нечего. Как и тем, кто привык по поводу и без него щёлкать каблуками и вытягиваться перед начальством во фронт.

А довершила деидеологизацию «Альфы» сама жизнь. На рубеже 80–90-х годов это элитное подразделение безоглядно использовали в Нагорном Карабахе, Азербайджане, Таджикистане... Завершающим аккордом была командировка в Вильнюс, где отделение группы «А» бескровно взяло штурмом здание телевизионной башни. При этом погиб старший лейтенант Виктор Шатских. И вот тогда случилось предательство: от офицера отказались все, кто посылал спецназ на это задание, включая президента СССР Михаила Горбачёва, трусливо ушедшего в кусты. Ни один из высокопоставленных руководителей страны не взял ответственность на себя. Когда же в Москве встречали гроб, то никто из высоких чинов КГБ не приехал в аэропорт. Не счёл возможным.

В этой связи вспоминается история, рассказанная создателем американской группы «Дельта» полковником Чарльзом Беквитом. 16 апреля 1980 года, накануне провальной операции в Иране «Пустыня-1» по освобождению американских заложников, президент Картер, заканчивая совещание, сказал: «Во-первых, мне бы хотелось, чтобы перед вылетом в Иран вы собрали всех ваших людей. Во-вторых, передайте им моё послание. Скажите, что в случае провала операции, всё равно по каким причинам, виноват в этом буду я, а не они».

С «Альфой» в январе 1991 года всё получилось с точностью до наоборот. Но зато горечь Вильнюса сыграла важную роль в кардинальном решении, принятом личным составом подразделения в августе 91-го.

Первым в «альфовском» мартирологе значится имя капитана Дмитрия Волкова. Он погиб 27 декабря 1979 года в Афганистане во время штурма дворца диктатора Амина.

Помню, во время долгой беседы с Евгенией Николаевной Волковой, вдовой капитана, она рассказала, что родители Дмитрия категорически возражали, когда тот шёл на работу в КГБ. В семье были репрессированные в 30-е годы. Короче, состоялся очень тяжёлый, трудный разговор. В какой-то момент Дмитрий спросил: «Считаете ли вы меня порядочным человеком?» Получив утвердительный ответ, подвёл черту: «Значит, в КГБ будет на одного порядочного человека больше...»

Увы, капитану Волкову и его коллегам пришлось выполнять явно авантюрный приказ по штурму Тадж-Бека и свержению власти в чужой стране. К тому же при том раскладе сил и средств 40 бойцов на бронетехнике должны были практически полностью лечь ещё на подходах к цитадели. Но всё получилось иначе. Быть может, много позднее это «знание смерти» и сам образ пылающего дворца Амина с его коврами, хлюпающими от крови, не позволили «Альфе» и «Вымпелу» брать штурмом и расстреливать парламент собственной страны.

После 4 октября 1993 года практически все центральные газеты обошла фотография легендарного командира группы «А» Героя Советского Союза генерала Геннадия Зайцева. В белом элегантном плаще, в стильном кашне и... радиофицированной броневой сфере на голове, с поднятым забралом. Не в этом ли образе мы видим интеллигентный стиль подразделения? Даже чисто внешне.

Во время ввода войск Варшавского договора в Чехословакию Геннадий Николаевич находился там, выполняя в Праге ответственное задание «партии и правительства». Крови, к счастью, не проливал. Мы много говорили об этом, и я знаю, насколько запали в его душу те события. Думаю, что в человеческой и гражданской позиции командира «Альфы», выполнившего приказ Ельцина, но по-своему, без жертв, чувствуется и отблеск пражских событий, свидетелем и участником которых он был.

В своё время большевики ввели в оборот явно ущербный термин «рабочая интеллигенция». Уже сам по себе он означал, что где-то рядом существует интеллигенция иного сорта – «гнилая», «старорежимная»... И действительно, в Российской империи существовала «военная интеллигенция», являвшаяся белой костью и гордостью царской армии. Она, кстати, оказалась выбита в первые год-два мировой войны, и пришедшие на фронт прапорщиками и поручиками «разночинные» кадры сыграли отчасти свою роль в предстоящей смуте.

Но сейчас я не об этом. Именно военной интеллигенцией стали в Советской России лучшие представители группы «А». Отсюда свой почерк и особый стиль поведения.

В декабре 1976 года Советский Союз обменял известного диссидента Вла-

димира Буковского, эту головную боль советской верхушки, на главного чилийского коммуниста товарища Лучо. «Поменяли хулигана на Луиса Корвалана», – иронично пел Александр Галич.

Приехавший в Москву через 15 лет Буковский в телевизионном интервью обмолвился о людях, которые сопровождали его из Владимирской тюрьмы и потом за границу – в Цюрих. Это были офицеры группы «А». Когда в тюрьме на Буковского надели стальные наручники, рассказывал мне ветеран «Альфы» Николай Берлев, тот поморщился от боли.

– Давят, что ли?

– Давят.

Тогда Берлев вытащил из кармана носовой платок, разорвал пополам и поддел под «браслеты».

– Я ещё вчера понял, что вы не из милиции, – усмехнулся Буковский.

На Берлеве была новенькая милицейская форма, и он попытался разыграть удивление.

– Нет, – в ответ покачал головой Буковский, – воспитание другое. Эти за пять лет со мной ни разу не поздоровались. А уж чтоб посочувствовать...

Мне могут возразить, указав на тенденциозность. Сказать, что и в КГБ всякого «добра» хватало. Да, это так. Но своей предвзятости я и не скрываю. И не только потому, что «Альфа» дважды спасала мне жизнь – в августе 91-го и октябре 93-го. Дело тут в другом. За годы работы в «альфовском сообществе» мне довелось лично узнать многих офицеров, со всеми их достоинствами и недостатками, без прикрас. И это знание позволяет мне делать некоторые выводы и давать оценки.

Одним из интеллигентов группы «А» был Анатолий Николаевич Савельев, прослуживший в этом подразделении чуть менее четверти века. Представитель первого набора образца 1974 года. Пройдя все горячие точки на территории бывшего Советского Союза, он погиб в Москве, обменяв себя на захваченного террористом торгового советника посольства Швеции. Умер в автомобиле от сердечного приступа.

Герой России, полковник. Это был «боевик»... с педагогическим образованием. Удивительное сочетание, не правда ли? Интеллигент, романтик. Отправляясь на работу, он брал с собой томики стихов Ахматовой и Цветаевой. Как рассказывала его жена, Анатолий Николаевич специально покупал книжки небольшого формата, чтобы они помещались в «дипломате». Были они с ним и 19 декабря 1997 года...

После одной из «боевых стажировок» в Афганистане, пережив чудесное спасение во время ночного перехода в горах, он вернулся домой с душой христианина. Вообще по жизни полковник Савельев не афишировал ни своей веры, ни своих дел. И не потому что боялся быть непонятым – поповские, мол, штучки. Нет. Просто поступал так, как и должен поступать православный человек. Даже его супруга, Наталья Михайловна, не знала, например, что муж помог вернуть церкви Ново-Иерусалимский монастырь. Местные власти собирались сделать на его территории зону исторического туризма и отдыха. Каза-

лось, так и будет. Тогда начальник штаба «Альфы» взял документы, подготовленные общиной, и положил их на стол высокого руководства в Кремле. Сама Наталья Михайловна узнала об этом поступке мужа только в монастыре, куда приехала креститься.

Ещё и ещё раз я возвращаюсь к понятию «военная интеллигенция». Этот как раз то, что жизненно необходимо нынешней российской армии, как и нашему обществу в целом. И чего, к сожалению, в ней нет.

Недавно мы отметили печальную дату – 10-летие событий в посёлке Первомайское, где банда Салмана Радуева удерживала десятки захваченных мирных людей. В последний день провальной операции, ставшей наглядной иллюстрацией полного разложения режима Бориса Ельцина, включая его силовую составляющую, погиб сотрудник «Альфы» майор Андрей Киселёв.

В Рязанском высшем воздушно-десантном училище Андрей был одним из лучших. Но кроме силовой подготовки он налегал на языки, в частности, с удовольствием изучал фарси. Лингвисты утверждают, что если арабский можно назвать латынью Востока, то фарси – это его французский. На фарси писали все выдающиеся арабские поэты. Офицеры, владевшие им, всегда особо ценились в императорской России. А ещё он очень любил читать, охотился за книжными новинками. Думаю, нынешним молодым россиянам, выросшим в условиях книжного изобилия, этого не понять.

Формируя американскую «Дельту», полковник Беквит написал в объявлении: «Требуются добровольцы. Гарантируются медаль, гроб или то и другое». В «Альфу» шли люди не для карьерных благ, но готовые ради спасения других пожертвовать собой. Потом, с годами, мысль о самопожертвовании при освобождении заложников станет одной из основных и обретёт свою страшную реальность. Вот откуда идёт традиция, проявившаяся в Беслане с его зримым образом: боец спецназа со спасённым ребёнком на руках.



МАТЕРНАЯ РЕЧЬ И РУГАНЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ*

Наш знаменитый языковед, филолог-славист Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ (1845–1929) считал, что если слово есть в языке, в том числе и матерное, оно должно быть и в словаре. А уж как его будут использовать, это зависит от культуры человека.

При подготовке первого полёта на планету Марс в корабле с искусственной силой тяжести маленькой группой специалистов в Лётно-исследовательском институте (город Жуковский Московской области, 60-е годы XX века) под руководством автора данной статьи проводились многонедельные эксперименты в наземном динамическом имитаторе межпланетного корабля (в центрифуге-квартире диаметром 20 м).

Живя и работая в ней, испытуемые оказывались в состоянии тяжелейшего непрерывного стресса-кинетоза («болезни укачивания–укручивания»). У них наблюдались мучительные тошнота, рвота, головные боли, общая слабость, ощущение ломоты в теле, ухудшение настроения и взаимоотношений.

Неожиданно для нас было установлено, что кратковременные эротически окрашенные переживания уменьшали выраженность этих болезненных симптомов. Самочувствие даже могло стать совершенно нормальным.

Какая же эротика возможна в таких экспериментах? Лёгкое эротическое возбуждение возникало у испытуемых во время посещений беспрерывно вращающейся квартиры кем-либо из числа обслуживающих эти эксперименты врачей-женщин или психологов-женщин. Но только если эти женщины вызы-

* INTELLIGENT.ru

вали симпатии у испытуемых. В отличие от «генеральских визитов» в подобных случаях положительный эффект сохранялся долго – до конца дня, а подчас и на следующее утро.

В те годы в научной литературе мы не нашли объяснения такому антистрессовому действию эротики. Однако эта проблема не оставляла автора этой статьи. И вот случайно, общаясь с выдающимся венгерским нейроэндокринологом К. Лишшаком, мы узнали, что он вместе со своим коллегой Э. Эндрёци в 70-х годах прошлого века обнаружил, что мужские половые гормоны (андрогены) нейтрализуют отрицательное действие гормонов стресса (кортикостероидов).

Это объяснило уменьшение болезненных симптомов у наших испытуемых при их эротическом возбуждении, описанном выше. И тогда мы задумались ещё вот над чем: почему у некоторых испытуемых появлялась неодолимая склонность к скабрезному ёрничеству, «матершине», совершенно не свойственным этим людям в обыденной жизни?

В конце концов, в ходе экспериментов мы убедились, что мат с его эротическими образами способствовал выработке тех же гормонов андрогенов, а они нейтрализовали гормоны стресса.

Тут следует напомнить, что есть ещё один нейрохимический механизм антистрессового действия матерщины.

Известно, что в критических ситуациях, когда, несмотря на боль из-за ранений, надо действовать, сохраняя жизнь, в организмах людей и животных вырабатываются обезболивающие вещества – эндорфины. Их выброс в кровяное русло сопряжён с эмоциями трёх видов: с гневом, либо со смехом, или с сексуальным возбуждением.

Эти эмоции усиливают выделение эндорфинов и их обезболивающее, рождающее смелость действие. И эти три «эндорфинные эмоции» возникают при матершине: ведь матерная ругань зла, а матерные шутки юморны и эротичны. Вот так мат блокирует гормоны стресса и способен уменьшать боль.

Матерная речь в космосе и частушки после боя

В связи с обнаружением «матерного феномена» мы провоцировали у некоторых «экипажей» вращающегося имитатора межпланетного корабля создание «матерной атмосферы» (лихого использования нецензурных скабрезностей), т. е. юморной «матерной речи», но не агрессивной «матерной ругани». Была отмечена тенденция снижения многих негативных симптомов стресса-кинетоза у «матерных экипажей» по сравнению с «благопристойными».

Однако при очень тяжёлых формах кинетоза (многократная изнуряющая рвота, головная боль, чувство мучительной тяжести в эпигастрии, депрессивный дискомфорт и т. д.) склонность к нецензурной сексуальной лексике уже не способствовала улучшению состояния испытуемых и угасала из-за общей слабости человека.

Нужен ли мат в космосе? Уменьшит ли он стресс космонавтов? Это решать им в полётах.

Ещё характерный пример. Автор был свидетелем того, как в 2000 году рота российской армии была выведена из многосуточного боя в Аргунском ущелье (в Чечне) с большими потерями.

Мальчишки – солдаты-срочники в полном унынии, грязные, голодные падали от изнеможения. Офицеры войсковой службы воспитательной работы (бывшие советские «политруки») подогнали к солдатам грузовую машину с откинутыми бортами. С неё, как со сцены, бригада «песенников-контрактников» 15 минут пела ядрёные матерные частушки.

За это время солдаты преобразились. Они смеялись, хохотали, их лица оживились, прямо на глазах восстанавливалась боеспособность. Ни сон, ни еда, ни отдых не дали бы столь интенсивного рекреативного эффекта.

Больничный мат

Изучение влияния эротических стрессоров на здоровье мы продолжили в травматологическом отделении Института имени Н. В. Склифосовского. Там врачи заметили, что в одних палатах раны у больных заживают в несколько раз быстрее, чем в других. Выяснилось, что раны рубцевались, а кости срастались быстрее в палатах, где мат звучал с утра до ночи. В них могли оказаться и рабочие, и интеллектуалы. А вот где лежали «чистюли без мата», заживление было не быстрым.

Почему? Потому что разговор с постоянным матерным сексуальным подтекстом способствует выделению обезболивающих эндорфинов и мужских половых гормонов – андрогенов. Они являются мощными антагонистами гормонов, вызывающих воспаление. Кроме того, андрогены ускоряют восстановление (регенерацию) тканей.

Вот живой пример того, как матерная речь способствовала излечению. В шестикоечной палате было только одиннадцать тонких одеял. И вновь прибывшему травматнику досталось только одно. Под одним одеялом зимой было холодно. И тут рядом с новичком начинали развиваться драматические события. Один из выздоравливающих орал нечто вроде следующего (размахивая костылями):

– Что же вы, такие-растакие, всех вас раз-так, раз-этак, парня заморозить хотите! Вот ты, – обращался он к одному из больных, – здоровый тра-та-такой, отдавай одеяло для нового, тра-та-та его!

В результате такого матерного монолога вновь прибывший чувствовал, что его приняли в мужскую компанию, заботятся о нём, а сексуальная подпитка эмоций мобилизовала его андрогены.

Спустя три недели роль правдоискателя уже играл бывший новичок. Когда привезли нового травмированного парнишку, упавшего на стройке дома с высоты, врачам не удалось вывести пострадавшего из шока. «Правдоискатель», ритуально сражаясь под звуки матерной речи с остальными больными, накрыл новичка вторым одеялом. До парнишки начало доходить, что из-за него в палате возник как бы скандал. Приходя в себя, он услышал:

– Смотрите-ка, кудрявого привезли! Здоровенного. Он тут всех медсестер тра-та-та...

Палата грохнула от смеха. Парнишка слабо улыбнулся. Тут сообщили, что к потерпевшему скоро придут с работы инженеры по технике безопасности. Один из выздоравливающих радостно заявил:

– Если б ты, парень, такой-растакой, долетел бы с твоего двенадцатого этажа до низа, то твои техники безопасности, так их-растак, долго бы тебя от асфальта отскребали.

Палата загремела от смеха. Когда инженеры по технике безопасности вошли, придавленные своей ответственностью, парнишка еле слышно прошептал:

– Если бы я долетел до низа, то вы бы долго от асфальта меня отскребали, так вас рас-так.

Хохот сотрясал больничную палату. Из коридора стали заглядывать и смеяться другие больные.

Потерпевший оказался неожиданно выдвинутым на роль победителя в своей рабочей среде и социально-приобшённым к больничному окружению. При этом он стал наделённым правом пользования запретной, кастово-мужской речью. До сознания парнишки стала доходить значимость его мужских качеств, а это всегда мощный восстановитель психологического комфорта. Андрогены укрепляли его мужественность, эндорфины помогали победить страдание от травмы, ускоренно её лечили.

Жёны, подруги, матери, посещая больных в «матерных палатах», чувствовали себя совершенно «не в своей тарелке», хотя при них никто не использовал нецензурных выражений. Женщины-посетительницы говорили своим мужчинам: «Что здесь за компания? Куда ты попал? С тобой невозможно разговаривать!» – и старались скорей уйти, отторгнутые чисто мужским, энергичным выздоравливающим братством.

На женщин мат действует иначе. У них он тоже способствует выработке андрогенов, но у нормальной женщины андрогенов не должно быть много. Косметологи обратили внимание на то, что у женщин и девушек из компаний, где мат – обыденный язык, тело обрастает волосами и начинает, как у подростков, ломаться голос.

Если мужчина не хочет причинить девушке и женщине вред, при них «выражаться» нельзя, потому что матерная речь им вредна, провоцируя гормональные нарушения. Особенно опасно увлечение ею в подростковом возрасте. Сексуально-скабрезные ругательства вредно влияют на растущий детский организм и становление неокрепшей психики ребёнка.

Что касается мужчин, то распространять матерную речь шире критических ситуаций, требующих мужества, – значит превращать свою жизнь и жизнь окружающих в больничную палату института им. Н. В. Склифосовского.

Матерная брань как этнический феномен общения

У многих народов (алтайских, индейских, у древних англичан и др.) были мужские и женские разговорные языки. Мужчины, чтобы сохранить достоинство, могли говорить на своём языке, а женщины использовали чисто женские выражения.

Русский мат – это сугубо мужская речь. Важнейшая его особенность – парадоксы суждений, парадоксальные сочетания сексуальности с адресацией её к обыденной жизни и с характеристиками конкретных людей.

Матерная речь – не просто скабрёзные ругательства. Это ещё и эмоциональная беседа мужчин в критических ситуациях. Исконной матерной речью пользовались в мужских компаниях, и не для того, чтобы обругать друг друга, а чтобы весело, быстро, понятно и эмоционально объясниться друг с другом в экстремальных условиях, в опасных ситуациях.

Такая речь обладает мощным не только психологическим, но, как показано выше, и физиологическим действием. Заметим, что у некоторых народов сексуальные инвективы (ругательства) обращены не к матери, а к отцу (у казахов), либо к виновникам родственного кровосмешения – инцеста (у вайнахов).

«Матерщинные диспуты-соревнования», практиковавшиеся в минуты отдыха в русских артелях, сходны своими парадоксальностями с дзен-буддистскими диалогами, в которых натренированный интеллект использует множественные озарения (микроинсайты) для постижения окрыляющей искомой истины. Но в дзенских парадоксах нет сексуальности, активизирующей выброс в кровь андрогенов, устраняющих утомление и уныние, нейтрализующих кортикостероиды («гормоны стресса»).

Не следует идентифицировать с эротическими инвективами народные свадебные песни-инструкции для брачующихся, обучающие молодых сексуальной жизни, освобождающие от юной стеснительности и стыда перед сексуальным актом.

Упомянем такой эротико-лексический феномен как «постельный мат». К нему может побуждать не только сниженная сексуальная потенция. «Нецензурная» сексуальная лексика брачующихся обостряет эротические ощущения приглашением в потаённый, запретный мир сексуальных образов. Постельный мат – это ещё и шаги к сближению, единению сексуальности «его» и «её» и обмен сексуальным опытом.

Христиано-интеллектуалы XVIII–XIX веков, сделав матерную речь сначала наказуемой, а потом и непечатной, почти убили её. Выжила только матерная ругань.

В русской народной лексике и сейчас различается использование словесной эротики женщинами и мужчинами, т. е. гендерные различия сексуальной лексики. С. Б. Адоньева, работавшая в фольклорной экспедиции Санкт-Петербургского государственного университета, отметила различия эротических песенных частушек и бранной лексики в северно-русских деревнях.

Первые определяются там как «смешные». Их могут исполнять женщины, так как эпатируют публику описанием сексуальных сцен, избегая предосудительных и бранных слов. Но даже это позволительно лишь пожилым женщинам, но не девушкам, хотя слушают «смешные» эротические частушки все. А вот сексуальная бранная лексика (матерная, с названиями физиологического низа тела) позволительна только мужчинам. И «смешные», и бранные выражения знают все, но допустимость их определена статусом говорящего и составом слушающих.

В русских народных говорах с их моральным цензом эротические «смешнушки» и матерная брань – один из способов утверждения социального доминирования. «В культуре, где главным инструментом управления является стыд, страх перед стыдом становится мощным регулятором власти» (С. Б. Адоньева). Но у женщин и мужчин остаются разными сексуально-словесные способы-манеры доминирования. Замечено, что этим способам с их регламентацией допустимости–недопустимости в деревнях обучаются с детства.

Обыденное использование матерной лексики свойственно некоторым слоям общества в рабочей среде и в сельской местности. Чаще мат используется как междометия, но всё же наделённые бодрячеством эротики. Реже – как побуждение к действию, к работе, либо как порицание.

Для налаживания рабочих контактов с группами-артелями, для эффективного управления ими бывает нужен командный мат (для признания начальника за «своего человека», для напоминания о своём лидировании, для угроз). Надо признать, что командный мат действует за счёт зоологического механизма с использованием латентной гомосексуальности для подавления сексуального конкурента. В женской среде мат – это проявление неосознаваемых претензий на мужские роли.

Интересны случаи, когда в рабочей среде начальником (хозяином, лидером) оказывается женщина. Нередко только после её командного («трёхэтажного») мата артельщики признают в ней «хозяйку» и потом работают беспрекословно; повторные матерные тирады не нужны (разве что в крайних случаях – при неповиновении артельщиков).

Эпохально-цивилизационные «пробуждения» матерной лексики

В исторические, «переходные» периоды у части общества возникает массовая дебилизация. При этом наименее защищённые социальные слои (молодёжь и люди с недостаточным образованием) вынуждены использовать эротизацию своей вербальной активности как культурную (антикультурную!) защиту. Их речь изобилует словесными протезами – сексуально-скабрезными выражениями. (Как неосознаваемый протест против социального давления.)

В современной российской действительности распространению мата в разговорной речи предшествует увлечение словечками тюремного жаргона («кинули», «стрелка», «замочили», «малява» и т. п.). Конечно, причина не только в том, что через тюрьмы проходит много людей. Криминальное аргю и матерная речь сейчас превращаются из тайного языка замкнутых групп в протестный язык населения, демонстрирующего аморальностью мата (сексуальными непристойностями) и тюремной лексикой свою негибкость перед усиливающимся давлением чиновничьей и олигархической власти.

Заметим, что стресс тюремной изоляции вынуждает к строжайшей регламентации матерной лексики. Сексуально-словесное унижение личности в тюрьмах неписаными законами запрещено и наказуемо. Однако оно используется для отторжения из «достойного» тюремного сообщества индивидов, из-

менивших ему, и чрезмерно слабых личностей. Вероятно, в основе этого способа социальной селекции лежит необходимость изгнания перед сражением слабаков и потенциальных предателей. Ведь тюремная жизнь – это постоянное ожидание битвы.

На особом месте в подверженности матерной речи и матерным ругательствам стоят милиция, судейский корпус и органы охраны мест заключения, контактирующие по долгу службы с криминальным миром, социальными низами и с деклассированными элементами. Однако у правоохранительных органов, как правило, есть профессиональный «иммунитет» против мата.

Массированное использование матерной лексики художественной элитой и журналистами как частью общества, наиболее чувствительной к любой беде, также несёт протест против череды несчастий. Итальянский культуролог М. Маурицио, анализируя российскую действительность, пишет: «Любой автор, любое течение, ставящее себя как альтернативные доминирующему руслу, играли либо на противопоставлении себя общепринятым в культурной и эстетической доминанте тенденциям, либо на утрировании и ироническом преувеличении характерных для доминанты же черт».

Какова же эта доминанта? Можно сказать, что матерная речь теперь «направлена не столько против свыше установленных иерархий, как бывало раньше, сколько против ожиданий читателя (зрителя, слушателя), теми же иерархиями порождённого» (М. Маурицио). Одна из доминант, вызывающих общественный протест, – трудности российской жизни, неуклонно ведущие к депопуляции (вымиранию) российского этноса. Эротизация речи (матерщинность) – это неконтролируемый индивидуумами процесс в общественном сознании, направленный, возможно, и на сексуальное воспроизводство населения.

Странная потребность в речевой недозволенности способствует распространению мата и тюремного арго. Они вышли на улицы не площадной бранью и не тайной речью, а в виде эвфемизмов-междометий, то есть как бессодержательные слова-подмены. Пожалуй, наиболее распространённым стало слово «блин», и многие, произнося его, не вдумываются в то, что оно порождено бранным «б...дь».

Матерщина молодёжи и инфантилизованной интеллектуально-художественной элиты – это игра, направленная не только на быструю передачу главного смысла (исконное предназначение мата), сколько на отсев всего формального, обыденного; это издевательство над навязыванием населению социальных штампов-оков и политического давления. Нынешняя матерная лексика – это создание своего рода культурного («некультурного») ареала, зоны недопустимости, укрывающей интеллектуалов от давления трудностей российской жизни.

Матерщина – маркёр культурной деградации

Однако мат ведёт к деградации русского языка, к разрушению традиций, быта на фоне депопуляции этноса.

Затронем ещё один аспект, связанный с проблемами, создаваемыми и решаемыми матерной речью. Матерная речь, как и иные эмоциональные изъяснения, часто вспыхивают у говорящего, чтобы возбудить других людей, чувственно накалить их до своей возбуждённости. Чтобы душевно приблизить их к себе, увлечь за собой в своё видение текущих событий.

В 70-х годах прошлого века мы изучали особенности восприятия после информационных микрострессов: досадная ошибка диктора («накладка»), скабрзность, эмоциональные слова («сволочь», «подлец», «убийства», «кровавый», «изнасилование» и т. д.). Было обнаружено, что в первые секунды после микрострессора информация усваивается почти бесконтрольно. Это может использоваться для формирования «собственного мнения» людей помимо их воли.

Независимо от того, что испытывают люди, услышав скабрзность (резкое неприятие, смущение, бурное одобрение, эротическое возбуждение), информация, предъявленная им после скабрзности, будет воспринята и может вспоминаться как то, что «я сам так думаю» или «я это и раньше знал». Таким образом матерная речь, скабрзности могут использоваться для не вполне осознаваемого людьми влияния на их умонастроение, на формирование мнения о чём-либо.

Похожие психологические процессы возникают и при эпатировании людей «агрессией» авангардистских произведений искусства. И, наверное, не случайно сексуальные образы, послы, считавшиеся ещё недавно непристойными («нецензурными»), сейчас проникают на экраны телевизоров, на сцены театров, на страницы книг и газет одновременно с возрастающей модой на авангардистское искусство.

Возрастает потребность и в том, и в другом у небольшой, но активной «европейски цивилизованной» части общества. Заметим, что представители «исламской цивилизации» всё более активно и агрессивно отстаивают традиционную пристойность в быту и ограничения в освещении средствами массовой информации сексуально-интимных проблем.

Обобщим, отчасти повторяясь, причины использования матерной речи в разных социальных слоях современного российского общества.

1. Адаптивное действие мата проявляется при стрессе, особенно в закрытых мужских сообществах: в тюрьмах, в казармах.

2. В рабочей среде мат бытует:

- а) как средство эмоционально-эротического усиления значимости речи,
- б) для опознания «своего» человека,
- в) для утверждения командной роли,
- г) чтобы снять усталость и стресс,
- д) как фольклорное, творческое развлечение.

3. В подростковом возрасте и у инфантилизованной молодёжи мат может сопровождать, маркировать пробуждающуюся, неудовлетворённую сексуальность.

4. В интеллигентной среде массовое увлечение матерной речью – признак

стресса из-за политического и экономического давления. Мат интеллектуалов – это ещё и проявление деградации словесности и культурных традиций.

5. Во властных элитах командный мат – это отголоски зоологических способов гомосексуального подавления соперников.

Надо ли бороться с агрессивным засорением матерщиной (сексуализированными инвективами) русского языка? Да! Со всей решительностью используя учебно-воспитательный процесс и средства массовых коммуникаций. Сексуализация речи целесообразна только при стрессе в сугубо мужских сообществах, но вредна во всём многообразии нормальной обыденной жизни.



Альбом (2 диска)
с 36 песнями
Булата Окуджавы
на русском и иврите –
в исполнении
Ларисы Герштейн

В Израиле – ₪50
В США и России – \$28
В Европе – €20
(Цены включают доставку по почте)

Справки по телефону: (Иерусалим) 02-5325931
или по электронной почте: omegag@bezeqint.net

ל פרץ 20 תפוחים בריזה
ספריה

NOTA BENE

Литературно-публицистический журнал

Главный редактор **Эдуард Кузнецов**
Заместитель редактора **Рафаил Нудельман**
Заведующая редакцией **Елена Вайнштейн**
Корректор **Лена Драгицкая**
Полиграфические услуги **«Клик» (Иерусалим)**

OSR Давид Титивский, апрель 2019 г., Хаيفا

Адрес редакции:

POB 45156, Har-Hotsvim, Jerusalem 91450, Israel

Тел. 02-5325931. Факс 02-5324863

Электронный адрес: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE

Literary-Publicistic Magazine

Editor-in-Chief **Eduard Kuznetsov**
Deputy-editor **Rafael Nudelman**
Manager **Lena Wainstein**
Printing-house **«Click» (Jerusalem)**

The Magazine's Address:

POB 45156, Har-Hotsvim, Jerusalem 91450, Israel

Tel: 02-5325931. Fax: 02-5324863

E-mail: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE

כתב-עת ספרותי פובליציסטי

אדוארד קוזניצוב עורך ראשי
רפאל נודלמן סגן העורך

לנה ויינשטיין מנהלת אדמיניסטרטיבית
הדפסה סטודיו "קליק" ירושלים

תוכות:

ת.ד. 45156, הר-חוטב, ירושלים 91450, ישראל

02-5325931 :70

02-5324863 :075

E-mail: omegag@bezeqint.net

Nota Bene (NB) © Э. Кузнецов



Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



Использование материалов журнала без ведома и согласия редакции не разрешается.

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Мнение авторов публикаций не обязательно совпадает с мнением редакции. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

6
номеров,
включая
доставку

Журнал
выходит раз
в два месяца

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ*

В Израиле (почтой)	₪ 210
В России (авиапочтой)	\$ 65
В Европе (авиапочтой)	€ 55
В США (авиапочтой)	\$ 70

* Цена включает доставку и НДС

Телефон для справок: **02-5325931**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

В Израиле:	
в магазине	₪ 40
в редакции (вкл. доставку почтой)	₪ 35
В России (авиапочтой)	\$ 11
В Европе	€ 9
В США	\$ 12

Желающие оформить подписку могут выслать чек, выписанный на имя компании «Journal Omega», по адресу редакции

**Журнал
можно приобрести
в книжных магазинах:**

- **Афула:** ● «Арбат», ул. Арлозоров, 13
- **Ашдод:** ● «Спутник», Мерказ Сити, ул. Ха-Клита, 3/6; Мерказ «Иуд», ул. Ха-Невиим, 7
- **Бат-Ям:** ● Книжный мир, ул. Бальфур, 49
- **Беэр-Шева:** ● «Радость», ул. Гистадрут, 37 ● «Спутник», ул. Яир, 33; ул. Гистадрут, 55/4
- **Герцлия:** ● «Спутник», ул. Соколов, 58
- **Герцлия-Питуах:** ● «Меркурий», Каньон Мерказим 2001 (напротив «Моторолы») ■ **Иерусалим:** ● «Золотая карета», ул. Яффо, 129; ул. Агрипас, 3 ● «Гешарим», ул. Агрипас, 10 ● «Аквариум», ул. Бен-Иегуда, 34 ● «Меркурий», ул. Кинг Джордж, 20 (или ул. Элиаш, 6) ● «Спутник», ул. Яффо, 91
- **Кармиэль:** ● «Альтернатива», ул. Ха-Галиль, 2
- **Кфар-Саба:** ● «Арлекин», ул. Вейцман, 72 ● «Спутник», ул. Вейцман, 148
- **Нагария:** ● «Альтернатива», ул. Геатон, 2
- **Нацрат-Илит:** ● «Арбат», Мерказ Раско ● «Альтернатива», Мерказ Раско
- **Петах-Тиква:** ● «Пегас», ул. Хаим Озер, 13 ● «Спутник», ул. Хагана, 14 ● «Светлана», ул. Пинскер, 9
- **Реховот:** ● «Рая», ул. Герцль, 175
- «Спутник», Пассаж Фарлан, ул. Герцль, 161
- **Ришон ле-Цион:** ● «Элла», ул. Ротшильд, 82
- **Тель-Авив:** ● «Дон-Кихот», ул. Алленби, 98
- **Хадера:** ● «Арбат», Пассаж, напротив банка «Дисконт»
- **Хайфа:** ● «Дон-Кихот», ул. Герцль, 59 ● «Здесь!», ул. Ха-Невиим, 23 ● «Азбука», ул. Хаим, 4 ● «Колизей», ул. Ха-Невиим, 24 ● «Улыбка», ул. Халуц, 55 ● «Адар», ул. Герцль, 48 ● «Альтернатива», ул. Халуц, 42 ● «Спутник», ул. Ханита, 40
- **Холон:** ● «Спутник», Кикар Вейцман, 13
- **Книжный интернет-магазин:**
www.neshima.com